

Н О В Ы Й  
М И Р

10



1962

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVIII

№ 10

Октябрь, 1962 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. КУЛЕШОВ — Из новой книги стихов. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского	3
ЕФИМ ДОРОШ — Райгород в феврале	9
СТЕПАН ШИПАЧЕВ — В Калифорнии, стихотворение	47
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — На своей земле. Записи давних лет. Окончание	48
В. КАВЕРИН — Косой дождь, повесть	81
АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ — Письмо заложнику. Перевел с французского Р. Грачев	123

### ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. БЕЛЯЕВ, В. ТАНДИТ — Братское содружество стран социализма	133
--	-----

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Академик И. М. МАЙСКИЙ — Первые шаги посла (Из воспоминаний)	144
--	-----

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

И. РАДВОЛИНА — Встречи с Чехословакией	194
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. КУЗНЕЦОВ — Судьбы гуманизма	217
--------------------------------	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	231
Н. Коржавин. Мужественный голос. — Л. Скорино. Сказка и обыденность. — Ю. Бондарев. Повесть о любви. — В. Сергеев. Друзья и недруги. — Л. Лазарев. Еще раз о книге А. Метченко «Творчество Маяковского». — Ю. Волчек. Воображаемая жизнь. — Р. Зернова. Смерть надежды. — И. Крутикова. Прекрасная судьба.	

(См на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	256
<b>С. Устинов</b> , генерал-майор авиации запаса. Великий стратег.— <b>И. Пешкин</b> . Неотвратимый закон истории.— <b>А. Ильин</b> . На подступах к серьезному исследованию.— <b>О. Кузнецова</b> . Неопровержимые документы.— <b>М. Кораллов</b> . Энциклопедия древнерусской культуры.	

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Из литературного наследия <b>Н. К. Крупской</b> . Публикация и примечание <b>В. Максимовой</b>	270	
КОРОТКО О КНИГАХ	275	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	281	
ОТ РЕДАКЦИИ. «Новый мир» в 1963 году	284	
<table border="1"><tr><td>Эммануил Генрихович Казакевич</td></tr></table>	Эммануил Генрихович Казакевич	
Эммануил Генрихович Казакевич		
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ — О человеке и друге	287	

---

---

---

А. КУЛЕШОВ

★

## ИЗ НОВОЙ КНИГИ СТИХОВ

*С белорусского*

\* \* \*

Есть у поэта свой надел целинный  
Среди еще не вспаханных полей,  
Где, борозды вздымая, гнет он спину  
От первых дней и до последних дней.

Есть мыслей семена, он собирает  
Горстями их на жизненном пути.  
Дано им воплотиться в урожай  
И восковую спелость обрести.

Есть сердце, что в пути не охладело.  
Оно словам дает тепло и свет.  
Нет без него заветного надела.  
Нет зрелых мыслей. Да и жизни нет.

И есть ответственность — она безмерна —  
Перед людьми, перед самим собой,  
Чтоб, взрезав борозду строкою первой,  
Связать свой сноп шестнадцатой строкой.

\* \* \*

Всем бороздам, канавам и кюветам  
Весна потоки отдаст опять  
Рукою щедрой. Но примера в этом  
Поэзии с нее не нужно брать.

Не тысячами русел мир широкий  
Ей надо удивить апрельским днем,  
А все свои шумливые потоки  
Скопить, сберечь, соединить в одном.

Дать отдохнуть земному непокою,  
Угломниться мутным ручейкам  
И, став зеркально чистою рекою,  
Дарить себя дубравам и полям.

Чтоб щедрой быть не только в день весенний,  
 Чтоб влагою поить и в летний зной  
 Сухие корни жаждущих растений  
 И к паводку готовиться зимой.

\* \* \*

Березу посадил я при дороге.  
 Лет через сорок, через сорок пять  
 Не у проселка дереву стоять —  
 У нового столетья на пороге.

В июльский день потомок молодой,  
 Найдя приют под зеленью сквозною,  
 Здесь переждет часы дневного зноя,  
 Мотор горячий напоит водой.

Не будет знать он о моей могиле,  
 Не будет знать он о моей мечте,  
 Но вспомнит благодарно руки те,  
 Что вешний грунт лопатой разрыхлили

И в давний час — не для себя, для всех —  
 Взрастить сумели деревце на воле,  
 Березку эту не из леса в поле  
 Перенеся — из века в новый век.

\* \* \*

Десятилетия мчатся год за годом,  
 Как дождь, как пыль, как на голову снег.  
 На той земле, где, малый человек,  
 Я отдаю календарям, погодам,  
 Посеву, жатве — свой короткий век.

Стоит уже с цепами и метлою  
 День молотбы и у моих дверей.  
 И с каждым часом та пора видней,  
 Когда земля, как сказано не мною,  
 Меня в свой темный примет мавзолей.

В тот, где дубы сторукими корнями  
 На ощупь ищут влагу дни за днями,  
 Чтоб привести ее к своим стволам.  
 Там буду я. Там быть моим плодам,  
 Коль суждено им стать не семенами,  
 А мельничным достаться жерновам.

\* \* \*

Часы мои — не солнца диск в зените,  
 Не сердце, будоражащее грудь.  
 Вращаясь равномерно по орбите,  
 Сама Земля мой измеряет путь.

Дней и ночей блюда чередованье,  
 На месте не стоят материки.  
 На их живом мелькающем экране  
 Видны дорог и речек рушники.

Ковры весны преобразятся в лето,  
 Круженье листопада — в первый снег.  
 Я не хочу, чтоб некогда все это  
 Хотя б на миг остановило бег.

Застынет сердце, солнце в тучах сгинет,  
 Но ты, Земля, вертись, чтоб мне помочь:  
 Не дай упасть на темной половине,  
 Где дня не будет, будет только ночь.

\* \* \*

Небесный океан в холодной мгле  
 Простерся, неоглядный, первородный.  
 Все то, что звездам видно на земле,—  
 Лишь дно его, лишь мир его подводный.

Тут водоросли пуши вековой,  
 Тут облака, плывущие, как рыбы,  
 Тут горные хребты, как рифов глыбы...  
 Но волны, что бушуют подо мной,

Мир образуют свой. Над вечной тайной  
 Его глубин не властвует земля.  
 Тут свой простор, космический, бескрайный,  
 Для волн, встающих выше корабля.

Я — третий мир. Я капелька живая  
 Тех двух миров — обычный человек,  
 Что, землю с небом всей душой вбирая,  
 В единый мир сливает их навек.

\* \* \*

Покинув берег, первый шторм я встретил  
 На третий день. Метался влажный мрак.  
 Для вдохновенья флагам нужен ветер,  
 А мне для вдохновенья нужен флаг.

Не тот, однако, что на милость стужам  
 Сдается, встретив непогодь и тьму.  
 Ни перед злом, ни перед равнодушьем  
 Я белый флаг вовек не подниму.

Ни перед бурей неудержимой,  
 Ни перед смертью, ни перед любимой,  
 Когда она меня не моряком  
 Захочет видеть, а своим рабом.

Пуškai бушуют волны. Вызов смелый  
 Бросаю я, взметнув навстречу им  
 Багряный флаг немеркнувший.  
 А белый  
 Я оставляю недругам своим.

\* \* \*

Опять стою, объятый чувством странным,  
 Гляжу на след, бурлящий за кормой,  
 Как будто я плыву не океаном,  
 А Беседью — желанною рекой.

По Беседи плыву! Как мальчугану,  
 Судьба решила мне ее послать.  
 Река родная за руку, как мать,  
 Ведет меня домой по океану.

Она меня сквозь яростный циклон  
 Ведет — и не страшна ей непогода,—  
 Ведет, неся махину теплохода  
 Почти что в девяносто тысяч тонн.

Что для нее кипенье этих серых,  
 Угрюмых волн и тяжесть корабля,  
 Когда на горизонте милый берег —  
 Раскрывшая объятия земля.

\* \* \*

А вечность с неизведанных дорог  
 На нас взирает, как на муравейник.  
 Вот-вот возьмет, сдастся, в руки венник  
 И выметет, как мусор за порог.

Скажи мне, время, кто в лесах дремучих  
 Тогда топор поднимет в тишине  
 Пустых дубрав и по кругам на пне  
 Сочтет года твоих деревьев могучих?

Твоих столетий зримые черты  
 Кто на граните высечет суровом?  
 Кто сможет делом подтвердить и словом,  
 Что впрямь на свете существуешь ты?

Не властелином в том краю безлюдья  
 Ты будешь, время, а слепцом средь тьмы,  
 Пока для жизни, для рабочих буден,  
 Для долгих дел не возродимся мы.

\* \* \*

Не стародавний бард, но все равно я  
Былого барда правнук или внук.  
С ним не равняюсь я своей судьбою,  
Она дала не шпагу мне, не лук,

А Землю всю с ареной — Млечным шляхом.  
Качу ее, похожую на мяч,  
Охваченную водородным страхом,  
Спешу, больную, завернуть в кумач.  
Слежу, чтоб не столкнул ее с орбиты  
Заокеанский грибовидный взрыв.

Напрасно, как бесстрастные арбитры,  
Галактики,  
арену окружив,  
Глядят на поединок с хладнокровьем,  
Как на забаву, что знакома им.

Мяч круглый — есть футбольное присловье.  
И кто кого — еще мы поглядим!

\* \* \*

Мне что ни год, то жизнью жить иной  
В двадцатом нашем веке довелось.  
Я — колос в море зреющих колосьев,  
Мильоны судеб собраны в одной  
Моей судьбе — всё их разноголосье.

Ища для взлета новые края,  
Крылатым веком вызволенный атом,  
Взаимы у неба взял жилплощадь я,  
Чтоб стать ему товарищем и братом.  
Но это не последняя моя  
Судьба в столетье нынешнем, двадцатом.

Преображаться буду я стократ  
Из мысли в плоть, из жизни в жизнь иную.  
Я чувствую, на свете существуя,  
Что мне сейчас отнюдь не пятьдесят,  
Что лет пятьсот, не менее, живу я.

\* \* \*

Сравнить бы музу с матерью моей,  
Но слов не нахожу я для сравнений.  
Ведь мать одна, как солнце в день весенний,  
Она самой поэзии родней.

Сравнить я мог бы музу с первой тропкой,  
Что песню обвела вокруг села,  
Когда б меня с моею песней робкой  
Дорогам тропка не передала.



Когда б из рук полей не передали  
 Меня проселки рельсовым путям,  
 А рельсы — новой неоглядной дали.  
 Какое музе я сравненье дам?

Она моя судьба на белом свете  
 С неугасимой жаждою в глазах.  
 Тропинки вслед за ней бегут, как дети.  
 Навстречу ей летит за шляхом шлях.

\* \* \*

Я гибну от бездействия не месяц,  
 Не два, не три... Где трудным дням предел?  
 Я сам себя готов скорей повесить,  
 Чем жить для мелких и ничтожных дел.

Запал прошел — я сердцем разумею,  
 Что мне помочь не смогут доктора.  
 Схожу с ума, уже и не надеюсь,  
 Что в жизни будет лучшая пора.

Она сама, кладя конец мытарствам,  
 Приносит мне из животворных рек  
 Шестнадцать капель своего лекарства —  
 Шестнадцать строк, чтоб исцелить навек.

Шестнадцать тропок на листке бумаги,  
 Меня ведущих в мир, чтобы опять  
 Дерзать, мечтать, шагать через овраги...  
 Шестнадцать рук — чтоб землю всю обнять!

*Авторизованный перевод Якова Хелемского.*



---

ЕФИМ ДОРОШ

★

## РАЙГОРОД В ФЕВРАЛЕ

**Н**акануне вечером небо было мглистое, почти без звезд. Тонкий месяц лежал лодочкой. Говорят, что это к неприятью. И правда, сегодня с утра повалил снег, задула метелица. Над крышами мотается из стороны в сторону и смешивается с летящим снегом серый дым из печных труб.

Я выхожу из дому. На улицах, заваленных снегом, пахнет горфяным дымом — чем-то он напоминает кизячный. Со стороны озера, чуть наклонившись вперед, сквозь падающий снег идет рыбак, тащит за собой железные салазки с укрепленным на них деревянным ящичком. Крышка у ящика выдвижная, как у пенала. В ящичке, наверно, рыба — сейчас окунь ловится. За салазками, болтаясь на истертом уже колесами автобуса снегу, тянется привязанная пешня — кованый остроконечник, посаженный на деревянную рукоять, чертит снег. Я опять в Райгороде — впервые в этом году.

Снег перестал. День стоит сырой, тихий, теплый. Старые липы чернеют на снегу правее белого Дмитриевского монастыря. Между стволами деревьев виднеется заснеженное озеро. Желтоватые былинки торчат из снега. Еще правее, позади лип, стоит устремившаяся вверх церковь Николая на Песках. Я прохожу под ее стенами, и она как бы чуть запрокинулась: барабаны, срезанные понизу жесткой линией крыши, представляются короткими, почерневшие от времени луковичные главки завалились, видна шершавость побеленного кирпича и очень выпуклы, скульптурны наличники. Из открытой двери крыльца, ведущего на галерею, тянет пенькой. Рабочие несут оттуда на улицу охапки мягких полосатых матрацев — должно быть, там склад.

Берег озера обрывист и неровен, кромка его косматая от жестких, полусасыпанных снегом прошлогодних трав. Над берегом возвышается отсыревшая, местами осыпающаяся монастырская стена с исхлестанными прутиками березок, выросших в расселинах, со старым, проржавевшим железом на башенных шатрах — в ветреную погоду железо погромыхивает.

Внизу, за волнистой линией берега, плоско лежит белое озеро.

Пешеходы цепочкой растянулись по озеру. Кое-где видны одинокие черные пятнышки — это рыбаки сидят над лунками. На противоположном берегу темнеют среди снегов селения: Рыбное с исполинской его колокольней, которая сейчас кажется плоской и серой, чуть темнее серого неба; слева от Рыбного и несколько выше — Ржищи; а там Угожи, Усолы, Сельцо...

Удивительно чист воздух над озером.

Здесьшний воздух и как бы укрупнившиеся вдруг подробности обычной жизни особенно хорошо ощущаешь в первый день по приезде. и тогда становится вдруг понятно, как это мог Тургенев написать: «К чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде...»

На главной улице, где по-московски пахнет сгоревшим бензином, запахло, как в детстве, соломой, лошадьё и овчиной — у больницы стоят дровни, в которых монументом восседает одетый в тулуп возница.

Вот и Каменный мост, горбящийся над заснеженным крепостным рвом. Снег во рву, на склонах крепостного вала и на оштукатуренных перилах моста почти такой же белый, как в поле, а на мостовой, перетертый колесами машин, он серый. За двумя желтыми домами по ту сторону моста, вынуждая мостовую круто повернуть влево, встала розовая кремлевская стена с белой надвратной церковью, похожей на четырехугольную башню.

Сергей Сергеевич, архитектор, реставрирующий райгородский кремль, показывает мне каменные «хоромы для пришествия государева» — путевой дворец, выстроенный в семнадцатом веке здешним владыкой на случай приезда царя. Хоромы были перестроены впоследствии в винный склад, служили, кажется, и каретным сараем, и чтобы восстановить это редкое для середины семнадцатого столетия, особенно в провинции, жилое каменное здание, видевшее в своих стенах основатель последней династии, понадобилось свергнуть монархию и создать социалистическое общество.

Затененные лесами, едва краснеют в наступающих сумерках посевшие от времени, как бы заплесневелые стены. На старом кирпиче празднично выглядят недавно восстановленные, еще не успевшие потемнеть кирпичные наличники окон. Вдоль стен тянется ров — это откапывали нижнюю часть здания, до так называемой линии дневной поверхности, с течением времени заросшей напластованиями земли. С оплывшего, скользкого от сырого снега земляного вала переброшена в проем одной из дверей доска, поперек которой прибиты планки. Мы с Сергеем Сергеевичем входим под недавно выложенные своды. Здесь сумрачно, потому что окон немного и они невелики, а на дворе уже предвечерняя синева. Пахнет землей, цементным раствором и старым кирпичем. Мы стоим в длинном и узком покое с печурами в стенах; эти невысокие ниши, где в старину держали разного рода утварь, Сергей Сергеевич называет тогдашней встроенной мебелью. Я спрашиваю архитектора, какое назначение мог иметь этот покой, похожий на зал, но всего лишь с одним окном в торцовой его части, и он отвечает мне, что здесь скорее всего находилась царская охрана, это была кордегардия, карауля. Я представляю себе такие же синие сумерки триста лет назад, пофыркивание и ржание усталых после дороги лошадей, людской гомон и стук оружия, с которым идет сюда стража.

Вечер. Только что башенно пробили часы на хозяйской половине, сперва они проиграли четыре четверти, а потом стали гулко отбивать: раз... два... три... четыре... Девять часов. На улице тихо и глухо, как в полночь. Михаил Васильевич, хозяин дома, где я по обыкновению останавлился, должно быть укладываясь спать, заканчивает какой-то разговор с домашними одним из многих своих изречений: «Денежки не бог, а много милости дают».

\* \* \*

Первое, что я слышу утром, это опять же слова старика. Михаил Васильевич, вероятно посмотрев в окно, говорит: «Февраль воду подпустит, а март подберет». Редкий и крупный снег летит наискосок.

А к полудню — оттепель. На тротуарах в центре города скользко. В райкоме партии Василий Васильевич рассказывает мне, что в Ужболе теперь уже не Ликин председательствует, там выбрали Романа Евстафьяча Глебушкина, а Николай Леонидович наш стал председате-

лем в Усолах. Известие это меня и огорчило и разозлило, особенно же та удовлетворенность, какая мне послышалась в голосе секретаря райкома. Складывалось впечатление, будто райкому наконец-то удалось разрешить труднейшую проблему — уговорить усольских колхозников выбрать Николая Леонидовича, а ужбольских — отказаться от него ради Романа Евстафьяча. Конечно, последнее сделать было нелегко, так ведь и незачем было это делать. Рассказывая, как это все происходило, Василий Васильевич доверительно перешел на «ты», он как бы делился со мной профессиональной своей удачей.

Я вспомнил Ужбол и те три года, в течение которых оскудевший наш колхоз стал приобретать достаток. Конечно, не одному Николаю Леонидовичу обязаны колхозники, но и самим себе, главное же всего — тем обстоятельствам, какие сложились в деревне после памятных сентябрьских решений. Но ведь и до сентября пятьдесят третьего года в Ужболе жили те самые люди, какие живут сейчас. А толковые председатели даже при неблагоприятных прежних условиях неплохо вели хозяйство, хотя приходилось им и от ретивых начальников отбиваться и побуждать к работе колхозников, не видевших для себя в этом выгоды. Вот это-то и позволяет считать председателя колхоза как бы замковым камнем, который, будучи поставлен в центре свода, держит все сооружение. И не случится ли так, подумалось мне, что без Николая Леонидовича дела в Ужболе пойдут вразброд?

Здесь я вдруг сообразил, что Роман Евстафьяч Глебушкин, об избрании которого председателем в Ужболе только что сообщил мне Василий Васильевич, есть не кто иной, как Ромка, исконный ужбольский житель, который хотя и достиг уже лет тридцати, не меньше, однако ни жениться не сумел, ни заслужить у своих односельчан величания по отчеству.

У Ромки Глебушкина от рождения ноги повернуты стопами внутрь, из-за чего он при ходьбе переступает одной ногой через другую. А в деревне и сегодня еще с насмешливым равнодушием относятся ко всякому физическому уродству, быть может, потому, что деревенский человек в течение тысячелетий привык видеть, как все слабое в природе, дабы не обременять землю, обрекается гибели. Впрочем, и социальные условия были таковы, что калеку в крестьянской семье если и не попрекали куском хлеба, то, ничуть не стесняясь, жалостливо вздыхали при нем: прибрал бы господь!

Убогому, чтобы деревня стала уважать его, нужны незаурядные достоинства, Ромка же наш таковыми не отличался, напротив, известно, что несколько лет назад, работая кладовщиком, он изобличен был в воровстве. Правда, малый он расторопный, может по любому поводу пронести речь, но эта его способность, благодаря которой он и замечен был в свое время начальством, пославшим его учиться, в деревне ни во что не ставится, вызывает лишь насмешки, точно так же как и бойкость, с какой Ромка при косолапости своей отплясывает «елецко-ко» или катит на велосипеде.

Обо всем этом я говорю Василию Васильевичу, и он отвечает мне многозначительно: «Да, придется Глебушкину, как тому зайцу, по второму кругу бежать». Но я не охотник, иносказание это мне непонятно.

Семен Семенович, второй секретарь райкома, едет в Ужбол, и я прошу его взять меня с собой. Мокрый асфальт московского шоссе чернеет среди белых полей. Над полями серое небо. Мимо нас проносятся с шипением машины, и позади каждой завивается грязноватая дымка. Семен Семенович рассказывает, что в Ужболе начали строить телевизионную вышку. Ужбол стоит на коренном берегу озера, а за селом, после

небольшой впадины, поднялась еще одна возвышенность, откуда я всегда любовался приозерной котловиной, и вот это-то место оказалось самым высоким на большом пространстве земли, здесь удобнее всего поместить ретрансляционное устройство.

Мы сворачиваем вправо, на тихую дорогу. Снег на дороге плотно слежался, он в желтоватых пятнах и накатан до лоска. Впереди — у подножия и на склоне холма — темнеет Ужбол. Церковь торчит над мокрыми, лезущими в гору крышами. Позади изб как бы клубятся голые вишенники.

К дому Натальи Кузьминишны не подойти, так обледенел бугор, на котором он стоит, особенно возле крыльца, где вода из углового водостока намерзла толстыми наплывами. Не помогает и зола, кинутая небрежной рукой.

«А куда мне ходить, — в ответ на мое замечание восклицает хозяйка, — некуда мне ходить, все болею!» Она говорит, что сейчас наставит самовар, однако, налив его водой, присаживается на минутку, принимается рассказывать, как забирали у них Николая Леонидовича, а колхозники не хотели его отпускать, да и он, когда прощался, то чуть не плакал. В руках у нее пучок лучины и полуоткрытый коробок спичек, они мешают ей, и она откладывает их в сторону. Она вспоминает собрание, на котором и мужики и бабы кричали, пускай останется Николай Леонидович, а Ромку они не хотят, не нужен им вор. Ромка же сидел за столом на сцене — куда у него только стыд девался! — и рядом с Ромкой стоял начальник из района, такой невидный собою, но быстрый, говорят, председатель райисполкома. Начальник этот все объяснял, что вы, мол, сами хозяева, кого захотите, того и выберете, но кто против Романа Евстафьяча кричит, так пускай подумает, за клевету и ответить можно. Время уже подошло к полуночи, все ужарели, и тут начальник велел всем, которые против, поднять руки. Никто и не поднял: одни думали — про Николая Леонидовича разговор, его же еще не отпустили; а другие догадались, что про Ромку речь, но поднимать не посмели — ну-ка он станет председателем! И вышло так, что раз против Ромки никто руки не поднял, значит, его и выбрали.

Наталья Кузьминишна, рассказывая, через каждые три слова восклицает: «Ой!» В этих ее восклицаниях одновременно слышится простодушно удивление, наивный ужас, порицание, укоризна. Как же не стыдно такому человеку, говорит она, как председатель райисполкома, глядеть людям прямо в глаза и обманывать. И чтобы я не подумал, что это лишь ее, бабье, суждение, она ссылается на Павла Ивановича Сурикова, который тоже так считает, а уж он зря не скажет, он человек старый.

Темный румянец выступил на округлых, выпуклых скулах Натальи Кузьминишны. Большие ее глаза блестят. Она говорит: «Так я наставлю самовар!» Но с места не поднимается, только берет лучину и спички. Она начинает рассказывать, как в тот день, когда в Усолах выбрали Николая Леонидовича, ужбольские мужики дежурили у телефона.

Мужики, говорит она, чуть ли не каждые полчаса звонили в Усолы, справлялись, как там идет собрание, а тамошний дежурный, сидевший у телефона, бегал в клуб и, воротясь назад, обо всем докладывал.

Наталья Кузьминишна, хотя и слышала об этом из третьих уст, рассказывает, однако, чрезвычайно картинно, словно сама все видела. Свой рассказ она опять то и дело прерывает восклицаниями: «Ой!» Междометие это теперь выражает любопытство, тревогу, надежду. Начинает она с того, как Василий Васильевич, секретарь райкома, объявил про Николая Леонидовича, что райком рекомендует его в Усолы председателем, и как одни колхозники при этом принялись шуметь, что

им и со своим хорошо, а другие стали кричать: пускай покажется!.. Николай-от Леонидович не Ромке чета, наперед не выставился, сидел дома, у жены, — она учительница в Усолах.

Слушая Наталью Кузьминишну, я заключил, что и она сама и ужбольские мужики, дежурившие тогда у телефона, нисколько не сомневались в том, что Николай Леонидович никому навязываться не станет, но все же, когда узнали, как отправлены были к нему домой послы, испытали при этом известии почти родительское удовлетворение. Впрочем, одновременно эти самые мужики, а вслед за ними и Наталья Кузьминишна исполнились и некоей ревнивой обиды за бывшего своего председателя, от которого кто-то посмел отказаться, но тут же чуть ли не по-детски обрадовались последнему обстоятельству, вообразив, что теперь можно будет все поворотить на старое и Николай Леонидович снова станет председателем в Ужболе.

Что до Натальи Кузьминишны, то эти ее чувства мне понятны, и я нисколько не удивляюсь тому, с каким восхищением она рассказывает, как сидевшие в рядах колхозники залюбовались Николаем Леонидовичем, его статью, повадкой, когда он в своем новом черном пальто с воротником из серого каракуля и в серой каракулевой шапке неспешно проследовал на сцену. Наталья Кузьминишна — и вообще-то женщина несколько восторженная, с живым воображением, а Николай Леонидович как-никак все эти годы стоял у нее на квартире, одинаково с обоими ее сыновьями бывал взыскан и строгой заботой и материнской любовью.

Но чтобы ужбольские мужики, среди которых были и те, кого молодой председатель, бывало, понуждал вывезти на скотный двор самоуправно накошенное и уже сметанное в стожок сено, — чтобы они, даже и во хмелю не расположенные к чувствительности, так переживали все обстоятельства избрания Николая Леонидовича председателем в Усолах, гордились им, возмущались недоверием, будто бы выказанным ему, и одновременно надеялись, что его могут не выбрать и он вернется к ним, — этого я, признаться, не ожидал.

Надо полагать, что и мужики здешние, а не только бабы, истосковались по некоей определенности, основательности. Им осточертела зыбкость того существования, какое они ведут в Ужболе вот уже сколько лет.

То им пришлют сюда председателя, который, будучи привержен ко всякого рода новациям, прикажет доить коров не три раза, как повелось исстари, но два, и только они притерпят к этому, как тот же председатель, прочитав газету, распорядится снова доить три раза. Суть даже не в том, двухкратная или трехкратная дойка удобнее и выгоднее, а в естественном стремлении человека к чему-либо постоянному, без чего, к слову сказать, вообще нельзя заниматься сельским хозяйством, потому что из повторяемости приемов складывается культура.

А то еще случится, приедет председатель, который к научным методам ведения хозяйства равнодушен, но зато одержим нетерпеливой страстью избавить колхозников от мелкособственнических пережитков, ради чего он приказывает добровольно сдать в колхоз находящиеся в личной собственности коров. При этом новый председатель обещает чуть ли не бесплатное молоко, а чтобы колхозники не противились своему счастью, не дает им ни пасты, ни сена накопить. Иные посдают своих коров, другие прирежут их, все обзаведутся козами и забудут думать о своих Милках и Маньках...

Впрочем, бывает, что после этого привезут председателя, поставившего себе целью обеспечить каждый колхозный двор если не коровой,

так теленком, и об успехах его в этом с восторгом пишет районная газета.

А сколько перебивало в Ужболе пьяниц или жуликов!

И хотя иной здешний мужик, не клавший охулки на руку, когда председателем сидел забулдыга или плут, хотя он, бывало, посиживая в лавочке после выпитых «под мануфактуру» двухсот граммов, чистил Николая Леонидовича, но даже и ему, как вдруг оказалось, жалко стало установившегося порядка.

Пока я размышляю обо всем этом, Наталья Кузьминишна по некоей ассоциации, мною не уловленной, соскользнула уже на другую, не менее близкую ей тему. Она принялась рассказывать о недавней свадьбе старшего сына своего Виктора: как собирали свадьбу и сколько было столов, то есть сколько раз садились гости за стол... При этом Наталья Кузьминишна высказывает сожаление, что болезнь помешала мне побывать на свадьбе.

\* \* \*

Оттепель. Сыро. Льет с крыш. По временам проглядывает солнце. Пришла Соня из Ужбола — Сонька, как все ее зовут. Ей года двадцать три, не меньше, и у нее трехлетний сын. Ростом она невелика, на ней черная плюшевая жакетка и серый, плотно повязанный платочек. Лицо у нее раскраснелось, нос чуть вздернут, большие серые глаза глядят весело и доброжелательно. Еще в сених, оббивая валенки, она рассказывает громко, нараспев: «С вечера-ту шел дождь, а ночью погода лепила!» Потом она сообщает, что приходила покупать кровать. В комнаты она не идет, а усаживается на кухне, за столик у окна, напротив печки. Причем садится она с той стороны, которая ближе к двери, выходящей в сени. Сколько я помню себя, я всегда видел, что случайный гость в деревне, хотя бы он часа два просидел, располагается у дверей. А Сонька наша не хуже иной старухи знакома с обычаями и неукоснительно соблюдает этикет.

Попеняв на меня за то, что я был вчера в Ужболе, а к ним не зашел, Сонька принимается выкладывать тамошние новости, главным образом о свадьбах, которых теперь много. Она рассказывает, что на свадьбе у Виктора младший брат его Андрей не пустил песельниц, такой уж он стал культурный, а вот у ее двоюродного брата на свадьбе — тоже Виктора — полно было ряженных баб. Дарья Васильевна, хозяйка моя, говорит, что и она, Сонька, даст бог, выйдет замуж. Сонька отвечает, как это водится среди молоденьких женщин: «Не пойду я никогда!» Потом, оставив кокетливый тон, она говорит серьезно: «Что уж чужой век заедать... Куда мне с ребенком».

Я знаю Соньку вот уже скоро пять лет.

В девушках Сонька была чуть ли не самая маленькая и худенькая среди своих сверстниц в Ужболе. Она работала на лошади, как говорят здесь, делая ударение на последнем слоге, была «прикрепленцем» — этим словом, родившимся в колхозные времена, называют работника, за которым закреплены лошадь с телегой или санями. Это значит, что каждый день Сонька запрягала и распрягала высокого, могучих статей коня — их не назовешь лошадьми, а именно конями, ужбольских буланых и соловых тяжеловозов, достойных носить на себе богатырей. Я до сих пор не могу понять, как удавалось Соньке дотянуться до него, чтобы надеть большой и нелегкий хомут. Но ей приходилось еще самой нагружать и разгружать воз — соломой ли, навозом ли, мешками с картофелем или зерном. Я помню, однажды она шла в клуб, нарядная, благоухающая какими-то сладкими духами, с лихо откинутой назад прядкой светлых волос над правым ухом. Я остановил ее, начал расспрашивать о работе,

и она, проведя ладонью по животу, простодушно сказала, что и у нее, как у матери, наверно будет опущение желудка.

Мне не доводилось слышать, чтобы Соньку кто-нибудь хвалил за ее работу. Да и чем ей было здесь отличиться. Но я никогда не видел ее сидящей без дела или чтобы она в неположенное время работала на усадьбе, и не было такого председателя, который не отпустил бы ее с «товаром» в город, а это в известной мере и есть оценка трудового усердия.

Не чужда была Сонька и общественной деятельности. Она заведовала сельским клубом и обязанности свои исполняла исправно, то есть раз в неделю, перед танцами, мыла полы, заправляла керосином и зажигала, когда нужно, лампы, хранила у себя дома за печкой сотни полторы книжек, охотно отзываясь на чье-либо желание взять что-нибудь почитать. Едва ли можно требовать большего от девушки, которая не кончила и пяти классов, — у Соньки умер в ту пору отец, а послевоенные годы в Ужболе были голодные.

С точки зрения человека, для которого деревня — это затейливо крытые черепицей фермы с доильными залами, похожими на операционные, где девушки в белых халатах доят коров электрическими аппаратами; прямые, словно вычерченные по линейке поля, по которым раскатывают сияющие красным лаком тракторы; металлическая вышка ветряной установки с веером плоскостей на ее вершине; наконец Дом культуры с классическим фронтоном и колоннами, — с точки зрения такого человека Соньки нашей как бы даже и не существует, потому что ее не этнесешь ни к одной из тех категорий, какие будто бы только и обитают в современной деревне: доярка, тракторист, электрик...

А я люблю наблюдать Соньку, когда в марте, пробежав рядом с нагруженными навозом санями, одетая в стеганку с фартуком поверх нее, подпоясанная, в резиновых сапогах, она гикнет вдруг, упадет в передок раскатившихся на обледенелом спуске саней, покатит под гору от конюшни. Или как она возвращается с поля в «полотьё», кажется, еще больше исхудавшая, пропыленная, с жесткими, перепачканными соком растений руками, с надранной в огурцах или в цикории лебедой и сурепкой в мешке за плечами — для козы.

У Соньки на усадьбе — отличная картошка; облупишь ее, разломишь, и она рассыплется крупинками. Сонька сажает картошку не возле дома, где земля чересчур жирная, а на том клочке, что ей отрезали в поле. И капуста у нее всегда тугая, белая; однажды, «для интереса», она и красную посадила. Горох у Соньки только сахарный; они с матерью сушат его, как в бывалошние времена. Свеклу она сажает, так уж точно — столовая; колупнешь, и выступит чуть ли не черный сок. И лук у нее никогда не бывает затеклый, то есть позеленевший сверху, под кожурой, а у других — сколько хочешь...

Мне нравится в середине лета бывать на усадьбе у Соньки. Здесь пахнет горячей, хорошо унавоженной землей. Должно быть, тысячу лет удобряют ее, огородную землю. в Ужболе, и поэтому даже пересохшая, резко освещенная полуденным солнцем, она все-таки на взгляд черная. В эту пору, когда огуречные плети уже кое-где пожелтели, когда на кустах томатов, привязанных мочалкой к прямым ореховым палочкам, среди темной зелени краснеет припорошенный пылью теплый плод, когда еще много на деревьях чернеется вишни и со стороны заросшего крапивой жестколистого малинника душно и сладко тянет поспевшей ягодой, — в эту пору лета экзотическую прелесть и одновременно некую хозяйственную черту вносят в приусадебный огород отцветающие семенники. Сразу и не согласишься, что это лук, когда взглянешь на белые с едва приметным зеленым оттенком шары, состоящие из мелких цветочков, которые венчают



собой недвижимые ряды крепких, несколько раздувшихся посередине, будто отлакированных трубок. Нежно желтеют собранные в маленькие зонтички цветы моркови на длинных тонких стебельках, которые, в свою очередь, собраны в большой зонт, посаженный на высокий одеревенелый стебель.

Спросишь Соньку, отчего у нее все так хорошо родит. От земли, скажет она беззаботно, от семян. А мать прибавит: мы по этому делу сызмала.

В один из таких летних дней три года тому назад Сонька явилась с решетом спелой малины к Андрею Владимировичу, мелиоратору, работавшему когда-то в Ужболе и теперь приехавшему к нам в гости. Я давно не встречал ее или же видел мельком, но слышал о ней, что она ушла с конюшни и работает прицепщицей. И еще я слышал, будто она собирается замуж за некоего молодца из соседней деревни, вернувшегося осенью из армии. Она все передавала, что обязательно зайдет, но не приходила, и мать ее при встречах объясняла, что она стесняется, говорит: «Я не смею. Вдруг они чай пьют».

Я к удивлению своему обнаружил, что Сонька заметно пополнила в талии и что по лицу ее расплылись желтоватые пятна. Подошла она к нашему дому, ведя новенький велосипед, о котором небрежно сказала — золотки. Должна быть, она считала, что как бы уже вышла замуж, и этим словом «золотка» оправдывала в наших глазах свою беременность. Она то и дело поправляла обручальное кольцо и вдруг стала приглашать Андрея Владимировича, который возвращался в Москву, чтобы он обязательно приехал к ней на свадьбу.

Несколько дней спустя я встретил ее тетку, которая рассказала, как она ходила к жениху договариваться о свадьбе, но у жениха нет денег, и у Соньки ничего нет, поэтому придется ей продать свою корову. Я еще подумал, как разорительны деревенские свадьбы, а не сделаешь, как у людей, осудят.

В самом начале осени я уехал из Ужбола.

А посреди зимы от Соньки пришло отчаянное письмо.

Сонька писала: «Простите меня за мой проступок, ведь я теперь всех не смею, как у меня получилось нехорошо, не могу глаза казать. Но одно думаю, что мне свой нос совать некуда, вот на этом и останавливаюсь». Она жаловалась, что плохо себя чувствует, день один — ничего, потом неделю лежит, как плаха. «Прямо я замучилась, и вообще стала неузнаваемая Сонька». Мальчик, писала она, большей частью в отца, и это ей обидно, потому что отец того не стэит. Она радовалась, что мальчик полненький, хотя сама она похудела, но это теперь одно-едино, лишь бы ему было хорошо. «В субботу мы мылись, то есть парились, это по-нашему, и он такой беленький выглядел, совсем хороший. Мама сказала, что вот вы приедете в гости и мы его вырядим, как царевича». И опять она жаловалась, как ей худо: «Пошла по воду первый день после боли да еще по-ревела и голова кружилась, думала, не дойду». Впрочем, тут же она сообщала, что покрыла дранкой дом, что за работу с нее взяли семьсот рублей и пол-литра вина, но сделали хорошо. Дранки ушло тысячи с четыре, пришлось прикупить. Она просила написать, как мы все живем. «О себе ведь вот сколько понаписала!» И снова принималась горевать, что они с сыном «брошены ото всего и теперь ниже всех». «Как это тяжело переживать, — сокрушалась она и сама же успокаивала себя: — Ну, ладно, как-нибудь!»

Прочитали мы с Андреем Владимировичем это письмо, посочувствовали Соньке, вздыхали, вспомнили другие похожие случаи, и не хуже тех деревенских баб, которым все наперед известно, рассудили: пропала наша Сонька.

А она — вот она...

Покамест Сонька объясняет, почему она не взяла кровать — ей хотелось с пружинным матрацем, а они все с сетками; покамест она рассказывает, какой купила гардероб — и небольшой, свободно в дверь прошел, и вместительный; покамест она вспоминает, кто еще из деревенских женился или же собирается жениться, я размышляю о том, как нелегко дались ей эти годы.

Помнится, рассказывали мне, как однажды осенью, под вечер, некий почтенный ужбольский житель, повстречав Соньку, сказал, будто бы видел в городе отца ее ребенка и тот, мол, наказывал, пускай приходит. Сонька наша схватилась, вырядила мальчонку, побежала бегом, не чуя под собою ног.

Пришла, входит в избу, встала у дверей, здоровается.

Мать ее бывшего жениха месила корове, не поднимая головы, чего-то буркнула в ответ. Сам он, малый этот, вытянулся на лежанке одетый, — он и не посмотрел в сторону Соньки, повернулся лицом к печке и натянул повыше ватник. Мать сказала ему: сходил бы по воду. Он как-то задом сполз с лежанки. и бочком, не оглядываясь, прошел в сени. А Сонька все стояла с ребенком на руках. И мать прошла мимо нее, понесла месиво. Сонька все продолжала стоять. Потом она тихо пошла прочь.

«И Роман Евстафич наш женится», — сообщает мне Сонька.

Это очень похоже на нее, что недавнего Ромку, раз уж он стал председателем, она величает по имени-отчеству; вот и бывшую свою жилищку, землеустроителя Маргариту, на которой женился Виктор, старший сын Натальи Кузьминишны, она за глаза называет теперь не иначе, как Маргарита Витальевна.

Проводив Соньку, я отправляюсь гулять

Белое от снега озеро с сероватыми пятнами наледей.

Серое небо. Противоположный холмистый берег темнее озера, но чуть светлее неба. На склонах берега едва различимые серые села: избы, деревья. И вдруг проглянуло солнце. Сперва, вспыхнув, засверкал наст на дальнем поле за озером. Затем, когда я повернул назад, солнцем осветился каждый кирпич белых облезлых стен Дмитриевского монастыря, его готические беседки на башнях, золотая, в шипах, сказочная булава на куполе надвратной башни.

Потом солнце достигает кремля, стены его и башни розовеют, сияют золоченые подзоры, и прапорцы, и кресты, и одинокая глава белого Спаса.

\* \* \*

Мороз. Небо, если посмотреть в окно, зеленоватое, в мелких облаках.

В доме через дорогу, наискосок от нас, вчера играли свадьбу и сегодня еще продолжают гулять. Невеста — деревенская, говорят, доярка — здоровая, рукастая девица. А жених мелковат ростом, что-то в нем болезненное, щуплый он, хлипкий, хотя и задиристый. Он сидел в тюрьме за разбой — раздевал прохожих, — недавно только вернулся. Девицу он прельстил, вероятно, тем, что городской; то есть, выйдя за него замуж, она станет жить в городе.

Вот он выбежал из ворот, без шапки и пальто, шумит, машет руками.

Серый костюм на нем, с широкими плечами длинного пиджака и широкими же длинными брюками по здешней моде, висит мешком, будто с чужого плеча.

Михаил Васильевич наш, поглядывая в окно, замечает саркастически: «Жених-то — в тятиной паре».

Бывшая Николо-Песковская слобода, нынешняя улица Бебеля, протянулась от старинной церкви Николы на Песках до заболоченного берега озера, где из снежных сугробов, исхлестанные ветрами, торчат желтые тростники. Улица сплошь завалена снегом, только вдоль домов прорыты глубокие траншеи. Дома здесь почти все словно вчера срублены, иные обшиты тесом и покрашены, другие лишь проолифены, крыши железные, заборы крепкие. Стоит только взглянуть на обширные усадьбы позади каждого дома, на сады, на лодки, лежащие вверх дном в каждом дворе, чтобы понять, откуда достаток.

Бедный Август Бебель!

Вечером я отправляюсь в гости к Николаю Семеновичу Зябликову, старому агроному, преподавателю здешнего сельскохозяйственного техникума. Николай Семенович живет неподалеку от нас в двухэтажном, крашенном охрой деревянном доме с белыми наличниками. Когда я подхожу к этому дому, особенно зимой, мне всегда вспоминается картина Левитана «Март», где изображен точно такой же русский провинциальный дом и лошадь с санями возле него.

Я смотрю на освещенные окна и думаю о том, что вот уже скоро тридцать лет светятся они, а до этого, в другом городе, где жил тогда Николай Семенович, был другой дом, такой же уездный, и так же светил он каждому, кто искал доброго участия и откровенных разговоров про все на свете.

Было время, в доме у Николая Семеновича обсуждали ленинскую статью о продналоге, читали «Двенадцать» Блока; впрочем, превыше всех поэтов здесь ставят Некрасова. Здесь спорили об экономических воззрениях известных в ту пору профессоров Чайнова и Кондратьева — точнее сказать, всякое инакомыслие, коль скоро речь о деревенской хозяйственной повседневности, называли «буржуазной чайновщиной» или «буржуазной кондратьевщиной», что, однако же, не мешало при расставании, доспорив у калитки, пригласить противника на воскресный пирог. И песни здесь певали, заканчивая вечер обязательной студенческой-луговой, которая поется на мотив «Дуни».

Дрянь трава — лугам угроза,  
Тоaira каэспитоза...  
Извивается красиво,  
Это Викиа сатива...  
Вы не бойтесь осоки —  
Сапоги у вас высоки...

Любовь к передвижникам в этом доме так же естественна, как любовь к отцу и к матери, а про картины французских импрессионистов сдержанно говорят: «Красиво». Здесь рассуждают об особенностях шведского клевера или райграса пастбищного, потом заводят разговор, в котором то и дело слышится: «мезозой», «юрские отложения», «третичный период», «рухляк»... Дело здесь не в наивной любознательности, как может показаться, — хотя к знаниям в этом доме интерес бескорыстный, — просто Николай Семенович, будучи знатоком луговых трав, считает необходимым для себя знать и почвы, а процесс почвообразования тесно связан с геологией. Растениями занимается всю жизнь и Татьяна Алексеевна, жена Николая Семеновича, учительница ботаники. Но если Николай Семенович рассматривает растение по преимуществу со стороны практической, хотя чувствует и поэтичность его, то Татьяна Алексеевна, напротив, воспринимает растительный мир скорее в плане эстетическом. Вообще она как бы олицетворяет собою в этом доме начало художественное.

При всем этом здесь словно живут еще деревенские предки. Приведут латинское название растения и тут же назовут его простонародным именем: «купырь» или «росянка». Или, скажем, двадцать второго марта вдрог вспомнят, что сегодня «сорок мучеников», и примета вспомнится: сорок мучеников — сорок утренников.

Среди людей, которых звали Николай Семенович с Татьяной Алексеевной, можно назвать и знаменитого шлиссельбуржца, в дом которого они были вхожи, когда преподавали в сельскохозяйственном училище по соседству с его имением, и четырех сыновей некоего рыбинского пола, из которых двое были известными этнографами, третий, библиограф, бежал в свое время от преследований охранки во Францию и погиб в бою под Марной, четвертый же еще гимназистом «собирал на революцию» среди купцов города, потом, став социал-демократом, ездил по поручению партии к Горькому на Капри...

Как и в любой другой зимний вечер, мне кажется, что электричество в этом доме горит ярче, чем где-либо еще, и печь лучше истоплена, и уж во всяком случае нигде в городе не найти сейчас обстановки уютнее.

На кухне, закипая, прерывисто гудит самовар.

В большой и невысокой комнате, тесно уставленной мебелью, — тут и шведское бюро, и тахта под кавказским ковром, и старинные кресла с резными подлокотниками, и красного дерева шкафчики, набитые книгами, и буфет, и обеденный стол, — в большой этой комнате, возле изразчатой печи, Татьяна Алексеевна сидит с книжкой столичного журнала, а Николай Семенович о чем-то толкует с Сергеем Сергеевичем.

Татьяна Алексеевна теперь уже почти совсем седая, волосы она стрижет, глаза у нее большие, темные, мне почему-то всегда думается — восточные, потому что отец ее был священником, а первые попы здесь были, вероятно, болгары или греки. Впрочем, может быть, это у новгородцев, которые пришли в здешние места еще в языческие времена, пока они не смешались с узкоглазой мерей, были такие глаза.

Насколько Николай Семенович человек полевой, походный, готовый, какая бы ни стояла погода, взять и отправиться километров за двадцать пешком, настолько Татьяна Алексеевна домоседка, и ее так и представляешь себе — в низком кресле, с накинутой на одно плечо пуховой шалью, с папирсой в руке.

Разговор идет о литературе.

И тут я вспоминаю, как перед отъездом из Москвы, листая «Литературные и житейские воспоминания» Тургенева, я обратил внимание на то место из его воспоминаний о Белинском, где он цитирует свою лекцию о Пушкине.

Я нахожу нужный мне том и предлагаю моим друзьям послушать.

«...Явилась целая фаланга людей, — рассказывает Тургенев, — бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти явились и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральной сцене. Нужно ли называть их имена? Они в памяти у каждого — и стоит только вспомнить, кому рукоплескали, кого приветствовали в то время, когда вокруг умолкнувшего Пушкина водворилась тишина. Это вторжение в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать л о ж н о в е л и ч а в о й ш к о л о й, продолжалось недолго... Оно продолжалось недолго — но что было шума и грома! Как широко разлилась тогда эта школа! Некоторые из ее деятелей сами добродушно признавали себя за гениев. Со всем тем

что-то не истинное, что-то мертвенное чувствовалось в ней даже в минуты ее кажущегося торжества — и ни одного живого, самобытного ума она себе не покорила безвозвратно. Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличиванию России — во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского: это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. Все это гремело, кичилось, все это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа, — а час падения приближался.

Татьяна Алексеевна замечает, что и во времена культа Сталина в нашей литературе стали появляться произведения, заставлявшие вспомнить скорее Кукольника и Марлинского, нежели Пушкина и Толстого, Щедрина и Чехова.

Я не могу не согласиться с Татьяной Алексеевной, однако справедливости ради должен сказать, что даже в ту трудную пору звучали голоса писателей, сознававших свою ответственность перед потомками трезвого Хоря и мечтательного Калиныча.

Николай Семенович говорит, что спесь на Руси всегда высмеивали.

Я рассказываю, как Иван Федосеевич, председатель из Любогостиц, с которым все мы дружны, жаловался мне однажды, что вот побывает у него корреспондент, а потом до того сладко напишет о нем, ну прямо с души воротит.

«Лесть им противна, а спесь неизвестна», — некрасовской строчкой отзывается на этот наш с Николаем Семеновичем разговор Татьяна Алексеевна. Она говорит, что не помнит, о ком речь у Некрасова, но это — о русских. А ведь и Тургенев не хуже знал Россию, хотя и подолгу жил во Франции.

Сергей Сергеевич, молчавший до сего времени, заявляет, что Тургенев, разумеется, европеец. Но и Герцен, говорит он, и Ленин тоже ведь были европейцами, если только считать, что понятие это включает в себя просвещенность, широту взглядов, свободомыслие, любовь до сердечной боли к своему народу и уважительный интерес к другим народам, готовность учиться у них.

Здесь мы все принимаемся рассуждать о том, что в истории нашей культуры можно различить как бы два течения. Одно из них — могучее, определившее всю нашу сущность, в котором национальное соединяется со всем лучшим, что есть у других народов, и которое по справедливости следует назвать пушкинским. А другое — ограниченное, чужающееся всего иноязычного, чуждое самому духу народа, однако же со времен адмирала Шишкова, автора «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка», выдающее себя за единственно народное. Течение это, хотя и были у него свои пииты, ни в поэзии, ни в живописи или на театре не оставило по себе сколько-нибудь заметной памяти, разве что в архитектуре, потому что она каменная, и среди нас, всеми кокошниками и ширинками свидетельствуя против себя, продолжают стоять дома того ложного русского стиля, который принято называть «ропетовским», по имени архитектора Ропета, к слову сказать, переименовавшего свою простецкую фамилию Петров на иностранный манер.

Коль скоро заговорили об архитектуре, Сергей Сергеевич не мог не повторить того, о чем он толковал не раз, — что в зодчестве нашем, и в древнем, и той поры, какую называют временем классицизма, хорошо видно, как здоровая национальная основа, взяв нечто от иной культуры, в обоих случаях от античности, создала искусство одинаково самобытное и великое.

Мы все сходимся на том, что только слабое и хилое боится влияния чуждых культур, что все замкнувшееся в себе, отгородившееся от мира,

обязательно умирает. Народы, как и люди, не могут жить отъединенно, и чем смелее берет народ извне, тем, значит, он здоровее, жизнеспособнее.

Я прошу разрешить мне снова прочитать Тургенева.

«Неужели же мы так мало самобытны,— писал он,— так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него?.. Я этого не полагаю: я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой,— нашей, русской сути из нас не выведут. Да и что бы мы были, в противном случае, за плохонький народец!»

Меж тем Петровна, домоправительница Зябликовых, которая так давно живет у них, что стала как бы членом семьи и все в городе называют ее Зябликова, решительно заявляет, что самовар поспел и пора пить чай.

Разговор на время расстраивается.

\* \* \*

Сквозь редкую завесу снега, летящего наискосок, видно белое и пустое, как зимняя степь, озеро. Белеет надутый ветром парус буера. Проехали два мужика в розвальнях. Дорога, местами обледенелая, местами перемеренная, вьется в сторону Рыбного, к устью реки. Туда, ориентируясь на едва проступающую в сером небе колокольню, гуськом идут рыбаки.

После прогулки особенно приятно печное тепло.

Михаил Васильевич, хозяин мой, бывший приказчик, рассказывает, как в старое время в лавках обучали мальчишек. Если мальчик был недогадлив, ненаблюдателен, то ему говорили: «Брови надо выше поднимать!» Если же он был вороват или груб с покупателями, хозяин ласково объявлял: «Шел бы ты, Ванюша, домой, чтой-то голос у тебя нехорош». Лавка была гастрономическая, и Михаил Васильевич вспоминает, как его впервые послали на фабрику, где варилось заказанное хозяином кондитерское варенье. Он соблазнился, запустил руку в остывший уже таз, ел, ел... Его не останавливали. А потом он три дня на печи катался и много лет после этого на варенье смотреть не мог. Варенье тогда варили паточное, полусахарное, сахарное.

Рассказывает еще Михаил Васильевич, как один передовой здешний помещик, имение которого было за озером, затеял варить томат и консервировать его в жестяных банках. Должно быть, он не очень хорошо знал секрет, и все банки вскорости вспухли. Магазин, где работал Михаил Васильевич, вернул банок пятнадцать. Да и не вспухли бы, мало кто покупал тогда здесь томат; знали, для чего он идет, только баре, державшие поваров.

Сливочного масла, рассказывает Михаил Васильевич, тоже никто не покупал, кроме господ, однако ящик у них всегда был. Получали они масло из Москвы, через железнодорожных кондукторов. Вообще у них было все, хоть в малом количестве, чтобы ни один покупатель не ушел без покупки. В винном отделе, где он работал, дослужившись до старшего приказчика, насчитывалось чуть ли не пятьсот названий вин, иные названия — по две, по три бутылки, «для голоса», чтобы, коли спросят, можно было сказать: пожалуйста!..

Не по отношению к фактам, рассказанным стариком, но и не без влияния его рассказа — основа дела, и что мы, привыкнув оперировать общими, огромными категориями, зачастую упускаем из виду мелочи, составляющие повседневность.

Михаил Васильевич, когда я сказал Капе, его воспитаннице, девушке лет восемнадцати, чтобы она брала у меня книги, какие ей интересны, счит необходимым заметить: «Вы ее не очень балуйте, потом в оглобли не заведешь».

Поздно вечером мы идем с Николаем Семеновичем к озеру.

Монастырская башня стоит на высоком белом берегу, над черным провалом, исчерченным летящим нанскосок снегом. За этой движущейся завесой, хотя и не видная нам, ощущается пустыня замерзшего, заметенного снегом озера. Мы спускаемся на лед, снег лепит со всех сторон, обжигает лицо. Дорогу перемело, огней противоположного берега не видно, и мы идем наугад.

Нам кажется, что мы идем прямо, по дороге, но когда мы оглядываемся на монастырь и городские огни, то всякий раз определяем, что идем по дуге. Мы вспоминаем разные случаи, когда в непогоду или при других обстоятельствах каждый из нас плутал. Такие разговоры я называю уездными.

Была бы луна, рассуждает Николай Семенович, он показал бы мне древнюю дельту Ишмы, неподалеку отсюда впадающей в озеро, оба устья реки.

Я говорю, что завтра утром сам попытаюсь отыскать.

\* \* \*

Конечно, дельту я так и не нашел. Возвращаюсь в город.

Небо над озером мглистое, серое, однако же чуть светящееся от скрытого в облаках солнца. Дорога, переметенная ночью, чернеется следами прошедших спозаранку рыбаков. Метет поземка. Навстречу мне идут запоздавшие рыбаки — краснолицые, обветренные, с мотающейся по снегу пешней, привязанной к перекинутой через плечо веревке. Ветер поспешно заметает их следы.

Выглянуло вдруг солнце.

Небо как-то сразу все очистилось, поглубело. В пустыне озера вспыхнул сухой, пересыпающийся, чистый снег. Местами он блестит, как глаза.

Городок на берегу, с его домиками под снегом, зеленовато-коричневыми ветвями деревьев, собранными в дымчатые шапки, с клубочками белого дыма, валящего из фабричных труб, с зелеными и серебряными маковками, с золотыми прапорцами и подзорами кремля, с его красными шатрами на башнях, — городок наш весь засиял провинциальной русской зимней сказкой.

Я вхожу в его улицы. Какой он нарядный, солнечный!

Все здесь исполнено тишины, лишь поскрипывает сверкающий снег.

Вдоль белых улиц, в синей тени или на желтом солнечном свете стоят серые, зеленые и красные домики с резными наличниками. Пахнет больше снегом, чем сгоревшим бензином, изредка потянет разгоряченной лошадкой, потом ее, а то еще вдруг к холодному запаху снега примешается кисловатый запах свежего дерева — это со стороны выдвинувшегося чуть ли не на середину улицы лимонного в солнечных лучах сруба, на котором тюкают топорами плотники.

Окраинными улицами, параллельными главной, выхожу к центру.

Пересекаю обширный пустырь по соседству с рынком, в прежнее время такие площади назывались санными. Снег здесь весь в навозе, в клоцях сена, в соломинках, в конской моче, в мазуте. Стоят розвальни с плотно уложенными, расколотыми пополам, розовеющими древесиной березовыми поленьями. Видать, что лошаденки нездешние — мелкие,

вислозадые, обросшие за зиму. В смежных с нашим районом лесах, в небогатых тамошних колхозах живут по преимуществу продажей дров.

Под арками торговых рядов встречаю вдруг Ивана Федосеевича.

Он в новой черной шубе, сшитой из легких овчин, с пушистой серой оторочкой. И черные валенки на нем новые, неразношенные. Только шапка старая — расползшийся, налезавший на уши треух. В ответ на мои слова о шубе он говорит, поправляя шапку рукой в овчинной варежке: «Ужотко в Москву съезжу и шапку куплю... тут хороших нет». Я заметил, что с некоторых пор приятель мой стал обращать внимание и на свою внешность и на обстановку в доме, прежде он тратил деньги только на книги. Правда, он и зарабатывает сейчас больше, поскольку после пятидесяти третьего года значительно увеличились доходы колхоза. И не нужно ему, так как выздоровел сын, болевший костным туберкулезом, покупать дорогие лекарства. Он и к людям несколько переменялся, словно бы перестал видеть в них только лишь производителей общественного продукта, как он любит говорить.

Помнится, однажды после болезни, еще неокрепший, ходил он по законченному постройкой телятнику, совал палкой то в одно место, то в другое, показывая недоделки, небрежную работу, в сердцах стучал ею об пол и приговаривал: «Диктатура нужна, диктатура!..» Впрочем, и сейчас его привлекают по преимуществу личности сильные, властные, вот он говорит мне, что все «Войну и мир» читает, причем легко догадаться, что волнует его больше «война», нежели «мир», скорее деятельность Кутузова и Наполеона, чем отношения Наташи и Андрея Болконского. И все же так называемая частная жизнь людей его занимает теперь больше, чем прежде. Недавно он рассказывал мне, как по обязанностям депутата, которые, к слову сказать, толкуются им широко, пришлось ему посетить в городе старика и старуху, одиноких, оброшенных, не имеющих сил, чтобы сходить в лавку, а между тем, возмущался он, никто из начальников не даст себе труда просто так зайти к людям, посмотреть, как они живут. Возможно, это собственная старость провидится ему, и он, отслуживший всю жизнь «субботе», склоняется к древней истине, что установлена-то она на радость человеку.

Иван Федосеевич говорит, что ему надо в банк, оформить распоряжение на оплату пакли, которую он купил на соседнем с нашим городком заводе. Минувшее дождливое лето навело его на мысль построить ригу, а чтобы оконпатить ее, понадобилась пакля. Он гордится тем, что не только сообразил, где ее достать, но и сумел это сделать, не без некоторого хвастовства рассказывает, как он пришел к директору завода, с которыми они приятели, как тот усадил его в кресло, спрашивал о здоровье.

Точно так же, помнится, рассказывал он мне, как доставал новый дизель для электростанции, ходил к секретарю обкома, просил позвонить на моторный завод, и к директору сам отправился, а перед этим не поленился заглянуть на склад, чтобы ему не сказали, что рады бы, да нет сейчас дизелей.

Так, в сущности, во всем.

Я давно уже понял, что можно превосходно знать агротехнику и экономику, обладать хозяйственной сметкой, быть организатором, однако без таких вот способностей, характеризующих скорее так называемых снабженцев, без энергии, свойственной этого рода работникам, ничего не сделаешь. И богатые наши колхозы в значительной степени обязаны такой вот добычливости своих председателей, нежели тому, что председатели — отличные сельские хозяева. Но ведь это же дикое, хищническое расходование их времени.



Я говорю об этом Ивану Федосеевичу, и он, согласившись со мной, добавляет, что суть не только в том, что нет организации, которая продавала бы колхозу все, необходимое ему для нормальной производственной деятельности, но еще и в такой экономической несообразности, как множественность цен, и для промышленности они куда ниже, чем для сельского хозяйства.

Опять не без гордости он говорит, что даже сам секретарь обкома не знает этих цен, той хитрости, например, что дизель идет в одной цене, если взять его на заводе, а в сельхознабе — там цена ему много дороже. Потом, невесело усмехнувшись, замечает, что надо не иметь совести, тогда можно бы на одной только этой разнице большие деньги зарабатывать. Я понимаю, что приятель мой имеет в виду не себя лично, а колхоз, потому что и в мыслях он не способен допустить какую-либо возможность словчить и нажиться.

Мы сходимся на том, что ключ ко всему — экономическая наука, поскольку трудно стало вести хозяйство, не владея законами, согласно которым складываются у нас цены, образуется прибыль, определяется заработная плата.

Возле банка я расстаюсь с Иваном Федосеевичем.

Разговор с любогостицким председателем наводит на мысль, что председатель колхоза, чаще чем какой-либо другой руководитель хозяйства, бывает поставлен в необходимость изворачиваться, маклачить, если и не нарушать закон, то обходить его. Он покупает материалы на стороне, без которых ему не обойтись, а в государственных организациях их нет. Он договаривается с дорожными рабочими, и они асфальтируют свинарник, причем он достаточно деликатен, чтобы не спросить, откуда асфальт. Он продает на рынке молоко или раннюю капусту, чтобы иметь наличные деньги, необходимые для оплаты каких-либо работ, которые банк не соглашается оплачивать.

Но один ли председатель колхоза поставлен в такие обстоятельства!

Припоминается, как лет десять тому назад, будучи командирован московской газетой, я приехал в районный украинский городок. Внимание мое привлекли тогда два предприятия, расположенные рядом, невдалеке от пристанционных путей. Это были мельница и МТС, точнее сказать, четырехэтажная кирпичная коробка без оконных рам и крыши, подле которой в дощатой пристройке постукивал и пыхтел движок; и несколько поставленных по сторонам прямоугольного двора зданий — мастерские, гаражи, склады, контора, — пускай глинобитных или сложенных из сырца, пускай покрытых камышом, однако же стены их были чисто выбелены, а камыш настлан под щетку и обмазан глиной.

Директор МТС, как бы хвастая, сообщил, что после немца тут осталась, можно сказать, одна копия, затем с исполненной достоинства сдержанностью добавил, что построено все это так называемым хозяйственным способом.

А заведующий мельницей, сидевший в своем сарае, где за перегородкой помещалось все его предприятие, жаловался мне, что никак не может восстановить мельницу, потому что ему либо фондов не спускают, хотя в банке открыт кредит, либо, когда фонды уже спущены, банк прекращает финансирование.

Я сказал ему о хозяйственном способе.

И тут этот тихий, похожий на сельского учителя человек, инвалид войны с серебряной трубкой в щерле, которую он прикрывал рукой, когда разговаривал, высокий, худощавый и бледный, — тогда как директор МТС, напротив того, был присадистый, налитой, с лоснящимся загаром тодстяк, — этот, как я вспоминаю теперь, отставной офицер технических

войск, с запальчивостью заявил, что он коммунист, а не прасол или маклак. Он говорил, что не станет, как его сосед, давать кому-то транспорт, чтобы взамен получить лес, потом часть этого леса менять на стекло, а часть стекла — на гвозди. Он сказал еще, что не может утверждать, будет ли сосед при таких методах хозяйствования получает некую личную выгоду, но уж в том, что на всех подобных операциях наживаются различные темные людишки, в этом он абсолютно убежден.

Я уже не помню, точно ли такие затруднения испытывал заведующий мельницей, но речь шла о чем-то похожем, и для того, чтобы преодолеть их, надо было посвободнее обойтись с законом, чего он как раз и не хотел, не в пример своему удачливому соседу. Однако я хорошо запомнил, что все мои симпатии были в ту пору на стороне директора МТС, тогда как щепетильный мой собеседник вызывал во мне если не презрение, то жалость.

Люди моего поколения рукоплескали герою тридцатых годов, начальнику строительства, который, получив деньги для одной надобности, казавшейся руководящим инстанциям первоочередной, израсходовал их по иному назначению и тем самым добился успеха. Разумеется, я далек от мысли отождествлять плутоватого районного хозяйственника с владевшим нашими юными умами начальником строительства, однако оба они в своей деятельности руководствовались тем, что «победителей не судят». Между тем к большевизму, к его революционной сути куда ближе то мнение, что закон, мешающий делу, надо не обходить, а заменить новым.

Небо светлое, солнечное, и вдруг повалил снег — крупный, мохнатый, хочется сказать, елочный. Улица ведет к белому озеру, а на белом падающий снег почти не виден. Если же взглянуть выше, то сквозь летящие хлопья можно различить темную линию берега и над ней — светящееся легкое небо.

\* \* \*

Пришла Наталья Кузьминишна. За чаем только и разговору, что о Николае Леонидовиче. Она вспоминает, как в первую еще весну, когда он начинал работать, колхозники разворовали и свезли на усадьбы весь навоз, что лежал у свинарника и конюшни. Николай Леонидович не побоялся, что его невзлюбят за это, обошел все дома, откуда ходили воровать, и каждого оштрафовал.

А Свайкина, Василия Свайкина, рассказывает Наталья Кузьминишна, как он его с горохом поймал. Стали замечать, что Свайкин не раз и не два на дно выпивает в кооперации. А откуда у него деньги? Николай Леонидович принялся поглядывать за ним и однажды увидел, как Свайкин идет со склада, где был семенной горох, и прямо в лавочку. Николай Леонидович туда же, смотрит, вроде у Свайкина карманы оттопырены, спрашивает: горох брал? Тот говорит, что взял горсти две, на усадьбе посеять. Выкладывает, приказывает Николай Леонидович, а еще раз возьмешь — под суд отдам. Начал Свайкин таскать горох из карманов, взвесили, а его восемь кило — в двух-то карманах.

Сколько я знаю, и про Ивана Федосеевича рассказывают подобные истории. Например, пока не установлено было в любогостицком колхозе правило, записанное теперь в уставе, что размеры приусадебного участка определяются количеством трудоспособных в семье и тем, как они работают, — однако же не больше двадцати пяти соток на семью, — до тех пор Иван Федосеевич единолично, собственной властной рукой наводил здесь порядок.

Известен случай, когда некая колхозница, сказавшись больной, осталась дома, чтобы посадить лук. Иван Федосеевич при всем том, что заботу у него великое множество, не поленился зайти к этой женщине и поинте-

ресоваться: мол, гряды копать не больна? Женщина простодушно возразила: «Господи, да много ли я вскопала!» Иван Федосеевич предупредил ее, что если она не выйдет на работу, то усадьбу он отберет. Должно быть, женщина не придавала значения его словам, потому что и на другой день работать не пошла. И тогда Иван Федосеевич распорядился вспахать ее усадьбу и засеять овсом.

Колхозница обратилась к прокурору, но пока тот разбирал обстоятельства дела, овес взошел. Иван Федосеевич стоял на том, что ежели тетка эта станет работать по-хорошему, то ее сотки ей нарежут в поле, а осенью, когда поспеет овес, пускай получает свою усадьбу. Женщина поняла, что с председателем шутки плохи, согласилась на его условия и стала ходить на работу.

Обычно колхозники поругивают председателя, когда тот прибегает к мерам, похожим на те, о которых сейчас идет речь, однако чуть ли не каждый из них, будучи вынужденным к этому, поступил бы примерно так же. Я говорю об этом Наталье Кузьминишне, и она соглашается со мной: «Неужто спускать... Такая пойдет растащилровка!»

На закате гуляем с Николаем Семеновичем по озеру. Освещенный садящимся солнцем, на краю белой равнины, древним городком выглядит кремль. Мы почти подошли к городскому берегу, но не поднимаемся в гору, а сворачиваем влево. Мы идем вдоль берега, отчетливо различного благодаря наносам озерной растительности, засыпанным снегом и образовавшим так называемый береговой вал.

Странно как-то с этой стороны подходить к шоссе — в любое другое время года здесь заросшее тростником озеро и заболоченный берег в жесткой, по самые плечи траве. Теперь вокруг нас косые наметы снега и торчащие повсюду охристые, переломанные и спутанные тростники. Местами наст очень крепок, он только лишь чуть потрескивает под нами. В других же местах снег сухой, рассыпчатый, разгребешь его ногой, а под ним черный лед.

По вечеряющему шоссе бегут автомобили.

Дальше, где железная дорога, паровоз лепит клубы белого дыма.

Николай Семенович уговаривает меня все-таки попытаться пройти к обоям устьям Ишмы. Он чертит тростинкой на снегу древнюю дельту реки. Однако я не представляю себе, чтобы там было что-нибудь еще, кроме косо наметенных сугробов и сухих тростников, и предлагаю ему вернуться назад.

Пока мы идем в город, он вспоминает, как в детстве, в деревне, зимой, бывало, бежит он под вечер с мальчишками из школы, и кому-нибудь приходит на мысль разуться, пробежать босиком по снегу, чтобы утром, когда пройдут здесь взрослые, они подумали, будто это ночью ангелы прошли.

\* \* \*

В витрине книжного магазина выставлена книга, которую я давно хотел иметь: А. Н. Энгельгардт — «Из деревни». Я даже не верю, что это она, так как ничего не слышал об ее переиздании, и не очень идет к ней сиреневая, какая-то «дамская» суперобложка. Мне не терпится скорее купить книгу, и когда продавщица достает ее с витрины, потому что, оказывается, получен всего один экземпляр, я вдруг пугаюсь мысли, что мог прозевать Энгельгардта.

\* \* \*

День с утра светлый, хотя и не солнечный. В Ужбол я иду пешком, по обочине поднятого здесь высоко шоссе, изогнувшегося от города дугой, охватившей низменный берег озера. Снег на обочине зернистый, совсем весенний. Несколько накренившись влево, чернеется мокрая

полоса асфальта. Отсюда хорошо видны едва покрытые снегом поля с торчащим жнивьем, серые от припорошившего их снега кусты в складах оврагов, избы деревень, перелески...

Потом, на ужбольской дороге, отошедшей вправо, через железнодорожный переезд, я иду вдоль широкой, с осевшим снегом канавы, откуда торчит иссохшая осока, мимо темного, будто железного, чертополоха у въезда в село.

На осветившемся солнцем снегу прогуливаются краснолапые белые гуси.

Небо все такое же светлое, белое, впрочем, местами заголубевшее.

В гору, обогнав меня, прошли бабы и девки с щемящей, протяжной песней, понесли елочку, убранную бумажными цветами и лентами, — «красу». Они несут ее, как я догадываюсь, к дому жениха, куда и я отправляюсь за ними. Здесь они останавливаются, поют песни, все такие же невеселые, заунывные, покамест им не выносят пряников и печенья. Тогда они прикрепляют елочку к избе, и она будет висеть по самый день свадьбы, чтобы известно было, что в доме живет жених. Тем временем появляется другая «краса» — березка, тоже убранная цветами и лентами. Девки и бабы несут ее с песнями к дому невесты.

А к другой избе, откуда только что и сняли березку-красу, где живет невеста, у которой свадьба сегодня, подъезжают меж тем розвальни с «коробейниками», то есть теми, кто повезет короба с невестиним добром.

Могучая соловая лошадь, ее заплетенная косицами белая грива, и челка, и дуга над нею, и оглобли — все это украшено лентами, малиновыми бумажными розаами с листьями из зеленой стружки. Тут уже не только бабы с девками, но и мужики толпятся — любители выпить; мужики сняли и спрятали вожжи.

Веселая бабенка — она притоптывает изредка, должно быть озябла — держит в поднятой руке каракулевую ушанку, которую она убрала той же крашеной стружкой, цветами. Это шапка дружки, — как и вожжи, ее надо выкупить.

Девки в одних легких коротких платьях, крепконогие и краснорукие, выносят сундук, подушки, узел... Церемонно поторговавшись, мужики получают свою водку. Дружка, надев шапку, вскакивает в сани и разбирает вожжи. Ошалевшая от украшений, испуганная толпящимися вокруг пьяноватыми людьми, лошадь кидается вдоль посада, и одна из девок, сверкнув оранжевым трико под задравшимся платьишком, едва успеваает упасть плашмя в розвальни.

Лошадь выносится на скользкий, с лоснящейся коркой снега булыжник дороги. Шарахаясь от бегущих отовсюду людей, раскатывая из стороны в сторону сани, она мчится к дому жениха. Навстречу коробейникам выскакивает простоволосая баба с поллитровкой и подносом с закусками.

В это время селом, чрезвычайно смущенный, красный, ведет невесту жених — он без пальто, со сбитой на затылок кепкой, с папирсой во рту. Ему лет двадцать, не больше, он комбайнер, говорили мне. Малый не знает, куда себя девать, он оставляет руку невесты и говорит толпящимся вокруг людям, развязностью тона скрывая смущение: «На собрание бы так собиались...»

Здесь дело подошло уже к завершению — «к столам».

Мне вдруг приходит на ум, что в Ужболе, да и вообще в здешней округе слово «стол» употребляют еще и в том его древнем смысле, какой равнозначен понятиям «трапеза», «пиршество», причем так говорят применительно лишь к свадебному пиру, когда и молодых величают в песнях князем и княгинею

Ожидается еще и третья свадьба, нового председателя Романа Евстафьяча, который из-за вывороченных ступней до сих пор никого себе высватать не сумел, теперь же стал вдруг первым человеком в колхозе. Председателю, говорят, собирались нести «красу» в следующее воскресенье, однако он просил, чтобы этого не делали, а подарки, какие полагается, он и так бабам отдаст.

Андрей, младший сын Натальи Кузьминишны, минувшей осенью вернувшийся из армии, над всем этим посмеивается, считает дикостью. Он и ряженных, пришедших по обычаю на свадьбу к Виктору, чтобы потешить гостей, рассказывают, вытолкал в шею, посоветовав им взять мыло и хорошенько умыться.

У Натальи Кузьминишны в доме, на стене, над комодом, среди множества разного времени фотографий, больших и маленьких, в отдельных рамках и штук по десять за одним стеклом, висит старая, потрескавшаяся карточка начала двадцатых годов, которая каждый раз, когда я бываю здесь, привлекает мое внимание. На фотографии изображены три деревенских молодца лет по восемнадцати, по девятнадцати, причем двое из них сидят на некоей хрупкой козетке, а третий стоит сзади, положив руку одному из сидящих на плечо.

Об одном из парней, что сидит справа, я ничего не знаю — ни его имени, ни того, куда он девался. А вот тот, который позади, в черной, плоской, заломленной назад барашковой папахе, узкоглазый, чуть скуластый, замкнутый — это покойный муж Натальи Кузьминишны; снимался он со своими дружками, как я слышал от нее, года за три до свадьбы. Что же до третьего, сидящего слева, с несколько откинутой головой, в большом, копёшкой, лисьем треухе, в высоких валенках, независимо положившего ногу на ногу и засунувшего руку за борт куртки, — что же до этого последнего, то с ним я знаком.

На селе все его зовут Пугач, и это не фамилия, конечно, а кличка, которую он сам выбрал, много лет назад объявив себя Пугачевым. Я еще и в глаза его не видывал, а уже знал о нем, что он лучший в здешних местах садовник, однако давно перестал работать в колхозе по причине неискоренимого влечения к вину. Рассказывали, что у него хороший вишеник, исключительно владимирские сорта, много крупноплодной, на диво сладкой черной смородины и что однажды, когда сад был еще молодой, он продал его, вернее пропил постоянноному своему суботильнику Василию Свайкину. Впрочем, как только деревья начали плодоносить, Пугач спохватился, принялся шуметь, писать жалобы, высудил сад обратно и теперь ягодами только и живет, то есть, продав их, деньги пропивает, расходуя на еду лишь самую малость. Всякий раз, едва я приеду в Ужбол и начну расспрашивать о деревенских делах, Наталья Кузьминишна, ужасаясь, сообщает, что Пугач почти вовсе не ест, потому что от вина да от «черта», как называют здесь денатурат, все у него внутри сгорело.

И вот как-то летом, два года назад, возвращался я под вечер из города в Ужбол. Впереди с пустыми корзинами неспешно шли мужики и бабы, возившие ягоды в областной город. Я обогнал пожилого мужика в армейской, пехотного образца фуражке, с пустым мешком за плечами, в котором топорщилась корзина. По тому, как тяжело скребли его сапоги булыжник, да и по запаху легко было догадаться, что он нетрезв. Идти ему было скучно, он чуть ли не дремал, разморенный солнцем, и, увидев меня, встрепенулся, заговорил, представившись «специалистом по садоводству, семеноводству и парниководству».

Остаток пути до Ужбола мы прошли вместе.

Он рассказал мне, что в свое время работал в колхозе бригадиром,

да и сейчас охотно бы поработал, но только на умственной работе, потому что он специалист и может руководить другими из своего опыта, то есть из практики. А физическую работу он выполнять не способен, так как вышел уже из годов и тем более у него еще с гражданской войны рука поврежденная.

Помолчав, он вдруг доверительно сообщил, что немного выпил.

Затем, как бы оправдываясь и словно задирая кого-то, стал говорить, что живет он один: сам обрабатывает усадьбу, сам возит товар на рынок и стряпает сам... На сына он не в обиде, сына он отделил, отдал ему половину усадьбы и три окна в избе из пяти. Пускай живет с молодой женой, как с голубкой, пускай строит гнездо. А на старуху он сильно обижается. Он ее, можно сказать, из могилы вытащил, когда она болела туберкулезом, посылал в Крым на курорт, а она потом взяла и ушла к дочери, не захотела с ним жить. И это ему обидно. Избаловалась старуха, на хорошую пищу польстилась.

Он спросил, сколько мне лет и знаком ли я со священным писанием, где очень верно говорится, что женщина — сосуд дьявольский. Почему, например, старуха от него ушла? Потому что зять работает на одном важном заводе, — он проговорил это с некоторой таинственностью, как бы намекая на то, что причастен к делу государственной важности, о котором не расскажешь первому встречному. Старуха все ездила к дочери в гости, набаловалась там, а усадьба-то не обихожена!..

Эти слова он почти прокричал, не то угрожая, не то жалуясь.

И дальше он все кричал, по временам сбивчиво, бессвязно, однако запальчиво, вызываясь или же с тем уничижением, какое паче гордости: что старуха не хочет работать, что она пристрастилась к жирной городской пище, а у нас тут все попросту, без разносолов, по-крестьянски, по-русски.

Потом принялся жаловаться на одиночество.

Весь его гневливый и задиристый в отношении старухи тон как-то сразу пропал, наружу вышло нечто жалкое, слезливое — то ли старика развезло от выпитого вина и жары, то ли и впрямь он тяготился своим одиночеством. «Ужасная вещь, — говорил он, — одиночество: придешь домой, и не то плохо, что сам себе должен все приготовить, а то, что слова не с кем вымолвить».

Остановившись, он повернулся ко мне, постоял, покачиваясь, и неожиданно осведомился, читал ли я такой роман — «Одиночество», после чего объявил, что там все как есть с него списано, пересказана вся его жизнь.

Мы уже вошли в село, и он спросил, как меня зовут.

Важно протянув мне руку с негнушимися пальцами и шершавой, в ссадинах кожей, он назвался и сам: Федор Фомич... и не без гордости, одновременно дав понять, что снисходит к человеческим слабостям, добавил, что по-уличному его кличут Емельян Пугачев, о чем я, как он думает, уже слышан.

«Пугач! — воскликнула Наталья Кузьминишна, когда я рассказал о своем попутчике. — Он и есть, Пугач!» И тут же энергично прокомментировала переданный мною рассказ Федора Фомича о его жизни «Парниковод-то он парниковод, но и пьяница отменный, все из дому тащил да пропивал. И жену он от туберкулеза лечил, это правда, но только сперва сам ее до этого довел».

Этим наш разговор и кончился.

Меж тем, как я вскоре узнал стороной, вздорный этот мужичонка, в молодцах гулявший с мужем Натальи Кузьминишны, был повинен в его смерти.

Когда подошла коллективизация, Пугач на всех собраниях кричал,

показывая простреленную около запястья левую руку, что он кровью своей умывался в боях, и по некоей истерической логике приходил к заключению, что Леньку Силина, то есть мужа Натальи Кузьминишны, которую, впрочем, тогда все называли еще Наташкой, надо напроочь ликвидировать, поскольку он кулак и застит новую жизнь. А тот, рассказывали мне, был мужик неразговорчивый, словно бы сосредоточившийся на какой-то одной мысли, и уполномоченному по коллективизации, городскому служащему, представлялся озлобившимся, затаившимся врагом.

Уполномоченный во всем полагался на Пугача и на его приятеля, совсем опустившегося теперь старика, — сознательность их он ставил в пример притихшим, записавшимся уже в колхоз мужикам, никак не способным сообразить, что уполномоченный — еще не вся власть. Против мужа Натальи Кузьминишны и всей ее семьи было и то обстоятельство, что жили они в самом большом и красивом доме на селе. Правда, дом этот строил отец Леньки, человек и впрямь зажиточный, когда малый едва только успел родиться, причем, подняв не по силам бревно, отец надорвался и вскорости помер. Но уполномоченный ничего этого не знал.

У мужа Натальи Кузьминишны, надо полагать, были основания опасаться, что ему с женой и двумя малыми детьми, из которых меньшой не было и года, грозит среди зимы высылка в отдаленные северные районы. И без того молчаливый, он и вовсе потерял способность разговаривать, поглядывая исподлобья, слонялся в отдалении от людей — гляди-ка еще возьмет и подпалит село! — а однажды утром его нашли повесившимся на вожжах в собственной житнице.

Считают, расчет его был в том, что мир не тронет вдову с ребятишками.

Из Ужбола в город меня отвозит на колхозной машине Ваня Суриков, меньшей сын Павла Ивановича, самого достойного из деревенских стариков. Ваня уже давно женат, и дети у него есть, кличут же его так не из пренебрежения, а потому, что любят за мягкий, ровный характер, готовность каждому услужить.

\* \* \*

В пятом часу пополудни гуляем с Николаем Семеновичем по льду озера. Солнце какое-то белесое, лишенное лучей. Не очень отчетливым диском просвечивает оно сквозь серую морозную мглу, и по обеим его сторонам слабо, но явственно пестреют чуть изогнутые куски радуги. Впервые вижу радугу зимой.

К вечеру поднимается ветер, идет снег.

Отправляемся с Николаем Семеновичем в центр по длинной главной улице. Народу никого. В темноте, заполненной беспорядочно кидаящимися из стороны в сторону, падающими снежинками, едва светятся обледенелые окна.

Мне хорошо знакома эта улица, как и многие другие, и каждый дом теперь для меня на особицу. Вот деревянный, обшитый тесом, потемневший от времени ампириный особняк в уездном вкусе, с фронтоном, с четырьмя протянувшимся между окон пилястрами, капители которых давно сбиты и только кое-где белеют оставшиеся от них завитушки. Как не сказать о нем: «Старинный дом, нахмуренный и черный, раскрашенный приходским маляром...» И еще особняк — невысокий, длинный, с благообразным парадным ходом под железным навесом на одном из его концов: говорят, он принадлежал полковнику царской армии. А наискосок от него, как раз на той стороне, где мы идем, стоит известный всем знатокам провинциального русского классицизма каменный особняк без колонн. Сын бывшей его владелицы, работающий теперь по

охране памятников архитектуры, рассказывал мне, как задолго до революции, когда ремонтировали дом, подрядчик посоветовал снять колонны, с которыми не оберешься хлопот, а потом за немалую цену приладил их к дому того некоего любителя старины.

Что же до вон того дома, громоздкого, с поставленным поверх двух этажей приплюснутым подобием мезонина, фронтон которого по обоим его скатам украшен замысловатым сооружением из оштукатуренного кирпича, то принадлежал этот дом старому купеческому роду, происходящему от сокольных помытчиков, то есть посадских людей, поставлявших к государеву двору ловчих птиц. Род этот упоминается в здешних переписных книгах начала семнадцатого столетия.

Николай Семенович рассказывает, что один из последних представителей этой семьи, талантливый юноша со склонностью к истории, едва успев окончить гимназию, уехал вдруг за границу, принял там католичество, постригся, изучил язык племен, населяющих острова Пасхи, и отправился туда миссионером.

\* \* \*

Неяркое, как бы в дымке, солнце в белом небе над озером. Ночью ветер перемел сухой снег, местами открыв лед, и сейчас, с холма возле монастырской башни, все озеро представляется в застывших, белесосвинцовых волнах.

Я схожу вниз и неожиданно обнаруживаю во льду длинные, с палец шириной трещины, одна на некотором расстоянии от другой, и все они протянулись в одном направлении, вдоль берега. Рыбаки говорят, будто из-за того, что вода вытекает из озера в реку, лед опускается и при этом гулко трескается.

Небо голубеет, солнце становится ярче, вспыхивает золотая маковка в кремле. Когда я возвращаюсь с озера и вхожу в нашу улицу, то на солнечной стороне каплет с крыши и по временам падают, расшибаясь вдребезги, сосульки.

Дома у нас сидит Наталья Кузьминишна, зашедшая по пути на рынок. Она рассказывает, что Маргарита, жена Виктора, уговорила его уйти из колхоза и он уже поступил молотобойцем в какую-то здешнюю кузницу; он и в колхозе выполнял эту же работу. Платить ему будут столько же. Жить они покуда останутся в Ужболе. Квартиру в городе не скоро снимешь, а как бы — любо ли!..

Выходит, что девушка эта, сама крестьянская дочь, землеустроитель по профессии, не хочет, чтобы муж ее был колхозником, иное дело — рабочий. Тому много причин, и не последняя из них та, что она чуть ли не с детства привыкла читать восторженную и недалекую похвальбу: «Из такой-то деревни вышли...» Но ведь деревня должна быть знаменита и теми, кто остался!

Наталья Кузьминишна тем временем приводит свои резоны. «В городе, — говорит она, — как хорошо: и баня тут, и кино». Я говорю, что в ее превосходном доме можно устроить центральное отопление, поставить ванну. Теперь вот Андрей вернулся из армии, он механик, станет работать, смогут они и «москвича» купить, чтобы ездить в город. Приятельница моя поднимает меня на смех: «Полно! У нас ведь заедят. Скажут, ишь какая богачка!» Быть может, она права. В деревне и сегодня еще ревниво следят за каждым, кто вышел из ряда вон. Но и переимчива деревня до чрезвычайности, был бы пример.

Ранние февральские сумерки. Сидим до темноты без огня.

Мне слышно из моей комнаты, как хозяйка разговаривает с зашедшей по какому-то делу соседкой. Михаил Васильевич говорит: «Так и



не позвала на новоселье. А я уж и сапоги начистил». Соседка отвечает: «Да не пришлось». И Дарья Васильевна, чтобы поддержать разговор, вставляет слово: «Летом на грядах справим». Большого смысла в ее замечании нет, оно даже несколько несообразно, потому что какое же может быть «новоселье на грядах». Однако эти два понятия, «новоселье» и «гряды», никак не соотносящиеся, наводят на некоторые размышления. Во-первых, нельзя не задуматься над тем, что новоселов в этом древнем городе с каждым годом становится все больше и больше, причем, как и наша соседка, все они по преимуществу въезжают в собственные дома. Во-вторых, приходит на мысль и то, что грядами, иначе сказать огородам, усадьбой, определяется жизнь почти всех горожан с весны и до осени.

Помнится, однажды в начале лета зашел я в райисполком; время было обеденное, в вестибюле, вокруг некоего не видного мне центра, толпились едва ли не все сотрудники, двое или трое из них, надо полагать месткомовцы, сверяясь со списками, отдавали какие-то распоряжения, и все это напоминало давно прошедшие годы карточек и талонов, когда в учреждениях распределяли нефондовое повидло или внеплановые трикотажные изделия. Мне объяснили, что это привезли из колхоза и раздают записавшимся рассаду помидор.

Никто не подсчитывал, сколько картофеля и овощей производится у нас в городе, причем производство это товарное, потому что значительная часть урожая идет на продажу, и продаются здешние помидоры, огурцы и лук не на одном лишь нашем рынке, но и в далеких северных городах. Если же подсчитать, то, судя по тому, как тщательно вскопан и обихожен каждый лоскуток городской земли, безразлично, дворовый ли участок, пустырь ли у крепостных валов или непроезжая окраинная улочка, количество получится изрядное.

В этом последнем я прежде всего усматриваю полезную сторону, так как, во-первых, земля, где росли бы лопухи и крапива, вовлечена в общенародный хозяйственный оборот; во-вторых, государство пока что освобождается от необходимости полностью удовлетворять потребность населения в овощах, особенно на севере, где они почти не растут; в-третьих, деньги, вырученные от продажи излишних овощей, расходуются главным образом на покупку радиоприемников, телевизоров, велосипедов и праздничной одежды, в чем общество, несомненно, заинтересовано, потому что речь идет о мелких служащих и малоквалифицированных рабочих, которые из-за недостаточности своих заработков по преимуществу и занимаются этим как бы подсобным промыслом.

Но вот здесь-то легко увидеть и вредную сторону этого явления. Я имею в виду не его нравственную суть, уже хотя бы по одному тому, что, хорошо зная многих из тех, кто продает со своего огорода овощи, нахожу среди них людей весьма достойных, куда более порядочных, нежели иные граждане, которые гряд не копают и в выходной свой день не таскаются с корзинами по рынкам, а живут исключительно на положенный им государством оклад, без какой-либо ошутимой для общества пользы. Однако речь сейчас не об этом, меня занимает пока что экономическое существо вопроса.

Случилось так, что участок земли у нас в городе стал главной причиной роста его населения. Деревенский житель, сегодняшней или вчерашней, переехавший сюда несколько лет назад и мыкающийся по углам или в общежитии, получив землю, а заодно и ссуду на постройку дома, которую, к слову сказать, он получить не смог бы, оставаясь колхозником, принимается хозяйствовать на своих «сотках» со всей страстью и умением здешнего приозерного огородника, исстари привыкшего мерить пашню лаптем. Конечно, он сам, или его дочь, или сын работают где-

либо еще, иначе не получить ни участка, ни ссуды, однако в большинстве случаев не в сфере производства материальных ценностей: конюхом, истопником, уборщицей, разнорабочим на какой-нибудь базе или на складе, либо же, если мужчины «умеют по топору», на постройках в окрестных колхозах.

Город почти ничего не получает от своих новых граждан, поскольку овощи, в значительной мере определяющие их достаток, они обычно продают на стороне. Но уже самим фактом своего существования горожане эти настоятельно требуют от города большего, чем было прежде, количества воды, электрической энергии, автобусов, благоустройства тех новых улиц, где стоят их дома.

Мало того, у всех этих людей подрастают дети, которые не хотят быть «мастерами на все руки», умеющими и колодец выкопать, и новые венцы под дом подвести, и печь сложить, и с лошадкой поработать, главное же всего — выращивать к сроку редиску, огурчики, лучок... Впрочем, если на овощи спрос еще велик, особенно в городах севернее нашего, то немудреной в общем-то работы, какую способен выполнить почти каждый крестьянин, не так уж и много. И руководители здешние озабочены тем, чтобы открыть у нас какое-либо новое промышленное предприятие, причем добро бы по переработке продуктов сельского хозяйства, так нет же... По-человечески их можно понять, потому что округа наша, поставившая картофель и овощи и цикорий для неисчислимого количества всякого рода сушильных, терочных и паточных предприятий, теперь не в состоянии обеспечить сырьем один консервный, один кофе-цикорный и один паточный завод, из которых каждый в отдельности хотя и больше такого же прежнего завода, но ведь тем буквально не было числа.

Круг, таким образом, замкнулся.

Все сводится к тому, чтобы разумно организовать сельское хозяйство, и тогда производитель общественного продукта, как любит называть колхозника мой друг Иван Федосеевич, получая за свой труд по справедливости, не станет связывать свое благополучие с несколькими грядками и случайной работой, — а ведь это последнее и увеличивает избыточное городское население.

Михаил Васильевич тем временем включает радио. Вообще-то он его не любит, слушает только местную передачу и еще ту часть последних известий из Москвы, где сообщается прогноз погоды, — почему-то, как я заметил, старики особенно интересуются погодой, не меньше летчиков или спортсменов.

Словно бы к мой сегодняшним мыслям диктор с некоей хвастливой восторженностью сообщает, что горсовет отвел тридцать два участка под индивидуальную застройку, созданы две новые улицы: Депутатская и Добролюбова.

\* \* \*

Метет с утра. Крупный снег падает наноскоп в поднятую ветром снежную пыль. Около домов сугробы. В провале между монастырской башней и отстоящим от нее на некотором расстоянии слева кирпичным домиком железнодорожной водокачки, словно скрытое в белом дыму, лежит внизу озеро.

Едва спускаешься на лед, как нога проваливается в сугроб — дорогу перемело. Снег кипит вокруг. Не только противоположного берега, но и городского не видать — ни кремля, ни протянувшейся позади Николы на Песках улицы Бебеля. Один лишь Дмитриевский монастырь виднеет-

ся на высоком мысу, косо прочерченный летящим снегом. Метрах в трехстах не видно и его.

Тут недолго и заблудиться.

Возвращаюсь на берег, иду по железнодорожной ветке, которая соединяет паточный завод с главной магистралью. Ветка, изгибаясь полукругом, проходит мимо новеньких, большей частью сборных деревянных домиков, построенных, в сущности, на болоте. За луговым этим поселком лежит вдоль ветки огражденный колючей проволокой пустырь. Дальше, позади завалившегося забора, громоздятся порожние ящики и бочки так называемой тарной базы, а за ней тянется лесной склад и еще, какая-то захламленная земля, обычная в таких вот пришоссеинных или пристанционных местах у въезда в любой город.

Неожиданно, сбоку, я выхожу к шоссе, идущему на Москву.

Снег падает и падает... Сквозь белое это мелькание желтеет треугольник какого-то дорожного знака, а ниже, уходя под завесу снега, виднеется мокрый черный асфальт, на котором мгновенно исчезают падающие снежинки.

Обратно я возвращаюсь тихой белой улицей.

Перед домами здесь растут старые ветлы с буграстыми наростами сверху толстого ствола, откуда хлыстами торчат длинные ветки. Один дом выкрашен темной коричневой краской, а резные оконные наличники — белилами. Кажется, будто он сделан из шоколада и сахара. А снег вокруг весь в рождественских блесках. И это тоже зимняя сказка.

Возле наших ворот стоит машина Ивана Федосеевича, недавно купленный им ГАЗ-69. Любогостицкий председатель, оказывается, заехал за мной, чтобы отправиться нам сейчас к нему чай пить. Я так давно дружен с ним, что привык к такой вот естественности поведения, когда, не предупредив, он придет вдруг и позовет в гости, полагая, что коли есть время, то я поеду. Если же, бывает, я навешу его, а он занят, ему ничего не стоит, поздоровавшись, заявить, что чай распивать теперь недосужно, приезжал бы я как-нибудь еще.

Впервые я побывал дома у Ивана Федосеевича лет пять назад, весной.

Контора тогда помещалась в Вёксе, небольшой деревеньке, отстоящей километрах в двух от Любогостиц по старому суздальскому тракту. От повортка в сторону Вексы шла булыжная дорога, кончавшаяся посреди деревни, как раз напротив конторы, глубоким ухабом, до половины налитым водой. Из ухаба тянулись колен, наезженные навкось одна по другой. Отсюда и пошли мы как-то под вечер километра за четыре в деревню Стрельцы, где квартировал тогда Иван Федосеевич. Я знал, что у него там есть дом, оставленный им жене и двум сыновьям, с которыми он не живет по причине полного расхождения во взглядах на цель и смысл жизни,— признаться, странно было это слышать в те времена, когда мещанское представление о семье, которая и без любви должна быть незабываемой, выдавалось чуть ли не за коммунистическую добродетель. А на квартире Иван Федосеевич стоял у некоей посторонней старушки, сдававшей ему угол.

Только что прошел дождь. Земля была мокрая и темная. Влево от разбитой машинами, вязкой, как деготь, дороги, в почти коричневом жнивье, едва зеленел между соломинками начавший отрастать клевер. А небо было светлое, блестящее, в лиловатых тучках на западе, освещенное вечерней зарей, и за клеверищем оно соединялось с широко разлившейся Которостью. Там, в затопленных береговых камышах, приманивая вольных селезней, кричали подсадные утки.

Мы шли по задернелому краю канавы, наполненной переливчато шумевшей водой. Неизвестные мне растения, выросшие у самой воды, пластались по ней, увлекаемые течением; они подрагивали, казалось, сопротивлялись воде.

Иван Федосеевич спросил, помню ли я, как начинается «Хаджи-Мурат».

Не дожидаясь ответа, он сказал: «Я возвращался домой полями...» И, как мне показалось, довольно близко к тому, как об этом говорится в повести, стал называть весь тот «прелестный подбор цветов этого времени года», какой перечислен Толстым. Потом скорее от себя, нежели по тексту, пропустив, должно быть, значительную его часть и перейдя сразу к тому исполненному драматизма месту, где изображено паровое поле и куст «татарина», который переехан был колесом, соединив здесь два толстовских описания этого растения в одно, он с поразившей меня, я бы сказал, убежденностью проговорил: «И только грубый татарник в полном цвету стоит и не сдается человеку».

Я уже был наслышан о редкой начитанности Ивана Федосеевича, об особенной его любви к Толстому. Мне было понятно и то, почему начало «Хаджи-Мурата» так близко ему, довольно походившему по земле. И пока мы шли с ним к Стрельцам, он то показывал мне, скажем, полевой хвощ и объяснял, что растение это появляется там, где почва кислая, а вот черная ольха и крапива, те растут на богатых землях, то обращал мое внимание на красноватый цвет воды в канаве и говорил, что здесь залегает «артштейн», — вообще-то Иван Федосеевич, как и все в Райгороде, окает, однако ученое это слово, быть может из уважения к науке, произносит на московский манер. Как я узнал потом, относительно того, почему вода красная, приятель мой ошибался, он прав был только лишь в том, что застаивается она по преимуществу в местах, где в грунте образовался слой ортштейна.

И еще я понял тогда, что рассказ о «татарине», стебель которого колелся со всех сторон и был страшно крепок, который и раздавленный нашел в себе силу подняться, стоять, о котором Толстой, дивясь его жизнестойкости, воскликнул: «Экая энергия!» — потому и полюбился Ивану Федосеевичу, запал ему в душу, что он и себя видел в этом растении, пускай бессознательно.

Сейчас, вспомнив тот вечер, я не могу не вспомнить и то, как часто в эти годы при встречах с Иваном Федосеевичем, или же услышав о нем что-либо, я повторял толстовские слова о татарнике: «А этот все не сдается».

В те годы, когда жива еще была память о том, что и непродуманное слово может обернуться обвинением, на одном из областных партийных активов Иван Федосеевич, поднявшись на трибуну, стал говорить, как мне рассказывали, что геология, к примеру, знает периоды четвертичный, третичный, а сельское хозяйство у нас в области — электрический, кроликовый, веточный, тепличный, потому что один секретарь видел спасение от всех бед в сплошной электрификации колхозов, другой — в кроликах, третий — в веточном корме, нынешний же — в строительстве теплиц. Конечно, против электричества кто же станет возражать, но, когда в порядке кампании, выхваляясь друг перед дружкой, начальство заставляло строить гидростанции на куриных речках, без учета технических возможностей, не считаясь с экономикой колхозов, то дело, как известно, кончилось тем, что и без света остались и не зная сколько денег просадили. Против кроликов тоже не возразишь, разводить их, должно быть, выгодно, только смотря где, и страну ими не накормить. А веточный корм... Что ж, у хорошего хозяина в тяжелый год

и ветки пойдут в дело, если их смолоть, да запарить, да мучкой посыпать. Теплицу же он сам строит и надеется получать от нее прибыль, но не каждому хозяйству это по силам, и ничего теплица не решает. Так вот, закончил Иван Федосеевич, чем обо всем таком из года в год шуметь, уповать на какую-либо одну культуру, один агротехнический прием, надо обратить сугубое внимание на то, что хозяйство у нас ведется вопреки природным и экономическим законам.

Едва Иван Федосеевич кончил, как слово взял секретарь обкома. Он сказал, что товарищ тут говорил с чужого голоса, наслушавшись Би-Би-Си.

Иван Федосеевич, поднявшись с места, пошел из зала прочь.

Рассказывают, что после актива, приказав разыскать любогостицкого председателя, секретарь обкома попросил у него извинения. Так ли это, не знаю, но мне известно, что когда Иван Федосеевич принялся хлопотать о закрытии тюрьмы в Любогостицах, то секретарь ему деятельно помогал, а потом и в покупке по сходной цене самого здания и хозяйственного оборудования.

Тюрьма помещалась в бывшем древнем монастыре, на выезде из села.

В первый год нашего с Иваном Федосеевичем знакомства мне почему-то казалось, что его устраивает это соседство — то ли тем, что тюрьма сообщает колхозу некую лестную исключительность, как бы сопричисляя его к учреждениям особенным, назначенным исполнять открытые лишь посвященным функции, то ли какими-то чисто хозяйственными, бытовыми выгодами. Помнится, я однажды сказал Ивану Федосеевичу, что собирался к нему приехать, да не на чем было — автобуса тогда здесь еще не ходили, — на что он с удивлением возразил: «А на черном вороне!.. Я постоянно на нем езжу». Тюремная машина, оказывается, отвозила в город и привозила обратно школьников.

Однако я очень скоро понял, что тюрьма, которую он видел каждый день, неприятна ему, а персонал ее вызывает в нем чувство раздражения. Он жаловался мне, что иные деревенские девушки выходят замуж за тамошних работников и оставляют колхоз. При встрече с кем-либо из тюремных служащих он обычно замечал, что это надо же иметь терпение — всю жизнь с боку на бок переворачиваться. Он и контору долго не переводил сюда из Вексы, хотя Любогостицы стоят недалеко от Московского шоссе, на мощной дороге.

Я утвердился в мысли, которая мне уже приходила, что Иван Федосеевич при всем крестьянском своем уважении к государственным установлениям по-крестьянски же возмущен тем, как расходуется время множества физически крепких людей, выключенных из сферы производства материальных ценностей.

Однажды, с чрезвычайной доверительностью отнесясь ко мне, он сказал, что уж так и быть расскажет одну историю, и принялся вспоминать, как не то в конце двадцатых, не то в начале тридцатых годов приехал с ревизией в областную тюрьму старый большевик.

Человек этот, продолжал рассказывать Иван Федосеевич, стал обходить камеры — приятель мой выговаривает «каморы», и это не простонародное искажение, как можно подумать, но старое русское слово, входящее к греческому, означающему свод. Рассказывая, он одновременно изображал приезжего, и было забавно наблюдать, как видный крестьянин, довольно гладкий уже от немолодых своих лет, представляет невысокого роста, тшедушного интеллигента, должно быть близорукого и слегка косящего, так как он сказал о нем: моргослепый.

Тюрьма была переполнена. Среди прочих полно было стариков

и старух, и когда приезжий спрашивал, по какой статье они привлечены, то оказывалось, что все посажены за агитацию против существующего строя. Тогда он распорядился немедленно собрать работников суда и прокуратуры и партийный актив.

Иван Федосеевич с видимым удовольствием пересказывал не то чтобы речь, скорее рассуждения приезжего товарища, предварив рассказ замечанием, что говорил тот сердито, быстро, пришепетывая, и наклонялся в сторону возражавших ему тем ухом, в котором у него была трубка, так как он был тугоух.

Это безобразие и глупость сажать дедушек и бабушек, будто бы говорил он, — последние два слова Иван Федосеевич произнес с ударением на втором слоге, как у нас здесь выговаривают, и все же мне показалось, что так мог бы говорить старый большевик-интеллигент. Взять хотя бы то, что мы безбожники, а они верующие, уже за это одно они должны нас ругать, то есть, по-вашему, агитировать против существующего строя. И вот вы держите их в тюрьме, охраняете, одеваете, кормите — ведь это же денег стоит! А помрет какая старушка, надо ей еще и гроб сделать, похоронить... «Ну, о чем вы думали, когда давали санкцию на арест? — обратился он к прокурорам. — Вот вы! Да-да... вы!» — стал он спрашивать одного из них.

Прокурор, помявшись, принялся отвечать. «Видите ли, — сказал он, — если бы я решился не дать санкции, меня обвинили бы в правом уклоне. Я ее дал, и теперь вы обвиняете меня в перегибе, в левом уклоне...» Товарищ из Москвы досадливо отмахнулся: «Не обвиняю я вас ни в каком левом уклоне. — И устало добавил: — Нет у вас ни правого, ни левого уклона — одно пустое место».

Мы начали тут же вспоминать с Иваном Федосеевичем, что случилось с этим человеком, и вскоре установили, что в минувшие тяжелые годы его постепенно перемещали с должности на должность, все менее и менее значительные, покамест он не умер в совершенной безвестности незадолго до войны.

Должно быть, году в пятьдесят четвертом или в самом конце пятидесят третьего Иван Федосеевич все же перевел контору в Любогостицы и сам переехал сюда, в старый дом на берегу реки, как раз через дорогу от тюрьмы. Это была изба в три окошка на улицу, с пристроенным к ней дворишком, крыша которого из серой, словно истлевшей соломы просела. Сколько я помню, ходили в избу этим пустым двором, где пахло пылью и куриным пометом. В избе, занимая всю заднюю ее часть, у дверей, стояла ободранная, закоптелая печь.

Когда мы, друзья Ивана Федосеевича, говорили ему, что надо бы отремонтировать дом, он возражал: «Полноте!» Махнув рукой в сторону дома напротив, под монастырскими липами, где проживал начальник тюрьмы, он объяснял нам, что скоро туда переедет. Он рассказывал еще, что там недавно сделали ремонт и, пока производились работы, он ходил смотреть и предупредил начальника, чтобы ремонтировали лучше, так как он собирается здесь жить.

В этих его словах мне послышалась тогда похвальба.

Помнится, был сухой и серенький, не то зимний, не то предзимний день. Иван Федосеевич жарил рыбу на электрической плитке; чтобы рыба упрела, он накрыл сковородку тарелкой, по временам приподнимал ее кончиком ножа, и наружу вырывался пар. При этом он спорил с Андреем Владимировичем, мелиоратором, который доказывал, что покупать тюрьму колхозу невыгодно: не для чего она в хозяйстве. А я поглядывал в окошко, и мне видны были белеющие за облетевшими липами, в глубине, бывшие братские кельи с железными, скошенными книзу

коробами на их окнах, ряды колючей проволоки над кирпичной монастырской стеной и высоко поднятая на растопыренных столбах серая деревянная будка. Не видный мне, должно быть у ворот, прерывисто гудел «черный ворон».

Месяц спустя я узнал, что тюрьма закрыта и что наш друг купил ее.

Мне хорошо запомнилось, как в тот мой приезд, в сильную метель, когда было и темно от ненастья и светло от снега, метавшегося в воздухе, Иван Федосеевич повел меня смотреть новопкупку. Возле сплошных железных ворот лежал косой длинный нетронутый сугроб, слегка курившийся. Странен был мне вид этих ворот, их глухота, их жесткая прямоугольность. Чувство неприютности вызывало зрелище протянувшегося передо мной давно небеленного кирпича, в котором новая грубая кладка утвердилась рядом с фигурной кладкой семнадцатого века — рамочками ширинок, отчасти сбитыми, ступенчатыми поясками...

Иван Федосеевич отпер ворота, и мы вошли внутрь.

На снегу не было и единого следа. Высокие деревянные стены, которыми выгорожено было некое пространство, угрюмо стояли среди дымящейся метели; я догадался, что сюда выводили на прогулку. В самом здании, которое успело уже выстыть, воздух был спертый, причем в служебных помещениях, где было светло и все же теплее, пахло по преимуществу чернилами, старой бумагой, холодным табачным дымом, а в темных промерзших коридорах и камерах стоял запах немытого тела, заношенной одежды и еще чего-то, что употребляется, должно быть, для дезинфекции и в моем представлении всегда почему-то связывается с предельной степенью подавления в человеке его достоинства.

Мы разговаривали негромко, а потом и вовсе замолчали.

Я вспомнил давние годы: «Церкви и тюрьмы сравниваем с землей...»

Иван Федосеевич повел меня смотреть хозяйственные помещения — склады, гараж с мастерской при нем, сводчатые подвалы под монастырской трапезной, где в землю были вкопаны дошники для квашеной капусты, вызывавшие представление о кадушках из обихода великанов. Он с увлечением рассказывал, как он все это устроит и какая будет от этого польза колхозу. И я опять подумал о том, что во взгляде моего приятеля на тюрьму преобладали скорее соображения практического свойства.

Той же весной, в самом ее начале, я ночевал у Ивана Федосеевича.

Любогостицкий председатель все еще жил в своей избе, потому что бывший начальник тюрьмы, за отсутствием вакансий вышедший на пенсию, подыскивал место, куда бы ему переехать, и не освобождал купленного председателем дома. Впрочем, председателю колхоза было не до того: он заканчивал постройкой теплицу, устанавливал оборудование в новом коровнике, заложил свинарник, как он говорил, лучший в Европе, и продолжал разбирать и перестраивать здание цикорно-сушильного завода, которое он купил года два назад и которое находилось рядом с его избой, посреди всех этих его новых построек.

Я приехал тогда на редакционном «газике», и приятель мой обрадовался не столько мне, сколько машине — в колхозе были одни грузовые, а ему нужно было съездить в областной город и не хотелось, сняв ее с перевозок, гонять трехтонку. Он спросил, не отвезу ли я его, добавив, что бензин нальет.

Весь день ходили мы по областным учреждениям, потом поехали обедать в какой-то новый ресторан в заводском районе, который Иван Федосеевич обязательно хотел мне показать и куда его долго не пускали, так как он был в стеганых брюках и в ватнике, правда, новеньких, защит-

ного цвета. В ресторане он достал из своей рыночной женской сумки томик Горького и, к превеликому смущению шофера, озиравшегося на соседние столики, принялся читать мне то место из «Фомы Гордеева», где купец Щуров рассуждает о сущности денег.

В Любогостицы мы вернулись под вечер. Был красный закат. Черная, оттаявшая за день земля замерзла. В отпечатках сапог, в следах, оставленных машинами, белел лед. Мы назяблись дорогой и полезли на только что истопленную печь. Уснули мы скоро, но среди ночи проснулись, всеми костями своими ощущая, как жестки под тонкой подстилкой из одеял горячие кирпичи.

Иван Федосеевич вдруг проговорил: «А ведь я уже тут жил однажды». Я подумал, что он сказал это спросонок, и промолчал. На печи было темно, потому что той стороной, откуда забирались на нее, она обращена была к глухой стене, от которой отстояла на расстоянии полуметра. Однако я догадался, когда Иван Федосеевич оборотился ко мне лицом. «Перед колхозом я недолго был директором здешней цикорной сушилки»,— снова проговорил он. И вспомнил, как двадцать с лишним лет назад, об эту же пору, на вербной, вот так же проснулся он ночью, пожалуй, только раньше, от несмелого стука в окно. Полежал, надеясь, что это почудилось ему, но кто-то снова будто поскребся, и он пошел открывать. А было еще холодно, днем временами перепал снег.

Под окном стоял человек в одном белье, и когда Иван Федосеевич впустил его в избу и зажег лампу, то узнал в нем председателя сельсовета из недалней, верст за восемь отсюда, деревни, арестованного еще зимой, как говорили, за пособничество классово-чуждым элементам. И хотя они были хорошо знакомы и в тюрьме он пробыл всего месяца три, человек этот, попросившись ночевать, отчужденно и самоуничижительно сказал Ивану Федосеевичу «гражданин». Он тут же стал поспешно рассказывать, что утром была у них в тюрьме приборка и соседи по камере, уголовники, сняли с него одежду и разорвали на тряпки, а потом его вызвали к следователю и тот объявил, что за ним никакого пособничества не найдено и пускай он метется отсюда поскорее. Он попросил, чтобы ему разрешили остаться до утра, когда он сможет послать домой за одеждой, но ему сказали, что здесь не гостиница.

Иван Федосеевич, сколько я понял его тогда, не то чтобы осведомился, просто установил факт: «Вши есть!» И человек этот с тою же деловитой интонацией ответил: «Да уж не без этого». Иван Федосеевич велел жене принести соломы и постлать возле дверей, снял с гвоздя старый полушубок. «На вот, ложись,— сказал он.— Завтра в нем же и пойдешь. А там бросишь...»

Я никак не отозвался на этот рассказ, и приятель мой не стал вдаваться в его обсуждение. Мне почему-то все приходили на мысль старые русские пословицы, сложенные про тюрьму, с которой, как и с сумой, не спорят, от которой, как и от сумы, не отрекаются.

Все это вспоминается мне, пока мы едем в Любогостицы.

Иван Федосеевич предлагает перед чаем прогуляться и ведет меня смотреть теплицу; я подозреваю, что из-за этого он и заезжал за мной. Теплица все еще не стала для него обыденностью. Он спрашивает, знаю ли я, как называются те планочки с пазами, куда вставляют стекло, и тут же не без хвастовства говорит: шпрос! Он пинает ногой валяющуюся в снегу чугунную отливку, похожую на звено радиатора водяного отопления, и осведомляется, известно ли мне ее назначение. Не дожидаясь, пока я отвечу, он объясняет с хорошо осознанным чувством своего превосходства надо мной, что из таких вот штук монтируются совсем особенные паровые котлы. При этом он рассказывает с усмешкой, что Семен Семе-



нович, второй секретарь райкома, прележавший, когда строили теплицу, все интересовался, где же котел, должно быть предполагая увидеть нечто вроде локомотива.

В теплице жарко и сыро. На черной рыхлой земле, набитой в длинные и широкие ящики, установленные на подставках, резко зеленеют листья растений. Огурцы уже развернули третий лист — их рассаживают. И у редиски три листика, да и корень стал наливаясь, доводит до моего сведения Иван Федосеевич. Редиска, говорит он, поспеет через сорок дней. Он принимается просвещать меня насчет того, что вегетационный период у редиски — пятьдесят дней; что сельдерей, хотя и выгоден, однако труден в производстве; что укроп поражен блошкой; что день прибавился, поэтому у лука такое прямое, сочное перо. «Дни стали длиннее, вот и лук пожирнее».

Я вспоминаю давний мой разговор с Николаем Семеновичем, агрономом, преподавателем здешнего сельскохозяйственного техникума, который, отдавая должное крестьянскому таланту нашего общего друга, настаивал на том, что любогостицкий председатель равнодушен к земледелию, что больше всего он любит животноводство. Я говорю сейчас об этом Ивану Федосеевичу и спрашиваю его, так ли это. «Больше всего я люблю деньги», — отвечает он.

Он приглашает меня посмотреть, какие у них здесь городские устройства: и душ, и уборная... И когда я обращаю его внимание на то, что фаянс в уборной загажен, а на раковине и на окне над нею лежит угольная пыль, он словно впервые видит это и говорит с несвойственным ему смущением: «А ведь девчата тут работают...» Потом он добавляет: «Не с кого пример взять».

Мы идем через дорогу, в его дом под старыми липами, пить чай.

Проглянуло солнце. За мостом через Вёксу, на всем пространстве поймы, образованной ею и Которостью, в которую она впадает, просторно лежат нетронувшиеся еще снега. И сколько видит глаз, темнеют стога сена.

\* \* \*

Сумерки. Влажный ветер. Пахнет торфяным дымом и чем-то сладковато-пресным, должно быть патокой с паточного завода. На окраинных наших улицах снег исполосован полозьями, истоптан копытами лошадей, кое-где на нем видны оранжевые пятна конской мочи. А на главной улице асфальтовая мостовая черна, накатана машинами, и к запаху сырого снега, который, как по трубам, течет сюда с озера по протянувшимся от него улицам, примешивается запах выхлопных газов. В замасленных стеганках кто пешком, а кто на велосипеде возвращаются домой рабочие — с паточного, с прядильной, с машинно-мелиоративной станции, с железной дороги, из автоколонны...

В сумерках белеют дома в один и в два этажа, с мезонинами, с лепными веночками над окнами или же выложенными из кирпича фестоночками на карнизах, а в одном доме, на каменных столбах его ворот, установлены друг против дружки два тощих чугуновых льва с маленькими приплюснутыми головками. Бывшие хозяева двухэтажных домов обитали, надо полагать, внизу, где ради тепла окна устроены небольшие, без форточек, а в верхнем этаже с его высокими, о восьми стеклах окнами были парадные апартаменты, впрочем, форточек нет и там, только кое у кого они сделаны, судя по рамкам, недавно.

Я иду к Сергею Сергеевичу, архитектору, реставрирующему здешний кремль. Он живет в угловой круглой башне, от которой в обе стороны уходят стены с переходами на них, где приземистые кирпичные столбы в виде бочонков поддерживают пологий скат кровельки с копьевидными концами тесинок.

Башня, запрокинутым своим шатром уходя в небо, выпукло розовеет в сумерках. Узкое ее окно светится высоко в толще стены. Я стучусь в дверь, и Сергей Сергеевич выходит на переходы посмотреть, кого бог принес.

Белая с синим изразчатая печь в башне жарко натоплена. Над большим круглым столом, поставленным в центре, диаметром несколько меньше стола, подвешен к потолку устроенный на современный манер хорос — металлический обод с торчащими вверх остроконечными электрическими лампочками. В отдалении, окружая нас, едва желтеется стена, и темные окна в ней глядят на все стороны.

Сергей Сергеевич рассказывает, что в Козьмодемьянах, в древнем тамошнем монастыре, снимается исторический фильм. Он показывает фотографии, и я вижу, как с помощью фанеры и красок художники преобразили крепостные монастырские строения в некую оперную декорацию, которая будто бы и есть тот давний город, откуда отправился в заморское путешествие тверской купец.

А за одним из окон башни едва различим в темноте снег, над которым высится стена с облезшей местами побелкой, где чуть краснеется выкрошившийся кирпич. В снегу натоптаны следы, из него торчат былки, под стеной топорщится обтерханый сухой бурьян. В самом конце стены, замыкая собою как бы некий дворик, стоит невысокая церковь, алтарные абсиды которой и барабаны смутно белеют, а тесно собранные маковки пятиглавия кажутся сейчас черными.

Легко вообразить, что все это выглядело так и в древние времена.

Живые люди жили не среди декораций. Были между ними и неказистые, пускай даже княжичи, а не обязательно ясноглазые да статные румяные молодцы, как можно предположить по стилизованным славянофильским картинкам. Были они по пренумеществу здоровые, крепкие, хотя и уходили иные в монахи, а не дистрофики с тонкой шеей и запавшими глазами, как изображали их мистически настроенные художники времен российского декаданса. Словом сказать, это были такие же, как и мы, люди, но только мысли их отвечали тому времени и одевались они сообразно с тогдашним обыкновением...

Об этом можно догадаться, потому что многое дошло до нас.

Древнее существует рядом, если взглянуть пристально.

Недавно, рассказываю я Сергею Сергеевичу, в старинной повести об основании этого самого Козьмодемьянского монастыря я прочитал, что слава его стала велика и «многоя велможа преставленья начяша класться». Но ведь эта форма употребляется и сегодня — любая здешняя баба, когда пастух под вечер гонит деревней стадо, говорит, что скотина гонится, корова пригналась.

Я вспоминаю еще, как Михаил Васильевич, мой хозяин, вернувшись однажды из города, с удивлением сообщил: «Щепетьём стали на улице торговать!» И Иван Федосеевич, хотя он и моложе, когда я вчера у него был, не помню уж почему назвал галантерею и сказал о ней по-старинному: щепетильный товар.

Сергей Сергеевич со сдержанной улыбкой, которая позволяет догадаться, что у него припасено нечто для меня интересное, в свою очередь рассказывает, как разговаривали недавно две женщины и одна говорила другой: «А Марья-то ревит!.. Ревит и плещется, плещется и ревит!..»

Мне почудилась Ярославна, как она плачет на стене в Путывле.

\* \* \*

Серое небо. Резкий ветер дует с озера. Обильно льет с крыш. Снег оседает, становится скользким; все говорят, что это ветер ест его. Но ведь снегу таять еще рано, на дворе еще только февраль, и до весны далеко.

Василий Васильевич, с которым я сталкиваюсь в дверях райкома, озабочен — весна вдруг свалилась. Через неделю, говорит он, снега, пожалуй, не будет. Ни на снях, ни на колесах не проедешь. А еще все колхозы обменяли семена, и навоз не всюду вывезен, пеезде завезены удобрения. Разговаривать ему сейчас недосуг, и он приглашает меня как-нибудь зайти домой. «К мужичкам!» — вздыхает он и энергично захлопывает дверцу машины.

Старый райкомовский шофер, Петр Николаевич, который все возит и возит по колхозам меняющихся через каждые два-три года секретарей, седой и черноглазый, по обыкновению взлохмаченный, небритый, в сдвинутой на затылок кепке, плутовато и доброжелательно подмигивает мне и трогает с места.

Я отправляюсь пешком в Ужбол. Мне приходит на мысль, что некоторые здешние руководящие товарищи, отвечающие за положение дел в сельском хозяйстве, представляют себе крестьянина как бы трудно-воспитуемым ребенком или же ленивым простачком, учат его, учат, зачастую известным ему с детства истинам, и настолько уверены в этом своем праве и в своем превосходстве над ним, что не испытывают естественной в таких обстоятельствах неловкости.

На сером стекловидном снегу вдоль черного и словно бы дымящегося асфальта темнеют отпечатки сапог, наполненные водой и окаймленные белыми крупинками. В Ужболе снег еще крепок, но изъеден поверху, усеян соломинками, обломками веточек, шелухой от семян сорных растений и прочей мелочью.

Желтоватая вода стоит местами в заваленном снегом пруду.

На дороге, обдута ветром, чернеется ворона с задравшимися перьями.

Наталья Кузьминишна, когда я замечаю между прочим, что весна, должно быть, и впрямь пришла, беспечно соглашается. Однако тут же она говорит, что Павел Иванович Суриков — человек бывалошный, старый, попусту трепать не станет — считает, что весна будет поздняя, холодная. Сколько я помню, то же самое утверждает и Иван Федосеевич. Впрочем, несколько лет назад об эту же пору любогостицкий председатель с присущей ему убежденностью объявил, что весна будет ранняя — кошки рано обгулялись, и преежестеко ошибся.

Когда я возвращаюсь домой, мне встречается сам Павел Иванович.

Хорошего роста, чуть ссутулившийся, скорее от работы, чем от возраста, хотя ему уже семьдесят восемь лет, не то чтобы сухощавый, а какой-то весь подобранный, жилистый, каким и должен быть человек после многих десятилетий физического труда, — опрятный и тихий этот старик одним лишь видом своим вызывает уважение. Борода у него лопатой, седая с рыжинкой. Нос крупный и глаза не маленькие, спокойные. До первой мировой войны он жил в Питере, у своего же райгородского мужика, сперва работал на его огороде в Царском Селе, а потом — в зеленой и овощной лавке в самой столице.

Суриковых, отца и сына, колхозного шофера, уважают в Ужболе не только из-за того, что работники они отличные. Бывает, и силен человек в работе и ловок, но стяжатель, хам, а то и пьяница. Павла же Ивановича с Ваней ценят за их честность, порядочность, деликатность в обращении с людьми.

Старик говорит, что зима была теплая, значит весна будет холодная.

\* \* \*

Крупный мокрый снег падает прямо и неспешно. Крыши, деревья и заборы — все в снегу. Снег скорее мартовский, последний, нежели февральский. К обеду он перестает. На обледенелых зеленоватых тротуарах

стоит вода. Навоз на мостовых размок. В темных лужах, налившись в широкие выбоины, светлеет обмытый лед, скользкими бугорчатыми полосами вылезавший из воды.

Над белым озером нависло глухое, сизое небо. Сверху снова что-то сеется, и все озеро по его берегам словно бы дымит. Город отсюда выглядит темным силуэтом. Идет снег, затем дождь, потом смесь дождя и снега...

По местному радио передают объявления о работе агитпунктов. В конце каждого объявления одна и та же фраза: «После доклада — культобслуживание». Концерт, надо полагать, или кино. Как-то незаметно в минувшие годы сложился этот холодный, мертвенный язык: «головной убор», «городской транспорт», «осадки»... Что это, боязнь конкретности, пускай не осознанная, боязнь подробностей? Тяготение к выхолощенным абстракциям? Любовь к выпренности? Или же стремление привести все к единой норме?

\* \* \*

Через дорогу, наискосок от нас, распушилась верба. Она стоит за низким покосившимся забором, на снегу, тоненькая, с растопыренными редкими веточками, на которых как бы застряли снежинки. Говорят, что где-то недалеко от вокзала на старых вербах тоже появились пушистые серебряные сережки.

Зашедшая к нам Наталья Кузьминишна, услышав о вербах, заявляет, что весна будет ранняя. Михаил Васильевич осведомляется у нее, делают ли у них в колхозе торфоперегнойные горшочки. Наталья Кузьминишна говорит, что нет, нынче не делают. Тогда Михаил Васильевич принимается рассуждать о том, что горшочки, видать, отменили — о них и в газете перестали писать, и по радио ничего не говорят... Старика томит праздность, с точно таким же интересом он станет допытываться, есть ли в Москве рак. Я удовлетворяю его любопытство, говорю, что у Ивана Федосеевича в теплице видел рассаду в горшочках. А не пишут о них потому, должно быть, что с ними все в порядке.

Меж тем старик прав. Я не знаю, насколько выгодны в овощеводстве торфоперегнойные горшочки, хотя то обстоятельство, что любогостицкий председатель выращивает в них рассаду, побуждает меня отнестись к ним серьезно. А газеты и радио здешние пошумели о горшочках, пошумели и бросили. Как подумаешь, до чего же усердно дискредитируются у нас разного рода новые или почему-либо забытые, полезные в хозяйстве приемы и способы работы!

Михаил Васильевич тем временем продолжает обсуждать с Натальей Кузьминишной прогноз погоды, причем последняя, хотя она и утверждала другое, склоняется вдруг к тому, что весна будет поздняя: куры еще не обновились.

\* \* \*

Полуденное, совсем весеннее солнце. Из водостоков и прямо с крыш, вдоль всего фасада, льется шумная, сияющая вода. Крыши блестят, пар завивается над ними. И на мокрых черных костяках деревьев вьется парок. Огромные неподвижные лужи с крошевом грязного снега темнеют напротив рынка.

Тяжко уже в зимней одежде — негнушиеся от ваты пальто расстегнуты, пудовые валенки в калошах шаркают по жидкому снегу, разбрызгивают воду в лужах. И только старушки с ведрами желтой, как масло, капусты, усеянной пятаками моркови, зябнут за длинными полупустыми рыночными столами.

Предвесенняя, какая-то уездная тоска.

\* \* \*

Читая Энгельгардта, книга которого и сегодня не потеряла своей учительности, хотя все изменилось с тех пор в русской деревне, я заинтересовался тем местом, где автор рассказывает, как он, изучив помещичьи и крестьянские хозяйства, «пришел к убеждению, что у нас первый и самый важный вопрос есть вопрос об артельном хозяйстве». При всем том, что в наши дни спорить по этому поводу не придется и что кое-какие подробности из рассуждений Энгельгардта, конечно, устарели, я решил все же переписать сюда те строчки, в которых идет речь о выгоде работы на земле сообща.

«Кто ясно сознает суть нашего хозяйства, — пишет Энгельгардт, — тот поймет, как важно соединение земледельцев для хозяйствования сообща и какие громадные богатства получались бы тогда. Только при хозяйстве сообща возможно заведение травосеяния, которое дает средство ранее приступать к покосу и выгоднее утилизировать трудное время; только при хозяйстве сообща возможно заведение самых важных для хозяйства машин, именно машин, ускоряющих уборку травы и хлеба... Огромное количество свободных рук указывает на необходимость развития мелких домашних производств. Нужны не фабрики, не заводы, а маленькие деревенские винокурни, маслобойни, кожевни, ткачевни и т. п., отбросы от которых тоже будут с пользой употребляемы в хозяйствах».

Должен сказать, что деревенские «маслобойни» и «ткачевни», то есть предприятия, перерабатывающие местные сельскохозяйственные продукты, по разумению моему, необходимы и сейчас — и ради того, чтобы занять свободных после уборки урожая людей, заработок которых невелик, и для того, чтобы оставались на месте и шли в дело отходы от этих производств, и потому, что в колхозе, мне кажется, если взять наши места, приготовление всякого рода солений и варений, картофельной муки, консервирование и сушка овощей может обойтись куда дешевле, нежели на большом государственном предприятии.

Утверждая, что хозяйство может истинно прогрессировать лишь тогда, когда земля находится в общем пользовании и обрабатывается сообща, Энгельгардт высмеивает «переведенных с немецкого», как он их называет, агрономов, которые одни только и могут защищать то, что в экономическом отношении есть бессмыслица — способ хозяйствования особняком, на отдельных кусочках. Рациональность в агрономии, замечает он в связи с этим, состоит не в том, что у хозяина посеяно здесь немного рапсу, а там немножко клеверу, что корова стоит у него все лето на привязи и кормится накошенной травой, что за плугом он ходит в сером полуфрачке и по вечерам читает агрономический журнал. «Рациональность состоит в том, чтобы, истратив меньшее количество пудо-футов работы, извлечь наибольшее количество силы из солнечного луча».

Собственно, этим последним и показались мне весьма современными чуть ли не столетней давности рассуждения Энгельгардта. Ведь и сегодня еще серый полуфрачок и чтение агрономического журнала принимаются иными товарищами, берущимися судить о деревне, за несомненный признак культурного ведения хозяйства. А сколько еще руководителей судят о колхозе не по количеству работы, употребленной на извлечение силы из солнечного луча, а только лишь в зависимости от высеваемых в хозяйстве культур и способов содержания скота, причем сегодня они хулят то, что вчера считали прогрессивным.

\* \* \*

На солнечной стороне капель, а в тени синееет снег.

Солнцем освещен белый дом с мезонином на выезде из города, неподалеку от нас. Окно в мезонине большое, полукруглое, стекла в нем рас-

ходятся лучами. А в первом этаже окна высокие, узкие, по-старинному о восьми стеклах. Дом, конечно, деревянный, потому что мезонин обшит тесом, а из-под штукатурки первого этажа, в углу, где она обвалилась, виднеется обрешетка.

Перед домом, наклонившись в одну сторону, стоят березы со множеством тонких коричневых веточек, на обвисших концах которых торчат сережки, еще не расцветшие, тугие, похожие на крошечные рога. Прелесть что за дом!

В таком доме могли жить герои Тургенева, Гончарова...

Архитектура сильна не только тем, что она, как и любое другое искусство, воздействует содержащимся в ней образом, художественно выраженной идеей. Архитектура еще — и свидетель жизни предшествующих поколений.

\* \* \*

Глухой, черный вечер. Сыро, скользко. В неразличимых почти домах тускло светятся окна — электростанция здесь старая, энергии не хватает, а строить новую нет смысла, потому что скоро сюда придет волжская энергия.

С Василием Васильевичем, у которого я сижу дома, — он только что приехал из колхоза, где плохо с вывозкой удобрений, — толкуем о том, что все, в сущности, упирается в навоз, поскольку без него здешняя земля не родит, а ведь она основа сельскохозяйственного производства. Все семена, которые высеваются на полях района, и скот, какой имеется на фермах, и машины, и транспорт, и постройки, и человеческий труд, начиная с употребляемой на простых работах колхозницы и кончая секретарем райкома, — все это не оправдывает себя полностью, если земля недостаточно унавожена.

Василий Васильевич жалуется на неожиданно раннюю весну.

А я тем временем думаю, отчего это прежде крестьянин возил навоз в так называемое междупарье, то есть в течение того промежутка времени, когда яровое уже посеяно, а покос и вспашка под озимь еще не начались, теперь же это принято делать на исходе зимы, и не уносит ли с водой из навоза какие-либо полезные частицы. Впрочем, я не специалист. Можно бы спросить Василия Васильевича, но мне не хочется. Он, хотя и агроном, да еще с высшим образованием, и родом из деревни, однако ни во что не ставит крестьянский опыт. Он и в остальном какой-то, я бы сказал, не деревенский, — например, если есть случай, дает мне понять, насколько он прост с народом. Вот и сегодня, рассказав, что перед собранием в колхозе были танцы, он словно бы между прочим заметил, что и сам плясал. При всем этом, кажется мне, выкажи я свое удивление тем, что он из крестьян, это бы ему польстило.

Василий Васильевич не без удовлетворения говорит, что с председателями у него теперь порядок: Ликин в Усолах уже и сейчас неплохо тянет, а Глебушкину в Ужболе придется, как зайцу, по второму кругу пробежать, и дело пойдет. Я и сейчас не возьму в толк, в чем смысл этого иносказания, однако спросить я не успеваю, так как Василий Васильевич вдруг заявляет, что остается только Ивана заменить — так называет он за глаза любогостицкого председателя, — устарел Иван, грузом стал для колхоза, тянет назад...

Мне хочется возразить ему, что это легкомысленными литераторами в недавнем прошлом придумано, будто существует пожилой прижимистый председатель колхоза, который в свое время был хорош, а потом отстал и по причине этой своей отсталости противится всему новому, передовому, — вернее сказать, даже и не придумано, скорее взято из жизни, однако по недостатку ли ума или чувства ответственности являе-

ние это истолковано так, что по-крестьянски хозяйственный председатель, противящийся разорительным новшествам, изображается человеком недалеким, косным, а фантазер, без зазрения совести пускающий на ветер народные деньги, выглядит передовиком.

Но я не говорю этого. Мне приходит на мысль другое. Я думаю о том, с каким безмятежным спокойствием сидящий передо мной человек берется решать судьбы людей — речь не о председателях, но о тех тысячах мужчин, женщин, детей, благополучие которых зависит от того, плох или хорош председатель.

Мы часто рассуждаем с Василием Васильевичем о благотворных изменениях, какие произошли в стране после Двадцатого съезда партии, но ему, пожалуй, и в голову не приходит, что в нем самом мало что изменилось, разве что исчезло ожидание жестокой расправы за вольную или невольную ошибку. По должности своей он толкует на собраниях о восстановлении ленинских норм, но едва ли помнит, хотя и «проходил» Ленина в институте, как он мне однажды сказал, ленинские слова о необходимости доказать, что коммунисты в момент тяжелого положения разоренного, обнищавшего, мучительно голодающего мелкого крестьянина ему сейчас помогают на деле, — вот это самое «мучительно» звучит так, что чувствуешь муки, испытанные тем, кто произнес это слово. Применительно к сегодняшнему дню это означает, что секретарь райкома не может не болеть душой и за Соньку из Ужбола и за уехавшего оттуда Виктора...

Однако и об этом я не говорю Василию Васильевичу.

Пожалуй, он поднял бы меня на смех.

Я дивлюсь лишь тому, насколько убежден этот человек в своем праве навязать в председатели ужбольским колхозникам Ромку или же запретить Ивану Федосеевичу сеять «мешанку», и никогда, думается мне, не посещает его беспокойство относительно того, что крестьянин, как предостерегал Ленин, возьмет и скажет: «...Если ты хозяйничать не умеешь, то поди вон».

\* \* \*

Ночью вдруг выпал снег, и неожиданно подморозило. Тихо, ни ветерка. В сером небе, которое темнее, чем снег на крышах и на земле, отчетливым кружком белеет солнце, окруженное светящейся дымкой. Покойно вокруг.

На закате солнце садится малиновое — к морозам.



---

СТЕПАН ШИПАЧЕВ

★

## В КАЛИФОРНИИ

Был рядом океан. Похрустывал песок.  
Порою звезды падали наискосок,

Куда-то в сторону Китая  
Над океаном пролетая.

И месяц в облачке, где три звезды блестели,  
Лежал на спинке, как младенец в колыбели.

Америка, я повидал твои секвойи.  
Они прямы душой, как те ребята, двое.

Должно быть, грузчики.  
Я встретил их в тот вечер.  
Они стояли белозубы, круглоплечи.

Мы сигареты разминали по привычке  
И от одной прикуривали спички.

А кто-то сумрачный шаги замедлил рядом.  
Я понял — он хотел сказать мне взглядом:

«Припасены для вас иные сигареты.  
Лишь чиркнуть спичку — к черту полпланеты».

Ну что ж, не раз бывали и такие встречи.  
Подонков мало ли. Он не испортил вечер.

Был рядом океан, и эти парни рядом  
Смеялись, дружеским мне отвечали взглядом.

Мы шли. Похрустывали галька и песок.  
Порою звезды падали наискосок.

И месяц в облачке, где три звезды блестели,  
Лежал на спинке, как младенец в колыбели.

---



---

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

★

## НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ \*

*Записи давних лет*

**В**оскресный день в деревенской школе назначено заседание выездной сессии народного суда четвертого участка. Слушается дело о деревенской колдунье-знахарке, показательный процесс.

В тесном школьном классе набилось множество народу: мужики и бабы с грудными ребятишками, парнишки, девки. Лускают подсолнышки, переговариваются, смеются. В школьной кухне, в уголке, на старом венском стуле сидит старуха знахарка, в овчинном полушубке, покрыта большим черным платком. Часто и шумно вздыхает, плачет и крестится. Вокруг старухи собрался народ. Бабы ее спрашивают, сочувствуют, неприязненно косятся на бледную, заплаканную женщину, из-за которой старуха попала на скамью подсудимых. Ждут прихода народного судьи.

Слышны голоса:

— Чтой-то судьи долго не едут? Наказывали к десяти собраться, а теперь обед.

— Кому обед, а кому утречко.

— Ранняя птичка носик очищает, а поздняя глазки протирает.

— В десять с постели встанут, и то говори слава богу. Чай сами господами стали.

После длительного ожидания начинается заседание сессии в составе народного судьи, члена коллегии защитников и двух заседателей.

— Обвиняемая гражданка Наумова, встаньте! — произносит судья.

— Чего?

— Встаньте!

Черный бородатый мужик, зять старухи знахарки, толкает ее в бок:

— Встань, встань!

Старуха медленно поднимается, долго крестится в пустой угол, низко кланяется в угол же.

— Была ли ранее под судом? — спрашивает судья.

— И в свидетелях николи не была.

— Гражданка Наумова, вы обвиняетесь в том, что, используя невежественность масс, их суеверие, вы внедряли ворожбу между отдельными гражданами, сообщали ложные сведения под видом знахарства, вымогали деньги и продукты. Признаете вы себя виновной?

— Ни́чо́го такого не знаю.

— Поняла ты меня?

— Ни́чо́го не поняла.

— Занимаешься ты знахарством?

— От рожки ты порежут пальчик — помогу.

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

— Как же ты, не имея медицинских знаний, бралась лечить? Ведь ты могла испортить, загубить человека.

— И не беруся! Я ж травы в поле найду или с церкви водички от духа принесу. Попросят люди — ну как не дать! Может, получшеет.

— Трав ты не знаешь, и черт тебя ведает, какую ты там дрянью прикладываешь раны.

— Слухай: что хошь, то и говори теперя про мене!

— Как ты водой лечила?

— Слухай, что я тебе скажу: с колодца водицы принесу, младенчика переkreщу, водичкой гою обмою да в пеленки заверну и на печку положу.

— Вспомни, старуха, никого ты за свой век до смерти не залечивала?

— Господь помиловал! — Старуха широко крестится и кланяется в угол.

— Итак, гражданка Наумова, — продолжает судья, — ты созналась, что знахарствовала водою и травами.

— Ничо́го, ничо́го, ничо́го не знаю. Сколько народу нашего есть — никто худого не скажет про мене ближний.

— Та-ак. Минуты две назад ты сама здесь говорила, что лечила.

— Это что от рожки да ребеночка обмыть.

— Значит, лечила грудных ребят?

— Ён же, ребеночек, мой родной внучек, я его чай у матери сама принимала.

— Много ж у тебя внуков!

— А как же! Та матка своего ребеночка помыет, та нет, а бабке омыть надоть!

— Ну ладно, это внуков, а других-то какого черта ты лечила?

— Так я ж от рожки ти от глазу. Листик наложу от рожки. Может, получшеет.

— Может, получшеет, а может, антонов огонь от твоей травки делается? А ребенок может простудиться и захворать от гвоей колодезной водицы.

— Неш я его так и поливаю?

— Ну, а от глазу как ты лечила?

— Никак я не лечила, ничо́го не знаю. Только как кричит ребеночек — бабы жалеют. Ну приходят ко мне, фершала, мол, гонят, так если помрет — совесть мутить будет...

— А ты и от глазу лечила травами?

— Я ж не бог. Я ж не знаю — ти с глазу, ти не с глазу. А травы как не дать — может, получшеет. Дай бог, чтобы получшело, и пушай растет с богом.

— Понимаешь ли ты — какой вред приносила? Вместо того, чтобы обращаться к доктору, к фельдшеру, народ шел к тебе, запуская свои болезни, губил детей! Вот гражданин Володченков показывает, что у тебя человек по двадцать ожидало ворожбы!

— Господи Иисусе Христе, мать пресвятая богородица! Ничо́го не было! Ничо́го не знаю.

— И самому Володченкову ты объявила, что у него сытая болезнь, и дала ему «лекарство» — воды в пузырьке.

— Господи! Старый я человек! Теперя привели на распятие! Кто что хошь, то и говори. Не лечила я водой, не лечила!

— Знаешь ли ты гражданина Фильченкова из Полднева?

Старуха молчит, но вдруг настораживается вся.

— Он к тебе приходил когда-нибудь?

— Господи, да там же недалече. Может, и приходил посидеть.

— Нет, он не посидеть приходил! У него пропала лошадь, и он при-

ходил к тебе ворожить. Ты долго смотрела в пузырек с водой, а потом сказала ему, чтобы близко лошади не искал, что она далеко, под Спасом, стоит, привязана к дереву. Мужик сдуру отправился к Спасу, да, пройдя верст пятнадцать, одумался, воротился домой. Глядь, а лошадь-то его дома — привел сосед, к которому она пристала. Расскажи-ка нам, что ж такое ты видела в пузырьке с водой и послала человека попусту к черту на кулички?

— Ах, брат ты мой! Ничо́го не знаю, ничо́го не было!

— Не было? Ну, а Володченкова-то ты знаешь?

— Николи в глаза не видала.

— Помни, Наумова, что за ложные показания ты ответишь особо и что караются они тюремным заключением до одного года.

— Господи! Вы ж мене взбунтовали. Неш я знаю — может, и запамтовала. Старый я человек...

— Ну, а гражданку Чульцову ты не забыла? Вот она тут в зале сидит. Она приходила к тебе нынешней осенью — дело недавнее. У нее корова перестала давать молоко, и ты, погадав на воде, сказала, что молоко отнял тот, кто приходил днями к Чульцовой и просил у нее что-либо с хитростью.

Старуха разводит руками, голову набок, на вопрос судьи молчит.

— Таким образом, виновной в том, что корова перестала давать молоко, оказалась попросившая у Чульцовой яиц ее соседка Макрида Иванова из Полднева.

— Господи! Все полдневские! Знать, здесь все, как на свадьбу ехать.

— Ты, старуха, не вилай! Отвечай прямо да помни, чем ты отвечаешь за ложные показания. Сознаешься ли ты в этой своей последней ворожке?

— Господи Иисусе Христе, мать пресвятая богородица! Терзают, гоняют старуху! Кто што хошь, то и говори. Ничо́го не знаю, ничо́го не скажу.

Старуха плачет, машет рукой и твердо садится на скамью, намереваясь не отвечать больше судье.

— Гражданка Наумова, сейчас же встаньте! Допрос еще не кончился.

— Ничо́го не скажу! Вы мене взбунтовали. Старый я человек.

— Встать!

Черный мужик-зять и защитник толкают бабку.

— Встань! Встань!

Она поднимается, грясет головой, утирает слезы.

— Итак ты, не зная даже Макриды, очернила ее в глазах Чульцовой, посеяла между ними вражду.

— Господи! Они сами ссорятся, а меня чепают...

— Ну, а любжу девицам ты как делала?

— Ничо́го не делала, ничо́го не знаю.

— Позвать свидетеля Капарзова! — сердито кричит судья.

Входит незнакомый мужик, лет тридцати, бритый, в сапогах, одет по-городскому. Говорит быстрой приказчицей скороговоркой. Видно, что свое показание заранее приготовил и выучил наизусть.

Старуха зорко вглядывается в нового незнакомого свидетеля.

— О деле гражданки Наумовой, — бойко говорит свидетель, — могу показать нижеследующее. Гражданку Наумову я не знаю и лично не видел никогда. Я как председатель комитета взаимопомощи. И ко мне пришел гражданин Иванов с Полдневских участков и говорит: «Мы всегда хорошо жили с соседями Чульцами, и никакой ворожки промеж нас не было. А тут пришел я раз, а Чулец мне говорит: «Уходи! Твоя баба у нашей коровы молоко отняла!» И показал, что такое наворожила

знахарка Наумова. Иванов хотел пойти к священнику и за свой счет наложить заклятие и дать присягу, снять позор с Макриды. Я, конечно, как председатель говорю: «Не позорь ты наше время потем! Прямая тебе дорога в нэрсуд». И он меня послушал. И больше показать по этому делу ничего не могу.

Выходит свидетельница, та самая баба, которой ворожила знахарка. Она твердо убеждена, что Макрида отняла у ее коровы молоко, старается выгородить знахарку. Говорит ясно, толково, поджимая губы, стараясь не сместить на Макриду.

— Собралась, пошла я в поле, на лен. Только вижу, Макрида бежит. А у нас колода пчел. «Дарья,— говорит,— дай мне малость медку, хэть одну ложечку, совсем пэмирает мой мужик. Надо ему меду с царским семечком попить». Отказала я ей: «Нет у меня, Макрида, для тебя меду». — «Ну, коли нет меду, дай пучок травы-полыни от живота мужу». Я ж ей тогда сказала: «Что ты, Макрида, чегой-то я свое дело брошу да для тебя за травой-полынью пойду. У тебя ж дети; пошли в поле, они нарвут». Ушла она. Только смотрю — вскорости опять бежит: «Дарья! Не найдется ли у тебя десятка яичек, ти продать, ти в долг!» — «Ну,— говорю ей,— соседское ли дело продавать яйца? Десятка тебе не дам, а пяточек возьми». Ушла она. Немного я поработала, гляжу, бежит мой старший мальчонка, он у нас коров наших пастует, говорит мне: «Мамка,— говорит,— чтой-то с коровами нашими неладное приключилось». Побегла я с ним, гляжу: коровы не ходят, одна лежит, другая не ест. Вечером дою, утром дою — молока нету. Ну, бабское дело — плакать. Говорю мужику: «Ну надо ж нам куда кидаться. Две коровы маю, а молока ничого нету». Побегла я к этой бабке. Она мне прямо сказала: «На воде я мало чего понимаю». Только я ее очень просила, и дала она мне травку. Коровам получшело. Больше у меня и разговору нету...

Судья:

— Сколько она с вас просила за ворожбу?

Дарья:

— Нет, не просила она. Я от своей ласки ей двадцать копеек дала.

Судья:

— Ну, гражданка Наумова, видишь,— свидетельскими показаниями мы изоблчили тебя. Что можешь теперь сказать?

— Господи! Я сама себе не узнаю за три дни. Я сама себя прожила. Мы ж народ темный!

Еще долго тянется судебное дело, деревенский «показательный процесс» над знахаркой. Усталый судья объявляет перерыв. В школе тесно и нагоптано, пахнет овчинами, дымом. Не торопясь расходятся бабы и мужики...

По нашей местности в те годы ходило множество рассказов о бандите Митьке РаскоLINE. Признаться, я мало верил в них и в существование самого легендарного Митьки. Но однажды ранней весной мне самому довелось увидеть его.

На кисловской мельнице после большой весенней воды работали мужики-грабари, засыпали отмель, возили по расстеленным на земле доскам красную тяжелую глину. Смотря на спорую работу, я стоял на бревенчатом мельничном мосту. Над мельницей летали голуби, толстый мельник Емельяныч командовал грабарями.

На плотине под ветлами показались две подводы. На переднем туго увязанном возу сидела и улыбалась красивая молодая баба. Под веревкой, которой был увязан воз, заткнута трехлинейная винтовка. Рядом с возом быстро шел невысокий, в кожаной куртке, с длинными по плечи черными

волосами бритый человек. Под ремнем, которым была подпоясана его красная рубаша, чернели два нагана.

Ни на кого не глядя, странный человек прошел в двух шагах от меня. Возившие глину мужики разинули рты. Побледневший стоял на мосту мельник. Как бы некое дуновение прошло по остолбеневшим людям. Я услышал долетевшие до меня слова:

— Митька Расколини!

За Митькой на пустой телеге ехал подвыпивший и необыкновенно радостный мужичок. На его лице сияла блаженная улыбка. Видимо, он гордился тем, что сопровождает знаменитого Митьку.

Ни на кого не взглянув, Митька прошел по громыхавшему под колесами телег мосту. Я близко увидел его нахмуренное загорелое лицо с длинными смоляными волосами. Бандит шагал с выражением важности на лице.

Подводы поднимались от реки в гору. Мужики неподвижно глазели на них. Кто-то сказал: «Это он к Марье на Полдневские участки!»

Вскорости я узнал, что Митьку Расколини, имя которого я считал легендарным, арестовала милиция, увезли в Вязьму. На суде Митьку приговорили к расстрелу. Говорят, что, выслушав смертный свой приговор, Митька заплакал: хотелось жить и гулять.

За Угрой, под Вербиловом, в глухом темном лесу есть красивая зеленая поляна. Вокруг мох, колодые, ни дорог, ни тропинок. Помню по рассказам отца, что называлась эта поляна «Байков мох». Будто еще в крепостное время жил на том мху удалой разбойник Михаила Байков, беглый холоп. И будто в великом страхе держал окружных дворян, злых помещиков жег и казнил беспощадно, добрых миловал.

На Байковом лугу, где находился разбойничий стан, и до сего времени сохранились остатки каменной стены, заплывшие подвалы, в которых разбойники якобы прятали награбленное добро. Не раз находили на Байковом мху клады, а на берегу реки Угры вешняя вода вымывала разбитые глиняные горшки со старинной монетой.

Есть что-то похожее на это и в рассказах о нынешних бандитах — Митьке Расколине и Кышь-Бароне.

Старый кузнец Василий Иванович, с одышкой, с большими, тяжелыми, точно из чугуна литыми руками, со скрюченными черными пальцами, устало сидит на краю горна. Воротник байковой заношенной грязной рубашки расстегнут, под рубашкой видна обтянутая желтоватой кожей костлявая старческая грудь. На груди пропитавшаяся потом тесемка нательного медного крестика. Небольшая седая бороденка с прямыми редкими синеватыми волосами сквозит на подбородке. Он сидит на краю низкого горна, свесив с сухих колен сцепленные пальцами тяжелые кисти рук, запально дыша. У старой наковальни на земляном полу, засыпанном углем, черной окалиной, обломками железа, присвистывая и что-то приговаривая, веселый молодой мужик в соломенной шляпе прилаживает к березовым новым дрожинам горячую оковку. От дерева идет дым, полосы железа не сходятся. Мужик посвистывает, чешет за ухом. Старик кузнец устало его наставляет.

В железе нужно что-то поправить, и кузнец тяжело поднимается с горна, где красно тлеют угли, берется за мех. Угли вспыхивают летучим синеватым пламенем. Черными негнушимися пальцами берет клещи. Привычным движением поворачивает в горне раскаленную полосу и, роня искры, кладет на наковальню. Мужик в соломенной шляпе, бодро хакая, бьет по пробойнику молотком. Раскаленное добела, медленно остывающее железо поддается и гнется, как мягкий воск.

— Теперь в самый раз! — весело говорит мужик, примеривая железо. Кузница малюпкая, древняя, на берегу реки, кругом заросла непролазным олешняком, береговым ивняком. Возле кузницы лежит старый мельничный жернов, стан для ошнования колес, разбросаны ломаные бороны, плуги и колеса. В дырявую закопченную крышу глядит синее-синее летнее небо. Высоко в небе со свистом проносятся стрижи, в глухой заводине за ольховыми кустами кричат лягушки. У раскрытой двери кузницы, опершись на покосившуюся притолоку, неподвижно стоит маленький мальчик, внук кузнеца. В низкую дверь виден подол его длинной холщовой рубахи, синие набивные порточки, обвисшие на коленках, не достающие до загорелых детских лодыжек. Внук стоит молча, по самые уши насунув отцовский солдатский картуз, внимательно наблюдает, как под ударами молота дождем рассыпаются, падают на землю искры.

Старики в деревне еще помнят большую старинную крестьянскую семью. В этой огромной семье одних мужиков насчитывали двадцать три человека да столько же баб, а малых ребят сосчитать невозможно. Эта большая семья жила в шести смежных хатах. Работали и молодые и старики. Два старика ходили за скотом, готовили лошадям корм, когда возвращались с работы их сыновья и внуки. Хозяйство было большое: двадцать лошадей, двести гусей, сотня овец. На всех в семье хватало и шерсти и овчин, у каждой девки на приданое новая перина. Лошади в хозяйстве были одной масти: серые, в яблоках. Едут, бывало, на масленице семьей, у всех дуги зелененькие. О семейных разделах речей не заводили. Старшим избрали молодого умного мужика. Все важные хозяйственные дела решали на семейном совете. Зная, что нелады часто зачинаются от бабьих раздоров, старший был с бабами осторожен. Бывало, поедет в город либо на ярмарку — всем бабам привозит одинаковые подарки. За малыми детьми ухаживали старухи, смотрели, чтобы та либо другая мать не подкидывала своим детям лишние кусочки. Сядут зимою бабы за прялки — гудит в ушах! Начались как-то у баб нелады из-за лучины. Одна говорит: «Не столько пряду, сколько светец оправляю!» Старший побранил баб, установил твердый черед у лучины. Жили в полном достатке. Мужики работали зимой в лесу, рубили и возили на пристань лес, весной ходили по реке с плотами. Ни в хлебе, ни в деньгах не знали недостатка.

Старик Семен Журавлев. Борода круглая, большая, кажется тяжелой. Глаза зоркие, ястребиные, молодые. Нос большой, видный.

Садясь за стол, по-старинному молится богу, шепчет молитву. Руки большие, с негнушными пальцами, похожи на медвежьи лапы. Помолясь, бодро встряхивает головою и плечами.

Сел за стол, взглянул молодыми ястребиными глазами. Никак не поверишь, что годков ему больше восьмидесяти. Очень похож на древнего святорусского богатыря.

В прошлые времена служил в господском имении сыроваром. Старых и молодых господ видал-перевидал: как спивались и прогорали, женились и умирали.

У Семена Журавлева три сына такие же богатыри: старший — Павел на шахтах потерял правую руку, придавило породой. Средний — Сашка, буян и забияка, ходит в лесниках. Младший сын — Иван, мой кум, служит на мельнице. Братья Сашка и Иван на масленой неделе вдвоем всю нашу деревню на кулачки побили. Кручинские и кочановские мужики их ненавидят.

О дерзких «подвигах» Сашки рассказывают такое. Загорелась однажды лесная сторожка, в которой Сашка жил с семьей. В самое это время сам Сашка пировал в деревне. Ему сообщили о пожаре. Он прибежал в

лес к горящей сторожке, возле которой лежали вытащенные из огня пожитки, под вой баб стал швырять в огонь сундуки, холсты, иконы, прялки...

К своим маленьким детям богатырь Сашка трогательно внимателен и заботлив. Присядет, бывало, на корточки, посадит на ладонь двухлетнюю дочку, с нею играет...

Убили Сашку из мести. Первый раз стреляли в него, когда пахал в лесу лядо. Выстрелили из леса и скрылись. На первый раз обошлось благополучно.

Во второй раз стреляли у самой лесной сторожки, когда Сашка клал печку в овине. Из овина он вышел за спичками, взялся за скобку двери. Из ближнего куста выстрелили из двух стволов волчьей картечью.

Рядом играла маленькая девочка, дочь Сашки. Как позже выяснилось, убийца сидел в кустах на опушке леса. В кустах была устроена «засидка», в которой убийца терпеливо поджидал Сашку.

На деревне все знают Сашкиного убийцу. Это Павлик Рудик из Кручи. Часто встречаю его на охоте: маленький мужичишка, глаза юркие, под жиденькими усами хитрая ухмылочка. За плечами то самое старинное ружьецо...

Вблизи нашей деревеньки два села: Мутишино и Пустошка. До революции в Мутишине был бездетный и богатый поп Иван. Помнили его хорошо: кудлатый, высокий, с костлявыми длинными пальцами и путаной бородою. Любил поп Иван играть в карты, в стуколку и преферанс. Водки не употреблял, копил денежки. Люди рассказывают, что в деревенскую смуту, когда кончалась война, поп зарыл золото в старинном помещицьем парке под деревом. Кто-то подсмотрел, золото выкрали. С горя поп Иван сошел с ума, бегал простоволосый, плакал. В последний раз его видели в городе, в уездной больнице: страшный, косматый, что-то бормочет.

Пустошкинский поп Федор — рыжий, веселый, с разбойничьими глазами — на всю округу прославился пьянством и безобразиями. В престольные праздники ездил по приходу хмельной, буйный, гонялся за молодухами, как петух за курами. Был у попа работник по имени Яков, как полагаются, парень продувной. Бывало, проснется с похмелья поп, кричит на всю деревню:

— Яша, Яша, где дуга наша?

Уже в самую заварушку пустошкинский поп Федор сбрил бороду, записался в безбожники. Служил, говорят, в уездной милиции. Приезжал однажды в родное село. Зашел в церковь, не снимая солдатской папахи, остановился перед царскими вратами на амвоне, вынул из кармана наган. Бац! Бац! Бац! Все иконы, все лампадки вдребезги на иконостасе перестрелял.

Вышел из церкви, выпил четверть самогону, сел верхом на коня. С тех пор его не видали. Пропал, как дым.

Съехались мы с дьяконом Синяковым в дороге случайно. Едет в окванной ладной тележке, по-цыгански свесивши ноги в запыленных солдатских сапогах. Выгоревший табачного цвета подрясник, черная с प्रदेशью борода. Очень похож на цыгана. На меня и моего чалого меринка посмотрел по-разбойничьи остро. С первого взгляда заметил, что на меринке тесноват хомут. Крикнул любезно:

— Хомутик у вас тесноват!

Остановились вместе кормить лошадей в дальней деревне. За самоваром разговорились. Оказался давний знакомый. О подвигах дьякона

Синякова я слышал еще в давние годы. Вспомнился ходивший по селу рассказ о том, как дьякон Синяков с приятелем своим, собутыльником дьячком Семеном, распивали на пчельне чай. Поставили четвертную бутылку водки, разлили на травке закуску, развели самовар. Сняли с улья крышку, уселись возле улья пировать, предварительно договорившись о том, кто дольше выдержит. Прямо из улья черпали ложками мед. Пчелы над ними гудят, жалят, вязнут в бородах, в гривах, а они знай водочку и чай пьют, закусывают теплым медом. Всю четвертную бутылку вылакали. И хоть бы им что. Чемпионы!

И впрямь похож дьякон Синяков на цыгана. Цыганская борода, цыганский острый взгляд, цыганские выходки. Всю жизнь дружил с конокрадами, любил менять и покупать лошадей. Некогда была у дьякона ученая знаменитая кобыла. На этой ученой кобыле разъезжал дьякон в праздники по приходу, на потеху мужикам устраивал по деревням цирковые представления. На самой этой кобыле в пасхальные дни въехал однажды пьяный дьякон на второй этаж церковно-приходской школы, в учительскую комнату, где учителя, бывшие семинаристы, по случаю праздничных каникул играли в преферанс. Учителя услышали на лестнице шум, оглянулись. Видят в дверях лошадиную голову, а над нею дьяконова черная борода... Помню страшные разговоры о том, как якобы живую похоронил возле церкви свою дьяконицу жену. Долго рассказывали о том, будто заснула дьяконица летаргическим сном, проснулась в могиле, в гробу, и когда вскрыли могилу, оказалось, что покойница перевернулась в гробу, перегрызла себе на руках пальцы. Когда-то в деревне мы наивно верили этим страшным рассказам, с трепетным ужасом смотрели на дьякона Синякова...

Я и теперь с изумлением смотрел на этого живучего человека, внушавшего некогда суеверный страх. За многие годы дьякон Синяков мало в чем изменился. Так же иссиня-черны, с легкой сединою были его волосы, так же по-разбойничьи играли на смуглом сухом лице цыганские глаза с желтоватыми белками.

Вскорости после нашей дорожной встречи я прочитал в областной газете корреспонденцию о проделках дьякона Синякова. У него дома, в селе Волочке, появлялись привидения, слышались стуки и таинственные голоса, предсказывавшие доверчивым людям судьбу, дававшие житейские и лечебные советы. Милиция устроила засаду в дьяконовом доме, и дьякона-кудесника разоблачили. За печкой обнаружили особое помещение, в котором сидел помощник Синякова, изображавший «прорицателя-оракула», издававший таинственные звуки. Синякова арестовали, судили показательным судом. Тем и кончилась необыкновенная карьера знаменитого дьякона Синякова.

Городковский поп, старик, перед своею смертью собрал все ценное, что было в доме — золото и серебро, свои и женины шубы, — запер в оклепанный большой сундук. На этом сундуке постлал постель, накрылся тулупом и лег умирать. После его смерти в оконечных пальцах нашли крепко зажатый ключ от сундука. Когда сундук открыли, увидели, что на крышке сундука написано отцовское проклятие тому, кто возьмет спрятанное добро. Родная дочь попа, молодая поповна, со стыдом и слезами сама рассказывала о смерти скупого отца.

В праздничный день зашел в сельскую старую церковь. Солнечный яркий день. Над колокольней свистят, режут голубое летнее небо стрижи. Высокие облака, глубокое небо.

Возле церкви и в церкви несколько знакомых мужиков и баб. Зеленая железная дверь в церковном притворе, истертые каменные ступени.



Вросли в землю старинные каменные памятники над могилами помещиков дворян Пенских, деревянные покосившиеся кресты утонули в высокой крапиве.

Служат попы в потертых малиновых ризах. Деревенская церковь с паутиной в сырых темных углах, с тяжелым устоявшимся запахом ладана, деревянного масла, подвальной сырости и восковых свеч. В эту церковь еще с крепостных времен ходили по праздникам поколения местных людей. Здесь я бывал в детстве. остро припомнилось, как хотелось бежать от страшных икон, от скучных церковных песнопений — на солнце, на луг, на берег реки, в которой так сладостно было купаться...

Всю пасхальную ночь, пока в церкви шла служба, у церковной ограды торговал водкой «синдикат». Ребята ходили прикладываться к плащанице: на тарелку клали копейку, а сдачи брали гривенник. Приложатся раз, другой, третий, набирают на бутылку — и в «синдикат».

Той же пасхальной ночью обокрали мутишинского дьячка. У дьячка жил мальчишка — приемыш. «Такой мальчик рахманный, услужливый, смиренный, все молится богу». Этот самый «рахманный» мальчик присмотрел, когда шла в церкви служба, где лежат у дьячка деньги, сцапал их и был таков.

Шепнули на клиросе дьячку. Дьячок даже служебную книжку не успел закрыть — из церкви за ним. Где-то нагнал, уже за деревней, отобрал деньги, посек мальчишка, на радостях сильно напился.

Старая женщина рассказывает о прошлых временах:

— К богатой помещице Розанихе в пасхальную ночь пришли грабители в масках. В одном из них Розаниха признала родного сына по голосу, по приметам. А он как закричит на нее: «Какой я тебе сын!» А когда вязали ее, он хлопотал, чтобы полегче, жалел — по этому и признала...

Помню по детству — в пасхальную ночь всегда было страшно: «грех кружил над землею».

Будучи в Дорогобуже, зашел в новый «нэповский» трактир. За столиком чинно сидят два иконописных старичка: совсем как апостол Петр и апостол Павел. Познакомились. Попотчевал водочкой, «рыковкой», так ее тогда называли. Апостол Павел пространно рассказывает о семействе, о своих сыновьях. Апостол Петр все его поторапливает, куда-то спешит, очень бойкий.

— Ты в городе, видать, раньше служил? — спрашиваю апостола Петра.

— Как же, тридцать пять годков раньше в Москве прослужил.

— На какой был должности?

— Мы половые, лакеями были, в Москве при гостиницах.

— Здесь, в городе-то, теперь зачем?

У апостола Петра глаза играют, еще молодые.

— Жена алименты с меня, вишь, требует.

— Как алименты? Давно ль ты женился?

— Три годика с Петрова дня.

— А лет-то тебе сколько?

— Семьдесят шесть годиков стукнуло.

— Ого, да ты, дедушка, вижу, герой!

Апостол Павел рядом сидит. В глазах слезинки, захмелел. Апостол Петр — ни в одном глазу.

— Что же, судишься, что ль, теперь со своей женой?

— Сужусь, как же. В Смоленск ездил. В главный суд.

— Что ж порешили в главном суде?

— Что порешили? Известное дело: платить. Говорят: «Ты еще, дед, могучий!» А мне семьдесят шесть годков. С таких стариков по советскому новому закону, слышать, алиментов не берут...

Зашел нищий — «ходок». Правый глаз вывернут, всегда открыт, не моргает. Левый глаз хитро и зорко хмурится. Никак не угадаешь выражения лица: поглядишь слева — один человек, взглянешь справа — как будто совсем другой.

По всему видно: бывалый, прошел огни, воды и чугунные повороты. Притворяется протачком. В левом живом глазе едкая насмешечка.

Посадил его за чай. Он с удовольствием выпил восемь стаканов, с крошечным кусочком сахара. Остаток обсосанного кусочка положил на перевернутый стакан. За чаем разговорились:

— Я, брат, тоже человеком был, свое хозяйство имел. Это теперь мухи меня обгадили.

— Куда идешь-то?

— Куда иду? Иду, брат, далеко, к самому царю.

— Как так к царю?

— А к нашему царю, к пролетарскому, к Михайле Ивановичу Калинин.

— Ты что ж, и раньше был у него?

— Как не бывать. Бы-ыл, сподобился. Уси проходы теперича в Москве знаю. Я, брат, ходок!

У него под рубахой виден нательный маленький крестик. Рассказывает, когда ходил к Калинин, этот крестик снимал — там не полагается.

Раньше служил в полиции, был лесником в казенном лесу. В самую революцию пошел в казенный лес воровать лыки — мужики ему проломили колом голову, сломали два ребра и, думая, что он мертв, оставили в лесу, завалили хворостом. Через три дня его нашла собака.

Теперь он инвалид, хлопочет о «пенсии». Говорит, что при царской власти оставалась самая малость до золотой медали дослужить.

Разъезжает по деревням ловкий человек, развозит всякий нужный товар, меняет на лыки и лен. Приедет в деревню, поставит коня, а сам по дворам:

— Товарец везу! Вот товарец везу!

Голос у него звонкий, глаз зоркий, руки как грабли. Войдет в избу, мотнет на икону, зиркнет по всем углам своим волчьим взглядом. Соберутся округ него бабы, — с бабами он ох как удал! — кто ситчику на платок, кто керосинцу.

— Что слышно нового? — спрашивают у него мужики и бабы.

И сыплет направо и налево новостями ловкий бывалый человек.

— Новенького? Много новенького. В Москве жулики из Кремля царь-колокол сперли! И так-то ловко: прицепили канатом, к канату сорок лошадей запрягли. Да как двинут! А колокол весь из чистого серебра.

Слушают бабы, распутивши рты, вздыхают.

— Да-а, — продолжает человек, — в Медынском уезде пал с неба огненный камень, накрыл пол-уезда, а теперь горит вся губерния. Народ кто куда...

Верят бабы в колокол, верят в огненный камень.

Быстро обделывает свои дела человек: кого на аршин обмерит, кого обвесит на фунт. Все языком прикрывает.

Выехали на станцию поздно, сбились с дороги. Сверху снегу нет, метет поземка. Где-то за Лазинками поехали наудалую, куда выведет лошадь.

В открытом поле сбились окончательно. Иногда казалось — то ли на месте стоим, то ли движемся во что-то белое, без конца и без краю. Ехали голым полем, по которому свистела и шипела злая поземка. Перед мордой лошади вдруг вырос темный круг.

— Никак, кусты?

— Будто деревня.

— Нет, кусты!

— Деревня!

Кое-где замелькали огоньки. Оказалось, выехали на дальние участки, на новые хутора, — лошадь привела. На снегу под окнами лежат светлые пятна. Видно, как в луче света пляшут, мечутся снежинки.

Вылезаю из саней, завязую в сугробе, ишу входа в сени. В избе мужичок в шапке и две бабы за прялками. На гостей глядят во все глаза. Долгий разговор, в котором участвуют бабы.

— Как же вы сбились? Прямо бы ехать.

— Прямо, — с досадой говорит Степа. — Света божьего не видно, а ты — прямо. Спаси, господи, и помилуй!

— Аль проводить? — спрашивает мужик.

— Проводи до дороги, сделай милость.

Не торопясь, мужик снимает с гвоздя шубейку, затягивает крепко пояс, надевает шапку и рукавицы. Наконец едем. Опять снежное поле, свистит поземка. Мужичок-проводитель идет впереди. Сквозь ветер слышно, как старчески, спокойно покашливает. От этого старческого кашля и нам спокойно.

Попутчик — мужичок из Сорокина. Красный, как бурак, начинен смехом: чуть что, так и затрясется весь. От избытка подвижности и любви к поездкам занимается барышничеством: скупает по деревням поросят, знает на всё цены. У него везде приятели-друзья, всегда чуть навеселе, приветливый, здоровый и веселый. Обо всем отзывается хорошо. Услужлив.

Тип деревенского «кулака-спекулянта».

На деревенской улице встречаю кума Афанасия. Идет, пошатывается, на лице знакомая веселая ухмылочка. В руках пустой мешок. Поровнялись, поздоровались. Спрашиваю:

— Опять ты пьян, Афанасий?

— А пьян — не велик изъян, — подавая руку, дружелюбно подмигивая, отвечает пьяница кум Афанасий.

На масляной возвращаемся из Мутишина, ближайшего села. Слепительные снега, по скользкой, накатанной дороге, на которой кое-где чернеют кучки конского навоза, под окованными полозьями повизгивает крепкий снег. В поле, за кладбищем, нагоняем подводу. В праздничном тесном возке с высокою спинкою — мужик и баба. Оба слегка хмельные, едут, видно, с блинов. Мужик еще молодой, в овчинной косматой шапке, борода густая, черная, держит в руках вожжи. Баба-молодуха — веселая, голова закутана красным платком, от мороза и хмеля щеки румяные. В новом нагольном полушубке. Всю дорогу поет тонким, жалобным голосом, а мужик негромко ей подпевает:

У зеленом у лесу  
Волчица гуляла.

У зеленом у саду  
 Пташка распевала.  
 У пташки гнездо есть,  
 У волчицы дети,  
 У мене, молодой,  
 Никого на свете.

Поют ладно и тихо. Вокруг сияют снега, вьется, блестит среди снегов накатанная узкая дорога. Едут в возке мужик и баба, не спеша трусит, изредка помахивая хвостом, чалая лошаденка, позвякивает что-то на сбуе. Помолчат-помолчат и опять затянут ту же короткую песенку. И так дружно, ладно, по-доброму, по-хорошему у них получается.

Поднимая пушистый снег, вдоль деревенской улицы весело скачут к колодцу, играют обросшие длинной шерстью коротконогие деревенские жеребята. Рады, что выпустили их из хлева на волю.

За жеребятами увязался кудлатый пегий кобель с черным пушистым хвостом. Подбросив задом, играя, передний жеребенок затоптал его в снег.

Едут из гостей, с блинов, трое подвыпивших мужиков в овчинных тулупах, обгоняют скачущих жеребят. Вдруг передовой бросается вскачь за ними. Смеются над веселым жеребенком хмельные мужики.

По старинному обычаю, каждое заговенье (то есть начало поста) бабы после ужина не убирают со стола. Оставляют еду в чашках, хлеб, ложки. Ночью, по поверью, приходят, садятся за стол души покойных родителей. Только поутру убирают со стола. Стол с едой покрывают овчинным тулупом или шубой для того, чтобы водились овцы.

По деревням разъезжает на гнедом жеребчике пройдоха, деревенский спекулянт Емельян. Скупает шкурки, овчины. Емельян очень веселый. Лысина с залезом. Бойкостью своею нравится мужикам. За словом в карман не лезет, готов на всякое дело.

За столом ест не спеша и опрятно. Перед тем, как хлебать щи, черенком деревянной ложки раздвигает длинные рыжеватые усы. Аккуратно обсосавши обглоданные чистые косточки, грудкой складывает возле чашки на столе.

Дед с внуком пошли гонять зайцов. Идут по дорожке, вынул дед табакерку, только приложил к ноздре — пых из кустов заяц! Внук кричит:

— Заяц, дедушка, заяц!

Схватился дед, табак рассыпал, скорей за ружьишко. Только и увидел, как замелькали за кустом белые порточки. И пошел крутить заяц: с Семеновой лощины на Гришкин луг, с Гришкиного луга на Поддубье, с Поддубья на Красную гриву.

До обеда гонялись дед и внук за зайцем. Выбежал заяц на деда, убил дед зайца, а внука нет. Пошел искать по следам, искал-искал, на силу нашел: лежит под елкою на снегу, от усталости засыпает. Ввалил дед на караушки и внука и зайца, приташил на деревню домой.

Постарел и весь сохся наш деревенский пастух Прокоп после беды, приключившейся с его приемной дочкой Проськой. Все так же ходит, легко по земле ступая. Такой же слышен по заре его громкий голос. Но изменились, ввалились глаза. В них появилось новое, тревожное. Постарел, сохся Прокоп!

Проськина «нагульная» трехлетняя дочка выходит по вечерам встречать деда на дорогу, по которой бредет к речному броду деревенское стадо.

Прокоп припасает внучке гостинец — лесных ягод, орехов. Маленькая внучка задирает ручонками подол рубашонки, открывает голый живот. Прокоп сыплет ей в подол орехи, курчавая его голова в старой зимней шапке склоняется над маленькой внучкой. Внучка крепка, здорова, как круглый камушек. Ни холода, ни голода не боится. О таких говорят на деревне бабы:

— Подкрапивнички, они всегда здоровее!

Мужика-сапожника прозвали (и другого имени ему нет) Богом за то, что во всю свою жизнь никого не обманул, никого не обидел, ни с кем не поссорился.

О сапожнике Боге рассказывают: честен, такого другого не выдывали во всей округе. Ниткой чужой не попользовался.

Бог пьет запоем. На масляной валялся в снегу на мельничной плотине пьяный, кричал: «Замерзаю!» Какой-то проезжий мужичок положил замерзавшего Бога в сани, доставил домой.

У Фрола густой волос в бороде, на усах и бровях, даже на носу кустик русых волос. Густые буйные волосы свешиваются на лоб, раскинуты по-старинному на две стороны. Волосы растут и в ушах. Ноги у него короткие, выгнутые в коленях, ходит он пружинисто, цепко ступая. Мужичья походка.

Жена Фрола — старуха — маленькая, легкая, опрятная в синей домотканой клетчатой паневе. Единственная дочка — молодуха, недавно выданная замуж, почти еще девочка, каждый день приходит к родителям в гости. У дочки много трогательной ласки даже к животным. Слышу, как разговаривает во дворе с овцами:

— Милые мои, да добрые мои!

На голове по-бабьи завязан платок, маленькие ноги в опрятных, чистых, ладно намотанных онучах, в новых лапоточках. И все у нее опрятное, чистое, ладное, легкое: онучи, красные вязовые лапоточки, маленькие руки и ноги, чистый и ясный взгляд детских глаз.

Отелилась корова Цыганка. Долго мучилась и редела. Теленок-бычок был большой, выходил трудно. Он лежал на соломе, в хлеву, черный, как мать, с белой по спине полоской, весь мокрый. Мать Цыганка, наклонив рогатую голову, бережно и крепко облизывала от головы до ног новорожденного.

Мокрого вздрагивавшего теленка Фрол взял на руки, отнес в избу, положил перед печкой. Теленок продолжал чихать, пытался встать, дрыгал несоразмерно длинными ногами. Соседка, беременная баба-молодуха, с жалостью на него смотрела. Втайне загадала: если родится у Цыганки бычок, и у нее будет сынок.

«Барин» кличут в насмешку беспутного мужика-чудака. Живет он на самом краю лесной деревеньки. Избенка не крыга, торчат голые слепи. На конце длинной слепи в виде зловещего черного флага висит высохшая дохлая ворона. Одно окошко выбито, заткнуто старой дерюгой. Вместо сеней перед дверью полукругом составлены еловые жерди, прикрытые обсыпавшимся лапником, высохшим и пожелтевшим. В избе полутьма, в углах растут грибы. По лавке ходит голенастый белый цыпленок, сосредоточенно клюет тараканов. Хозяина прокликали Барином за то, что любит «шикануть». Когда заводится копейка, бежит

в лавку, покупает пряников, баранок, конфет. Все это с бабой съедают вприсест, пока не подберут до последней крошки. Потом опять голодуют. Так и живут: день сыты, месяц горюют.

В недалекой деревне Дубровке живет баба Домна, работает на равную руку с плотниками и мужиками. Как заправский плотник, владеет топором, тешет, кантует бревна, рубит углы. Бывает, сядут плотники курить — и Домна с ними. Под сарафаном у нее мужицкие портки. Поднимет подол, достанет из кармана кисет с махоркой, свернет из газетной бумаги сигарку. В разговорах, в ругани любому мужику полсотни очков впишет.

Разбитная говорливая бабенка из соседней деревни, сидя за чаем, бойко рассказывает про своего деревенского пастуха:

— Паренек он еще молодой, с лица подходящий. Плохо одно: хромой. Вот и гребуют им девки, не гуляют с ним. Стал он охаживать замужних да вдовых. Летось жил со вдовой Авдотой, она к нему в поле бегала. Зимой Авдота родила, написала бумагу в суд. Присудили ей с паренька по пять рублей каждый месяц платить, потому что вдова и всех детей у нее шестеро. А ему откуда-то взять, коли сам по чужим дворам кормиться ходит? Нынешним летом спутался он с женой Николая Ларионова. Баба старая, свекровка уж, внук у нее растет. А поди ж ты. На спектакли ходить в школу стала к нам, в Лазарево, к свояченице своей бегаает, чтобы с ним побаловаться. Совсем стыд потеряла баба! Теперь вся деревня на нее пальцем показывает, а муж ее, Николай Ларионов, терпит, молчит, что дубовый пень...

Аникон сидит в Васькиной избе понуро, бороденка вислая, редкая, белесые глаза уставил в угол.

— Ты чего задумался?

— Сыны на меня недоброе затевают.

— Какие сыны?

— И Васька, и Митя, и Ваня.

— Как так? Ведь Ваня кормит, жалеет тебя.

— Ваня? — не меня выражения лица, медленно, с тупой угрозой произносит Аникон. — Он-то и есть первый мой враг и супостат.

— Быть не может?

— Да уж может быть.

И вижу: по плоскому, доброму, еще безусому лицу Вани побежали частые слезы обиды. Катя, жена Васьки, не вытерпела, злым голосом кричит из подполья, где выгребала картошку:

— Не плачь, не плачь! Не тужи, Ваня!

Глухая деревенька Вититнево. Стоит в лесу, рядом с непроходимым болотом Большим Бездоном. В Бездоне гнездятся каждый год волки. Вититневские мужики тихие, добрые.

В деревне живут три брата (три братá, как говорят у нас на Смоленщине). Семен, Степан, Фрол. Старший, Семен, ходит в лесниках, сурьезный, молчаливый, строгий. Сошелся с молодой снохой-солдаткой, отбил ее у родного сына. Сын остался где-то «на Мурмане», в деревню не приезжает.

Рядом, под одной крышей, живет младший брат, Степан. У Степана большая семья. Степан добродушный, приветливый, ласковый мужик. В его избе полно больших и маленьких детей. Под нарами — теленок и поросята. Степанова жена такая же приветливая, большая:

Средний брат, Фрол, живет в отдельной небольшой новой избе. Жи-

вет очень опрятно и чисто. Всегда у него ночую. Всю войну Фрол был в солдатах. Домой вернулся в самую разруху. Пришлось сызнова начинать хозяйство.

В самое это время на хуторе в лесу бандиты вырезали семейство зажиточного хуторянина мужика. Люди услышали с дороги, как ревут на дворе запертые голодные коровы. Пришли на хутор, увидели: вся семья на полу зарезанная лежит, и взрослые и дети. Кровь стекает в подполье на картошку.

Никто в деревне не хотел брать эту картошку, испачканную человеческой кровью. Картошку взял Фрол, посадил на огороде. Замечательная уродилась картошка. Самую эту картошку и я у Фрола ел.

За маленький рост и необычайное добродушие восьмидесятилетнего Дмитрия Васильевича Мальцева на деревне все называют Митечкой. Волосы у него седые, длинные, с восковой желтизной. Под ними большие старческие сухие уши. Брови — уголками. Большой рот с твердыми запекшимися синеватыми губами. Усы и сквозная коротенькая борода едва прикрывают верхнюю «заячью» губу и подбородок. Желтые, как у китайца, щеки сухи и худы, без единой волосинки.

Говорит он без остановки, с придыханием, с особенным трогательным выражением в голосе. Говорит, говорит и вдруг закатится добродушным мелким смешком и уж не может остановиться, вынимает из кармана платок, вытирает слезы и смеется, смеется, приговаривая свое любимое словечко:

— Укроп твое масло!..

Во всей деревне он самый старинный человек. Хорошо помнит Митечка крепостное, когда, будучи мальчиком, служил у мутишинского барина Пенского в казачках. Помнит лютую строптивую барыню Пенчиху. По всей округе славится Митечка своею необыкновенною честностью, мягким и ласковым нравом.

Теперь свой век Митечка доживает почти в полном одиночестве. Дети его учатся и служат в Москве. О них говорят на деревне, что сильно идут в гору, что выйдет из них большой толк, и, видимо, не зря говорят.

По словам Митечки Мальцева, барыня Пенская была «что горностаюшка» — ловка и красива. Еще девушкой влюбилась она в князя Друцкого-Соколинского, а выдали ее насильно за богатого и некрасивого помещика Пенского. Мужа не любила, ненавидела крепостных, была жестока и с родными детьми. Свою родную дочь толкнула так, что та на всю жизнь осталась хромою. Дворовых девок барыня Пенская порола собственноручно. Помнил Митечка, что в девичьей комнате стояли длинные скамейки с ремнями, которыми привязывали провинившихся дворовых девок. Схоронив мужа, будучи почти старухой, барыня Пенская вышла замуж за первого своего любовника князя Друцкого-Соколинского, и все имение Пенских перешло новому мужу.

Сам барин Пенский в молодости жил весело, пил и играл в карты. Под старость впал в богомольство. В его комнатах висели иконы, горели неугасимые лампы. Барин не пропускал ни одной церковной службы. Отправляясь в церковь, останавливался на каждом шагу, молился. Богомольного барина ожидали в церкви, поп не решался начинать без него службу.

Умер барин Пенский в городе, а похоронили его в селе Мутишине. До последнего времени в церковной ограде высился памятник на его могиле. У мраморного ангела, склонившегося над книгой, деревенские ребяташки отколотили нос.

Почти в каждой дворянской семье бывали неудачные дети, дурачки и чудачки. Над ними подтрунивали, смеялись сами господа, сторонились женщины. Один из помещиков — Воронцов, дурачок, погиб нелепой смертью. Раздевавший его на ночь слуга забыл потушить свечи. Дурачку барину понравился огонь, он составил на пол горящие свечи и стал танцевать. На нем загорелась ночная длинная рубаха, дурачок бросился в кровать, вспыхнуло одеяло, загорелась перина. Когда прибежала прислуга, барин задохнулся в дыму, обгорел, в ту же ночь умер.

Один из братьев Толстых, местных небогатых помещиков, слыл чудачком. Влюбился в актрису, руки которой добивался его сосед. Оба обратились к актрисе с брачными предложениями. Узнав, что женихи не богаты, актриса медлила с ответом. Женихи решили устроить американскую дуэль. Хитрый сосед на двух концах платка завязал узелки и подsunул доверчивому чудачу Толстому. По условиям дуэли Толстой застрелился.

У миллионера купца Коншина, скупавшего имения и леса на Смоленщине, было несколько сыновей, не схожих характерами. Один был толстовцем, ходил в лаптях, опростился. Другой сын был очень скуп, жил нелюдимом. Бывало, наловит на удочку в пруду карасей и посылает лакея в город продавать на базаре со строгим наказом не отдавать дешево. Чтобы не ходить на базар, лакей платил из своих денег. Молодой Коншин однажды жестоко прибил кухарку за то, что зарезала не того петуха. Третий сын Коншина был женат на красавице американке, увлекался спиритизмом и «по повелению потусторонних сил» застрелился на глазах жены. После самоубийства мужа американка приняла православие, построила женский монастырь под Калугой, на берегу Оки. Четвертый сын пошел в отца, вел все миллионные дела «Товарищества мануфактур Н. Н. Коншина и с-я», в те времена гремевшего по всей России.

Был еще незаконный сын Коншина, прижитой от простой женщины. Этого сына старик Коншин отправил в свое дальнейшее смоленское имение Пустошку на должность конторщика. Из него вышел поэт, в свое время довольно известный. Подписывался Н. Н. Николаев. Характером был смиренный и мягкий. Рано спился, умер от чахотки.

Был, говорят, в крепостное время в селе Пустошке барин Арсеньев. Дожил до глубокой старости. Приказал сделать для себя большую люльку. В эту люльку ложился спать, и его, как младенца, укачивали красивые молодухи.

В церковной ограде еще видны белые обсыпавшиеся, заросшие крапивой, кустами старой сирени могилы и склепы вымерших здешних помещиков-дворян. Спрятавшись за кустом сирени, две раскрасневшиеся девки оправляют друг на дружке праздничные наряды. За церковью на горке была некогда богатая дворянская усадьба, стоял окруженный парком старинный помещичий дом. От дворянского парка остались два кедра, буйно растет сирень.

Давно ли было, а поросло быльем! Никто толком не помнит, кто жил в сгоревшем господском доме, какое было житье-бытье. Помнят, что проживала в уцелевшей избушке последняя барышня, читала романы, что женился на ней наезжий чужой человек, увез на Украину. Уезжая, наказывала она знакомым старухам ходить на отцовские могилы, подарила господское золотое колечко...

На месте помещичьего старого дома построенся и живет бывший урядник. В большом приятстве с начальством. И теперь у него сидят



и пьют гости. На улице слышно, как громко пируют, орут песни. В открытых сенях видно: кто-то из гостей лапает девку. Урядник построил дом, завел хозяйство. Все уверяют, что он-то и сжег старый помещичий двор.

Старый вдовец, бывший помещик, женился на дьяконовой дочке Марусе.

Спрашивают у соседей:

— Что ж, хороша жена?

— А по барину говядина, по говядине вилка!

Молодой бывший барин Хлудов зашел в хату к знакомому мужику, своему сверстнику, куму. Сидит на лавке, положив на колени худые тонкие руки. В хате — верстак, стан, хозяин что-то строгает на верстаке. Пахнет сосновыми стружками, в избе томно и жарко. Мужик сдул с верстака опилки и пыль, присел на верстак боком, передав барину кисет с самосадам, крутит из газетной толстой бумаги сигарку. Разговорились о весне, о погоде. У барина лицо бледное, ислитое, подстриженная легкая бородка, похож на старого студента. Улыбается виновато, поглядывает на дочку своего бывшего лесника, почти девочку, с маленькими кистями рук, сидящую за ткацким станом, очень бойко пропускающую в основе челнок на босые маленькие ноги. Что-то, видно, думает о своей неудавшейся жизни. Думает, а говорит с мужиком о простых, обычных делах, неумело закуривает газетную сигарку.

В хату входит зять мужика, здороваается, вешает на гвоздь фуражку. Он муж молодухи. Садится не улыбаясь. В его внешней грубости, с которой он обращается с женою, сквозит скрытая нежность. В нем все приятное, чистое. Пахнет от него хлебом.

Удивительно покойно и мудро умирают иные мужики. Вот что рассказывает Гуревна о смерти своего мужа:

— Сидели мы все за столом. Глядим, покатился мой мужик с кровати. Сын Арсения нам говорит: «Гляди-ка, никак старик заснул, упал и не чует!» А он лежит на полу, схватился руками за брюхо, тихохонько стонет: «Живот, живот!» Положили его на постель, прикрыли. Запрягли лошадь, дочка за попом поехала. А старик велел воды подать, умылся, обтерся сам, сидит, волоса расчесывает на ряд, маслом примасливает. Я ему: «Куда это ты, старик, так наряжаешься?» А он: «Так поп же скоро придет». Приехал поп, причастил, пособоровал его, перешел он в новую избу, лег. Еще батюшка за столом сидит, а он все водит, водит глазами по избе, ровно чего ищет. Потом говорит старшему сыну Лисею: «Лисей! Как будешь сеять? — И показывает: — Вот так рукой, вот так — ржи меньше бери, овса больше!» Я ему: «Что ты, старик, аль бредишь?» А он: «Знаю, что говорю, а ты, старуха, подай-ка теперя образ да свечу!» Подала я образ, свечу зажгла. Взял он свечу в правую руку. Потом дочери: «Подай, Маша, стакан!» Подала Маша стакан. Принял он стакан в другую руку, поглядел на нас да и помер<sup>1</sup>.

Умер старик — вдовец Егор Петрович, маленький, легкий, с седыми волосами, всегда веселый и говорливый. Любил шутить, никогда не терял силы духа, знатному и незнатному резал правду в глаза.

Старшему сыну Семену, осмелившемуся поднять на него руку, говорил, четко выговаривая слова:

<sup>1</sup> В наших смоленских местах, по деревенскому старинному обычаю, умирающему подавали в руку стакан с чистой водой, чтобы душа, оставляя тело, могла омыться.

— Бей, бей, посмотрим, убьешь ли с одного разу! Ручища-то у тебя грузная, а силы, как у цыпленка... Сила не в кулаках; не в силе, брат, дело. Я твой отец, на много годочков тебя постарше, а может, и поумнее. Земля меня легко носит... Не грешен ни перед землей, ни перед людьми: не грабил, не воровал, не убивал. И убивать никого не стану: смерть и тебя и меня сама найдет, от нее не сховаешься в куст. Чай не три века нам с тобой на земле вековать, пора и одуматься...

Недобрые сыновья, требовавшие семейного раздела, жестоко его избили. Три месяца Егор Петрович харкал кровью, терпеливо мучился, пил какую-то целебную травку, стал очень слаб. Но не герял светлости духа (только память стала изменять), был по-прежнему весел и, говорили, умер легко, будто заснул.

Ранней весной, в полуиюль, умерла на деревне девка Тонька, Осипа Сибиряка дочь. Удивительно покорно умирала, радовалась смерти. Перед смертью просила то того, то другого. Посылали к мельнику за медом. Съела одну ложечку, больше не стала. Почувяв смерть, радостно сказала матери, Марье глухой:

— Ай, хорошо-то как, помру — мучить вас перестану!

Умерла Тонька от скоротечной чахотки. До самого погоста гроб на руках несли девки, ее подружки.

Перед самой пасхой, накануне половодья, умирала молодая баба. Умирала от чахотки. Священника, пришедшего ее соборовать и причащать, просила со слезами:

— Батюшка, скажите, когда я помру. Скажите правду, батюшка! Не боюсь я смерти, знаю, что помру. Мне бы только до воды помереть. Все думается, все снится: ну-ка в самую воду помру. Ну как меня понесут по кладушкам через реку? Ну-ка уронят. Батюшка, отец наш, помолитесь, чтобы до воды мне помереть!..

По нашему краю молодых, рано умерших женщин и девиц обряжают, как под венец. Недавно хоронили молодуху, скончавшуюся после тяжелых родов. На покойнице был шелковый голубой платок, новая вышитая рубаха, крали, новые козловые полсапожки, в руках белый носовой платочек.

И когда хоронили старика Ивана Никитича, одна баба вложила ему в руку платочек.

— Он был аккуратный, — сказала она, — всегда в платок сморкался, на том свете этот платочек ему пригодится...

Солдат, молодой мужик, узнав об измене жены, оставшейся в деревне, сам просится у командира в опасную разведку, ищет смерти. Получает георгиевский крест и другие награды. На войне совершает подвиг за подвигом. О его геройской смерти на деревню жене пришло извещение: казенная бумага с печатями. В бумаге пишет сам генерал. называет русским героем.

Прошли годы, и на деревне солдата-героя и его подвиги скоро забыли, как и все на земле забывается. Забыли, и быльем поросло.

А в его хате жена с новым мужем. И рябина у окна прежняя, что сам солдат посадил. Старший сын светлоголовый — от солдата. Младшие — черные, как жуки, от нового солдаткиного мужа.

И уж никто, никто не помнит, что был солдат-герой, о котором прислали когда-то с войны бумагу с печатями.

Приходит из Фурсова Павлик. Ростом невелик, лицо обтянутое, рыжеватые усы. Никогда не улыбается. Говорит уныло и одногласно. По обаянию видно: прихлопнуло человека горе. Деревенский неудачник.

В войну служил в кавалерии, был ранен. В деревне изменила, «спрокудилась» жена. Вернувшись с войны, ушел из дому в одной шапке, ничего не взяв, «пристал в зятя» к бедной вдове в соседней деревне. Теперь живут мирно, чистолютно, не спорят, не ссорятся, но из нужды не вылазят. Павлика всю жизнь преследуют несчастья. То двор сгорит, то падет лошадь, то сохнет корова, то объедятся дурной травой овечки. К горю Павлик притерпелся, помалкивает, разве в лихую минуту и у него сорвется горькое словечко. Ко мне приходит помочь по хозяйству, приносит почту. Он ласков с детьми, взгляд у него кроткий.

В старой русской деревне всегда были такие мужики-неудачники. На их несчастья деревня глядела с привычным, может быть, жестоким равнодушием. И это жестокое равнодушие терпеливо сносит Павлик.

Быть может, о судьбе таких бедняков сложилась известная горькая поговорка: «Идет беда, открывай ворота!»

Хромой мещанин Рукасуй и его три сына занимаются извозом; до революции держали на станции лавочку, постоянный двор. Хромой Рукасуй с невероятной проворностью ковыляет на вывернутой ноге, ступая одними пальцами. Три сына с подвитыми, зачесанными на лбы челками, со смеющимися, озорными темно-кариими глазами. Конокрады, жулики; о них ходит слух: вырезали целое семейство на мельнице в Рышкове. Отчетливо представляю этих молодцов с ножами, с обрезками в руках.

Как полагается настоящим разбойникам, Рукасуи любят хороших лошадей. Лошади у них сытые, бока и ляжки лоснятся. Бороденка у хромого Рукасуя вострая, глаз зоркий, на слове не споткнется. Его старшая сноха — дочь нашего деревенского спекулянта Комка, очень похожа на цыганку.

Комок — известный конокрад, вечно веселый, живой, черноглазый. Дочь вся в отца: веселая, бойкая, в глазах — лихой огонь.

У Титовой снохи Аксюши запал снегом расстеленный в поле лен. У ее сестры Дарьи — порода одна — осталась в поле невыпаханная картошка. Отчего такое? Разумеется, лен. Потом — дележки: на деревне все теперь делятся, не рассчитывая, не обдумывая свое будущее. Отходят с детьми, а нянчить детей некому, хозяйство пропадает. Васькина жена Катя спрашивает у Аксюши:

— Никак лен запал?

— Да что ты? А что ж я зимой буду делать?

Раз позвали Катю помогать в богатый Титов двор, мыть и стричь овец. Пришло время обедать, сели за стол. Аксюша схватила немытую чашку, из которой утром ели толченую картошку, налила в нее похлебку. Деревянные ложки Аксюшин трехлетний мальчишка все утро по полу таскал. Не помывши, не ополоснувши, стали этими грязными ложками похлебку хлебать, А сама Титова сноха здоровенная, красноногая, громом не прошибешь...

Вернулся в деревню поздно. В темноте на грязной улице белеет первый снежок.

Захожу в Акимову избу, в наш деревенский «клуб», где каждый вечер собираются беседовать мужики.

Сидят не раздеваясь, в шапках. На столе, под висячей «десятилинейной» лампочкой под жестяным круглым щитком — початая четверть мутной самогонки (мужики в шутку называют четвертную большую бутылку

«гусаком»), накрошен лук — «цыганское сало», простецкая закуска. Единственная в избе баба, Акимова жена Дуня, стесняясь мужиков, лежит за перегородкой, ее не слышно. Посетители клуба поют песни. Молодой веселый мужик Гришка Осипов затянул старинный городской романс: «Накинув плащ, с гитарой под полою». Поет недурно. Васька предложил спеть «Денечки». Запели бойко, ладно, красиво.

Разговаривают о богатых мужиках:

— Живет богатый мужик, жадничает до земли, до богатства, а живет грязней свиньи: не прибрано, не убрано, едят из невымытых чашек... Для чего и земля-то такому? Какая польза? Что соберет, то и сожрет. И ни света, ни удовольствия, ни себе, ни другим. В избу к такому лучше не заходи: хуже свинячьего хлева. Чем богаче, тем свинячей...

Гришка Косой и Хотей Белый спорят:

— Я рубль пушу,— говорит хитрый Хотей,— у меня противу ветру катится, а у тебя копейку гонит!

Из разговора:

— Даже у петухов не та стала нравственность. Кинешь корочку подлецу, станет намащивать кур: ко, ко, ко! Куры подбегут, слопают сам. Слопает, окаянный, да еще на них же крылом по земле: убирайтесь, дескать, прочь подобру-поздорову!

Кочановский мужик Астах продал петуха за миллион триста тысяч рублей. Новый хозяин променял дорогого петуха. В обмен взял курицу и пять фунтов дегтю. А петух и в самом деле был замечательный. Неземно, по супружеской верности, присутствовал, когда неслась в гнезде курица, вместе с курицей кудахтал: курица кудахчет тоненько, по-бабьему, а петух петушиным басом.

На деревне умер старик колдун, неведомо почему его кликали штукатуром. На мертвого колдуна ходят смотреть бабы. Штукатур лежит в длинном гробу, синий и тощий, с длинной седой бороδοю. По лицу, по сложенным на груди синеватым крупным рукам ползают и спариваются мухи.

О колдуне рассказывают, что умел заговаривать рожу, лечил травами и порошками. Минуя фельдшерский пункт, бабы ходили к нему из дальних деревень.

В опустевшей избе колдуна — полутьма, в низкие, заткнутые тряпьем окна пробивается дневной свет. В углу икона, на полках закопченные глиняные горшочки, тарелка с солью. По черным бревенчатым стенам шустро бегают, шуршат тараканы. У изголовья покойника горят, потрескивают три тоненьких восковых свечи...

Егор Халаменч, проказливый мужик, ездил вместе с кочановскими мужиками в Москву продавать поросят.

По дороге в вагоне Егор подмигнул глазом приятелям, снял шапку и пошел по вагонам просить «на погорелое».

Приехали в Москву, зашли в трактир — «на погорелое» выпили, закусили и отправились поросят продавать.

Когда спросили бабу, пожившую в Москве, она ответила так:

— Ничего живут, только уж очень грязно, грязь возами возят, терпения нету.

Та же баба рассказывала, как в первый раз ехала по железной дороге. Ей было страшно, боялась подняться, все казалось, что куда-то вагон вдруг сверзится. До самой Москвы терпела, не выходила до ветру...

А может, и впрямь страшно! Мчится поезд — кругом снега, волки, светит месяц, чернеют запыленные снегом елки. Белая мертвая пустыня. И мчится, мчится сквозь эту холодную зимнюю пустыню поезд, битком набитый живыми людьми.

Аким Бабуров рассказывает, как ходил с Хотеем Жуком за семьдесят верст в Ельню, в уездную больницу. В больнице узнал, что у Хотей два кошелька: один с мелочью — в кармане, другой, на веревочке, на груди под рубахой. Когда осматривал доктор, пришлось кошельки снять. Аким Хотей говорит: «Дай подержу кошельки!» Хотей не дал, взял кошельки в зубы, так и стоял, пока выслушивал доктор. В больнице Хотей посадили в ванну. Сидя в ванне, пока его мыли, держал в зубах кошельки с деньгами.

В дороге (шли пешком) очень скупился. Аким над его скупостью посмеивался. В какой-то ельнинской деревеньке их приняли за английских шпионов, спросили документы. Кто-то бегал искать для них ночлег, потом сказал:

— Ночуйте у меня, никто не пускает, боятся вас.

О всем этом Аким рассказывает спокойно, ни чуточки не улыбаясь.

Неуклюжий и всегда мрачный Тит очень серьезно рассказывает, как один мужик подружился с «хозяином», с домовым. Три года трубку вместе курили. Мужик разбогател.

— Скот у него, как мытый...

Раз проболтался мужик о своей дружбе с «хозяином», о привалившем к нему счастье. Домовой пришел: торк в мужика пальцем, выколол правый глаз. С тех пор живет мужик с одним глазом, стал кривой.

Возвращаясь с охоты, зашли к Ларивону, в Кручу. На печи баба, на руках ребенок. Кормит грудью, улыбка на лице блаженная. Спереди нет зубов, от этого кажется придурковатой. Глядит на гостей.

Из тряпья на руках у бабы торчат ножонки, такие тонкие, с такими растопыренными тонкими пальчиками, что жалко смотреть. Это маленькое, тоненькое, чуть живое существо шевелилось, сучило ножонками, попискивало, как мышь.

Везде тряпье и сор. По избе ходит молодой белый петух с красным гребнем. Аниконов гончий кобель по самые уши засунул голову в лханку и, долго пуская пузыри, выволок из помоев большую голую кость. Морда у кобеля была хитрая.

В деревню вернулась к отцу дочь, недавно отданная на сторону за муж. Молодой муж выгнал ее за то, что ребенок родился «на него не похож». Молодушка, почти девчонка, горько-прегорько плачет, всем показывает новорожденного младенца, у всех спрашивает:

— Поглядите, люди добрые, ну разве не похож ребенок на моего мужа, разве не похож?

А младенец, как все новорожденные младенцы: еще коричневый, в пушку, похож на китайца.

В Кочанах сосватали «спрокудившую» девку Проську (ее помню еще маленькой девчонкой, очень бедовой) в соседнюю деревеньку Кручу. Отдают в богатую семью, зараженную какой-то нехорошей болезнью. От-

дают потому, что в этой семье единственный придурковатый сын: «Двор не станут ломать!»

Проська о своей судьбе говорит вполне беззаботно:

— Отдадут — пойду, не отдадут — еще погуляю!..

Подрались богатеи — братья Шашки. Пили самогонку у Егора Листарова, плотника. За столом зашел спор: Егор не доделал наличники в новой избе у Шашков. Потом братья Шашки стали друг с дружкой спорить о тринадцати фунтах хлеба, которые один брат должен другому, отказывался признавать долг. Дратья вышли на улицу. На улице, возле колодца, один Шашок другому Шашку проломил голову.

Возле кузни, расставив ноги, сидит Иван Осипов, самый дельный и умный мужик на деревне. Сидит как кряж, онучи опрятные, чистые, в новых лаптях. На коленях у него беловолосая голубоглазая маленькая внучка. Идет размеренный разговор о том, что всякому мастеру свое дело. Есть умелые и неумелые кузнецы, плуг на плуг не похож, с плохим плугом намучаешься, а хороший плуг «сам пашет». Каков мастер кузнец, таковские и плуги кует...

У пастуха Прокопа было два брата. Одного убили на войне, другой — Петя — был «с чудинкой», вроде дурачка. Над ним подшучивали, а он, бывало, смеялся, говорил:

— Я у царя чай пил!

В голодный год Петя дал богатеям хуторянам Шульцам двенадцать тысяч в долг (тогда деньги были дешевые) на новую постройку. Скоро и сам пропал. На деревне поговаривали, что «прибрали» Петю богатеи Шульцы, чтобы не поминал давнего долга.

Перед смертью Прокопов батька Аверя скитался, жил не по-человечески дико. Последнее лето были частые лесные пожары. Под осень ночевал где попало в лесу, забираясь в выгоревшие ямы, в горячий пепел. Руки и лицо от огня и пепла стали чернее головни. Помирать пришел на свою родину, в Кочаны. В хату его никто не пустил, боялись вшей и чесотки. Отвели старую баню, где он прожил до зимних морозов, ночуя в печке — в золе. Кудластая, как у сына, седая голова торчала из печки наружу. В ночь, когда умирал, был крепкий мороз, лужи покрылись са-лом, светил месяц. Умирая, он выползал из дверей бани, кричал, звал на помощь. На деревне слышали, но выходить поленились. Нашли его мертвого на полу бани, с ногами в печке.

Беспечный сын Прокоп даже лаптей не сплел ему на смерть. Пропил два пуда хлеба, на поминках плясал, к обеду валялся пьяный. Аверю похоронили без него.

Кисловская девка Нюшка, пожившая в Москве, одетая по-городскому, говорит своей тетке Алене:

— Поеду-ка и я с вами пахать. А то, пожалуй, разучилась, живя в Москве.

Тетка Алена ей насмешливо:

— А ты, милая, мужицкую нашу пашню оставь, не твое теперь это дело. Поглядывай лучше, чтобы вошь в твоей голове не запахла!

До тридцати годов пьяница Ониська был самым хозяйственным, дельным и умным мужиком из всей деревни. Потом горько запил: изменила жена. Его помню всегда пьяным: бродит по улице, по мельничной плотине. В прежнее время волостное начальство не раз сажало его в кутуз-

ку, избивал плеткой полицейский урядник. За пьяным Ониськой толпой бегали деревенские ребята, дразнили. Он шел, пошатываясь, в холщовой рубахе распояской, с расстегнутым воротом, колотил кулаком в голую костлявую грудь, кликал громко жену:

— Ка-а-тюх! Ка-а-тюх!

Еще горше запил, когда родная дочь Вера, красивая и строгая девка, похожая на отца, сошлась с мельником, бросившим ее и оскорбившим. Так и пил, пока не утонул, переплывая мельничный пруд.

Мужик из Любогощи — худой, прозрачный, похож на Иисуса Христа, как пишут на иконах. Не может слова сказать, чтобы не сосквернословить. И сквернословие самое аховое. Хочет казаться бойким, море-де по колено...

Богатый и недобрый мужик Андрей бьет жену, обижает маленькую дочь, требует развода. Грозит взять дочку к себе. Девочка бросается к матери, обнимает ее за шею, плачет и кричит:

— Уходи, батька, бери пчел, бери хлеб! А Верного тебе не отдадим, и телку не отдадим, и меня matka не отдаст!

Так почти каждый день. Добрые люди о их жизни говорят:

— Видно, и сквозь золото слезы льются!

В деревне мужики не любят Ваську Веденсева за то, что лодырь, ничего не делает, ходит с ружьем на охоту. А вот не хуже других живет: его жена Катя, дочь покойного господского столяра, печет белые пироги. Соседка Зинута, хлопая вальком по белью, кричит Кате с парома:

— Что ж ты не толстеешь? Ситные пироги жрешь, а не толстеешь?

Катя ей с выражением:

— Я благородного отца дочь, потому и не толстею, а вот у хамов ситного нет, а морды в решето!

Ваську мужики прокликали «ветродуем», не дают ему на посев земли.

Васькин брат Митька, которого деревня не любит, наконец женился, нашел по себе. Его молодуха каждую неделю от него убегает. Он терпеливо ходит ее уговаривать. На прошлой неделе опять сбежала.

Держит ее у Митьки теплое ватное одеяло — жалко одеяла. Зная, что жену можно удерживать только одеялом, Митька его на день прячет в сундук под замок. В последний раз молодуха Митьку обманула:

— Надо,— говорит,— мне на одеяле подкладку переменить.

Митька молодухе поверил. Взяла баба одеяло и — айда! Теперь опять пошел ее назад звать...

Как молодежки, веселы некоторые беспутные мужики. охотники и забулдыги! И по тому, как преждевременно дряхлы и несчастны их жены, видно, во что обходится бабам показная веселость и легкомыслие мужей.

У «ветродуя» Васьки, сына Аннокона, сидит Степан, пришел из Витигнева. Его нельзя узнать: опух, посерел, желтоватые длинные усы повисли. Недавно перенес сыпной тиф, лежал в больнице, в Кашире, куда ходили мужики весной на плотях. На плотях и заболел. К нам, в Кочаны, пришел за хлебом. За Угрой в прошлом лете хлеб пропал, не собрали на семена. Раздраженно рассказывает о болезни, о докторях, которые якобы морили больных голодом, «зарезали» девять человек, пока в больнице лежал. По его словам, доктора «резали» людей нарочно, со злобы. Сидя у печки. Васька с удовольствием слушает Степана, поддакивает, хохочет. По словам Степана, резали доктора молодых комсомольцев из

мести. Помнит одного такого. В больницу привезли, а он подойдет к окну и кричит на всю улицу: «Семка, Семка, и где наши кони!» Доктор хотел резать парня, а парень на первый раз отказался. «Тебе обязательно надо череп ломать, а то помрешь», — сказал ему доктор. «Парень согласился, а на другой день, видим, волокут в мертвецкую: зарезали...».

Жизнь добродушного и кроткого Степана, всю его семью я хорошо знаю. У него восемь детей, жена ходит беременная. Нужда и лютое горе его ожесточили. О своей жизни и лютой нужде Степан говорит как бы с горькой насмешкою. Жена хотела делать аборт, он не позволил, боялся — помрет. «Куда мне с ними, с восьмеркою? Баба без мужика одна прокормит детей, а мужику с детьми оставаться — наверняка пропадать... Вот у нас Павлик с двумя детьми на деревне остался, теперь со всем пропадает: ни подмыть, ни постирать некому. коростой обросли. Если помру я, дети с матерью живы будут, как-нибудь протянут... Вот, брат, какие дела!..»

В голодный и лихой год бедная вдовая баба-бобылка Дарья накопила ночью на соседнем хуторском поле воз картошки, привезла в деревню. Покража обнаружилась, ворованную картошку нашли. Хозяин картошки, богатый мужик-хуторянин, вместе со своею роднею приехал в деревню к бабе, приказал ей сложить всю ворованную картошку в мешки, положить в телегу. Бедную бабу-бобылку хозяева картошки привязали короткой веревкой за шею к задку телеги, погнали рысью лошадь. Три версты пробежала за телегой на привязи несчастная баба.

Деревенского пастушонка мать Кудинка — воровка. Об этом знают все на деревне, и малые и старые. Крадет, что под руку попадется: и сено с лугов, и дрова из лесу, картофельного поля и огорода не обойдет. Раз поймали ее мужики с дровами: вечером чужие дрова из лесу везла. Хотели отнять да поучить маленько. А она им: «Да я же хлеб поставила, как теперь быть. Дрова отберете, зря тесто пропадет».

Посмеялись мужики, пожалели и оставили вдове дрова.

В Акимовой избе Ведеха сурьезно рассказывает, что в прежние времена колдуны и колдуны сороками слетались на одно дерево. Дерево это за деревней. И теперь стоит.

После Ведехи рассказывает Листаров Максим, как ходил с Яшкой на сено в сарай ночевать. Раз подходит к сараю, спрашивает:

— Яшка, ты тут?

— Я тут, — отвечают из сарая.

Полез Максим на сено, а там никого. Пиджачишко Мишкин на сене лежит. «Дело нечистое!» — думает. Лег пониже, у самых ворот. Слышит, Яшка из деревни к сараю идет.

— Максим, ты тут?

— Тут.

Докурил Яшка сигарку, полез на сено. Спрашивает у Максима:

— Ты чего на другое место лег?

— Лезь, лезь, там, брат, неладно. Там другой Яшка.

— Как так другой?

— А так, другой!..

Потом рассказывал Аниконов Васька. Возвращался он с ружьем от своего кума, мутишинского фельдшера Устиныча, у которого гулял на именинах, пил самогон. По дороге, в ржаном поле, решил отдохнуть. Забрел в рожь, заснул.

Под самое утро, чуть свет, проснулся, слышит: гремит-стучит на дороге. Поднялся из высокой ржи, смотрит и глазам не верит: скачет по



дороге от Мутишина борона. Ни лошадей, ни людей нету. От страха свалилась у него с головы шапка. Схватился за ружьишко, прицелился — бац! бац! — выпалил по бороне разом из двух стволов. Завертелась, закружилась на одном месте борона — и прямо в деревню. Над бороною пыль столбом... Вышел из ржи, глядит: на дороге кровь. С того самого дня долго не выходила из своей избы Кривая Марья, что живет на краю деревни. Когда на улицу вышла, увидели все: обвязана морда. Самая эта колдунья Марья прикидывалась бороною...

За Угрой в деревне Любогощи укравшего холсты мужика долго били, потом в самый ледоход купали в Угре, привязав к длинной холстине. Бросят с берега в воду и притянут, бросят и притянут.

В деревне Лядишах побывавший в городе молодой мужик — столяр живет по-городски, чистенько. Изба перегорожена на две комнаты и малую кухню. У стены — железная кровать, покрыта городским байковым одеялом, на окнах цветы, занавески. Посватался столяр в Кручу к дочке Ваньки Культияпого, богатого мужика. Мать невесты поехала глядеть хозяйство жениха. Воротилась недовольная: «Какой это жених! Во всем доме ни одного гайнушка<sup>1</sup> нетути, на окошках цветы свет заслоняют. Прясть станешь — нитку не увидишь». Так и не отдали дочку городскому опрятному жениху.

Венчаясь в церкви, девка-невеста, когда водил с будущим мужем вокруг аналая поп, три раза про себя прошептала:

— Мои труды, а твои роды! Мои труды, а твои роды! Мои труды, а твои роды!

С тех пор в замужестве рожала легко, а муж в это время, где бы ни был, кричал благим матом. Работал он как-то на шахтах, сидел с товарищами, выпивали. Вдруг ни с того ни с сего вскочил, закричал по-блажному, стал кататься по полу и выть.

— Что с тобой? — пытаются его ребята.

— Ох, ох, ох, видно, моя смерть пришла! Баба родит, а я за нее муку терплю.

Только под вечер успокоился, затих.

— Ну, как? — спрашивают.

— А родила, видно, баба, мне стало полегше!

Жена разговаривает с Фанаськой и Петькой о деревенских девках-невестах. Спрашивает у Фанаськи:

— Таньку Осипову просватали?

Фанаська с усмешкой:

— Дорога разломана до их двора — нельзя ехать.

Петька смеется:

— Ворота дюже крепко заперты, не достучишься!

С прежних времен сохранялся в деревнях обычай: после отела коровы четыре недели не пили молока, все молоко отдавали геленку. Перед употреблением молока в пищу совершался целый обряд: отелившуюся корову доили в чистый подойник, варили на молоке пшеничную кашу, ставили решето с сеном, зажигали перед иконами восковые свечи. Всею семьею молились, потом садились за стол и не спеша съедали кашу

<sup>1</sup> Гайном называют в деревнях постель, то есть большой ворох разнообразного тряпья и подушек, который валяется обычно на нарах.

Приезжая городская женщина, не знающая деревни, учится донть корову. Заметила на вымени кровь.

— Что бы это такое? — спрашивает у своей деревенской наставницы, кумы Санки.

— А это ничего, Лида Ивановна, ты не тревожься. Это, надо быть, ласточка под выменем у коровы пролетела...

Школьная сторожиха Варька Блоха, служившая в городе в няньках, о своей городской хозяйке:

— Она такая листяга, такая листяга, другой такой и не сыщешь. Не веришь? Ну вот не сойти мне с этого места. Она век на чужой хряпке ездила. А с пяньками-то она как! Все жалит, все жалит: «Ты что глаза вниз опустила? Гляди быстрее, будь ухарней!» Только от нее и слов.

Весна. Широко разлилась речка Невестница, холодным мутным потоком разделила деревню.

Кочановские мужики поставили паром (никогда раньше паромов весною не ставили, терпеливо ждали, когда спадет вода). Посадили на паром перевозчиком Митю, Васькиного брата. Договорились за десять рублей и три четверти самогону. Митя перевозит конных и пеших. В свою пользу берет с конного гривенник, с пешего по пятаку.

Хотей Белый, злой мужик, чтобы насолить Мите, обрубил капат, пустил паром по реке. Митя два раза переплыл ледяную реку, поймал и пригнал паром. Потом два дня гонялся с ножом за женой Марьей, грозился резать за то, что «недосмотрела»...

Ранняя весна, раструхли, провалились дороги. С лошади по ветру летит, садится на лицо шерсть. На потемневшей, покрытой мокрым навозом дороге, поблескивая на солнце воронным пером, бродят грачи. В деревне галки смело садятся на спину привязанной к крыльцу лошади, рвут линялую шерсть, набив полные клювы, таскают в гнезда.

По старинному обычаю, под «чистый четверг», сидя на крышах, мужики чистят еловыми вениками печные трубы.

Токует, токует маленькая птичка, с верхушки одной елки на другую — столбом кверху, потом, трепеща просвечивающими крылышками, вытянув лапки, присаживается на самую верхушку. Так все утро. Как маленький колокольчик.

Дед Иван Васильич, доживший до девяноста двух лет, пользовался большим уважением в округе. Мать рассказывала: когда приходило время сеять яровые, мужики приглашали деда на вспаханное и взбороненное поле, вырывали в земле неглубокую ямку. Дед снимал портки и садился в ямку. Посидит минуточку, встанет и скажет:

— Рановато, братцы, сеять, земля не обогрелась. Денечка три с севом придется обождать.

Иду в лес на тягу. Распускаются березы, смолисто и сладко пахнет листвою. Слышны балабоны на выпущенных и спутанных лошадях. Гнедая, со звездочкой на лбу кобыла, подняв голову, равнодушно поглядела на проходившего человека.

Остановил сильный медовый запах: на краю канавы цветет покрытый желтыми пуховками густой ивовый куст, весь гудит пчелами. В канаве турлычат весенние лягушки. Перекликаются кукушки во всех концах. Заливаются, поют дрозды.

По дороге встретилась девка с бороною, борона перевернута зубьями вверх. Босая девка в красном сарафане сидит верхом на кобыле. Ноги

по колена докрасна обожжены первым весенним солнцем. Далеко за речкою слышен стук молотка в деревенской кузне.

Перед рассветом ветер прошел вверху над макушками, и, лежа внизу под деревьями, подложив в голова заросшую мохом бревнушку, в которой всю ночь скрежетал древоточец-жук, я отчетливо услышал музыку. Казалось, невидимый дирижер правит симфоническим оркестром. Тихо и тонко начинали скрипки, заплакала виолончель, гудели контрабасы. Ручьи плакали флейты. И вдруг грянули трубы, грозно ударил барабан, нарастая и умолкая, зарокотали литавры. А над всей этой чудною музыкой утра, как бы ее дополняя, в просветах чеканных черных макуш, высоко в небе летели, мерца, чистые звезды.

Я лежал под деревьями один-одинешенек у потухавшего костра, слушал волшебную музыку, и колючий холодок восторга пробежал по спине.

Прошумел прудутренный ветер, кончилась музыка. В полной тишине чуть наступал рассвет. Четче и четче обозначались на посветлевшем небе черные вершины. Под редкими порывами затихавшего ветра плакало в лесу одно скрипучее дерево: пиу! пиу! пиу! — казалось, плачет печальный лесной дух. Проснувшаяся птичка сонно пропела, пролетел и прохоркал вальдшнеп. Я поднялся, вздул костер, осветились нависшие ветви. Ночь в лесу кончилась. Взяв за холодные стволы, я снял с сучка ружье, затоптал костер и тихо пошел в просыпавшийся лес к знакомому глухариному току.

В холодную чистую лужицу, с краев покрытую ломким ледком, на утренней заре, когда чуть показалось солнце, свистя крыльями, с криканьем и кряхтеньем спустилась дикая утка и догонявший ее красавец селезень. Брызги поднялись от них, и было видно, как весело поплыли по розовой воде, как он нагнал ее, утопил в воду и как потом оба радостно и долго махали крыльями, окатывались водой, весело плавали, шелоктали клювами и кормились...

В захолустной лесной деревеньке Куракине и бабы и мужики крепко держатся за старое. Там не прививаются новые обычаи, модные песни, бабы и девки по-прежнему носят рубахи и сарафаны, строгие синие сукманки. Погостив в Москве, одна куракинская молодуха решила хвастнуть, надела городское модное платье, подрезала на лбу челку. Ребята на улице ее засрамили. Стбит показаться — начинается свист. Ребята кричат:

— Подрез, подрез, баба — подрез!

А подрезами называют в деревне неудачно сложенных жеребцов: ни мерин, ни жеребец<sup>1</sup>. Совсем извели молодуху. Волей-неволей пришлось одеваться по-старинному: носить бабий повойник, модную челку затыкать под повойник за «рога».

На крылечке крайней избы сидит Проська, приемная дочь пастуха Прокопа. На лето она нанялась в работницы на хутор к богатому мужику, у которого лежит жена в чахотке. О Проське среди баб идут недобрые слухи. От богатого мужика вернулась с подарками, в новом сарафане. Мне улыбнулась, показав белые плотные зубы. Задрав рубаху над круглым тугим животом, возле крыльца бегают ее девчонка, прижитая Проськой от давно бросившего ее жестокого «хахалья» Ларивона. За избенкой

<sup>1</sup> Лошадий-подрезов обычно не пускали в табуц, не гоняли в ночное. Бывали случаи, что подрезы калечили молодых кобыл.

Прокопа — поле, темно-сизо-лиловая рожь, дальше лес, елки, новые крыши выселков. Над всем этим летние облака, похожие на серебряные сказочные горы.

Семидесятилетний учитель Митрофан Семеныч, больше сорока лет проработавший в церковноприходской и земских школах, научивший грамоте много людей, живет вироголодь. Кто-то посоветовал ему ехать в Смоленск, хлопотать пенсию. Митрофан Семеныч на это сказал:

— Буду лучше под окнами у добрых людей хлеба просить, а писать заявлений не стану...

На старости лет Митрофан Семеныч промышляет ловлей медицинских пиявок для уездной аптеки. Пиявок ловит таким способом: снимает штаны, входит в болото, в котором водятся пиявки. Ждет терпеливо, пока пиявки вопьются в голые ляжки. Выходит на берег, собирает пиявок в аптечную банку с чистой водой.

Старая барыня, бывшая помещица, когда-то учившаяся в Институте благородных девиц, не раз живавшая за границей, говорившая по-французски, тайком крадет у мужиков и баб сало и хлеб, когда косят луга или работают в поле. Много раз видели, как барыня ходит по кустам, шарит по мужичьим кошелюм и котомкам, ищет съестного. Мужики барыню терпят, стесняются ей сказать, посмеиваются беззлобно.

На городском базаре в Дорогобуже, вместе с торговками-мещанками и деревенскими бабами, сидит бывшая княгиня Волконская, торгует семечками, оладьями, самыми последними словами ругается с соседками, с пьяными мужиками.

Рассказывают, что Волконская училась в Смольном, много разъезжала по заграницам. В революцию у нее ничего не осталось, как и почему попала в Дорогобуж — неизвестно. В новую жизнь вошла быстро, и никто теперь не догадается, что вздорная грязная торговка, одетая в рваный старый салоп, когда-то танцевала на великосветских балах, говорила по-французски, жила в Париже.

Возле глухой лесовой деревеньки поселился у болота интеллигентный латыш, бывший агент по земскому страхованию. У латыша жена учительница. Своими руками обработала болото, трудится не покладая рук.

Неведомо за что окрестные мужики латыша ненавидят, грозятся спалить и убить. Латыш упрямо оует с мужиками. Маленькую дочку свою трогательно называет Комариком. Любит жену.

Рядом с латышом в болоте гнездятся волки. Чудное дело: волки не трогают мужицкого стада, а у латыша на его глазах зарезали последнюю овечку. Зимой латыш караулит волков, ночами сидит с ружьем в холодном сарае.

Почти рядом две деревеньки: Вититнево и Осовня. Одна на болоте, другая на голых, неродимых песках. О богатых счастливых деревнях осовенские и вититневские мужики с незлобивою завистью говорят так:

— Живут себе люди, не тужат. Землица у них, как пух. Зимой и лето как брусья на боку лежат. А попробуй поковыряй-ка нашу землицу. Спознаешь кузькину мать!..

Ясный летний день, ярмарка. У белой церковной ограды навалены облитые дегтем колеса, новые телеги. Стуча кнутовищем по глиняному горшку, веселый горшечник громко кричит:

— Подходи, подходи, последние остались!

На зеленом, засыпанном шелухой семечек лугу вертится карусель, играет гармонь, глухо ухает бубен. Девки и ребята катаются на карусели.

Тут же торгует водкою «синдикат». На крыльце слышен шум. Парень в красной рубахе машет кулаками, громко кричит, сорвал с головы шапку.

В толпе бродит сумасшедший, что-то бормочет. Можно разобрать слова:

— Небесная влага... Анафема... Светила...

У него белые, девичьи руки. Правой рукой все машет у лица, точно снимает налипшую паутину. Как у многих сумасшедших — лицо веселенькое, тупо-самодовольное...

Слышно, как ухает бубен, играет гармонь. Над пустой и облупленной колокольней режут небо стрижи, гомозятся галки.

На ярмарке грозой убило пару лошадей сорокинского мельника. Прошел забойный град, необыкновенно крупный и частый; накрывшись подолами, побежали прятаться бабы. Град падал на твердую, блестящую от воды дорогу, подпрыгивал, как белый горох, барабанил по окнам, по мокрым полотнищам палаток. Молнии полыхали, рассекая небо ослепительными бичами, и тотчас, после каждого грозового удара, усиливался, припуская дождь.

На другой день с ярмарки возвращался карусельщик Дорников, пьяница и забияка. Он шел по мельничной плотине, в синей сатиновой рубахе, шатаясь между дождевых луж, в которые смотрелось проглянувшее солнце, прошел мимо мельницы, где на отпряженных возах, дожидая очереди, сидели замельщики-мужики, и криво побрел в гору размытой дорогой. За ним проехали три подводы: длинные дроги, заставленные раскрашенными в синюю и красную краску деревянными карусельными лошадками и расписными корабликами-люльками.

После дождя, теплое, проливное, на реке и в пруду изо всех сил заквакали лягушки. Если вслушаться хорошенько, можно расслышать, что одна, самая голосистая, перекрикивает всех остальных.

После грозы, ветра и дождя — такая тишина, что слышно, как далеко на хуторах за рекою кудахчут куры.

Васька, голый, мокрый, с облипшими светлыми волосами, руками ловит в речке рыбу. Летний полдень. Солнце печет. Над головою Васьки сцепились, повисли в воздухе, трепещут прозрачными крылышками стрекозы. Отдуваясь, набрав воздуха, Васька ныряет под берег, под старую корчагу. Под водою сидит долго, пуская пузыри. На берегу его брат Ванька, внимательно наблюдает рыбную ловлю.

Вот Васька вынырнул из воды. Во рту живой головель, в каждой руке по серебряной рыбине. Бросает рыбу на берег, под ноги Ваньке, который прячет добычу в холщовый мешок. Сам мокрый, трясется, стучат зубы, по голому дрожащему животу Васьки медленно ползет черная водяная козявка.

Над речкою в кустах птичка выговаривает звонко и очень отчетливо:

— Не тро-онь меня! Не тро-онь меня!

Жаркий день, лето, ходят низкие облака. Пахнет грозой.

Вижу из окна вагона на зеленом, поросшем муравью откосе лежат свернутые пиджаки, узелки и котомки с едой, дымится разложенный костерок. Рабочие-грабари в рубахах распояской, опершись на лопаты, смотрят на пролетающий, громыхающий поезд...

Округ луга и поля, зеленые кудрявые перелески. Над полями и лугами видна дальняя церквушка, желтеют соломенные крыши неведомой деревеньки. Вьется, пропадая в зеленых, освещенных солнцем лугах, тонкая ниточка накатанной дороги.

Громыхая железом, поезд пронесится над тихой извилистой речкой, заросшей осокою, кувшинками, зелеными лопухами. Сквозь грохот и стук в открытое окно вагона доносится мерный хрип дергача, в душный вагон врывается влажный, пахнувший сеном воздух.

И опять мчится и мчится поезд через просторы родимой и милой земли, имя которой — Россия!

В конце лета вылетели из гнезд молодые деревенские ласточки-кашатки. Живым ожерельем расселись на сухих тонких лозинках над самой бегучей водою. Над речкой голубое глубокое небо, белые, как пух облака. Внизу бежит и бежит по камешкам вода, колышет высокую камышину.

С берега глядя, чувствуешь, как студена в речке вода, как скользки и холодны на речном дне мелкие камешки. Ласточки табунытся — скоро лету конец.

С дальнего покоса едут мужики. Гремят по твердой дороге телеги. В телегах подпрыгивают косы, гремят грабли. В передней телеге гармонист. Когда проезжают деревней, гармонь играет, ребята орут песни. В задней телеге, запряженной пегой кобыленкой, лежит навзничь, ногами вперед молодой мужик. Ветер задрал рубаху, виден голый живот. Кобыленка отстала, догоняет своих неловко, по-заячьему, навскачь. Телега ныряет, нестерпимо грохочет. Голова молодого спящего мужика колотится по связанным косовищам, по порожнему дну телеги.

Проснулся на сеновале. Над самым лицом тонкая паутинка, сперва розовая, потом золотая, потом брызнуло, прорвалось в щель солнце.

Крошечный паучишка спешит, спешит с сенинки на сенинку, тянет тонкую паутину. А по лубяной крыше над самую голову шибко пробежал, зачирикал воробей.

Поглядел в распнутые ворота: стелется над лугами золотистый туман. Возле сеновала, на молодом развесистом дубке воркует горлинка.

Крошечная птичка села на пенек, задравши хвостик. И все кланяется, все кланяется. Всему светлому миру кланяется.

Паренек отбивает косу в березовой рощице вблизи бывшего помещичьего сада. Бабка вколочена в живой березовый корень. Паренек то и дело слюнит молоток, звук отбиваемой косы разносится над рекою.

Во всем тяжелая, недвижимая августовская застылость. Устала земля, колосья и травы гнутся, листья на деревьях свинцовые.

В том, как тяжело висят на деревьях антоновские яблоки, — особенное чувство осени, конца лета.

Прошло лето, точно яблочко упало с яблони.

В августе куры и гуси линяют, теряют перо, болеют. Петухи ходят уныло, с побледневшими гребнями.

На деревне печально звучат голоса петушков-однотетков. «Лето кончилось, — как бы поют петушки. — У людей и зверей оно еще повторится, а у меня — навряд!»

Пятилетний ребенок заблудился в дозревающей ржи. Куда ни пойдешь — высокая, шелестящая колосьями рожь. Над колосьями — голубое бездонное небо, белые летние облака. Под ногами комья земли, в живой,

колеблющейся стене ржи синеют васильки. Долго, потерянно, в полном одиночестве плакал. На всю жизнь запомнились ему небо, высокая стена ржи, шелестевшие над головой колосья, недвижные белые облака.

По нашим местам в конце лета, когда на полях созревает рожь, справляют бабы «зажинки». В тот самый день, когда начинают «зажинать» рожь, надевают они нарядные праздничные сарафаны, вышитые белые рубахи, головы повязывают повойниками, украшенными бисером и позументом. В поле отправляются с песнями, берут с собой насеченные в кузнице серпы, харчи в глиняных горшочках-двояшках, бутылку сладкой водки. Зажинать рожь начинает выбранная бабами самая «чистая», нравственная баба, за которой не подмечали никаких грехов.

Первый сжатый сноп украшают полевыми цветочками — васильками, в праздничных ярких нарядах рассыпаются по золотому несжатому полю.

На пасхальной неделе, когда по деревням ходят с иконами попы, встретив попов на дороге, замужние бабы катали по зеленым дьячка, «чтобы высока родилась рожь».

В этих давних, быть может, еще языческих обычаях, сказывалась священная связь людей с землею.

Хлеб сжат, увезен с полей. Мужики разговляются новью. Бабы пекут из новины хлебы. У самого бедного праздник.

На мельнице тесно от завоза. Замельщики с мешками ржи на возах по суткам ждут, ведут разговоры, пьют самогонку, закусывая салом, нарезанным на тонкие кусочки.

На мельнице ходит запудренный мукою толстый мельник Егорыч. Воркуют и взлетают над крышею голуби. Шумит вода на колесах, постукивают, вертятся жернова. Из лотков в обтертые деревянные ящики горячая сыплется мука.

Мужик-замельщик в запаленом, латанном на спине армячишке совком насыпает в мешок муку. На его лице выражение важности законченного дела. На колечках рыжеватой бороды, на шапке, на армяке, на ресницах мучная белая пыль.

Успенье — лету покрывка, крестьянскому году конец. Проводили мужики трудную межешь. Собрали новый хлеб — «новину». Все теперь богачи, у всех в закромах хлеб. И почти в каждом дворе гонят самогонку. В потребиловке дрожжи давно расхватали.

В нашей деревне пропивали мужики лето. Собрались за огородами на лугу, выпили три ведра. День ясный, прохладный. Самый богатый и жадный в деревне мужик Нефед говорит:

— Хорошо бы огурчиком закусить! Валите-ка, ребятки, на огороды потихоньку, пока бабы не видят.

Максим Листаров, парень продувной, не будь дурак — прямо в Нефедов огород. Нарвал две полы огурцов. Принес, на травку высыпал. Похваливает Нефед огурцы. Под новую четвертную самогонки опять завел разговор:

— Хорошо бы огурчиков добавить!

Максим опять в Нефедов огород. Нефедовы бабы увидели, подняли крик. Спихватился Нефед, вырвал из загороди тычину — и на Максима.

Схватились Нефед и Максим на грядках драться. Стали их различать пьяные мужики, покрошили всю Нефедову капусту, потоптали огурцы.

Лежит Нефед на низу, сверху Максим, его за глотку, «за пищик» сгреб, держит. Старается Нефед укусить Максима. Максим зубами

скрипит, рубаха разорвана, видна голая грудь. Вокруг мужики орут, топчутся. Больше всех орет, задрав голову, выставив кадык, мечется длинный растрепанный Аникон. Кто-то вдруг ни с того ни с сего с маху бьет его по зубам. Заваривается каша, голосят бабы. Вот тебе и огурчики!

А на все это сверху безмятежно светит высокое ясное солнышко. На небе ни облачка.

В июле и августе повсюду горели леса: дым стоял сизую пеленою, непроницаемой желтоватой завесой стелился над рекой и лугами. Огромное багровое солнце садилось в дымном тумане. Ночами едкий запах дыма прибывал, было тяжело дышать. И люди и животные чувствовали себя беспокойно.

Леса поджигали из озорства и с расчетом, чтобы побольше легло сухoleyду, чтобы начальство не мешало возить на хатенки подгоревший и упавший после пожара лес. Горели леса низом: там и там полыхали в лесу огненные веселые языки, ухали, валясь с подгорелого корня, деревья — птица и зверь спасались из горевшего леса. В торфе, во мхах выгорали глубокие ямы. По весне в них будет собираться вода, и леса неизбежно превратятся в непроходимые горелые болота.

Мужики чихали от едкого дыма, но на лесные пожары глядели равнодушно, даже с некоторым удовольствием: «Пушай, дескать, горит, а то, вишь, какую цену за бревна дерут, пусть будет ни нашим, ни вашим!» Да и не были привычны жалеть. В нашем краю лес исстари считался заклятым врагом, от века веков человек с лесом боролся. Недаром ни в одной деревне не увидишь любовно посаженного и сбереженного деревца.

Дозревают яровые, и еще не все убраны луга. Чистое и ясное утро. Летит паутина.

Паутиной накрыты лозняки по канавам, верхушки нескошенных перезрелых трав. Высоко в небе купаются ласточки, режут воздух стрижи.

Ключья тумана плывут над низиной, над заросшей ольховником тихой рекою. К мокрым от росы сапогам липнут семена перезрелой травы.

Из-под короткой стойки легавой собаки с треском вылетает перелинявший тетерев-косач. Высоко-высоко в небе канючит ястреб-канюк.

В прозрачной тишине утра далекие слышны голоса.

— Отчего это «бабье лето» зовется бабьим?

— Оттого, что осень бывает дождливая, похоже на бабьи слезы.

— Нет, брат, бабьи слезы тут ни при чем. Называется так потому, что на «бабье лето» бывает Сёмин день, а в прошлое время на Сёмин день хоронили в деревнях муху и блоху. Самые эти насекомые, известно, разводятся от баб, потому и «бабье».

Ночью ветер и на небе звезды, яркие, крупные, по ореху. Все стало прозрачное: воздух, небо, сквозит голый лес, ветви деревьев. В реке видишь дно, покрытое бурыми листьями. Спрятав под листья головы, неподвижно дремлют налимы. Пролетели гуси большим кораблем.

Грачей провожают галка, вороны. На полях, чуть покрытых поросшей, от грачей черно. Они ходят, поблескивая перьями, за ними вороны вразвалку, в серых жилетках, галки бегают торопливо. Иногда, сердито подпрыгнув, две галки тыкают друг дружку по затылку.

По полю пробежала деревенская рябая собака с поджатым хвостом, покосилась на грачей. Грачи лениво взлетели и тотчас спустились на поле.



Темная осенняя ночь. В деревне пожар: горит на задворках крытый соломой Косого Гришки овин. Сквозь бушующее пламя пожара видно, как на току загорается, медленно тлеет и раскаляется в грудях обмолоченное сухое зерно. Хозяин овина, высокий мужик с перекошенным, освещенным пламенем лицом, без шапки, размахивая руками, мечется возле пожара. Он то хватается за голову и рвет волосы, то, приседая как бы от нестерпимой боли, обеими руками держится за живот. Бабы берут его под руки и тоже воют и причитают.

Гришка вдруг вырывается из рук баб, сбрасывает пиджак и, видя, как занимается огнем последняя уцелевшая грудка зерна, распоясавшись, пытается броситься в огонь. От пожара так жарко, что нестерпимо близко стоять. Мужики в освещенных багровым отсветом рубахах что-то делают на крышах соседних овинов. Огонь трещит, с огнем вылетают похожие на огненных птиц горящие головни. Клубы густого серого дыма освещены снизу заревом пожара. Голоса людей кажутся слабыми, страшным, потрясающим и в то же время красивым чудится зрелище ночного пожара.

Поздней осенью мучительно ждем снега. И каждый раз, как выпадет чистый белый снег, радостно думаешь: «Наконец-то зима!» А на другой день, глядишь, оттепель, холодный дождь, вчерашний снег как рукой сняло. И опять осенняя долгая скука...

Ночь морозная, темная; заслоняя звезды, бегут по небу быстрые тучи. Утром на молодом, чистом, как стекло, льду катаются деревенские ребятишки. По дорогам смерзлись ледяные грудки: ни пройти, ни проехать. В такой мороз хорошо молотить: зерно сухое. Последняя на деревне работа: из-под льда таскают деревянными крючьями намокшую пенку. У мужиков и баб обмерзли онучи. За версту слышно, как едет, гремит по замерзшей дороге пустая телега...

На краю леса встретился знакомый мужик. В густой бороде седой клок. Этого седого клока раньше не было. Постояли, побеседовали, покурили.

Вспомнились давние времена. Деревенская свадьба. Мальчик-жених в праздничной желтой рубахе, девочка-невеста в опущенном на лицо платке. Как ходят по избе жених и невеста, по деревенскому старинному обычаю подносят на простеньком подносе гостям угощение. Гости выпивают чарку, кладут на поднос монету, ласковым словом привечают невесту, жениха. Подвыпившие бойкие бабы поют веселые подблюдные свадебные песни, по очереди опевают сидящих за столом гостей.

Сколько лет прошло? Постояли, покурили, не помяная прошлого, разошлись, быть может думая об одном и том же: уходит, уходит быстро время! Стареем...



В. КАВЕРИН

★

## КОСОЙ ДОЖДЬ

*Повесть*

1

**И**горь ходил в стареньком демисезонном пальто, и Валерия Константиновна надеялась уговорить его купить зимнее — не заставить, конечно (это было невозможно), а именно уговорить. Но уговорил как раз Игорь.

Он притащил откуда-то карты, книги, и она прочитала «Образы Италии» Муратова, а он еще два десятка других книг, интересных и неинтересных.

Каждый вечер они «отправлялись в Италию».

— Ну, поехали, мать, — говорил он с широко открытыми глазами, которые открывались еще шире, когда что-нибудь новое или неожиданное поражало его.

В Риме прямо с вокзала Термини они отправлялись на Форум Руманум и долго бродили по виа Сакра, стараясь запомнить, что слева находятся руины Дома весталок, а справа — храм Антонина Пия. Старалась, впрочем, только Валерия Константиновна.

— Мама, ведь ты же это учила, — говорил Игорь с отчаянием, когда она путала коринфские колонны храма Диоскуров с ионическими храма Сатурна.

Это было поразительно, что римляне до сих пор пили воду из Аква Вирго — водопровода, построенного еще в первом веке. «Мать, учти! В первом! До нашей эры!» Она учитывала.

Во Флоренции они «проводжали» солнце на площади Микеланджело — согласно путеводителю это было одним из самых сильных итальянских впечатлений. Подъезжая к Сорренто, они вдоволь налюбовались «изумрудными переливами» моря, а на Капри побывали в Лазурном гроте, где в таинственной темноте люди фосфоресцируют, как воздушные тени. Так по крайней мере утверждал Игорь, а уж ему-то можно было поверить. Ему еще не было семнадцати, но он уже знал в сто раз больше, чем Валерия Константиновна с ее высшим образованием — она окончила текстильный институт. Когда кому-нибудь из соседей по квартире нужно было выяснять, что такое «цебертизация» или где находится самая большая коллекция солнечных часов, другой сосед говорил: «Спросите у Игоря».

Он был похож на мать — к счастью, не на отца, — курчавый, румяный, с крепко посаженным толстым носом.

Он говорил, не поспевая за мыслью, ему хотелось, чтобы все на свете происходило быстрее. Еще в третьем классе он украсил вазу, которую рисовал класс, усами и остроконечной бородкой, превратив ее в потоло-

стевшего, с румяными щечками д'Артаньяна. Это было скучно — рисовать обыкновенную вазу, которую можно купить или продать. Его вазу нельзя было ни купить, ни продать. Она напоминала о веревочных лестницах, заговорах, дуэлях.

Однажды Валерия Константиновна слышала, как у киоска с минеральными водами он сказал приятелю: «Между прочим, это лучшие в мире минеральные воды».

Она рассказала ему о своем отце, который был бродячим красильщиком, обошел всю Россию и еще в двадцатых годах ездил из деревни в деревню со своими красками и чанами. Игорь преобразил деда: все, что красил дед, никогда не линяло. Пока нитки, одежда, холсты кипели в чанах, он рассказывал сказки. Да, он был не только красильщиком! Когда он уезжал, вся деревня провожала его в голубых, зеленых, желтых, красных и синих рубашках, кофтах и платках.

Мать была художницей по тканям, и Игорь доказывал, что она унаследовала профессию деда. Сам он не только раскрашивал мир, но устраивал его по-своему, дополнял, улучшал. И Валерия Константиновна думала, что она сама виновата в том, что у сына развилась эта склонность — опасная, потому что она коснулась того, о чем Валерия Константиновна думала неотступно и неустанно.

## 2

С раздражающей ясностью она помнила ту последнюю военную зиму, тот рассеянный свет ни ночи, ни дня, который она ненавидела, потому что даже не знала, когда это произошло — днем или ночью. С утра над базой летал немецкий разведчик; матросы почему-то называли его «кривая нога». На бледном небе медленно расплывались волнистые линии эллипса — пунктир воздушного боя.

Валерия Константиновна работала машинисткой в редакции. Она печатала и все поглядывала в окно. Мостик через овраг был занесен почти до перил. Пожилой моряк с зелеными табачными усами прошел, чертыхаясь, по колону в снегу и вдруг, хохоча, подхватил мальчика в шубке, стоявшего у крыльца редакции и перевязанного крест-накрест большим шерстяным платком. Мальчик привычно отбивался: на базе почти не было детей. «Сейчас, в грозные дни напряженных боев на юге...» — печатала Валерия Константиновна. Андрея все не было. Низкое темное облачко остановилось над морем, потом двинулось к берегу. Вдруг загудело, засвистело, задуло, все стало плывущим, безостановочным, неутрачивающим, снежным.

Теперь стало ясно, что катер не придет и, стало быть, сегодня она не увидит Андрея. Но катер пришел. «На днях опубликовали англо-советское коммюнике о переговорах премьер-министра Великобритании...» — печатала она, когда он приоткрыл дверь, заглянул, улыбаясь, и, не заходя, стал сбивать снег рукавицей с полушубка и шапки. Он был тоненький, с легкой походкой, с вьющимися, падающими на лоб волосами.

В клубе шел спектакль «Слуга двух господ», но играли так плохо, что они ушли после первого акта. Может быть, они ушли не потому, что играли так плохо.

Валерия Константиновна жила в деревянном домике с высоким крыльцом. Лестница обледенела, они поднялись с разбега. Она жила с Катей, тоже редакционной машинисткой, рядом — военные корреспонденты, а в третьей комнате, самой большой, — командир подлодки. Он часто бывал в походах, и девушки следили за комнатой, вытирали пыль и даже иногда мыли пол и окна.

У Валерии Константиновны было холодно, она принесла из кухни электрическую плитку. Они грели руки над плиткой, а потом Андрей накинул на нее свой полушубок и пристроился рядом — очень скромно, только взял ее руку в свои. В нем было что-то изыщное, светлое. Прежде он почти не говорил о себе, а в этот вечер заговорил — и ей понравилось, как он рассказывал о матери и маленьком брате. Он был мурманский. Отец умер рано, мать работала в больнице, сперва сиделкой, потом кухаркой. Второй раз она вышла замуж за офицанта-грузина, и отчим отправил его в Озургеты. Он был тогда еще совсем маленький и почти разучился по-русски. Потом пришлось снова учиться. Но легкий грузинский акцент так и остался.

— Вы не слышите?

— Нет.

Потом они пошли в комнату командира подводной лодки и сидели там, не зажигая света. Когда Андрей стал целовать ее, она повернула выключатель, и оказалось, что свет не горит. День кончился, наступил вечер, а потом ночь или, может быть, новый день. На базу опять обрушился снежный заряд, и вихрь, взвиваясь и опрокидываясь, помчался мимо окна безостановочно и неутомимо.

Катер уходил в шесть утра, они расстались, а через неделю Андрея вызвали в штаб: с наблюдательного пункта разведчики доставили на его батарею какие-то расчеты, и он потерял листок, на котором они были записаны.

— Потерял, и все,— грубо и беспомощно сказал он Валерии Константиновне.

Он пришел к ней пьяный, и с тех пор она ни разу не видела его трезвым. Как он пил! Как страшно вздрагивали у него веки, когда он вглядывался в нее, не узнавая. Валерия Константиновна стала запирается от него — она боялась пьяных. Однажды он взломал дверь. И все-таки она еще жалела его, уговаривала, стыдила.

Потом ей сказали, что Андрей тайком от нее приезжает на базу и останавливается у продавщицы военторга. Они вместе пьют, и однажды патруль отвел на гауптвахту обоих.

Когда больше нельзя было скрывать беременность, Валерия Константиновна уехала в Москву.

### 3

Среди несчастий тех лет ей запомнился приезд Андрея. Война кончилась. Он явился подтянутый, в форме; тогда его еще не списали с флота. В неприбранной комнате было холодно. Игорь кричал, потому что молоко кончилось, и некогда было с утра сбежать в молочную кухню. Все же они поговорили. Он — беспечно, едва взглянув на ребенка, даже не спросив, как прошли эти два трудных года. Она — не веря глазам, поражаясь тому, что была близка с этим ничтожеством, с этим бледным, быстро лысеющим человеком, которому все равно что сказать и который не знает, что он станет делать в следующую минуту. Вечером он пришел пьяный, она выставила его, и неверными шагами он ушел из ее комнаты, из дома, в котором она жила, из ее сознания, существования. Ей просто некогда было думать о нем. Нужно было стирать белье, мыть пол, кормить Игоря. А потом, когда мальчик подрос, нужно было подумать о работе, которая не помешала бы ей, а, напротив, помогла учиться.

Так прошли эти годы, превратившие ее в сильную, много перенесшую, но ничуть не согнувшуюся женщину. Она была еще привлекательна, с румянцем на крепких щеках, с седой прядью, подчеркивавшей моло-

жавость. В ней была прелесть женственности, она нравилась — и даже однажды чуть не вышла замуж за товарища по работе, инженера-текстильщика, который несколько лет убеждал ее, что они должны пожениваться. Но инженер устроил нечто вроде помолвки, и на этой помолвке ей вдруг показалось, что она влюблена вовсе не в него, а в его отца, старого оркестранта, танцевавшего с ней старомодно-прямо, держа ее в твердых руках, которые она чувствовала сквозь тонкую материю платья...

Постепенно Валерия Константиновна перестала думать о замужестве, о мужчинах. Теперь, когда она болтала с Ириной, своей лучшей подругой, не понимавшей, почему Валерия Константиновна, которую Ирина считала хорошей, живет одиноко, она отшучивалась, уверяя, что в ее внутренней секреции, очевидно, не хватает какого-то важного гормона. Ирина, некрасивая, умная, говорившая о мужчинах с презрением, всегда была в кого-нибудь влюблена.

Несмотря на трудную жизнь, Валерия Константиновна не чувствовала себя несчастной. Ее жизнь, как и любая, представляла собой сложное сплетение хорошего и плохого, и она научилась выбирать из этого сплетения только хорошее — то, на что она могла опираться. А все остальное — обидное, оскорбительное, раздражающее — оставалось в стороне и даже в легком тумане.

Только одну ошибку сделала она, не подумав, как тяжело придется за нее расплатиться: она сказала Игорю, что его отец пропал без вести на войне. Но могла ли она представить себе, что с этой минуты Андрей, который давно не существовал для нее, начнет новую жизнь в воображении сына!

## 4

Игорь стал думать об отце после Двенадцатого съезда. Взрослые говорили о речи Хрущева, волновались, радовались, спорили, надеялись и удивлялись. Весь дом, вся Москва говорила об этой речи и, очевидно, даже весь мир. То, о чем рассказал Хрущев, было, без сомнения, очень важно, хотя и отнеслось к неясному прошлому, когда Игоря еще не было на свете. Очевидно, многое тогда происходило не совсем так, как думали взрослые, и даже совсем не так. До сих пор они не решались откровенно говорить об этом.

Из этого «не так» он понял, например, что слова «спасибо Сталину за счастливое детство», которые Игорь тысячу раз читал и писал, были неправдой. У многих детей было несчастливое и даже страшное детство, потому что их родители погибли в тюрьмах и ссылке.

Другое «не так», тоже важное, касалось войны. Игорь и прежде любил читать о войне, а теперь, подрастая, стал читать еще больше. Стратегическое отступление 1941 года было, оказывается, непредвиденным и внезапным. Можно было не отдавать немцам половину страны.

Он прочел много книг о Северном флоте, о подводной войне, о действиях береговой артиллерии. Часами он сидел над картами. Он сам чертил их. В воображении он пересекал на подводной лодке Баренцево и Карское моря, уходил на восток до Тикси и до Норд-Капа на запад. К шестнадцати годам он мог бы читать лекции о войне на Северном театре.

И прежде он часто спрашивал мать об отце: почему у нее не сохранилось ни одной фотографии, почему она никогда не вспоминает о нем?

И она рассказала, как однажды ждала его целый день, незаметно перешедший в ночь. Была метель — там это называется снежным зарядом.

дом,— и она почти не надеялась, что он приедет на базу. Ей очень хотелось увидеть его, хоть взглянуть или просто узнать, что с ним ничего не случилось. Она печатала и думала: «Хоть взглянуть!» И вдруг дверь отворилась, Андрей вошел, улыбаясь, и стал шапкой сбивать снег с шинели. Мокрый клок волос упал на лоб. Он был тоненький тогда, среднего роста и не ходил, а бегал. Всегда торопился.

Игорь спросил, была ли она на батарее. Конечно, нет! Она нечаянно упомянула о листке с расчетами и сразу же заговорила о том, как отчим Андрея, грузин, отправил его в Озургеты. Ей нравился, сказала она, его легкий грузинский акцент.

Она рассказала немного, но для Игоря и этого было довольно. Он вообразил отца: это был молодой человек, почти юноша, немногословный, застенчивый, скромный и фантастически смелый. Он пропал без вести в октябре 1944 года, когда началось наступление морской пехоты. Возможно, что он был в одной из десантных групп, которые были высажены на южное побережье Мотовского залива, в районе мыса Пикшув. Или в бригаде, высадившейся на берегу залива Малая Волоковая,— с этого плацдарма был нанесен удар вражеским позициям на перешейке полуострова Средний.

Чем старше становился Игорь, тем больше думал он об отце. Прежде отец был похож на Дика из стивенсоновской «Черной стрелы», только постарше. Теперь это был человек, который жил в странное, почти необъяснимое время и который никогда не увидит перемен, происходящих в стране.

Игорь носил фамилию матери — Листенев, старший брат Валерии Константиновны усыновил его, когда ему было три года. Он знал, что родители не были зарегистрированы в загсе, и, разумеется, не придавал этому никакого значения. Но когда надо было получить паспорт, он спросил мать, имеет ли он право носить фамилию отца. Мама сказала: «Нет», и он не стал настаивать. Впервые в жизни он не поверил ей. Но в юридической консультации тоже сказали, что, поскольку мать не была зарегистрирована, а он, Игорь, усыновлен ее братом, он должен носить фамилию Листенев, а не Свечкин.

## 5

Он должен был в этот день остаться после уроков на собрании, очень интересном, потому что почти весь класс под руководством Кирилла Павловича — это был любимый учитель — собирался в Крым. Но Кирилл Павлович заболел, и Игорь вернулся домой раньше, чем его ждала мать. На вешалке у двери висело мужское пальто, а из соседней комнаты, где жила старушка пенсионерка Павла Порфирьевна, были слышны голоса. Он только что видел Павлу Порфирьевну на кухне. Стало быть, мать попросила разрешения поговорить с кем-то в ее комнате. Почему? Очевидно, ей не хотелось, чтобы Игорь присутствовал при этом разговоре. Ну что ж! Он уселся за маршрут, который собирался предложить на собрании,— не вдоль побережья, а вдоль Айпетринской Яйлы. Куда интереснее!

Стена была тонкая, и он всегда знал, что делается в комнате Павлы Порфирьевны. Он знал, когда она ставит посуду в полубуфет, который она называла не сервантом, а сервантесом, когда натирает пол — она любила, чтобы пол блестел, и часто натирала его мастикой. Теперь за стеной слышались голоса: матери — непривычно резкий и незнакомый мужской — бормочущий и хрипловатый.

— А я ничего и не требую,— сказал мужчина.

— Еще бы! — отозвалась мать. И потом: — Уезжай! Ты слышишь? И чтобы никогда...

Игорь решил, что, пожалуй, лучше уйти. Ему не хотелось, чтобы мама подумала, что он слышал этот разговор, потому что ей, очевидно, этого тоже не хотелось. И он убежал.

## 6

Поездку отложили на неделю — итальянское посольство почему-то задержало визы. Это было хорошо и плохо. Плохо, потому что психологически Валерия Константиновна уже как бы уехала: время в таких случаях всегда останавливается, и не хочется браться за работу всерьез. А хорошо, потому что Андрей явился, когда она еще была в Москве. Она провела его в комнату Павлы Порфирьевны. Он был прилично одет, но водкой от него пахло, как прежде. Они не виделись восемь лет. Он постарел, на лысеющей голове открылась запавшая некрасивая макушка. Он служил теперь в торговой базе где-то на Дальнем Востоке и с первого слова стал хвастаться, что иногда удается хорошо заработать: «Конечно, приходится делиться, но это уж...»

Об Игоре он вспомнил, прощаясь. Валерия Константиновна взяла с него честное слово никогда больше не писать, не приходить и вообще «забыть о ее существовании». Но что стоило его честное слово?

Думая, что кто-нибудь мог слышать этот разговор в коммунальной квартире, она сказала Игорю, что приезжал дальний родственник, тоже Листенев, который просил устроить его в Москве. Еще не досказав, по невнимательному выражению Игоря она поняла, что его ничуть не интересует этот родственник, может быть, потому что он Листенев, а не Свечкин. Но она досказала, испытывая с особенной силой вину перед сыном и сердясь на себя за эту новую, оказавшуюся ненужной и бессмысленной ложь.

## 7

Днем все куда-то летело в шуме деловых разговоров, в путанице незаметно уходящего дня, а по вечерам они с Игорем по-прежнему «путешествовали» по Италии. Он настаивал, чтобы она прочла хотя бы предисловие к «Божественной комедии» Данте. И она прочла, запомнив лишь, что «атмосфера чистилища ближе к нам, чем вечный мрак ада».

Иногда заходил Петя Аникин — это был лучший друг Игоря. В младших классах мальчики учились вместе и продолжали встречаться, когда Петя перешел в музыкальную школу. Накануне отъезда Валерии Константиновны Петя явился с новостью — его родители тоже едут в Италию и даже в той же группе. Это было трудно устроить, но отцу удалось. Рассказывая об этом, Петя смеялся, размахивал руками, и Валерия Константиновна невольно подумала, что, очевидно, у него сложные отношения с родителями, если он так радуется их отъезду.

Денег давали мало, и она заранее решила, что и кому она купит. Игорю — орлоновую рубашку, которую можно мыть под краном, а потом не гладить, Ирине — венецианские стеклышки, Павле Порфирьевне — редкое сердечное лекарство. Старушка уверяет, что у нее от сердца припадок тоски. С братом беда, ему никогда ничего не нужно. В прошлом известный строитель первых гидростанций, теперь он писал о них или притворялся, что пишет. Он ходил, прихрамывая, подшучивая над собой и жалея только о том, что врачи запретили ему пить и курить.

## 8

Меняя паспорта и покупая билеты, туристы встретились в «Метрополе» уже как знакомые, и оказалось, что все, как и Валерия Константиновна, ничего не успели. Об этом говорили женщины, среди которых она сразу нашла ту молодую, красивую, высокую, с длинными руками, которая понравилась ей еще в Доме Союзов, где представители «Интуриста» рассказывали об Италии. Ее звали Ларисой, она работала в Комитете Мира.

Валерия Константиновна умела находить тон с людьми даже и очень далекими — это было не то что легко, но привычно. Крепкий, толстый человек с насмешливым умным лицом посматривал на нее, улыбаясь. Это был архитектор Алексей Александрович Токарский. С ним она сразу почувствовала себя свободно. Но были другие, с которыми она как бы играла в эту естественность и свободу.

Аникина, которую она как-то видела на родительском собрании, познакомила ее с мужем, известным скульптором. С ними почему-то было трудно разговаривать, даже о детях, как они выросли и переменялись. Впрочем, к концу этого хлопотливого, утомительного и все же веселого дня Валерия Константиновна освоилась и с Аникиными. Неприятно было только, что Токарский держался в стороне от скульптора и, кажется, был с ним в дурных отношениях.

Ей понравился рыжий молодой человек с круглым носом, которого все уже звали просто Севой. Он недавно окончил судостроительный институт и работал на заводе имени Носенко в Николаеве. Пока туристы ждали паспорта, он сообщил Валерии Константиновне, что недавно женился. Он, конечно, поехал бы в Италию с женой, но завод получил только одну путевку, и профком решил, что поехать должен именно он.

## 9

В Париже они провели только час, а должны были и того меньше — с аэродрома Бурже на аэродром Орли. Шофер согласился показать им Париж, и они прокатились по кольцу бульваров. Как большинство женщин, Валерия Константиновна плохо знала историю, может быть потому, что в ее школьные годы историю преподавали как будто бы нарочно, чтобы школьницы забыли ее по возможности скорее. Токарский называл бульвары — маршала Нея, маршала Макдональда. Нея она еще помнила, а Макдональда спутала с английским премьером.

Они опоздали на аэродром Орли. «Каравелла» — это был новый французский самолет, о котором еще в ТУ-104 говорили мужчины, — уже ждала их. Подтянутая, прекрасно говорившая по-русски блондинка повела русских к одному окошечку, к другому, потом, занутившись, куда-то еще. И все это — со смехом, проталкиваясь в озябоченной, громко разговаривающей, разноцветной толпе. Потом все пошло совсем быстро — паспорта, какие-то формальности, и через десять минут туристы поднимались в самолет — не сбоку, как это было привычно, а по лестнице прямо в брюхо, в длинную тесную комнату «каравеллы».

Валерия Константиновна оказалась рядом с француженкой, и они немного поговорили — несколько слов по-английски, несколько по-французски. Русские все были на другом краю. Затылок Токарского, крепкий, с каштановыми, слегка выщипанными волосами, показывался из-за края кресла и исчезал. Француженка что-то спросила.

— Я русская, — догадавшись, ответила Валерия Константиновна.

Француженка удивилась, быстро сказала длинную фразу. Валерия Константиновна не поняла, кивнула и пожалела, что не села со своими.



где было весело, потому что Токарский шутил и, наверное, сейчас сказал что-то очень смешное — Лариса перегнулась через ручку кресла, переспросила и от души засмеялась.

Хорошенькая стюардесса, ловко скользя между креслами, пристроила столики, принесла обед, и Валерия Константиновна неуверенно принялась есть, не очень хорошо зная, что делать, например, с чем-то белым, похожим на теннисный мяч, оказавшимся вовсе не мороженым, как она предположила, а яйцом с вкусной, сложной начинкой.

Летела не только «каравелла», но все, о чем думала и говорила Валерия Константиновна. Она ела, почти не чувствуя вкуса, как это бывает во время болезни, когда начинает подниматься температура. Это было то возбуждение новым, которое началось еще в Париже, когда автобус проезжал мимо могилы Неизвестного Солдата, а Валерия Константиновна старалась увидеть и непременно запомнить эту могилу, и неугасимый огонь, и часового, и толпившихся людей, видевших все это тысячу раз и не думавших о том, что они — в Париже. Она поняла, что в таком же волнении находятся и другие.

Рим подлетел неожиданно, вместе с конфетками, которые раздала стюардесса. Легкая дурнота все-таки стала уводить Валерию Константиновну, она вспомнила, что нужно открыть рот, но постеснялась и не открыла.

На аэродроме, в очереди, выстроившейся к пограничнику, она оказалась рядом с Ларисой. Они обрадовались, заговорили о полете, и Валерия Константиновна знала теперь, что и Лариса заметила ее еще в «Метрополе».

Один чемодан пропал — это выяснилось, когда сели в автобус, но никто не стал беспокоиться. Староста — маленький добродушный незаметный человек, которого Валерия Константиновна запомнила потому, что на нем висели фото- и киноаппараты, — сказал, что «здесь этого не бывает». В худшем случае чемодан остался на аэродроме в Париже. «А вдруг мой?» — подумала Валерия Константиновна. Токарский смеялся и говорил, что все спокойно потому, что каждый надеется, что пропал чемодан соседа.

Утром была Москва, час тому назад — Париж, а теперь — Рим; в этом, кажется, не было сомнений. Римлянин, который вел автобус, тормозил время от времени, чтобы пропустить римлян, негорючиво переходивших улицы Рима.

В гостинице разобрали вещи, и оказалось, что пропал как раз чемодан Валерии Константиновны. Она огорчилась, но не только из-за чемодана, который должен был, конечно, найтись, а потому, что, пока его искали, староста распределил номера и она оказалась не с Ларисой, а с плосколицей, много и складно говорившей дамой. «Нужно было сразу попросить, чтобы нас поместили вместе», — думала она, пока соседка рассказывала десятую историю о том, что за границей ничего не пропадает и что в Финляндии, например, ставят бидоны для молока у калитки или даже прямо на дороге.

Соседка была высокая, тощая, а Валерия Константиновна — среднего роста, плотная, с полными плечами и грудью, и обе сели на кровать и стали смеяться, когда Валерия Константиновна попыталась примерить то, что ей хотелось сменить после душа. Пришли другие женщины, посоветовали, утешили, позвали ужинать, и досада отошла в сторону, забылась, когда после ужина они пошли по незнакомой, быстро пустеющей улице, потом по другой, вна Национале, и вдруг оказались перед кругло уходящими стенами, грубо и таинственно освещенными луной. Это был, если верить глазам, Колизей.

Она вернулась в два часа ночи. Соседка похрапывала. Ночная ру-

башка висела на стуле у постели — безвкусная, с вышивкой. Кто-то принес. Валерия Константиновна надела ее, и снова все покатилося перед закрытыми глазами. Ирина, о которой она за всю дорогу не вспомнила ни разу, уселась в кресло, положив ногу на ногу, с папиросой в откинутой руке и сказала, что Валерия Константиновна — хорошенькая, и что если бы она, Ирина, была хорошенькач — все могло быть совершенно иначе. «Но ничего не могло быть иначе, — думала, засыпая, Валерия Константиновна. — Все прошло, все прошло. Почему мне хотелось, чтобы Токарский заговорил со мною, когда мы выходили из самолета? Он все время шутил, радовался, что смеются его шуткам, и замолчал, когда мы оказались рядом. Все прошло. Виа Национале. Весь вечер я встречалась с нашими у Колизея и на виа Национале, а с ним — ни разу. Наверное, сразу же пошел спать. И ничего удивительного — устал с дороги!» Соседка перестала храпеть. Форум открылся внизу, под ногами, освещенный луной, с откинутыми назад нарисованными теями.

## 10

У Игоря было страстное, нетерпеливое воображение, но он любил и умел добиваться ясности, доказывать, сопоставлять: Почему у матери становилось напряженное лицо, когда он начинал говорить об отце? Он помнил, какие странные, неловкие возражения приводила она, когда Игорь убеждал ее, что должен носить фамилию отца: «Дядя обидится», «Листенев — красивая фамилия». Почему она не пыталась найти его? Разве не возвращаются пропавшие без вести?

Что-то неопределенное, недосказанное вставало между ними, когда она нехотя, с принуждением отвечала на его расспросы, и теперь Игорю казалось, что эта осторожность, недосказанность связаны с той порой, когда все, происходившее в стране, объяснялось магической деятельностью лишь одного человека. Ведь, думая таким образом, люди непременно должны были притворяться и лгать. Разве они не притворялись, например, веря тому, что все арестованные виновны? Может быть, отец попал в плен и сперва был в немецком концлагере, а потом, как многие военнопленные, в нашем? Может быть, он пропал без вести не на фронте, а где-нибудь в лагере или в ссылке?

Мать скрывала от него что-то важное, и это началось очень давно. Когда он был еще совсем маленький, она вдруг вскакивала по ночам и в темноте трогала его рукой: «Ты здесь?» Точно он мог исчезнуть, растаять. Это было одно из первых детских воспоминаний. Другое воспоминание сохранилось, потому что в этот день он впервые догадался, что взрослые думают, что он еще ничего не понимает, в то время как он все давно понимал. Он играл на полу, а мама и тетя Ирина разговаривали о человеке, которого мама называла «он». «Он» может найтись, вернуться, приехать, написать.

— Что тогда?

— Ответишь.

— А если приедет?

— Выставишь, — сказала тетя Ирина.

Это было особенно странно, потому что до сих пор мама выставляла на холод, за окно, только мясо и масло.

## 11

Он понял, что нужно делать, увидев в кино, как сталинградцы, оборванные, измученные, худые, шли домой, толкая перед собой детские колясочки с узлами. Города не было, но они все-таки шли. Потом был по-

казан новый город, и те же люди, улыбающиеся, веселые, сидели за столом в новой квартире.

Игорь знал от матери, что отец до войны жил в Мурманске, на улице Сталина. Немцы сбросили на Мурманск больше бомб, чем на Мальту. Город сгорел, и не было никакой надежды, что сохранился именно тот дом, в котором жил отец. Но, может быть, его родные вернулись в Мурманск? Может быть, на улице, которая называлась теперь улицей Ленина, еще помнят его отца? Были же у него родные, знакомые, товарищи по школе?

Он ничего не скрывал от матери, но о своем плане не сказал ей ни слова. И не только потому, что, когда Игорь начинал говорить об отце, между ними возникало неловкое чувство, но потому, что матери, так же как и любому взрослому, план показался бы бессмысленным и неосуществимым.

Он заключался в том, что Игорь решил опросить всех жителей той улицы, на которой до войны жил отец. Каждую неделю он отправлял в Мурманск открытку, а то и две — это зависело от состояния бюджета: Он начал посылать их, когда ему было тринадцать лет. К марту 1961 года ему удалось выяснить, что в первых пяти домах никто не знает о лейтенанте Свечкине, служившем на одной из батарей Северного морского флота и пропавшем без вести, по-видимому, во время октябрьского наступления 1944 года. Продав свой атлас мира, который был ему, в сущности, не так уж и нужен, Игорь перешел к дому номер шесть. Летом он подработал на пилораме и мог посылать по три, а то и по четыре открытки в неделю. Ответы были сочувственные, но неопределенные. Однако, согласно теории вероятности, позволяющей по вероятностям одних случайных событий находить вероятности других, связанных каким-либо образом с первыми, он должен был найти людей, которые знали или хотя бы слышали об отце.

## 12

Аникину не очень хотелось ехать, и он бы не поехал, если бы не жена, которая скулила, что ездили и Гудисы и Черенковы. Впрочем, у него была сейчас тихая полоса, когда его временно отгеснили. Ну, да ладно, он свое возьмет! А сейчас можно и прокатиться.

Еще в Москве, присматриваясь к группе, он решил, что разрешит приблизиться к себе только старосте — разумеется, на время поездки. И надо, чтобы Варя тоже вела себя сдержаннее, тем более что эти бабы полезут к ней и уже, кажется, лезут. Руководитель, который должен был ждать их в Риме, уехал в Москву, и, когда староста, которому не хотелось заниматься распределением номеров, что-то нерешительно заблеял, Аникин решил позвонить консулу. На самом деле он хотел повидаться с консулом в надежде, что тот устроит ему пресс-конференцию, — это было бы естественно, потому что итальянцы, без сомнения, знают его и встретятся с ним очень охотно.

Консул принял его и согласился, что без руководителя ездить по Италии неудобно. Аникин заговорил о пресс-конференции и встретил вежливое сопротивление. Да, разумеется! Это было бы так естественно! К сожалению, времени мало. Он не был предупрежден, а посол — в отъезде. Пришлось уступить, тем более что времени действительно было мало: в Риме они должны были провести только два дня.

Аникин догнал группу, осматривавшую Колизей. С презрением прислушивался он к объяснениям гида, молодой девушки, полурусской-полуйтальянки, к восторженным или удивленным возгласам туристов, с живым интересом рассматривавших огромный полуразрушенный амфитеатр.

Он был профессиональным скульптором, но давно уже ничего не делал руками, а только руководил другими, работавшими на него скульпторами и лепщиками. Мастерская была, в сущности, большим предприятием с отделениями во всех городах, где возводились по его проектам скульптурные сооружения. Это была, как он сам говорил, его «епархия», которую он объезжал каждые три-четыре месяца в сопровождении красивого молодого человека, часто меняющего неописуемо голубые и цвета «кафе-о-ле» костюмы и глядевшего мимо собеседника ничего не выражающими глазами. Молодой человек был директором «епархии», устранивающим и личные дела Аникина, когда это было необходимо.

Здесь была не его «епархия», здесь был Рим. Он сердился на жену, уговарившую его поехать простым туристом наравне с этими людишками, которых он все время путал, с этим неприятным Токарским, который осмеливается едва кивать ему, а сегодня утром, войдя в ресторан, почти демонстративно повернул к другому столу, хотя за столом Аникина было свободное место.

Он прислушался к объяснениям: гладиаторы, императорская ложа, проходы, по которым на арену выходили львы. Стало быть, здесь были главным образом гладиаторские игры. А где же христиан бросали на растерзание львам? Гид — ее звали Анни — ответила: она говорила с еле заметным акцентом, произнося имена по-итальянски. Аникин боялся, что жена сморозит что-нибудь, и, едва она открывала рот, останавливал ее взглядом.

Они отправились дальше в автобусе, который его раздражал, потому что здесь он тоже был наравне со всеми. Ватикан был еще закрыт. Студенты архитектурного института сидели на маленьких трехногих стульях перед собором святого Петра и чертили что-то на сверкавших, приколотых к доскам листах бумаги. Много девочек в нарядных платьях толпились на ступенях. Анни объяснила: «Француженки, приехавшие к папе». Папская стража в полосатых черно-желтых костюмах стояла слева от собора, под аркой. «Эти ливреи и до сих пор шьются по рисункам Микеланджело».

В соборе вдоль длинного, отделенного перилами пространства стояли женщины в накрахмаленных, торчащих платках и мужчины с красными, терпеливыми, крестьянскими лицами. Анни рассказывала, туристы передавали друг другу: папа новый, недавно избран, итальянец. Он шутит, разговаривает с народом, он демократ. Его зовут Иоанн. Который? Двадцать третий.

Ватикан всегда интересовал Аникина. Государство в один квадратный километр, с населением в тысячу человек, со своим двором, монетой, полами! Государство, огороженное стеной, в центре европейской столицы. карающее, внушающее страх, действующее явно и тайно!

Негр, католический монах, в очках, в круглой твердой шляпе, прошел, озабоченно разговаривая с другим, тоже озабоченным, кругло-розовым монахом. Негр! Мы ничего не знаем о Ватикане. Все это надо изучать, и не только изучать, но учиться. Без пушек, без атомного оружия, без армии и флота управлять четырехсотмиллионными подданными, разбросанными по всему свету. Это работа! Сеть ингриг, охватывающая полмира. Два слова в одной из тысячи комнат — и где-то во Львове студент молотком убивает знаменитого писателя, как бишь его фамилия? Забыл. А эта свобода, эти монахи, которым разрешается играть в футбол и заниматься боксом. Эта гибкость, современность, эти превосходные церкви модерн, мимо которых они проезжали в квартале Нуова! Черт знает, какое великолепие, какая сила!

Вечером в номере он еще думал об этом, перебирая впечатления и прикидывая: что все-таки могло пригодиться для дела? Скульптурные пор-

треты животных в Ватикане — их игры, ласки, охота. Голова верблюда, леопард, омар — и все это движется, живет, играет.

Жена раздевалась; он смотрел и не видел ее. Последнее время это случилось с ним постоянно. Жена была уже как стекло — она существовала и не существовала. Она говорила что-то. Она всегда говорит. Ему часто хотелось убить ее, и сейчас захотелось, но он привычно подавил это чувство. Он что-то ответил. Она говорила о сыне. Сыну было шестнадцать лет, он плохо учился, по общеобразовательным предметам у него были двойки.

— Я лично очень сожалею, что мы отдали его в класс этого Гольдберга.

— Так ты не думаешь, что из Петьки выйдет Святослав Рихтер?

— Ты отшучиваешься, а я говорю серьезно.

— Я тоже серьезно. Мой отец хотел, чтобы я стал юристом.

— Юрист — другое дело. У него плохие товарищи. Этот Игорь.

Он уже не слушал. Слишком много денег — вот что плохо для сына. Отдельная комната с лоджией. Он начинал с деревенской кузницы, в грязи, из которой лепил первые вещи. Кстати, тоже зверей. Так вот почему он не мог заставить себя уйти из этого зала!

## 13

Как Игорь ни любил мать, все же в первые дни после ее отъезда он наслаждался чувством полной свободы. По утрам он гонял в домовом садике тряпичный мяч самодельной клюшкой. Партнеров не было, одни малыши, но он и с малышами чувствовал себя превосходно. Он объяснил им, чем отличается хоккей с мячом от хоккея с шайбой, и рассказал, что на зимних олимпийских играх в Италии команда СССР завоевала звание чемпиона мира.

— У меня, между прочим, сейчас мать путешествует по Италии, — небрежно сказал он.

Дворничиха не позволяла играть в садике, хотя от выставки цветов, устроенной в этом садике в прошлом году, осталась только надпись «Добро пожаловать». Перед домом она тоже запрещала играть, и, поскандалив с ней, Игорь уводил ребят на пустырь, где зимой продавались елки.

Его маршрут вдоль Яйлы провалился, потому что у ребят не было подходящей обуви. Каждый день он виделся с Петей Аникиным и даже ездил с ним к Витьке Бермонту, который после семилетки пошел на завод и работал теперь в литейном цехе. Витька был маленький, скуластый, с короткой черной гривкой над лбом. Он любил ставить над собой опыты. На этой неделе опыт «относительного голодания» заключался в том, что в понедельник он решил съесть не больше двух булочек, во вторник не больше трех и так далее. Отправляясь к нему, мальчики на всякий случай взяли с собой круг колбасы.

Цех был огромный, разнообразно стучащий, с двигающимися ковшами раскаленного металла, с косыми столбами света, в которых был виден пыльный взвешенный воздух. Витька засмеялся, взял колбасу, а когда Петя пожаловался на шум, возразил, что с логической точки зрения музыка — тоже шум, только организованный.

— Зато менее целесообразный, — прибавил он и засмеялся.

Он был крепкий, с торчащими под расстегнутым воротничком ключицами, в замасленном комбинезоне и держал колбасу в черной от масла руке. Он вкусно кусал ее, а потом пил подсоленную воду. Воду в горячих цехах, оказывается, всегда немного подсаливают.

Когда Игорь вернулся домой, Павла Порфирьевна, у которой он теперь обедал, сказала, что на его имя пришло заказное письмо. Прежде чем разорвать конверт, он прочел обратный адрес: «Мурманск, Ленина 42, квартира 17. П. Невзглядов».

## 14

Петя Аникин проснулся от высокого нежного звука, идущего издалека, возникшего где-то в лесу, на светлой поляне с наклонившейся под легким ветром высокой травой. Скрипки были молодыми ветлами с опустившимися до земли косами ветвей — и они немного нервничали, два раза вступили раньше, чем нужно. Дуб-контрабас ждал, подняв смычок, чтобы вступить свободно и мягко. Березы были виолончелями. Дирижируя, он смотрел на их ослепительные стволы с параллельными черными полосками, смотрел восторженно, с беспокойством, а потом с благодарностью, потому что они сыграли прекрасно.

Это был концерт; он дирижировал рощей. Лежа с закрытыми глазами, он думал о своем сне, в котором все было именно так, как ему хотелось. Еще не проснувшись, он вспомнил то хорошее, что случилось вчера и будет сегодня и завтра, — целых четырнадцать дней: родители уехали в Италию. Он один и свободен.

Он рано понял ничтожность матери, ее суетность, беспомощность, ее невежество, поразительное для человека, окончившего университет, и железную деловитость отца, так странно не сходящуюся в Петинем представлении с профессией скульптора, художника, артиста. Сперва инстинктивно, а потом с пронизательностью молодого ума он оценивал атмосферу их дома — эту мнимую значительность жизни, вечера, на которых бывали известные или по меньшей мере влиятельные люди, деньги, которых было слишком много, равнодушные, а может быть, и ненависть родителей друг к другу.

Трудно и даже противоестественно не любить родителей, и Петя думал, что он все-таки любит их, особенно мать, которая часто и много плакала и заметно постарела за последние годы. Но без них ему было лучше. Это он открыл давно. Не потому, что он собирается делать то, что они ему запрещали, а просто потому, что с ними он всегда чувствовал себя в неприятном напряжении. Запрещали они ему, в сущности, только одно — водиться с дедом. Дед, ушедший в прошлом году на пенсию, поступил безнравственно, женившись в шестьдесят четыре года на молодой хорошей женщине. Никому, в том числе и этой женщине, чувствующей себя прекрасно, он не причинил никакого вреда. Но его дочь, Аникина, встретила этот поступок с поразившим Петю отвращением. Пете было категорически запрещено видеться с дедом. Отец не вмешивался, но его холодные шуточки были глубоко неприятны Пете.

Он все равно виделся с дедом, потому что обожал его. И сегодня, еще не зная, как пройдет этот счастливый день, Петя прежде всего решил прямо из школы отправиться в Апрелевку к деду.

Музыка, приснившаяся ночью, время от времени возвращалась к нему, и он кое-что поправлял в ней — вставил фагот в каденцию, которой кончалось вступление, а потом прислушался к двум нотам, которые просились в фугу, но пока гуляли где-то в стороне, потому что он не пускал их в фугу. Теперь это была уже не роща, а дачный поезд, которым он ехал к деду, гудение колес, как бы оступавшихся на стрелках, бодрый, несущийся вперед басовый гудок электровоза.

Дед мылся после дневного сна, когда Петя распахнул калитку. Он был в синих штанах, босой, подпоясанный мохнатым полотенцем и сам мохнатый, с курчавыми седыми волосами на толстой груди, с курносым

красным лицом. Он радостно замычал, увидев Петю. Антонина Николаевна, тоненькая, в чесучовом кремовом платье, вовсе не казавшаяся Пете молодой, а даже довольно старой — ей было тридцать два года, — накрывала к завтраку в самодельной беседке.

— Петечка приехал!

Он сел и сразу стал рассказывать, пока дед, который тоже любил рассказывать, не перебил его. О родителях он ничего не сказал, но было ясно, что их нет в Москве, иначе он не приехал бы в Апрелевку прямо из школы. Он только упомянул, что мать Игоря — «ты его знаешь, дед» — поехала в Италию с той же группой. Пластырь — это было прозвище директора школы — сказал, что на выпускном вечере Петя будет играть свой этюд. Вчера они с Игорем съездили к Витьке Бермонту на завод. Подумать только! Этот идиот решил поставить над собой опыт «относительного голодания»: две булочки в день, три на следующий день и так далее, до конца недели. Они привезли ему круг колбасы, и по дороге в метро Игорь предложил пари: сожрет или нет?..

— И что же? — спросил глубоко заинтересованный дед.

— Взял и тут же стал лопать.

Все это было рассказано торопливо и закусывалось свежим хлебом с молоком и тминным творожным сыром, который очень любили и дед и Петя. Потом он хохоча рассказал, что одна девочка прислала ему письмо, и вытащил из кармана измятые голубые листки, по одному виду которых можно было судить о том, что автор едва ли может рассчитывать на удачу.

— Ох, умора, — сказал он, прочитав послание вслух и вдоволь нахотавшись.

— Постой, почему умора? — спросил дед. — Она же, кажется, в тебя влюбилась?

— Она дура. Дед, куда мы сегодня? — спросил Петя, не сомневаясь ни минуты, что дед бросит все свои дела и отправится с Петей в город.

— М-м... Ты на голландской выставке был?

— Фью! Она черт знает как давно закрылась.

Они отправились в Третьяковку на выставку Сомова, которая, оказывается, тоже закрылась, а потом на футбол, потому что дед встретил знакомого журналиста, любителя футбола, и у того оказалось два свободных билета.

Оба сразу же увлеклись игрой, орали, подбадривали игроков, стыдили динамовский левый край и скандировали: «На мы-ло, на мы-ло», когда судья, который, по мнению дед, подсуживал «Динамо», назначил «Спартаку» одиннадцатиметровый удар.

Теперь приснившаяся Пете музыка была этим шумом стадиона, как будто опрокидывающим огромную водяную стену, и некогда было поправлять эту музыку, этот нарастающий шум, потому что все летело вперед без оглядки, с разбегу — раз, два, три! Игроки подводили мяч к воротам. Удар! И водяная стена опрокидывалась с мягким грохотом, переходившим в шелест.

После футбола они отправились в ресторан «София» и страшно наелись, потому что нельзя было вообразить ничего вкуснее того мяса с подливкой из сладкого перца, которое заказал дед, когда-то проживший в Болгарии два года.

— Между прочим, у меня к тебе важное дело, дед, — сказал Петя, когда они вышли из ресторана. — Мне нужны деньги.

— Сколько?

— Ты знаешь, дед, много. Тридцать рублей.

— Ого! Зачем, если не тайна?

— Я даже решил продать что-нибудь, пока наши еще не вернулись. На буфете стоит, например, китайская чашка, о которой отец говорит, что ей

цены нет. Я ее продам, а потом скажу, что разбил. Если ты мне не дашь, дед. Это не для меня, ты веришь? Честное слово.

— А для кого?

Петя вздохнул.

— Для Игоря. Он отдаст. Ты можешь быть совершенно спокоен.

— Ладно. Но почему тридцать?

Петя шел, опустив голову. Он погрустнел.

— Если нельзя, можешь не отвечать,— поспешно добавил дед.

— Нет, почему же, я скажу. Ему нужно съездить в Мурманск, дед, а билет туда и назад — двадцать семь сорок... Больше ты меня не спрашивай. ладно?

Они вернулись в Апрелевку. С минуту дед раздумывал: не посоветоваться ли с Антониной Николаевной? Потом вынес деньги и отдал их повеселевшему Пете.

...Он проснулся в своей комнате с лоджией, которая была сделана, чтобы он спал на свежем воздухе зимой и летом. Он думал об Игоре во сне и теперь, открыв глаза, продолжал думать. Когда Петя пришел, Игорь читал книгу, обедая у Павлы Порфирьевны. Старушка вышла, Петя торжественно вынул деньги, и Игорь небрежно сунул их в карман, перевернув страницу.

— Смотри не потеряй,— сказал, огорчившись, Петя.

— Не беспокойся.

И как ни в чем не бывало, он заговорил о книге...

Шел дождь, и Пете представилась битва капель, летящих с неведомой высоты и сталкивающихся в воздухе с тонким, стеклянным звоном. Они не могли остановиться, они разбивались насмерть все до единой. Журчащий поток выбегал из водосточной трубы, и в этом однозвучном журчании Петя ясно услышал те давешние, просившиеся в фугу ноты. Теперь для них нашлось место — он начнет ими третью часть, а потом они будут повторяться и повторяться.

## 15

Билет стоил тысячу лир, но они все-таки пошли — Токарский с Валерией Константиновной и Сева. В кино можно было входить когда угодно, хоть в середине сеанса, и смотреть, пока не закроется театр. Они обрадовались, когда к ним подсела Лариса. Она говорила по-итальянски, в группе все начинали кричать: «Лариса, Лариса», когда нужно было что-нибудь узнать, объяснить.

Это была не одна, а четыре, пять, шесть — Токарский считал — семь картин, связанных одной судьбой, одной мыслью. Семь кругов ада. Или рая? С каждым новым кругом «Сладкой жизни» все яснее проступает грозная, диктующая, наступающая пустота.

Молодому журналисту удается проникнуть в высшее общество Рима. Он долго не замечает этой пустоты, ее трудно, почти невозможно заметить. Возникая из богатства, отсутствия труда, жажды наслаждений, она превращается в нечто неуловимое, скользящее, но властное — в чудовище, подсказывающее безумные поступки. Отец убивает своих прелестных детей. Женщина медленно раздевается догола в аристократическом салоне, другая соглашается отдаться полузнакомому, но не у себя, а в нишей каморке проститутки. А для тех, у кого нет этого богатства, этого незнания, чем заполнить бесконечный день и бесконечную ночь,— мнимое явление мадонны, бросившее на окраину Рима тысячи больных, калек, отверженных и оскорбленных.

Они прошлись по Риму, прежде чем вернуться в отель. Токарский, и сам еще не совсем разобравшийся в картине, старался объяснить ее Ла-



рисе, которая, несмотря на свой итальянский язык, почти ничего не поняла. Валерия Константиновна слушала, думая о своем. Сева спал на ходу.

Это был спор, начавшийся еще утром в ресторане и потом вспыхивавший в течение всего длинного дня — впрочем, главным образом в автобусе, потому что в соборе святого Петра, в Ватикане туристам было все же не до «Сладкой жизни» — хорош или плох был этот удивительный фильм. Его посмотрели многие, и он, как это всегда бывает с новым и сильным произведением искусства, сразу стал психологическим эталоном, мерилом душевной тонкости и понимания жизни. Одним он показался растянутым, скучноватым, другие не заметили, что провели в кино три часа.

Можно ли показать его в Москве? Конечно, нет — так полагал, например, Аникин, который прислушивался к спору с презрением. Почему? Потому что нашему зрителю немедленно захочется отведать этой «сладкой жизни» и Феллини не поразит его своей смелостью, тем более что Ватикан, как известно, не пользуется у нас заметным влиянием. Трагедию пустоты никто не заметит, а вот медленно раздеваться под упоительный джаз захочется многим. Главная реакция будет: «Живут же люди! А что они при этом с жиру бесятся... так что ж! Мы бы не бесились». Он согласился, когда кто-то сказал, что покупать картину не стоит, а показать — разумеется, узкому кругу — можно и даже полезно.

— Еще бы, — вполголоса сказал Токарский. — Ему можно и даже полезно. А другим нельзя и даже опасно. А я думаю, — ни к кому не обращаясь, громко сказал он, — что эту картину необходимо купить, сколько бы она ни стоила. И показать всем, а не только узкому кругу. В Италии эта «сладкая жизнь» — высшее совершенство, идеал для миллионов, а Феллини наносит ей опасный удар. По-моему, просто нельзя убедительнее доказать, что эта жизнь ведет к полному опустошению, к нравственной смерти.

Спор оборвался, потом вспыхнул снова. И хотя не было, казалось, ни малейшей связи между этой картиной и той остановившейся жизнью картинных галерей и соборов, о которой рассказывал гид, Токарский чувствовал эту связь и потом думал о ней в течение всех двенадцати дней, проведенных в Италии. Перед ним были три Рима, не один. Внизу, под ногами, — Рим языческий, с которого сняли и продолжали старательно снимать покров двух тысячелетий, поражающий строгостью, сдержанностью, гармонией. Великий город, ставший товаром, который по недорогой, в общем, цене продавался туристам. Над этим Римом был другой — католический, властвующий, папский. Но был еще и третий: Рим сомнений, пустот, неравенства, прошедший перед глазами Токарского в той болезненно-острой картине.

По дороге в Неаполь он сказал Севе о том, что Ватикан запретил опубликование исповеди Сальери. В предсмертный час Сальери признался, что он отравил Моцарта. Австрийский историк Гвидо Адлер нашел в одном из венских архивов подробную запись исповеди: духовник композитора сообщил епископу, что Сальери не только признался в отравлении Моцарта, но рассказал, где и когда он подносил ему медленно действующий яд.

— Значит, все это правда? — спросил Сева с загоревшимися глазами.

— Да. Наш композитор Асафьев видел копию этой исповеди своими глазами.

— Действительно отравил?

Токарский посмотрел на Севу, который слушал эту историю с таким видом, точно она случилась вчера, и засмеялся. Ему нравился Сева.

У Севы были карты, справочники, он что-то записывал, щелкал аппаратом и ежеминутно прикидывал, что нам может пригодиться, а что, к

сожалению, нет. В группе была пожилая женщина, ткачиха — ее звали Ольга Петровна. Он заботился, чтобы она чего-нибудь не упустила, и от души огорчился, когда она спросила у гида: «А где тут у вас Испания?»

Как это бывает с молодыми людьми, он влюбился в Токарского, рассказал ему, что на поездку взял в долг у тещы и теперь боится, что не скоро отдаст. Половину своих лир он истратил еще в Риме, позвонив жене по телефону. В поезде он почти не спал — и по ночам все что-то записывал, думал. В нем чувствовались прямота, деликатность. Но Токарский догадывался, что были минуты, когда в нем вспыхивало желание немедленно, сию же минуту быть рядом с женой.

## 16

Они ночевали в Сорренто после длинного дня, необычайного уже потому, что это был только один день, в течение которого можно, оказывается, увидеть так много! Сева сразу уснул. Токарский вышел на балкон. Внизу под прозрачными квадратами крыши мелькали тени, слышался стук посуды — там была кухня. Приглушенные голоса казались голосами теней.

Он умылся, разделся и лег. Постель была широкая, пустая. Он вспомнил, как Наташа однажды отвернулась от него в такой же широкой постели и долго лежала молча, повернувшись к стене. Она часто просила его рассказывать о войне, но у них никогда не было времени, потому что они встречались тайно и говорили только о том, как не хочется лгать и как они любят друг друга. Зато потом, когда все устроилось и они уехали в Углич, он рассказал ей все. Нет, почти все, потому что они по-прежнему много говорили о любви и времени по-прежнему не хватало. Она отвернулась, когда он рассказывал о попе, хотя ничего особенного не было в этой истории, в общем довольно смешной или казавшейся смешной на войне. Поп выступал по радио очень близко, едва ли не перед нашим боевым охранением. Он читал, пел и снова читал, и действительно можно было сойти с ума, потому что это продолжалось с рассвета до ночи. Разведчики злились, и, может быть, никому не пришло бы в голову охотиться за «благодетелем», как они его называли, если бы они не сидели без дела. В конце концов они утащили попа, когда, забывшись, он довольно близко подошел к нашему проволочному ограждению. Он был тяжелый, отбивался отчаянно. Потом он молча сидел, уставившись на пьексы. На нем был бархатный плащ и зеленая вытканная парчой шапочка с какой-то финской эмблемой. На медальоне тоже была эмблема — львица с женской головой, держащая в лапе кольчугу. Его сразу отправили в батальон.

Цикады звенели в саду, и Токарский подумал, что у итальянских цикад, должно быть, свой язык, наши, крымские, не поняли бы, пожалуй, ни слова. Наши, крымские, звенели в Долоссах, где он ждал Наташу. Она приходила после мертвого часа и уходила с закатом — ей нельзя было оставаться на воздухе после заката. Она цела ему, но все тише, потому что ей нельзя было петь. Ничего нельзя было теперь, когда им не нужно было притворяться, проклинать свою несвободу, выходить из дома, где они тайком встречались, по очереди, звонить друг другу из автомата. Она пела о знатной леди, которая, услышав цыганку под своим окном, заплакала и ушла из дома. Цикады звенели. Ушла и не вернулась. Ушла, закутав горло шарфом, который Токарский подарил ей зимой и о котором она сказала, что он очень красивый, но вообще-то мужской. Очень красивый, и она непременно будет его носить, но вообще-то мужской.

## 17

Ткачиха, которая спросила: «А где тут у вас Испания?», проплакала всю ночь. «У меня только пять классов, и мы Испанию не проходили. А может, и проходили. Разве упомнишь? Так нужно было объяснить, а не смеяться. Меня учить надо. Ну и что же, что пятьдесят три? А когда мне было учиться? Будто я не хотела, господи! А потом война, на Урал повезли. Было ли там время учиться? Высадились — ни кола ни двора. Это не интеллигенция, если над человеком смеяться. Легко ли было Ирку вырастить, из такой девки человека сделать! Теперь в ОТК работает — шутка ли? Директор сказал: «Вам, Ольга Петровна, нужно звание героя присвоить за то, что вы из такой — как бы это выразиться — человека вырастили». Когда же мне было учиться? Тут и знаешь что, так забудешь. Испания! Упомнишь тут, как же!»

— Вы что, Ольга Петровна? Не спится?

— Да так что-то, раздумалось. Скоро усну. Я вам мешаю?

## 18

Валерия Константиновна начала привыкать — можно было, оказывается, жить и без чемодана! Она купила самое необходимое в Сорренто — даже кофточку вязаную, очень хорошенькую, неопределенно нежного цвета. Это было встречено с торжеством. Ее хвалили; другая, оставшись без чемодана, ныла бы с утра до вечера, а она ничего. Молодец! И она действительно чувствовала себя молодцом. Токарский смеялся и говорил, что ее чемодан прихватил молодой человек, летевший вместе с ними на ТУ-104 в Гвинею, и что теперь ночную рубашку Валерии Константиновны донашивает вождь племени Мяу-Мяу.

Она любила людей, искренне интересовалась ими, и товарищи по группе нравились ей. А ведь могло быть совершенно иначе! Она догадывалась о молчаливой вражде между Аникиным и Токарским, чувствуя, что дело не только в противоположных взглядах на задачи искусства, но в простой порядочности, которой Аникину, кажется, не хватало.

И отношения между супругами Аникиными постепенно открылись Валерии Константиновне, хотя оба, муж и жена, очень хлопотали, чтобы они не открылись.

Сперва казалось, что в подчинении находится он — по мелким полустуливым стычкам, в которых он немедленно уступал. Но два-три слова, сказанные сквозь зубы, злобный взгляд из-под опущенных век — нет, отношения были страшные, быть может, те самые, от которых Валерия Константиновна сознательно отказалась.

Ей нравился Сева с его вспыльчивостью и прямоотой, с необычайно острым интересом к тому, что происходило по правую и по левую сторону автобуса — к сожалению, одновременно.

Ей повезло. Только две первых ночи она делила номер с костлявой, слишком много и складно говорившей соседкой — профессором истории, как это выяснилось вскоре. А потом оказалась с Анечкой — гидом от общества «Ромеа» — полурусской-полуйтальянкой. Несмотря на усталость, они каждый вечер подолгу разговаривали, лежа в постелях. Анечка была высокая, тонкая, с ненакрашенными губами, скромная, что не мешало ей ходить животом вперед, как живые манекены фирмы Диора. Она легко уставала, бледнела, но то, что считала своей обязанностью, исполняла пунктуально. С туристами она поехала впервые и сперва терялась, что-то путала, просила, чтобы ее поправляли.

Она сказала Валерии Константиновне, что в русских не чувствуется боязни за завтрашний день. Почему? Ей хотелось бы знать. Может быть потому, что они так долго, четыре десятилетия, обеспечены постоянной

работой? И правда ли, что в Советском Союзе разводиться легко, а выходить замуж не страшно?

— А у вас страшно?

— О да!

И Анечка объяснила, что в Италии можно разойтись только с благословения папы.

Словом, все было хорошо еще и потому, что, думая о людях, с которыми ее свела судьба, Валерия Константиновна невольно думала и о своей судьбе, сравнивала, взвешивала, проверяла. Хуже было с Италией, которая проходила мимо нее, как в немом кино — легко и бесшумно. «Записывай, мам». Она еще ничего не записала. С каждым днем она все больше убеждалась, что та воображаемая поездка с Игорем и была ее отдыхом, о котором толковали врачи. Она никуда не уехала из Москвы.

## 19

Сады были огорожены прохладными соломенными щитами. Апельсины лежали на земле, никто не подбирал их. Валерия Константиновна и Токарский пошли на берег и долго стояли в сумраке, глядя на рыбачью лодку с огоньком, медленно двигавшуюся в мягкой тишине моря.

Пение послышалось вдалеке. Они прислушались, потом забыли. Рыбаки, может быть?

Токарский заговорил о попутчиках, как бы разделившихся на небольшие отдельные группы людей, симпатизирующих друг другу. В стороне были только Аникины. Жена неприятно гордилась мужем и была преувеличенно любезна.

— И это скульптор, человек искусства, — с презрением сказал Токарский. — У нас людей искусства почему-то часто считают незаслуженно богатыми, высокомерными, думающими только о себе. Между тем, таких, как Аникин, двадцать человек. Вы заметили, что он первый никому не подает руки?

— От гордости?

— От неуверенности.

— Вот кто мне нравится — Сева.

— И мне.

— Очень смешной. Сердится, когда женщины начинают говорить о кофточках и сумках, и всем рассказывает, что недавно женился. «Я вам говорил, что мою жену зовут Катя?»

Валерия Константиновна засмеялась.

— Да, хороший парень.

«И ты хороший, — подумала Валерия Константиновна, глядя на Токарского, который казался в темноте похожим на Пана, со своим животом, со своей большой, лысеющей со лба головой. — И умный».

Токарский держался ровно со всеми, а с Валерией Константиновной не только ровно, а как-то еще, быть может потому, что догадывался, что нравится ей. Она не волновалась, но иногда начинала чувствовать себя как в игре, когда нужно найти спрятанную вещицу, и едва приближаешься к ней, все начинают кричать: «Горячо, горячо!»

Они вернулись, когда религиозная процессия поравнялась с отелом. Впереди с открытым лицом шел, высоко поднимая крест, молодой монах, за ним — несколько пожилых. Потом шли люди очень маленького роста, может быть дети, — в белых куклуксклановских капюшонах, оставляющих только круглые, страшные дырки для глаз. Одни несли в руках небольшие кресты, другие — молоток, лесенку, гвозди. Среди них шел юноша монах с грубым бронзовым лицом, горбоносый, державший в руке длинный прут, которым он выравнивал ряды и подгонял отстающих.

Они громко пели. Валерия Константиновна поняла, что это и было то пение, которое все время медленно приближалось к ним, пока они стояли над морем.

— Какие страшные! Это иезуиты?

— Не думаю. Спросите Анечку.

Но Анечка тоже не знала, хотя в каждой церкви преклоняла колени и быстренько, мимоходом крестилась.

На маленькой площади у церкви народ ждал процессию, огибавшую Сорренто. Пение приблизилось, не торжественное, как прежде, а напряженное, слишком громкое, как будто теперь пели, настаивая на чем-то требовательно, непреклонно. Дети несли свои кресты и лестницы на плечах, спотыкаясь от усталости, и суровому юноше монаху приходилось то и дело выравнивать их прутом.

— Церковная самодеятельность, — сказал Токарский.

Он заговорил о католицизме. Прошло время, когда гении человечества служили Ватикану, когда католичество было для них поприщем, ареной. Стертость, обыкновенность религии, которая всегда была ее силой, теперь становится слабостью — в храмах меньше молящихся, чем туристов. И здесь, в Сорренто, где какой-то орден устроил эту процессию, религия — тоже зрелище, а не подвиг.

Валерия Константиновна слушала с интересом, хотя ничего не понимала в католичестве и неясно представляла себе, чем оно отличается от православия. Ей хотелось только одного: чтобы Токарский долго говорил, а она слушала и кивала.

На другой день с утра поехали на Капри. На носу маленького катера она сидела под солнцем, под ветром, слушая и не слушая плещущий шум, который шел отовсюду. Казалось, что он и был этим ветром и солнцем, этой длинной, полупрозрачной медленной дымкой, протянувшейся вдоль острова, мимо которого они проходили.

Подъехали — и лодочники, смуглые, загорелые, переключаясь, окружили катер. Все блестело и переливалось вокруг, очерченное резко, отчетливо, смело. Смуглая красавица в соломенной широкополой шляпе с красными лентами стояла в лодке, заваленная разноцветными сумочками, корзинками, держа их в руках, не замечая всего этого смеющегося, блистающего, сливающегося с морем великолепия.

Теперь Капри уже не был, как прежде, голубоватым облачком, опрокинувшимся над горизонтом. Он был, оказывается, большой, с высокими скалами, срывающимися в море. Темная узкая дыра под одной из этих скал была входом в Лазурный грот — чтобы проехать туда, нужно было лечь на дно лодки. Сняв весла и положив их вдоль бортов, лодочник стал быстро перебирать протянутый вдоль стены канат, втягивая лодку в шевелящуюся, темную с проблесками, фантастическую глубину. Там толпились в тесноте другие лодки и были слышны гулкие веселые голоса. Теперь можно было сесть на скамеечку, и Валерия Константиновна ахнула; увидев глубокие ниши грота над тяжелой колеблющейся зеленью воды. Свет проникал через узкое отверстие входа и воздушно рассеивался, соединяя, пронизывая легкие залы. Темно-прозрачные зайчики переливались на стенах, тени таяли в изумрудной воде.

Вернулись, дождавшись очереди и ловко проскользнув в ту единственную секунду, когда расступились другие лодки. Снова все стало ярко, ослепительно, разноцветно — блеск солнца на волнах, качающиеся катера, давешняя красавица на груди разноцветных корзинок и шляп и сама в кокетливо надетой на затылок шляпе, переключаящиеся лодочники и среди них тот невысокий, крепкий, молодой, который возил их в грот и которому Сева дал не сто лир, как посоветовала Анечка, а, сильно покраснев, двести.

На Капри Валерия Константиновна открыла местечко, о котором давно мечтала, и побежала к женщинам сообщить, что за пятьдесят лир можно не только умыться, но и принять душ. Она не стала заходить в магазины, а пошла по длинной, вдоль моря, улице, где за цветущими изгородями прятались тихие дома и после шума тесной, маленькой площади было удивительно тихо. Потом Токарский жалел, что не пошел с нею.

Всем хотелось посмотреть виллу Горького, но гид повел их в дом какого-то шведского писателя — Валерия Константиновна немедленно забыла фамилию. Гид сказал, что ему принадлежит «Жизнь святого Михаила», потому что «это есть книга, которую он создал, то есть написал». В саду на высокой площадке стояла подзорная труба. Валерия Константиновна пожалела двадцать лир, хотя лира — это было очень мало: и без трубы были отлично видны крошечные лодочки на переливающейся равнине моря и крутые, точно срезанные, похожие на Крымский хребет серые скалы.

Катер отходил, пора было возвращаться на пристань.

— До свидания по-русски, до свидания по-русски! — весело кричал на пристани гид. Это значило: «Русские, торопитесь».

Токарский шутил за обедом, уговорил Ларису взять не аранчату, которую подавали в маленьких бутылках, а вино. Это было кьянти, не кислое, которое привезли ей в прошлом году ее друзья Чупровы, а необычайно вкусное — «круглое», как выразился Токарский. Валерия Константиновна смеялась.

Потом, уже в номере, она с ужасом вспомнила, как в ресторане он с порога искал ее глазами и как ей хотелось, чтобы он сел рядом с ней. И не только сел рядом, но решил бы на большее, о чем она не могла не думать, вытянувшись на чистой постели, перебирая в памяти этот летящий, воздушный, ослепительный день. Боже мой, только этого не хватало! Нет, нет! Нужно держаться в стороне от него. И с разгоревшимися щеками она стала думать о Токарском нарочно холодно, пока не заснула.

## 20

Войны заняли немалое место в жизни Токарского — не по времени, а по значительности того, что прошло перед его глазами.

После Отечественной войны он остался в армии еще на несколько лет — по инерции, с которой ему не хотелось бороться. Но была и другая, более серьезная причина: ему не повезло с женой, властной, избалованной, отвадившей его друзей и заменившей их людьми тонкими, но скучными, среди которых он казался самому себе слишком большим, неповоротливым, неостроумным. Он уезжал от нее в деревню, если удавалось, — надолго, месяца на три. В годы войны ему казалось, что он убежал от нее на войну.

Друзья жены были музыкантами, она сама в молодости училась в консерватории, но «переиграла руку». Эта «переигранная» рука, эта почти фантастическая слепота по отношению к чужой жизни и глубокое, проникновенное внимание к себе, конечно, давно свели бы Токарского с ума, если бы он не встретил Наташу. Тогда все это стало сводить с ума их обоих.

Долгое время он старался не говорить с ней о своей семейной жизни. Но как молчать о том, что мешало ему жить, верить, наслаждаться, говорить правду? Ему, сорокапятилетнему сильному человеку, любящему жизнь, сохранившему остроту молодых впечатлений? Как молчать, если приходилось встречаться тайно — и хорошо еще, если в комнате на Серпуховке, у старой, все понимавшей учительницы рисования, с которой

Токарский был знаком много лет. К сожалению, учительница часто болела, и тогда они бродили по переулкам, целовались в подъездах.

Потом все устроилось, он ушел от жены. Все устроилось. Они прожили почти полгода в Угличе, потом расстались — в Доллоссах, у ворот туберкулезного санатория, куда его не пустили.

...Он не только постоянно думал о Наташе, но мысленно разговаривал с нею, когда что-либо острое, оригинальное, новое удивляло или восхищало его. Так было после «Сладкой жизни», когда ему смертельно захотелось рассказать ей о своем впечатлении. В Помпее, напомнившей ему Чуфут-Кале, его поразила вещественность, обыкновенность жизни, оборвавшейся вместе с катастрофой. С горьким чувством он подумал, что об этом не узнает Наташа.

В полусохранившемся доме богатых купцов гид — не та милая Анечка, которая ездила с ними, а другой, помпейский гид, сморщенный, кирпично-красный старик с крючковатым итальянским носом провел его в комнату, которую показывали только мужчинам: сохранившаяся стенная роспись изображала сцены любви.

— Ничего нового, — выходя, сказал гиду Токарский.

— И не нуждается в объяснениях, — добавил гид на плохом английском языке.

...Об этом Наташе он рассказал бы ночью, когда казалось непостижимым, что между ними снова может произойти это чудо, это счастье, без которого они не могли и не хотели жить. Он рассказал бы, какая свободная, веселая, доверчивая жизнь представилась ему, когда он увидел эти маленькие сады внутри каждого дома, сады, из которых в дом шли воздух и свет. Но ей ничего нельзя рассказать. Он живет, а она умерла. Он смеется и шутит. Поехал в Италию. И знает, что нравится Валерии Константиновне, умной, чем-то озабоченной, с маленькими руками и ногами, не умеющей кокетничать и почему-то переставшей садиться с ним за один стол в ресторанах. «Может быть, я ее обидел? Нет, это что-то другое. Она все время думает о своем и, в сущности, грустна, хотя часто смеется. Она, как девочка, расстроилась, ничего не записав о Помпее, и рассердилась, когда я сказал, что записывают только женщины и главным образом то, что можно найти в любой популярной книге. Завтра я объясню ей, что записывать надо не то, что видишь, а то, что чувствуешь. Я скажу ей, что мне без нее скучно. Ох, как не хочется, чтобы все было так, как тысячу раз уже было».

Этот маленький театр в Помпее под открытым небом! Как весело, как умно он решен! С каким вдохновением!

«Есть лица — подобья ликующих песен...» Театр в Помпее был похож на это стихотворение:

Есть лица, подобные пышным порталам.  
Где всюду великое чудится в малом

Он построен как умное, открытое человеческое лицо. Слово за словом Токарский вспомнил стихи до конца:

Есть лица — подобья ликующих песен.  
Из этих, как солнце, сияющих нот  
Составлена песня небесных высот.

В Неаполе до поезда остался целый час, и туристы пошли куда глаза глядят — сперва поискали и не нашли морскую станцию. Потом попали на базар и остановились оглушенные, с разбежавшимися глазами.

В лавочке, которая была еще и кафе и лотерейной кассой, мужчины играли в настольный футбол, с треском ударяя по мячу деревянными раскрашенными человечками. Веселый парень в проломленной шляпе ругал премьер-министра — как с изумлением перевела Лариса, — одновременно приглашая испытать счастье на рулетке, которую он запускал с ловкостью акробата.

Кричали все, кроме обезьяны, которая сидела, прикорнув в повозке фокусника, прикрывая желтыми веками усталые глаза, широкие, как на рублевских иконах. Ряды лавок были завалены лежащим на земле и висевшим в воздухе товаром. Нарядные куклы с удивленными лицами сидели среди кухонной утвари. Вязаные кофточки, о которых так много говорили женщины, грудями лежали на прилавках — зеленые, сиреневые, бежевые, голубые.

В этой не привычной для северного глаза резкости красок сильнее других был оранжевый цвет — от апельсинов, которые были сложены в горы. Толстые спокойные женщины и черные небритые мужчины с орлиными носами были как бы вписаны в этот оранжевый фон.

Они прошли еще пол-улицы и среди всей этой дьявольщины красок, толкотни, криков, смеха наткнулись на круглый шатер, под которым стоял толстяк с вдохновенным лицом, оравший громче всех на этом шумном базаре.

— Вы на меня сердитесь? — спросил Токарский.

Валерия Константиновна сделала вид, что не слышит.

— Вам не кажется, Алексей Александрович, — спросила она, — что именно так в библейские времена проповедовали пророки?

— Нет, не кажется. Я очень рад.

— Чему?

— Тому, что вы не умеете притворяться.

— Чему же вам-то радоваться? Умею, кстати.

Действительно, что-то пророческое было в неистовых воплях, в этой страсти, с которой толстяк убеждал, умолял, заклинал купить вышедшие из моды штаны. Достаточно было задуматься, и, выхватив из разноцветной груды сорочку, кофточку, пуловер, он ловко сворачивал вещицу и швырял ее растерянному, оглушенному покупателю. И тот платил, смеясь. Что делать?

Сева заговаривал со всеми. Токарский не мог без смеха смотреть на его порозовевшее от возбуждения лицо. Это был краешек той Италии, которую он прежде видел только в кино. Он разговорился с продавцом птиц и отдал ему все свои значки, узнав, что его дочку зовут Катя. Не Катарина, как предположил Сева, а именно Катя.

Все было обыкновенным в Мурманске — улица Ленина, которая оказалась вовсе не улицей, а прямым, просторным и длинным проспектом, люди, которые были одеты похуже, чем москвичи, и шли более неторопливо, и даже неяркое, нежаркое солнце, которое намеревалось в течение полугода освещать город одновременно с луной.

Все было таким же, как в Москве, и даже еще обыкновеннее и проще. Но хотя Игорь шел быстро, стараясь справиться с сильно бьющимся сердцем, ему казалось, что он стоит, а дома один за другим плавно проходят перед ним — номер один, три, пять, семь и на другой стороне — два, четыре, шесть, восемь...

Это были дома, которым он написал, и у него было странное чувство, что с ними можно говорить, как с людьми.

И дом сорок два был такой же, как другие. Вдоль лестничной клетки,



громко разговаривая, стояли на мостках маляры. Игорь спросил у них, в каком подъезде квартира семнадцать.

Сердце билось все острее, как бывает, когда бежишь из последних сил, и вдруг заколет в груди. Он позвонил. Маленькая женщина открыла ему и убежала. Он успел заметить, что она была молодая, с круглым, ровно румяным лицом.

Он прошел в прихожую, а потом в столовую.

— Заходите, заходите,— сказала женщина.

Она стояла спиной к нему, у открытого окна, и, когда Игорь остановился у порога, обернулась и сказала с возмущением:

— Маленького мальчика заставляет ставить машину в гараж!

Игорь нерешительно подошел к окну.

— Ну вы подумайте! Сумасшедший!

Зеленый двор был как будто вставлен в четырехугольник дороги, по которой медленно двигался к открытому гаражу «москвич». Высокий седой человек командовал:

— Так! Смелее! Притормаживай!

Машина вползла. Из гаража выскочил действительно очень маленький мальчик. Мужчина торжественно протянул ему руку. Мальчик засмеялся, гоже подал руку, и они стали закрывать обитые железом половинки ворот.

— Петя, тебя ждут! — крикнула женщина. — К тебе пришли! Слышишь?!

Невзглядов был долговязый, длиннорукий, с крепко посаженным кривоватым носом. У него были густые серо-седые волосы, а глаза голубые, слегка навывкате, с удивленным выражением.

Разговаривая, он смешно округлял их и взглядывал — так что был скорее Взглядов, чем Невзглядов.

— Женщина, не сотрясай атмосферу,— сказал он жене, которая накинута на него, едва он переступил порог. — Пускай привыкает.

— Мама, а ты видела? — закричал из передней мальчик.

— Видела, видела... Боже мой, грязный-то какой! Марш в ванную!

— Мам, ну зачем?

Они ушли.

— Прошу извинить,— сказал Невзглядов. — Садитесь. Чем могу служить?

— Я из Москвы,— не садясь, твердо ответил Игорь. — Вы получили мою открытку. Вы написали, что знали моего отца и можете о нем рассказать.

— Ах, вы тот молодой человек, который всем посылает открытки! Конечно, могу. Но прежде мы позавтракаем, ладно? Вы прямо с поезда?

— Да.

— Маша!

— А может быть...

— Не терпится?

— Мне только хотелось спросить... Когда вы виделись в последний раз?

Невзглядов помолчал. На его грубом красном лице выразилось сожаление.

— Давненько. Но мы все-таки сперва позавтракаем. А потом я вам все расскажу.

Жена все время трещала о кофточках и сумочках и что уже Флоренция, а они еще ничего не купили — и надоела в конце концов, главным образом потому, что мешала Аникину не обращать на нее внимания.

Он попробовал было сказать, что в Италии нужно покупать то, что нельзя купить нигде, кроме Италии, но в ответ получил полдня нытья о том, что ей нечего носить и что у нее никогда не было таких кофточек и сумок. Она боялась его, но в этом была непреклонна.

По утрам, когда она сидела у туалета, намазанная каким-то жиром, который покупала у спекулянтки, Аникин неизменно вспоминал кокетливую старуху Гойи, с лицом собачонки, перед зеркалом, в нарядном платье, спадающем с костей спины и плеч. Офорт назывался «До самой смерти».

Куда делся, боже мой, этот растерянный, нежный взгляд, который становился еще растерянее, когда он ее обнимал? Она расплылась, для полной женщины она была суетлива, у нее потемнела нижняя часть лица, в сумерках казалось, что ей нужно побриться. Убить ее, конечно, нельзя — очень жаль! Зато можно было не без удовольствия думать об этом.

В галерее под Уффициями продавались прелестные вещи — шкатулки из цветной, тисненной золотом кожи, керамика с кожей, пепельницы в духе Модильяни, современные, но как будто сделанные руками мастеров шестнадцатого века, — она проходила мимо с испуганным лицом, боялась, что он все-таки настоит на своем. Потом полчаса вертела в руках кожаный флакончик за триста лир и все-таки не купила. Черт с ней!

История Медичи заинтересовала его: сколько убийств! Лоренцино Медичи убивает герцога Алессандро, Козимо Медичи убивает Лоренцию, дочь Козимо, Изабелла удавлена рукой мужа, герцога Браччиано. Другая дочь, Лукреция, жена феррарского герцога, отравлена по его приказанию. В запальчивости один из сыновей Козимо, любимец матери, убивает другого, любимца отца, и разгневанный отец убивает братоубийцу.

Безошибочный выход из любого, самого сложного положения! В шестнадцатом веке он мог не задумываясь избавиться от жены с ее невежеством, с ее болтающимся низким задом и узкими глазками, в которых не было ничего, кроме неукротимого стремления к сумочкам и страха, что муж ее бросит.

Он постоял на блестящем медном щите, вправленном в площадь Синьории, на том месте, где был сожжен Савонарола. Это было любопытно. Правда ли, что Ватикан собирается причислить Савонаролу к лику святых? Гид не знал. Согласно его теории...

Это был гид с теориями, получавший комиссионные от владельца лавки флорентинских изделий, в которую он заходил с туристами после осмотра картинной галереи.

На площади Синьории Аникин обнаружил, что он много лет не видел настоящей скульптуры, то есть видел, но думал при этом о том, что скажет Б., и не повредит ли он себе, поддерживая Р., а не другого члена закупочной комиссии Академии художеств. Ему стало смешно. Что сказала бы закупочная комиссия о «Персее» Бенвенуто Челлини?

Группа ушла, он сказал, что вернется прямо в отель. Он не мог оторваться от Персея. С чувством, близким к отчаянию, он смотрел на него. Какое изящество, какая легкость! Статуя могла быть маленькой или большой, это не имело значения. Какая спокойная гордость юноши в почти танцующем движении, которым он показывает голову Медузы! Как устроено у его ног обезглавленное женское тело! Как сильно выражена смерть в некрасивых руках! Челлини, кажется, многое придумал в своих мемуарах? Но он, несомненно, легко убивал — это видно по его «Персею».

В этот день был какой-то праздник, автобусы не ходили, и Аникин поругался с женой, жалевшей лиры и отговаривавшей его ехать на Фьезоле в такси. Он поругался нарочно. Ему хотелось поехать на Фьезоле не с женой, а с Валерией Константиновной, на которую он обратил внимание еще в Риме, услышав, как о ней говорили мужчины.

Он заметил все: и что она сперва крутилась подле Токарского и что потом отвернулась — наверное, поторопился, некоторые этого не любят.

Группа пошла смотреть церковь Санта-Мария Новелла. Это было в двух шагах от гостиницы. Он отправился туда же, и действительно, рассматривая фасад, там стояли в разных группах Валерия Константиновна и Токарский.

Нужно было дождаться удобной минуты. Он подошел, когда она задержалась, разглядывая фрески.

— Поедьте. Говорят, это просто чудо.

— Нет, благодарю вас.

Он стал настаивать:

— Итальянцы утверждают, что, не побывав на Фьезоле, нельзя уезжать из Флоренции.

— В самом деле?

Он шел за ней, уговаривая и начиная сердиться.

— На такси,— сказал он и покраснел, когда она засмеялась.

Они прошли вдоль левого нефа, а потом рядом с ними вдруг оказался Токарский. Не торопясь, он встал между ними, спиной к Аникину, и сказал:

— Валерия Константиновна, вы видели Мазаччо?

— Что это значит? — пробормотал Аникин.

— Не видели? Непростительно. Поедьте, я покажу.

Аникин вернулся в гостиницу. Невозможно было затевать ссору. Ладно, повременим. Там видно будет. Ему уже не хотелось на Фьезоле, но, чтобы досадить жене, он все-таки поехал. На худой конец нужно было хоть взять с собой кого-нибудь, знающего итальянский язык, но Анечка ушла, а Лариса, сильно покраснев, отказалась.

Он знал, что это было отчуждение, как бы само собой сложившееся в группе вокруг него и жены. Он плевал на это отчуждение, да, впрочем, и на самую группу!

— Русси? — улыбаясь, спросил шофер и повел рукой, свистнув и показывая спутник, летящий к небу.

— Русси, русси. Фьезоле,— ответил Аникин.

Холмы блестели под солнцем, склоняющимся к закату. Огибая церковь с красноватыми куполами, зубчатые стены поднимались в гору.

— Сан-Миниато? — спросил шофер.

Аникин кивнул. Он не жалел, что поехал. Это было действительно чудо. Он поднялся к церкви, а потом, обогнув ее, пошел в гору, вдоль зубчатых стен. Вдоль другой стороны дороги тянулись, поблескивая, оливковые сады.

Он вспомнил детство, деревню. Жалея себя, он шел с открытой головой под теплым, несильным летним дождем, скатывающимся с серебряных листьев оливок.

Лир было действительно мало, и Аникин вернулся пешком, купив назло жене соломенного осла с добродушно-иронической мордой. Он подарит его кому-нибудь, может быть Пете. Он вспомнил о сыне с тем чувством неуверенности, которое в последнее время постоянно испытывал и которое, разговаривая с ним, старался скрыть под шутивным тоном, дружеской откровенностью мужчин между собою. Петя молчал, об откровенности не могло быть и речи. О чем он думает, сидя над своими книгами, сочиняя свою музыку, очень странную, но талантливую,

как уверяет Миллер? Как он рассердился, когда мать стала уговаривать его ездить в училище на машине! Впрочем, это хорошо, что ему не нравится родительский способ существования. И еще лучше, если после училища он года два пошляется с геологическими партиями или поработает на заводе.

Но было что-то фальшивое в той беспечности, с которой он думал о сыне. Если есть на свете человек, которого он не то что боится... А, вздор!

24

— Что это он к вам привязался?

— Предложил поехать на Фьезоле.

— Смотри пожалуйста! Какая честь.

— Мне понравилось, как вы встали между нами.

— Правда? Я скучаю без вас.

— А если бы не скучали?

— Встал бы все равно. Постойте, о чем я думал ночью? Ах, да! Вы говорили, что ваш Игорь летом собирается в Крым. Пускай заглянет в Чуфут-Кале. Вы там были?

— Нет.

Что-то прошло по лицу Валерии Константиновны, глаза потускнели. Токарский подумал: «Значит, сын» — и заговорил о другом.

— А еще,— сказал он,— я ночью читал стихи.

— Свои?

— Нет. Заболоцкого.

Есть лица, подобные пышным порталам,  
Где всюду великое чудится в малом.  
Есть лица — подобия жалких лачуг,  
Где варится печень и мокнет сычуг.  
Иные холодные, мертвые лица  
Закрываются решетками, словно темница.  
Другие — как башни, в которых давно  
Никто не живет и не смотрит в окно.  
Но малую хижинку знал я когда-то,  
Была неказиста она, небогата,  
Зато из окошка ее на меня  
Струилось дыханье весеннего дня.  
Поистине мир и велик и чудесен!  
Есть лица — подобья ликующих песен.  
Из этих, как солнце, сияющих нот  
Составлена песня небесных высот.

— Как хорошо!

— «Закрываются решетками» — это о господине, пригласившем вас на Фьезоле.

Из Санта-Мария Новелла они вернулись на площадь Синьории. И хорошо сделали, как сказал Токарский, потому что это была как раз та самая площадь, на которую нужно возвращаться и возвращаться. Они шли по набережной, когда в воздухе засверкал блестящий, стремительный, праздничный дождь. Он был косой и падал на Флоренцию. подхваченный где-то в высоте бесшумным порывом ветра. Миллион фонтанчиков вспыхнул и прокатился по Арно. Дождь шел несколько минут, но потом долго в освещенном воздухе чудились легкие косые серебристые нити.

— Расскажите, какой у вас сын?

— Вам интересно? Хороший.

— Еще.

— С толстым носом. Румяный. Невысокий, но крепкий. Он очень похудел в последнее время,— сказала Валерия Константиновна с огорчением.— Он велел мне записывать. А я, оказывается, не умею.

— На вашем месте я бы записал, например, этот дождь.

— Боже мой, что вы выдумываете! — развеселившись, сказала Валерия Константиновна.— Ну как можно записывать дождь?

— Этот можно.

— Почему?

— Потому что он нарочно пошел.

— Нарочно?

— Да. Чтобы запомниться.

Они помолчали.

— А у меня нет сына,— грустно сказал Токарский.

— Вам бы хотелось?

— Всю жизнь.

— Ну хорошо. Я вам сейчас все расскажу,— сдерживая вдруг подступившие слезы, сказала Валерия Константиновна.— У меня есть близкая подруга, очень близкая. Она знает. Теперь будете знать и вы, Алексей Александрович. Почему вы, человек, с которым я познакомилась неделю назад? Не понимаю. Но я действительно не умею притворяться.

## 25

Хотя Невзглядов не рассказал Игорю ничего, что помогло бы выяснить, где, когда и при каких обстоятельствах отец пропал без вести, он ушел с таким чувством, как будто что-то очень важное уже произошло в том трудном намеченном деле, которое Игорь твердо решил довести до конца.

Отец, оказывается, служил в разведке! В начале войны он с Невзглядовым ходил за линию фронта, в Титовку. У него тогда еще не было звания. Они не спали четверо суток, выполнили задачу, вернулись в Мурманск и получили каждый по двести пятьдесят рублей и благодарность. Потом группой в двадцать человек они ходили на диверсии, валили столбы, минировали дороги. «Хуже всего — неизвестность,— сказал Невзглядов.— Идешь, голова, как шар, вертится: откуда ударит?»

В мае 1942 года они прошли знаменитую «лощину нервов» — пять километров по открытой тропе. Прошли, свалились, и Невзглядов спросил: «Андрей, где мы сейчас с тобой были?» И отец ответил: «Ага». Однажды они приняли бой на берегу озера, в тумане. Отец потерял каску, надел немецкую, и Невзглядов сказал ему: «Сними, дурак. Или ты хочешь, чтобы свои убили?»

Потом Невзглядов рассказал, как отца однажды приняли в темноте за грузина, передразнили акцент — это было в расположении полка, — и он, не раздумывая, кинулся в драку. Он был вспыльчивый, но отходчивый. Любил выпить, но кто тогда не любил?

Он был ранен весной сорок третьего года, а уже из госпиталя попал на батарею. Невзглядов больше не встречался с ним, только слышал стороной, что у него была какая-то неприятность. Понятно! Ему нечего было делать на батарее. Что такое разведчик? Движение!

Игорь провел у Невзглядова все утро и не ушел бы до поезда, если бы хозяин не сказал, что ему пора на работу. Он служил в Инспекции морского пароходства. Игорь пошел провожать его, и на взгорье, с которого открылся залив, Невзглядов показал ему порт — мастерские, доки, краны торгового флота, судоремонтный завод и снова краны и краны.

Он в последний раз вскинул на Игоря голубые обнадеживающие глаза, похлопал по плечу и ушел.

Далекie, как бы перекликающиеся шумы доносились из порта, вдалеке над берегом дымился снежок, и Игорь с чувством счастья смотрел на эти берега, на порт, как бы застывший и находящийся в непрерывном движении, на темно-стальной блеск моря, на небо, которое было так не похоже на привычное московское небо.

«Хороший товарищ»,— сказал об отце Невзглядов. У Игоря задрожали губы. Он найдет его, как бы это ни было трудно. Нашлись же защитники Брестской крепости, которых вся страна пятнадцать лет считала пропавшими без вести?

— И не открытки,— сказал Невзглядов,— а письмо в Главное Управление кадров флота. Ответят. А когда будешь писать отцу — поклонись. Он меня помнит.

Игорю захотелось есть, но он не пошел в столовую, а купил батон и ломоть холодного вареного вкусного мяса. Это было весело — бродить по незнакомому городу, не зная, что откроется за углом. Он забрался на памятник Жертвам американо-английской интервенции, состоявший из прямоугольников и лестниц и выглядевший современным, хотя был построен в двадцатых годах. Потом он вернулся на проспект Ленина и на этот раз прошел его до конца. Сорок три, сорок пять, сорок семь... Дома снова стали плавно проходить перед ним, хотя теперь он шел неторопливо, и сердце билось спокойнее и с надеждой.

До поезда было далеко, и Игорь пошел в садик у Дома культуры. Ему опять захотелось есть, он купил мороженое. Дети играли в классы. Он нарисовал им хорошие, ровные клетки, они подумали, стерли и нарисовали кривые. Торговые моряки подсади на его скамейку и долго, интересно разговаривали о том, как они ходили на Маточкин Шар. Было уже поздно, но не потемнело, а только стало медленно, как бы неохотно тускнеть. Сад опустел. В порту что-то ухнуло, тяжело передвинулось, и этот печальный звук стал повторяться. Игорь ждал его, но прислушивался не к нему, а к чему-то совсем другому. Этот звук в порту, и склонявшееся побледневшее солнце, и голоса проходивших мимо людей — все было странным образом связано с ним. Он играл с детьми в классы, разговаривал с моряками, шел с портовыми рабочими на вечернюю смену и потом, когда пожилые женщины сменили моряков на его скамейке, участвовал в их тревожном разговоре о какой-то Марье, которую пьяный муж бьет каждую ночь. Ему было жаль Марью и хотелось, чтобы муж перестал ее бить. Сильный, быстрый косой дождь вдруг пошел, усиливаясь с каждой минутой,— Игорь спрятался от него в подъезде Дома культуры. Дождь тоже был нужен ему, именно этот блестящий, косой, отбивающий радостную дробь на лестнице Дома культуры.

Потом стало ясно, дождь перестал, но какая-то коси́на осталась в посвежешем воздухе, точно он был заштрихован и время еще не успело стереть летящие, как стрелы, штрихи. «А мама в Италии,— думал Игорь, бродя перед отъездом по опустевшему городу.— Сегодня среда. Флоренция... «Глубоким синим вечером, когда порывы ветра налетают из горных ущелий...— Он помнил некоторые места из книги Муратова наизусть.— Хочется подойти к решетке и, наклонившись над темным пространством, над Флоренцией, тихо позвать Беатриче».

Валерия Константиновна помнила, что Ленинград, который она очень любила, должен был стать русской Венецией, линии Васильевского острова были задуманы Петром как венецианские каналы. Но только

перед самым отъездом, когда она, так же как все, побежала на площадь святого Марка, сходство с Ленинградом мелькнуло в первый и единственный раз. Силуэты судов на фоне заката, строгость зданий, величаво и гордо высившихся над золотистым заливом. Это была, может быть, стрелка Елагина острова, если перенести на нее — она сама не знала что — Петропавловскую крепость? Или Адмиралтейство?

Сколько она ни читала, ни слышала о Венеции, все это было ничуть не похоже на то, что она увидела, — как ожидание чуда не похоже на чудо. Она знала, например, что в Венеции нет улиц, вместо улиц каналы. И хотя сразу же убедилась, что это неправда, то есть что в Венеции есть и улицы и каналы, — она одновременно убедилась в том, что это были необыкновенные улицы, не похожие ни на какие другие. Это были улицы, по которым нельзя было ездить на автомобилях, на велосипедах, на лошадях — вообще нельзя ездить, а можно только ходить. Они были узкие, вдруг пересекающиеся набережными с уходящими в воду ступенями, поросшими мхом; они поворачивали, подчас под прямым углом; они переходили в мосты.

Мосты были везде, и когда после ужина Валерия Константиновна и Токарский пошли куда глаза глядят (они оба любили первое впечатление незнакомого города), эти мосты удивили их своей декоративностью. Конечно, они были нужны лишь для того, чтобы соединить улицы, разделенные каналами, но казалось, что еще более они нужны, чтобы остаться неизвестным — идете вы по земле или над водой, и чтобы под их высокими арками плавно проходили гондолы.

Потом, когда первое острое впечатление прошло, Валерия Константиновна заметила, что от каналов пахнет сладковатой гнилью, что во дворах не только тесно, но грязно, а белье, развешенное на веревках, переброшенных через улочки, придает многим кварталам жалкий, неустроенный вид. Именно по той причине, что этот необыкновенный город был не похож ни на какой другой в мире, в нем было неудобно жить: неудобно ездить на лодке в парикмахерскую или к зубному врачу, подниматься по скользким, уходящим в воду ступеням, жить в сырых, обветшалых домах, ходить по улицам, на которых никогда не бывает солнца.

...Магазины были уже закрыты, но ярко освещены и ничем не отличались от других магазинов в Риме, Флоренции — разве что провинциальностью, особенно заметной в застывших на витринах, неестественно улыбающихся манекенах. Зато над магазинами, уже со второго этажа начиналось все очень старое — готические окна, узорные, увитые розами, балконы. Мадонны в маленьких нишах показывали под тусклым светом лампад свои бедные и грубые краски.

— Значит, все рассказать?

— Да. Войти, поздороваться, раздеться. Сесть рядом с ним на диван и сразу же: «Вот что, Игорь. Об Италии — завтра, а сейчас...»

— Страшно. Вы его не знаете.

— Прямодушный? — ласково спросил Токарский.

— Да, очень. Мы однажды разговаривали о его школьных делах, и он психологически разобрал весь свой класс. Вы знаете, как это было сделано? Беспощадно.

— Какой молодец! — с восхищением сказал Токарский. — Вот на кого надежда!

— Я потом не спала всю ночь.

— Почему?

— Потому что это было проникнуто... Как вам объяснить? Неистовым правдолюбием.

— Ах, как хорошо,— с наслаждением повторил Токарский.— Вы сказали неистовым?

— Да. Поэтому мне и страшно.

— Чего же бояться? Просто он такой же, как вы. Только его юность проходит, слава богу, в другое время. А теперь давайте смотреть Венецию. Вам не кажется, что мы в театре?

...Валерия Константиновна вернулась поздно и, уютно устроившись в постели, решила сперва немного подумать — жалко было сразу уснуть. Флоренция стояла в памяти отдельно, со своими гравированными, узорными стенами, напоминавшими кружево на черном сукне. Это было во Флоренции — та минута, когда Токарский, войдя утром в ресторан и с порога найдя ее глазами, понял, что она ждет его, что всю ночь, просыпаясь и засыпая, она думала только о нем.

Да, Флоренцию можно было не записывать, все равно ее невозможно забыть. Но Венеция, сегодняшний вечер... Валерия Константиновна начала писать и сразу же бросила — так не похоже было то, что она видела и чувствовала, на то, что она пыталась записать. Анечка ровно дышала. Она сказала: «Мне бы не захотелось здесь жить»: Она выходит замуж, здесь это раз и навсегда. По меньшей мере так принято думать.

«Спокойной ночи»,— сказала она Токарскому, его крепким рукам, его затылку, его умению говорить то, что она только собиралась сказать, его смеющимся глазам, от которых она переставала видеть и слышать. «Спокойной ночи»,— сказала она тому, что он мог бы, если бы захотел, сделать с ее одиночеством, с ее неудачей.

Утром накрапывал дождь, и поехали не на гондолах, как предполагалось, а на катере, похожем на московские речные трамваи. В соборе святого Марка было темно, пусто. Служба началась с шествия от главного входа к престолу. Народу становилось все больше. Английские туристы бродили по собору, как по ярмарке, громко разговаривая, рассматривая молящихся, подходя к престолу почти вплотную. Никто не обращал на них внимания. Гид говорил вполголоса, Анечка переводила.

— Хотите слушать? — одними губами спросил Токарский.

Валерия Константиновна покачала головой.

— Скучно, и не о том,— сказал он, когда они вышли на площадь.— Лучше я расскажу вам. Хотите?

— Очень.

— Видите эти колонны, красные, серые, розовые, зеленые, пятнистые, с фигурами и без фигур? Их наташили сюда пираты. Это была пиратская республика, нечто вроде Запорожской Сечи. Здесь почти все награблено, и эти лошади на фронте, без сомнения, тоже. Кстати, вы когда-нибудь видели лошадей на соборе?

— Нет.

— Я тоже. А вот пираты приташили и поставили. Колонны тоже поставили. Если не кучей, так почти рядом — конечно, потому, что их было много. Казалось бы, непреднамеренность, случайность, полное отсутствие расчета. А на круг получилось единственное здание в мире, потому что все это черт знает каким образом соединилось. По-моему, это и есть самое главное в архитектуре. А теперь идите сюда.— Он взял Валерию Константиновну за руку.— Посмотрите на собор одним взглядом, ни на что в отдельности, а на все сразу. Какая розовость вокруг этого огромного стеклянного полукруга над входом! Пол проваливается, как сообщил нам гид, и это, конечно, грустно. Но скоро здесь все провалится. Венеция



стоит на сваях, сваи раскачиваются волной от катеров, пароходов и роскошных яхт, в которых катаются герои Феллини. О четырехтактном двигателе дизеля пираты древности не имели понятия. Интересно?

— Да.

— Теперь идите сюда. Посмотрите на это странное здание. Здорово, да? — спросил Токарский с таким лицом, как будто он, и никто другой, построил Палаццо дождей. — Взгляните на него вверх ногами. Для этого не нужно самому переворачиваться. Переверните его в воображении. Оно архитектурно задумано и выполнено только от земли до середины, один ряд колонн над другим. Выше — сплошная коробка с огромными редкими окнами, которая была бы отличным фундаментом, потому что она тяжела и массивна. Но она почему-то не давит эти колонны и даже, наоборот, придает им изящество. Это, конечно, чудо. А вот та пара колонн нарочно отмечена для туристов. Здесь вешали. Интересно?

— Очень.

После обеда пошли покупать подарки. Это было труднее, чем в других городах, потому что за каждым углом открывались переулки — каналы с мраморными лестницами дымного цвета и маленькими мостами.

Валерия Константиновна искала орлоновую рубашку — и нашла, но дорогую, за пять тысяч лир. Для себя она ничего не купила, хотя чемодан не нашелся и мог найтись теперь уже только в Милане.

— Но что придумать для брата? Вот задача!

— Он высокий?

— Как вы.

— И такой же толстый, как я?

— Почти.

— Купите ему нейлоновую куртку.

— Ого-го! Шесть тысяч лир! А у меня осталось, — она сосчитала, — две с половиной.

— Возьмите у меня.

— Вот еще! А вы не будете покупать подарки?

— Нет.

— Вот мы ее для вас и купим.

Токарский пожал плечами.

— Вам хочется, чтобы я купил эту куртку?

— Да.

Он померил.

— Очень идет. — Валерия Константиновна покраснела. — И подкладка отличная. Что вы делаете? Анечка велела торговаться.

— Поздно.

Он был очень доволен.

— Снимите же, жарко.

— Ни за что. Вы сказали идет?

Они шли и болтали, останавливаясь у витрин. Стекло было всюду — самые двери магазинов были толстыми листами стекла с разноцветными стеклянными раковинами вместо ручек.

— Работающее, — с уважением сказал о нем Токарский.

Но было и бездельничавшее стекло — фигурки, цветы, ожерелья, серьги, браслеты.

— А вот и Сева.

Сева стоял на мосту Риальто и, моргая белесыми ресницами, рассматривал ожерелье, которое он не мог купить, потому что у него осталось только двести лир, а ожерелье стоило триста. Он успел уже всем рассказать, что у него не осталось лир на подарок для Кати. Он смутился, увидев Токарского и Валерию Константиновну.

— Торговался, как зверь,— объявил он, едва они отошли от лавки.— Не уступает, подлец! А красивое, верно?

— Да.

— Вообще хочется все разбить или все купить. Верно?

Приятно было выговаривать Севе за то, что он оставил жену без подарка, но еще приятнее было почему-то без Севы. Они отделались от него под каким-то предлогом.

28

Пароходик обогнул маленький остров — сумрачный, безмолвный, обнесенный высокой стеной, точно те, кто жил на нем, навсегда условились молчать, и ничто не могло заставить их произнести хоть слово.

— Так и есть,— сказал Токарскому хозяин соседнего отеля, который учился русскому языку и попросил разрешения сопровождать туристов на фабрику стекла.— Это кладбище Венеции. Покойников везут сюда в гондолах. Это страна воспоминаний, напоминающая полотно Беллини «Души чистилища». Вы, конечно, помните эту бессмертную аллегию?

Токарский помнил «Души чистилища», но ему не нравился хозяин отеля. Это был, несомненно, шпик и даже немного похожий на того римского шпики, который снял котелок, обрадовавшись, что русские наконец уезжают. Но тот не предлагал знакомиться с ночными кабаре или отведать «наилучшего кьянти, какое не подают русским в ресторанах». Это был шпик-дурак. К хозяину соседнего отеля он не имел, конечно, ни малейшего отношения.

— Красивейшее кладбище в мире,— объяснил он.— Причем на острове имеются каналы, по которым покойников везут в гондолах к подножию храма.

Токарскому представились эти странные похороны: бесшумно скользит покрытая черным сукном погребальная гондола. Венецианка склонилась над гробом — стройная, в черном платке, как та, которая стоит, прижав руки к груди, на картине Беллини.

Фабрика была маленькая, очень старая, как и все другие на острове. Горны были похожи на русские печки.

— Остров Мурано славится,— объяснил шпик,— производством стекла приблизительно в течение двенадцати столетий.

Анечка сказала, что хозяйка — русская и все будет объяснять сама, без помощи гида. Ее зовут Нина. Она рада приезду компатриотов.

И действительно, Нина вскоре пришла — круглолицая, курносая, с кудерками. По-русски она говорила хуже, чем Анечка. Недолго послушав ее объяснения, из которых можно было только понять, что «сейчас будет тарелка», Токарский отошел в сторону и стал смотреть, как рабочий делает эту тарелку.

Багровый, с перебегающими искрами кусок стекла свисал с конца длинной трубы, которую рабочий вертел между ладонями. Он подул в трубку, и оплывающее стекло стало нерешительно превращаться в мешок. Он быстро сунул мешок в глубину раскаленного горна и снова подул. Это были движения жонглера. Меняя оттенки, мешок превращался в шар. Вытащив трубу, рабочий самыми обыкновенными ножницами подравнил шар, отрезал лохмотья. Еще одно движение, не только руками, всем телом. Шар раскрылся. Все ахнули. Не тарелка, а великолепное блюдо с рисунком набегающих разноцветных прожилок закружилось на конце трубы.

— Лариса, спросите, сколько он получает?

— Тысячу лир в день.

— Много. Это мастер?

— Да. Здесь почти все мастера. Художественная работа.

— А сколько стоит блюдо?

Блюдо стоило в двадцать раз больше.

Хозяйка жаловалась: торговля упала, песок приходится возить изда-лека, в Венеции нет такого песка.

Это был единственный за всю поездку случай, когда пригодились бы купленные в складчину еще в Москве будильники и альбомы — если бы они не пропали вместе с чемоданом Валерии Константиновны. Все говорили об этом. Осталась только модель спутника — очень безвкусная: женщина с неприятным лицом держала над головой фантастический предмет, напоминавший картофелечистку.

— Стыдно дарить,— сказала Валерия Константиновна задумчиво. Потом все-таки подарила, и мастер, только что сделавший великолепное блюдо, покраснел от радости и заговорил так быстро, что пришлось позвать Анечку, потому что никто ничего не понял.

Рабочие, громко смеясь и переговариваясь, окружили русских.

— О, русси! Спутник!

Молодая работница ходила со счастливым лицом, прижимая к груди матрешек — Токарский заметил ее еще на дворе. Когда туристы прошли в музей, он невольно искал ее глазами.

— Какая красавица! — с восхищением сказал он Валерии Константиновне.— Вот они — рыжие и красные тона Тициана.

— Просто хорошенькая. Почему она забрала себе всех наших матрешек?

— Ей отдали рабочие. Какое доброе лицо! Глаз не отвести.

— Вам нравятся добрые красавицы?

— Очень.

— Так подойдите к ней.

— Зачем?

— Ну, не знаю. Скажите, что она красавица, она будет довольна.

— А вы?

— И я.

— Тогда вместе. Идет?

Они подошли, и Токарский сказал на плохом французском, что он давно слышал о необыкновенной красоте венецианок, но лишь сегодня убедился в полной справедливости этого мнения.

Она выслушала, чуть подняв голову, с простой, но гордой осанкой. Они стояли молча, улыбаясь друг другу.

— Теперь скажите про Тициана.

— А вот и скажу.

Она слушала молча, немного покраснев, потом вдруг подняла глаза, взмахнула ресницами. И Токарский неувовимо изменился — помолодел и похорошел в полминуты. Как бы в отчаянии итальянка обернулась, ища что-то глазами, быстро сняла, почти сорвала с себя ожерелье и отдала его Валерии Константиновне.

— Что вы, бог с вами!

Это было на лестнице, все уже уходило из музея. Разговаривая знаками, по которым нетрудно было понять, что Валерия Константиновна умоляет итальянку не дарить ей ожерелье, а итальянка умоляет ее не отказываться от подарка, они спустились во двор.

— Ну, пожалуйста, возьмите! Не нужно!

Так было несколько раз — Валерия Константиновна возвращала, а итальянка, удивляясь и огорчаясь, совала ожерелье обратно. Она убежала в конце концов, пожав Валерии Константиновне обе руки.

— Что же мне делать?

Валерия Константиновна рассматривала большое золотисто-розовое ожерелье.

— Положить в сумочку, — сказал Токарский.

— Неудобно. Ведь это не мне, это как бы нам всем, всей группе. Какое огорчение!

— Уж и огорчение! Послушайте, я знаю человека, который, не задумываясь, отдал бы полгода жизни за это ожерелье.

— Кто же это?

— Вы не догадываетесь?

Он показал на Севу, который шел к пароходу, окруженный молодыми рабочими.

— Познакомьтесь, это коммунисты, — весело сказал он Токарскому. — Хорошие ребята. На днях к ним приезжал Тольятти. А вот этот, в очках, — студент. Он приехал в Мурано навестить родных. Он говорит по-русски.

Вернувшись в отель, Валерия Константиновна посоветовалась с Ларисой и другими товарищами. Ожерелье примерили все, в том числе и старушка Ольга Петровна. На другой день за завтраком оно было торжественно вручено растерявшемуся от радости Севе.

## 29

Это был последний вечер в Венеции, и Валерия Константиновна решила поехать на площадь святого Марка — не пойти, а именно поехать на пароходике по Канале Гранде. В дорогой накидке из соболей, одна, сильно накрашенная, с расстроенным лицом, Аникина сидела в вестибюле отеля. Они разговорились почти дружески и поехали вместе, хотя до сих пор едва обменялись несколькими словами.

В самой Аникиной, в том, как она держалась, в ее легко угадывающихся отношениях с мужем было что-то волновавшее Валерию Константиновну или по меньшей мере занимавшее место в ее мыслях — тех самых, которыми она, к сожалению, разучилась управлять в последнее время. И то, что ей захотелось сейчас поговорить с Аникиной, было связано с этими мыслями, с этой не оставлявшей ее ни на минуту заботой.

Прямо из гостиной отеля можно было выйти на пристаньку, у которой останавливались катера. Усталые люди, не замечавшие, что они плывут по Канале Гранде, молча сидели на скамейках, разговаривали вполголоса, дремали, курили...

Аникина говорила и говорила. Видно было, что она тяготеет пустотой, в которой невольно оказалась вместе с мужем среди товарищей по группе. Не поэтому ли она с первого слова заговорила о нем? Дмитрию Фроловичу не понравилась поездка на Капри. Вообще он считает, что все нужно было организовать совершенно иначе. Два дня в Риме — это же просто смешно! Дмитрия Фроловича прекрасно знают в Италии, и хотя он не любит публичности, шума, наше посольство, конечно же, обязано было устроить его встречу с итальянскими деятелями искусства. Это неудобно, причем по отношению к ним, а не к нему. Тем более что в Риме его ждал.

— Да? — вежливо спросила Валерия Константиновна.

И вообще Дмитрий Фролович считает, что нужны индивидуальные поездки или по крайней мере специализированные, только художники, например. Или только инженеры. У нес был опустившийся рот много плакавшей женщины, растерянной и во всяком случае не понимавшей, зачем она приехала в Италию, в Венецию.

Катер подходил к маленьким причалам то на левом берегу, то на правом. Было еще светло, но как-то влажно-светло, быть может и от нежной зеленоватой воды канала.

Они заговорили о сыновьях. Почему Игорь заходит так редко? Куда он думает пойти после школы? Петя очень способный, и даже Миллер,

который славится своей строгостью — знаете, знаменитый? — находит в нем необыкновенный талант. Но ей не хочется, чтобы Петечка был музыкантом. Это все-таки не профессия для мужчины. Вообще ей хотелось иметь девочку, потому что с мальчиками труднее — не знаешь, что сказать, как поступить. Для мальчика большое значение имеют товарищи, а знаете, какая в наше время молодежь, даже из самых приличных семей? Впрочем, Петечка как раз очень привязан к дому. Дружен ли он с отцом? Он его обожает.

Валерия Константиновна слушала ее, почти не переспрашивая и не очень удивляясь, хотя многое было непонятно ей, а больше всего то странное времяпрепровождение совершенно свободной — с утра до вечера — женщины, которое отражалось в каждом слове Аникиной и было главной чертой ее жизни. Но Валерия Константиновна откинула эту пустоту и суетность и все, что было так чуждо ей, рабочему человеку, постоянно занятому своим делом, сыном, другими людьми, требовавшими внимания и заботы. Она думала о другом: почти безошибочно она угадывала, где правда, а где ложь в том, что говорила Аникина, и снова и снова примеряла эту правду и ложь к собственной жизни. Валерия Константиновна видела всю пропасть между Аникиной и собою и понимала, что отсутствие собственной жизни Аникина бесполезно старается заменить жизнью мужа и сына. Но при всей бессмысленности ее существования она была чем-то близка Валерии Константиновне. Может быть, неуверенностью в том, что она нужна им — сыну и мужу?

Канале Гранде, странный, без набережных, проходил перед ними в таинственном свете уходящего дня. Дворцы поднимались прямо из воды, черная фантастическая позолота была рассеяна по мрамору, по кружеву камня, по узорам балконов. Валерия Константиновна вспомнила, как Игорь читал ей о том, что Венеция в течение тысячелетий убирала свои здания снаружи с такой же заботой, как в других странах это делается только внутри. «Весь город — это один сияющий в своей обветшалости, пышный и уютный дом», — читал Игорь.

...Это было трудно — поставить себя на место Аникиной, но, слушая ее, Валерия Константиновна вдруг представила себе позднее утро в богатой просторной квартире. Все работают, а она пьет кофе в халате а потом долго делает что-то у туалета с лицом. Другая, такая же, как она, звонит ей по телефону, и они обстоятельно говорят ни о чем — с том, что в Марьиной Роще вчера продавались бельгийские шарфы. Потом приходит маникюрша — снова шарфы, у такой-то аборт, в Доме архитекторов интересный капуста. И так весь день, каждый день А вечером и в самом деле капуста.

«Но она несчастна не потому, что годами ведет эту жалкую жизнь, а потому, что трепещет, что эта жизнь вдруг переломится и станет совершенно другой... Боже мой! — продолжала думать Валерия Константиновна, когда они уже шли к площади святого Марка по очень узкой улице, о которой гид говорил, что в Венеции нет более широкой. — Я счастлива в сравнении с ней».

Молодой человек из торгпредства, встретивший группу в Брюсселе, сообщил Валерии Константиновне, что ее чемодан, к сожалению, не нашлся.

— Необходимо составить опись, — сказал он, — и туристическое общество возместит пропажу.

Валерия Константиновна составила, указав какую-то мелочь, оставшуюся в Москве, — она вспомнила об этом уже в самолете. Зато она за-

была малиновый французский джемпер и модные туфли, которые она купила перед отъездом.

Бельгийские пограничники долго не знали, что делать с группой русских, свалившихся к ним на голову без единого франка. Потом все устроилось, куда-то позвонили, откуда-то прислали старенький автобус, и через час туристы ехали в город, ссорясь со старостой, который почему-то распорядился оставить вещи в таможене.

Он оправдывался: одна ночь. Да, но не так уж удобно провести ночь без пижам и ночных рубашек. А утром? Зубные щетки, бритвенные приборы — все в чемоданах. Да и вообще, черт побери, неужели вы не понимаете, что неловко являться в отель с пустыми руками? В особенности сердился Токарский, у которого за ночь должна была отрасти — и отросла — некрасивая седая щетина.

Отель был старый и очень хороший. Каждый турист впервые за всю поездку получил отдельный номер. Валерия Константиновна задумчиво бродила по просторной комнате с высокими, сложно закрывавшимися окнами, с дубовой мебелью конца XIX века. Потом постояла перед зеркалом и, сказав себе: «И не такая уж старая!» — пошла в ресторан, где ее уже ждали Токарский с Ларисой и Сева.

Откуда-то чуть слышно доносилась музыка. Почтенные, не улыбающиеся официанты двигались неторопливо, все было основательно, солидно и ничуть не похоже на Италию. Валерия Константиновна съела какую-то травку, Токарский, притворно ужаснувшись, сказал, что травка была положена для украшения и что теперь официанты долго смеются за портьерами, прежде чем войти в ресторан. Может быть! Травка оказалась кресс-салатом — об этом Валерия Константиновна узнала уже в Москве.

Лариса, которая была на брюссельской Всемирной выставке, сказала, что самое интересное место в городе — это Манекен Пис, а уже после него стоит заглянуть на Гранд-Пляс, с ее ратушей XIV века и гильдейскими домами.

Прохожие не торопились на пустеющих улицах. Одиннадцатый час — может быть, это поздно для Брюсселя? Пожилые люди в гольфах и толстых чулках пили пиво за столиками и покуривали трубки с таким видом, как будто они сидят здесь уже второе столетие. Гранд-Пляс — Большая площадь — была вовсе не большая, а маленькая, сдержанная и в то же время театрально-нарядная под мягким заслоненным светом.

— Да здравствуют гезы! — сказала Валерия Константиновна.

Токарский засмеялся.

— Кстати, это построено лет за двести до гезов.

— Все равно. Очень декоративно, правда?

— Жизнь была декоративна.

— И никто этого не замечал?

— Вот именно.

— Может быть, и наша через двести лет покажется декоративной?

— Едва ли! Нет, здесь не гезы, а совсем другое.

— То есть?

— Вообще Фландрия. Упрямство. «Не уступлю».

— А что такое «не уступлю»?

— Девиз Нидерландов.

Старуха подметала площадь.

— По утрам она лучше, — сказала Лариса. — Не старуха, конечно, а площадь.

Одно здание было освещено, играла музыка, из подкатывающих машин выходили дамы в мехах и господа в цилиндрах. У них был про винциальный вид.

— Как в старом фильме времен Мозжухина и Веры Холодной, — сказал Токарский.

По дороге к Манекену Пис они заглянули в полутемный подъезд с сидящим в глубине почтенным пожилым швейцаром. «Открыто ночью» — было написано матовыми буквами на матовой дощечке у входа. Публичный дом. Швейцар вежливо поднялся к ним навстречу. Они быстро прошли мимо. Токарский изобразил несостоявшийся разговор: «Заходите, сударь». — «Благодарю вас, в другой раз».

Только что минуло одиннадцать, а в Брюсселе была, кажется, уже поздняя ночь — так пуст был город, так сонно шурились манекены в пустых освещенных магазинах, так шумно ссорились в кафе две старые проститутки в криво надетых шляпках, страшно придвинув друг к другу голые костлявые локти.

Наконец они добрались до Манекена Пис, толстенького, кудрявого, задумчивого мальчика, глубоко погруженного в свое несложное, но приятное занятие: он стоял, откинувшись назад, расставив полные ножки.

Еще многое было в этот вечер; долго стояли перед витриной салона, в котором висел вытянутый в бесконечность Христос, распятый скульптором вторично и теперь уже без малейшей надежды на воскресение. Подошли к гостинице, раздумали ложиться спать и отправились смотреть световую рекламу, наплывающую, вспыхивающую и жалкую в сравнении с величавым звездным небом. Это тоже сказал Токарский: «Кто же еще мог сказать то, о чем я только еще успела подумать!» Теперь они были одни.

— Понравилась поездка? — спросил Токарский.

— Очень. Жаль, что еще день — и все разъедутся. Будто и не знали друг друга.

— Кроме нас.

Валерия Константиновна посмотрела на Токарского. У него было доброе, грустное лицо.

— Не нужно притворяться, что вы меня не расслышали. У вас это не выходит. Я вас люблю. Плохо только, что мне уже за пятьдесят и что у меня было слишком много женщин.

Они прошли в ее комнату.

— У вас усталый вид. Хотите полежать?

— Спасибо.

Токарский лег на диван. Валерия Константиновна устроила его: принесла подушку и покрыла одеялом.

— С кем вам будет жалко расстаться?

— С Ларисой.

— А мне с Севой, — сказал Токарский. — Я всегда думал, что человечество делится на людей, которые способны и не способны любить. Он принадлежит к первой, не слишком многочисленной группе. С его женой я встретился бы как старый знакомый. Я даже знаю, какие она носит туфли. В Венеции его поразил пояс невинности, который мужья, уезжая, надевали на жен: «Здоровенный, правда? С замком! Но гид говорил, что все равно изменяли».

Валерия Константиновна засмеялась.

— Я буду скучать без него, — сказал Токарский.

Они говорили недолго. Потом Токарский замолчал. Ровное дыхание слышалось две-три минуты. «Можно уснуть, и это ничему не мешает. Можно говорить о чем угодно. Проснись, пожалуйста, — подумала она, — и скажи, что ты пришел ко мне не потому, что я для тебя — еще одна и ничего больше». Токарский вздохнул и открыл глаза.

— Неужели уснул?

Она засмеялась.

— Спице, пожалуйста. Я тоже устала.

— Нет, позор. Еще и храпел, наверное.

— Нет.

Токарский встал и поклонился.

— Ну, хватит. Праздник кончился. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

## 31

Прямо с поезда Игорь поехал к Петьке Аникину и, не застав его, оставил записку: «Позвони. Игорь». Дома он умылся, переоделся и съел все, что было у Павлы Порфирьевны, даже старую, предназначенную для кота, рыбную котлету.

Витька Бермонт был знаком с ребятами из Московского энергетического, работавшими в Химкинском порту, и Игорь поехал к нему — на этот раз без колбасы, тем более что опыт «относительного голодания» был, по-видимому, закончен. Они встретились у проходной. Витька похудел за неделю, щеки провалились. Черная гривка теперь висела отдельно над маленьким скуластым лицом.

— Еще жив, идиот? — спросил Игорь.

— Как видишь.

— Послушай, это ты мне говорил, что ребята из МЭИ могут устроить на холодильник в Химкинский порт?

— Я.

— И действительно могут?

— Ты же собирался в Крым?

— Не поеду. Нужно подработать.

— Ладно, позвони на днях.

— Завтра.

— Хорошо. Как Петька?

— Не знаю. Играет.

Витька засмеялся.

— Надо бы встретиться.

— Конечно, надо. Ну, пока.

Вечером Витька позвонил, что ребята могут устроить, но временно, взамен одного парня, который кончил сессию и собирается домой на несколько дней.

— Значит, я буду работать за кого-то другого?

— Да. Теперь твоя фамилия будет Гурко.

— Не выйдет.

— Как хочешь. Другой возможности нет. Школьников вообще не оформляют. А студенты постоянно работают друг за друга. Кстати, окажешь парню услугу. Он не вылетит из списка.

— Ладно. Когда и куда?

— Завтра к восьми на рыбный причал, спросишь Автономова, бригадира.

— Спасибо.

— Не на чем. Заходи.

## 32

На палубе работали вчетвером: двое подавали, а двое, схватив мешок за концы, бежали к грузовику и возвращались. Грюм понемногу пустел, и тогда еще двое прыгали вниз, в сырую, пропахшую воблой глубину. Мешки смерзались, ушки, за которые нужно было хвататься,



приходилось отбивать ногой. Игорь хотел прыгнуть в трюм. Его остановили:

— Ты сегодня первый день? Обожди. Привыкнешь.

Среди студентов были ребята не выше и не сильнее его. Может быть, он слишком старался? Не прошло и двух часов, как у него заныла спина, а руки разгибались с трудом, как будто им мешали чьи-то другие, железные руки.

Его подташнивало от запаха воблы, от усталости, от голода. Он не успел позавтракать дома. К лицу прилипли чешуйки, он отирал пот рукавом.

В столовой студенты громко разговаривали, шутили. Ему казалось, что у них, как в немом кино, открываются и закрываются рты. Он не мог разговаривать. Через двадцать минут он встанет, пойдет на баржу, и снова начнется растаскивание смерзшихся мешков, хватание за ушки и подача. Теперь он стоял в первой паре, принимавшей мешки, бежавшей к грузовику и возвращавшейся обратно на баржу.

Он крепко заснул в попутной машине, развозившей воблу по магазинам, и во сне тоже принимал мешки, бежал, возвращался. У Сокола шофер разбудил его. Он спустился в метро, пропахшее воблой. Вся Москва пропахла воблой, лестница, квартира, комната Павлы Порфирьевны, накрывавшей на стол. Она о чем-то расспрашивала с беспокойством. Он отвечал, не слыша.

Пужинав, он лег, попросив старушку разбудить его в шесть утра. и — так ему показалось — сразу же стал отбиваться от нее, натягивая на голову одеяло. Уже было, оказывается, ровно шесть.

Второй день был труднее, чем первый, но и легче, потому что время от времени ему начинало казаться, что поднимает мешки не он, а кто-то другой. Он думал о деньгах. За смену платили по четыре рубля. Значит, нужно работать неделю с лишним, чтобы вернуть долг Петькиному деду. За ночные смены платили больше. Потом, когда он привыкнет, можно перейти на ночные.

«А мама в Венеции,— подумал он с нежностью.— «Узкие переулочки поражают своим глубоким немим выражением. Черная гондола, черный платок на плечах венецианки выступают здесь в строгом, почти торжественном значении векового обряда». Он шевелил губами, вспоминая. Все это было не об Италии, а о матери, которая скоро будет здесь, с ним, в Москве.

### 33

...Последние часы поездки, к обеду туристы будут в Москве. Они говорят об этом в автобусе, покидая Брюссель, мелькнувший и запомнившийся, незабываемый и мгновенно забытый. Лихая реклама на стене последнего дома «Diablement bon», атомиум, похожий на иллюстрацию к старомодному фантастическому роману о селенитах. Аэропорт. Дети

Детей было почему-то много — девочки, причесанные по-взрослому, мальчики в хороших кепах. Молодые мамы вели их или несли на руках. Мальчик с крепкими румяными щеками заревел — позавидовал сестренке, которую носильщик посадил на складной катящийся стул. Мама пристыдила его. Все засмеялись. Валерия Константиновна засмотрелась на детей и очнулась, почувствовав на себе серьезный, ласковый, внимательный взгляд.

— Прелестные, правда? — спросил Токарский.

Они стояли в очереди за паспортами.

— Да.

— Вы любите детей?

— Очень.

...Самолет еще не взлетел, а Сева уже спит, откинувшись в кресле, — человек, о котором Токарский сказал, что ему интересно все, даже спать. Он побледнел, под глазами круги, лицо с круглым носом кажется детским во сне. Он устал: нужен год, чтобы узнать и запомнить то, что он узнал и запомнил за двенадцать дней. Можно отдохнуть до Москвы. А потом? О, потом начнется работа! Он еще не был в панорамном кино. Правда ли, что в Литературном институте учат писать? На Шарикоподшипнике загазованность доведена почти до нуля. Нельзя ли воспользоваться этим устройством на нашем заводе? Сегодня вторник, в Николаеве он будет в субботу.

— Николаев? — сказала Валерия Константиновна. — Ну как же, город невест.

Интересно, понравится ли ожерелье Кате? Какая добрая та стекольщица на Мурано. Сева спит и не спит. «Здравствуй, Катя. Ты дома?» — «А где же мне быть еще?» — «Постой, да что же ты плачешь?» — «Не знаю, соскучилась».

А вечером — сонный Ингул, тонкие полоски мачт, лунная дорожка на ровном разливе другой, не венецианской лагуны.

Аникины поссорились в Брюсселе, он нарочно обменялся местами, чтобы не сидеть рядом с женой. Он читает. Тревожно поглядывая на него, она притворяется спящей. «Боже мой, что же делать? Он меня ненавидит. С каким отвращением он выкинул из чемодана какую-то мелочь, грошовую пудреницу, которую я купила в Милане. Он уложил свой чемодан отдельно, этого не было еще никогда. Неужели он уйдет от меня? Да нет же, мы ссорились и мирились тысячу раз. Даже не мирились, а просто все сглаживалось, и жизнь продолжалась. Я нужна ему, очень нужна, он привык ко мне. Он любит Петечку, он не может жить без него. Только не нужно больше ездить вместе. Ему кажется, что я мешаю ему. Ему это всегда казалось. Пускай ездит один или даже с кем-нибудь, все равно. Я старая, я ему не мешаю. Мы ссорились и мирились. Это сгладится. С аэродрома он поедет домой».

Руки встречаются, когда Токарский помогает Валерии Константиновне расстегнуть пояс на кресле. Она смотрит на его руки — сильные, с широкими ладонями, с поблескивающей, смуглой кожей пятидесятилетнего человека. Скоро Москва. Осталось только два часа до первой разлуки. «У меня счастливое лицо. Это стыдно. Я счастлива, потому что он коснулся меня. Он рядом. Неужели так будет всегда? Где и когда мы увидимся снова?»

Валерия Константиновна смотрит в окно. Косые лучи неземного кристального света упираются в серебристое, выстеленное облаками поле.

А Игорь сидит у Пети в комнате с лоджией и рисует рожи на нотной бумаге. Мефистофель, повар в колпаке, лицо старика с треугольными мешочками под глазами. Они говорят о девчонке, которая прислала Пете письмо. Игорь думает, что она вовсе не дура. Плохо только, что вчера, в воскресенье, они ездили в Измайловский парк и потеряли ее, даже не потеряли, а, заговорившись, забыли у перекидных качелей. Она обиделась. Сегодня, когда Петя позвонил, она повесила трубку. Нет, все-таки дура.

От Игоря пахнет воблой, он приехал с работы. Они болтают, курят, и Петя с обожанием смотрит на друга. Над рожами появляется подъемный кран. над краном — палуба с черными человечками, из темной глупины на палубу вылетают мешки. «Мама умоется, сядет за стол: «Ну,

как ты здесь без меня?» Над палубой появляется Дворец дождей, который, оказывается, очень удобно рисовать на нотной бумаге.

И Петя думает о том, что завтра приезжают родители. Придется встретить их, если ничего не удастся придумать.

— Ты понимаешь, я даже не могу тебе объяснить. Не могу с ними жить — вот и все. Кончу школу — и уйду! Поминай как звали!

Он садится за рояль. Он играет это «уйду», которое без музыки объяснить невозможно.

«Не хочу лгать и притворяться, — играет он. — Не хочу равнодушно смотреть, как лгут и притворяются другие. Не хочу быть таким, как отец с его талантом и славой. Никому не нужен его талант, а что это за талант, который никому не нужен? Нет, мы другие. Сейчас я буду играть, какие мы, и Игорь, который не думает, как Витька, что музыка — это организованный шум, поймет, что я играю о нем».

Нужен был день раннего лета, чтобы изобразить, какими они с Игорем будут через несколько лет, и он стал играть этот день в Ясной Поляне, где он был давным-давно, когда родители еще не поссорились с дедом.

Дед поехал в Ясную Поляну и взял его с собой. Они осмотрели дом и пошли на могилу Толстого. Но не дом и могила запомнились и поразили Петю, а яблоневый сад, который показывал им прихрамывающий седой человек. Этот сад погиб от морозов, его сплели, но несколько деревьев остались и весной вдруг дали молодые побеги. Яблони были очень старые, с грубой, узловатой корой, похожие на камни. Но над этими камнями зеленели ветки в белых цветах, упруго покачивающиеся под ветром. Солнцу, которому все равно, что освещать, в этот день было не все равно, и оно выбрало этот угол сада нарочно, чтобы он запомнился Пете. И он играл теперь чудо этих яблонь и острое чувство надежды, восхищения, которое испытывали люди, пришедшие сюда и как бы ставшие частью этого сада. Он играл блеск солнца на молодой траве, прохладу еще не согревшейся земли, качанье веток под осторожным ветром...

— Ну ладно, мне пора, — сказал Игорь, вставая. — Поедешь предков встречать?

— Да.

— На машине небось? Захвати меня. Я завтра не пойду на работу.

1962 г.



---

## АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

★

### ПИСЬМО ЗАЛОЖНИКУ

*Автора этого рассказа не нужно представлять советскому читателю. «Земля людей», «Ночной полет», «Маленький принц» хорошо известны у нас и давно уже пользуются благодарной читательской любовью. «Письмо заложнику» переводится на русский язык впервые. Читая этот короткий рассказ, надо вспомнить обстоятельства короткой жизни Антуана де Сент-Экзюпери. На третий день после гитлеровского вторжения во Францию, весной 1940 года, он — летчик по профессии — начал боевые вылеты. Когда Петэн заключил перемирие, Сент-Экзюпери вынужден был покинуть родину: через Марокко и нейтральную Португалию он уехал в США. Лишь в марте 1943 года ему удалось вернуться в строй. (Как читатели, вероятно, помнят, 31 июля 1944 года он погиб, возвращаясь из разведки над Францией.)*

*«Письмо заложнику» Антуана де Сент-Экзюпери — обращение к каждому из срока миллионов французов в дни мировой войны.*

1

**К**огда в декабре 1940 года я пересек Португалию, чтобы отправиться оттуда в Соединенные Штаты, Лиссабон возник передо мной, словно светлый и грустный рай. Там много говорили тогда о неизбежности вторжения, и Португалия цеплялась за видимость своего счастья. Превратив себя в самую очаровательную выставку, какие только бывали на земле, Лиссабон улыбался несколько вымученной улыбкой; так улыбаются матери, не получающие известий с фронта от сына и пытающиеся спасти его своей верой: «Мой сын жив, раз я улыбаюсь...» «Посмотрите, как я счастлив и спокоен, — говорил Лиссабон, — и хорошо освещен...»

Весь материк нависал над Португалией громадой гор, таящей хищную орду дикарей; праздничный Лиссабон бросал вызов Европе: «Можно ли сделать меня мишенью, я ведь так стараюсь не прятаться! Ведь я так беззащитен!..»

Города моей страны по ночам были цвета пепла. Я отвык там от света, и эта лучащаяся столица вызывала во мне смутное беспокойство. В темном предместье драгоценности ослепительной витрины привлекают ночных бродяг. Так и чувствуешь, что они рыщут вокруг. Я ощущал, что над Лиссабоном нависла ночь Европы, населенная бродячими стаями бомбардировщиков, они точно принохивались издали к этому сокровищу.

Но Португалия отворачивалась от прожорливого чудовища. Она отказывалась верить дурным предчувствиям. Португалия разговаривала об искусстве с доверием отчаяния... Осмелятся ли разорить страну, свято преданную искусству? Она раскрыла все свои сокровища. Осмелятся ли разорить страну, воплощенную в таких сокровищах? Она показывала

своих великих людей. Вместо армии, вместо пушек она выставила против железа захватчиков всех своих каменных часовых: поэтов, путешественников, конквистадоров. Все прошлое Португалии вместо армии и пушек преградило дорогу. Осмелятся ли разорить страну с таким великим прошлым?

Я печально бродил вечерами по этой выставке, где все было почти совершенно, вплоть до музыки, сдержанной, выбранной с необычайным тактом, текущей над садами тихо, ненавязчиво, подобно простому журчанию ручья. Неужели это великолепное чувство меры будет сметено с лица земли?

И Лиссабон с его улыбкой казался мне более грустным, чем мои города, погасившие огни.

Я встречал, и вы, быть может, встречали странные семьи, которые хранят место умершего за столом. Они отрицают непоправимое. Этот вызов судьбе не кажется мне утешением. Из умерших нужно делать умерших. Став умершими, они обретают новую форму присутствия. Но эти семьи не дают им возвратиться. Они делают из своих умерших вечно отсутствующих, сотрапезников, которых приходится ждать вечность. Они предпочитают трауру бесплодное ожидание. Мне такие семьи казались погруженными в постоянное недомогание, куда более гнетущее, чем горе. Я же предпочел носить траур по пилоту Гийоме, последнему другу, которого я потерял (боже мой, он был сбит, когда вел гражданский самолет). Гийоме больше не изменится. Он никогда уж не вернется, но и не исчезнет никогда. Я пожертвовал его прибором на моем столе, этой бесполезной ловушкой, я сделал из него настоящего мертвого друга.

Но Португалия пыталась верить в счастье, сохраняя его прибор на своем столе, его фонари и его музыку. В Лиссабоне играли в счастье, чтобы сам бог захотел в него поверить.

Атмосферой грусти Лиссабон был обязан и некоторым беженцам. Я не говорю об изгнанниках, ищущих убежища, об эмигрантах, что ищут землю, чтобы обрабатывать ее своим трудом. Я говорю о тех, кто бежит от бедствий родины, чтобы понадежнее сохранить свои деньги.

Не имея возможности поселиться в самом городе, я жил в Эсториле, рядом с казино. Я вышел из пекла войны: моя воздушная группа, девять месяцев подряд летавшая над Германией, только во время немецкого наступления потеряла три четверти экипажей. Возвратившись домой, я познал мрачную атмосферу рабства и угрозу голода. Я пережил непроглядную ночь наших городов. А тут, в двух шагах от моего родного дома, каждый вечер казино Эсторила наполнялось призраками. Бесшумные кадиллаки, словно ничего не случилось, выгружали их на мелкий песок у входа. Как и в прежние времена, они были одеты к обеду. Они показывали свои пластроны и свои жемчуга. Они пригласили друг друга на обед статистов, где им не о чем будет разговаривать.

Затем они играли в рулетку или в баккара — в зависимости от кошелька. Иногда я заходил посмотреть на них. Я не испытывал ни возмущения, ни желания пошеяться над ними, а только смутную тоску. Ту, что возникает в зоологическом саду перед сохранившимися животными умершего вида. Они устранивались вокруг столов. Толпились перед суровым крупье и пытались испытывать надежду, отчаяние, страх, желание или наслаждение. Как живые. Они играли на состояния, которые, быть может, в этот самый миг становились мнимыми. Использовали, быть может, уже обесцененные монеты. Ценные бумаги их сейфов были обеспечены заводами, уже, быть может, конфискованными или рушащимися под авиабомбами. Эти банкроты еще выписывали чеки. Они пытались верить, обращаясь к прошлому, в достоверность своего азарта, в действительность своих чеков, в вечность своих сделок, как будто ничего не

начало рушиться на земле несколько месяцев назад. Это было нереально. Это напоминало танец марионеток. Но это было грустно.

Нет, они ничего не переживали. Я покидал их. Выходил подышать на берег моря. И это море у Эсториля, курортное, прирученное море, тоже казалось мне участником игры. Оно катило в залив одинокую мягкую волну, переливающуюся под луной, как вышедшее из моды платье со шлейфом.

Я снова встретился с моими беглецами на пароходе. И сам этот пароход излучал какую-то тоску. Он перевозил с одного материка на другой растения, лишенные корней. Я думал: «Я очень хочу быть странником, я не хочу быть эмигрантом. Я узнал так много у себя дома, и все это будет ненужным в другом месте». Но мои прежние соотечественники вынимали из карманов адресные книжечки, обломки былой жизни. Они все еще играли в кого-нибудь. Изю всех сил они цеплялись за любую соломинку. «Вы знаете, я такой-то,— говорили они,— я из такого-то города... друг такого-то... вы его знаете?»

И они рассказывали что-нибудь о приятеле, о службе, о какой-нибудь ошибке или еще о чем-нибудь, что могло бы их связать неизвестно с чем. Но ничто из их прошлого теперь, когда они покинули родину, не могло быть им полезным. Оно было еще совсем теплым, совсем свежим, совсем живым, какими бывают на первых порах воспоминания о любви. Складывают стопкой нежные письма, прибавляют к ней еще несколько сувениров. Заботливо связывают все это. И от реликвии исходит вначале грустное очарование. Затем проходит блондинка с голубыми глазами, и реликвия умирает. Ведь и приятель тоже, и служба, и родной город, и воспоминания о доме выцветают, если больше не связаны с твоей жизнью.

Они это ощущали. Подобно тому, как Лиссабон играл в счастье, они играли в надежду на скорое возвращение. Как сладостно отсутствие блудного сына! Это мнимое отсутствие, потому что позади остается родной дом. Ты отсутствуешь, а где ты — в соседней комнате или на другой стороне планеты,— разница невелика. Присутствие друга, который, казалось бы, далеко, может быть куда более ощутимым, чем реальное присутствие. Это — как молитва. Никогда не любил я так сильно мой дом, как в Сахаре. Никогда женихи не были ближе к своим невестам, чем бретонские моряки XVI века, когда они огибали мыс Горн и старели в схватке со стеной противных ветров. С самого отплытия они начинали возвращаться. Это возвращение готовили их тяжелые и крепкие руки, поднимая паруса. Самая короткая дорога от бретонского порта до дома невесты проходила через мыс Горн. А мои эмигранты были точно бретонские моряки, у которых похитили их бретонских невест. Ни одна невеста не зажигала в Бретани для них робкий огонек в своем окне. Они вовсе не были блудными сыновьями. Она были блудными сыновьями без дома, в который можно возвратиться. Вот тут и начинается подлинное путешествие, путешествие во внешнем мире.

Как себя возродить? Как перемотать в себе тяжелый клубок воспоминаний? Этот призрачный корабль, как преддверие рая, был нагружен еще не рожденными душами. Реальными — такими реальными, что до них хотелось дотронуться, — казались лишь те, кто был связан с кораблем и облагорожен настоящими обязанностями: они разносили блюда, драили медь, чистили обувь и обслуживали мертвецов с оттенком пренебрежения.

Легкое презрение членов экипажа к эмигрантам объяснялось совсем не их бедностью. Не денег им не хватало, а вещественности. Они уже не были людьми из такого-то дома, друзьями такого-то, служащими там-то. Они еще играли прежнюю роль, но это уже не было правдой. Никто не нуждался в них, никому не приходило в голову воззвать к

ним. Какое чудо телеграмма, которая будит вас, заставляет подняться посреди ночи, гонит вас на вокзал: «Приезжай! Ты мне нужен!» Мы быстро становимся друзьями тех, кто нам помогает. Мы медленно добиваемся дружбы тех, кто нуждается в нашей помощи. Конечно, ни у кого не было ни зависти к моим призракам, ни ненависти, никто им не досаждал. Но никто не любил их единственной любовью, которая идет в счет. Я думал: «Как только они придут, их встретят приветствиями, соболезнованиями, коктейлями, обедами. Но кто будет ломиться к ним в дверь, требуя, чтоб его впустили: «Открой! Это я!» Нужно долго кормить ребенка грудью, прежде чем он научится просить грудь. Нужно долго вырачивать друга, прежде чем он потребует свою долю дружбы. Нужно нескольким поколениям разоряться на ремонт старого замка, который грозит рухнуть, чтобы научиться его любить».

## II

Итак, я думал: «Главное, чтобы где-нибудь сохранялось то, чем человек жил прежде. И обычаи. И семейный праздник. И дом воспоминаний. Главное — жить для возвращения». И я чувствовал, что самой моей сути угрожает хрупкость далеких полюсов, от которых я завишу. Перед опасностью оказаться в настоящей пустыне я начинал понимать тайну, долго занимавшую меня.

Я прожил три года в Сахаре. И я вслед за многими другими размышлял о ее магии. Каждый, кто познал жизнь в пустыне, где нет как будто ничего, кроме одиночества и лишений, все же оплакивает те времена как прекраснейшие годы жизни. Слова «тоска по пескам», «тоска по одиночеству», «тоска по просторам» — избитые выражения; они ничего не объясняют. И вот на борту парохода, до отказа набитого пассажирами, мне впервые показалось, что я понимаю пустыню.

Конечно, Сахара — это бескрайние однообразные пески, точнее каменная равнина, так как дюны там редки. Там погружаешься в неизменную обстановку скуки. И все же невидимые божества возводят там сеть направлений, склонов и ветх — тайную и живую мускулатуру. Нет больше однообразия. Все обретает свой собственный смысл. Даже у безмолвия появляются оттенки.

Есть безмолвие мира, когда племена не враждуют, когда вечер вновь приносит прохладу и кажется, будто стоишь, свернув паруса, в тихой гавани. Есть безмолвие полудня, когда солнце осанавливает мысли и движения. Обманчивое безмолвие, когда стихает северный ветер и появление насекомых, унесенных из внутренних оазисов подобно цветочной пыльце, предвещает песчаную бурю с востока. Есть безмолвие заговора, когда знаешь о брожении в далеком племени. Безмолвие тайны, когда между арабами начинаются необъяснимые переговоры. Напряженное безмолвие, когда посланец запаздывает с возвращением. Острое безмолвие, когда по ночам прислушиваешься, затаив дыхание. Грустное безмолвие, когда вспоминаешь о тех, кого любишь.

Все обретает полюсы. Каждая звезда указывает истинное направление. Все они — звезды волхвов. И каждая служит собственному богу. Эта указывает путь к далекому источнику, до которого трудно добраться. И пространство, отделяющее вас от источника, встает непреступной стеной. Та указывает путь к иссякшему источнику. И сама звезда кажется сухой. А пространство, отделяющее вас от высохшего источника, лишено ориентиров. Еще одна звезда служит проводником к неизвестному оазису, который вам нахваливали кочевники, но он лежит в непокорных районах. И пески, отделяющие вас от оазиса, — это лужайка из волшебной сказки. Еще одна звезда может привести к белому южному

городу, сочному, как плод, в который хочется впитаться зубами. Еще одна — к морю.

Наконец почти призрачные полюсы из дальнего далека создают магнитное поле этой пустыни: дом детства, всегда живой в воспоминаниях. Друг, о котором ничего не знаешь, кроме того, что он есть.

Силовое поле притягивает вас или отталкивает, проникает в вас или сопротивляется вам, и оно сообщает вам напряжение и жизнь. Теперь ваше положение прочно, крепко и определенно, вы в самом центре главных направлений.

И так как пустыня не предлагает никаких осязаемых богатств, так как в ней нельзя ничего ни увидеть, ни услышать, а внутренняя жизнь не только не погружается в сон, но даже становится богаче, убеждаешься в том, что человека одушевляют прежде всего незримые побуждения. Человеком правит Дух. В пустыне я стою того, во что верю.

И если на борту этого грустного корабля я чувствовал, что богат еще плодотворными связями, если я жил на еще не умершей планете, то лишь благодаря нескольким друзьям, затерянным в ночи Франции. Все теперь зависело от них.

Нет, Франция вовсе не была для меня ни абстрактной богиней, ни историческим понятием. Это была живая плоть, от которой я зависел, сплетение связей, которые мной управляли, система полюсов, определявшая направление сил в моем сердце. Мне было необходимо чувствовать, что те, на кого я мог ориентироваться, крепче, надежнее меня самого. Чтобы знать, куда возвратиться. Чтобы существовать.

В них моя страна вмещалась целиком и ими жила во мне. Так для плывущего по морю материк сводится к обычным вспышкам маяков. Их свет не измеряет расстояния. Он просто живет в глазах, только и всего. Но все сокровища материка заключены в этой звезде.

И вот теперь, когда оккупированная Франция целиком погрузилась в безмолвие, подобно кораблю с погашенными огнями, о котором не знаешь, уцелел ли он среди опасностей моря, участь тех, кого я люблю, беспокоит меня сильнее, чем болезнь, поселившаяся во мне. Моей сути угрожает хрупкость их существования.

Тому, кто в эту ночь тревожит мою память, пятьдесят лет. Он болен. И он еврей. Как переживет он немецкий террор? Чтобы представить себе, что он еще дышит, я должен надеяться, что он спрятался от захватчиков, что он защищен и укрыт славной крепостью молчания крестьян его деревни. Тогда только я думаю, что он еще жив. Тогда только, когда я брожу по стране его дружбы, не имеющей границ, мне дано чувствовать себя не эмигрантом, а странником. Ведь пустыня совсем не там, где думают. Сахара живет любой столицы, и самый населенный город превращается в пустыню, если основные полюсы жизни размагничены.

### III

Как же все-таки жизнь создает то силовое поле, в котором мы живем? Откуда берется притяжение, влекущее меня к дому этого друга? Каковы же решающие мгновения, которые сделали его присутствие одним из необходимых мне полюсов? Из каких тайных событий лепятся личные привязанности и через них — любовь к стране?

Как неприметны настоящие чудеса! Как просты главные события! О мгновении, которое я хочу передать, можно сказать так мало, что мне нужно заново пережить его в памяти и говорить о нем с моим другом.

Это было перед войной, на берегу Соны, близ Турнюса. Мы зашли позавтракать в кабачок, дощатый балкон которого нависал над рекой. Устроившись за простым столом, исцарапанным ножами посетителей, мы



заказали два перно. Твой врач запретил тебе пить, но ты плутовал в торжественных случаях. Это был один из них. Мы не знали почему, но все же это было так. То, что нас радовало, было менее ошутимо, чем луч света. И ты решился на это перно. А так как в нескольких шагах от нас два матроса разгружали шаланду, мы пригласили матросов. Мы кликнули их сверху, с балкона, и они пришли. Они пришли запросто. А нам казалось вполне естественным пригласить матросов, наверное из-за этого праздника внутри нас. Было так ясно, что они откликнутся на наш зов. И мы выпили!

Солнце излучало доброгу. Его теплый мед омывал тополя на другом берегу и долину до самого горизонта. Нам становилось все веселее, непонятно отчего. Солнце обещало хорошо светить, река — течь, завтрак — быть завтраком, матросы — откликнуться на наш зов, служанка — прислуживать нам с такой счастливой готовностью, словно она возглавляла вечный праздник. Мы были полны покоем, нас защишала от хаоса завершенность цивилизации. Так хорошо бывает людям только тогда, когда все желания удовлетворены и совесть спокойна. Мы чувствовали себя чистыми, честными, просветленными и снисходительными. Мы не могли бы сказать, какая истина открылась нам во всей своей очевидности. Но чувство, преобладавшее в нас, было чувством достоверности. И мы чуть ли не гордились тем, что испытываем его.

Так вселенная утверждала через нас свою добрую волю. Сгущение туманностей, уплотнение планет, возникновение первых амёб, гигантская работа жизни, которая привела от амёбы к человеку, — все счастливо слилось вместе, чтобы завершиться в нас этой радостью! Не так уж плохо это вышло!

Так наслаждались мы в молчании этим единством, этим почти что священным обрядом.

Убаюканные движениями нашей священной прислужницы, мы пили с матросами как дети единой веры, хотя мы и не смогли бы назвать ее. Один из матросов был голландец, другой — немец. Он когда-то бежал от нацизма, преследуемый за то, что был коммунистом, или троцкистом, или католиком, или евреем. (Я уже не могу вспомнить ярлычок, послуживший предлогом для травли.) Но в тот миг матрос был совсем не ярлычком. В счег шло только содержимое. Человеческое тесто. Он был просто друг. И мы были согласны друг с другом. Ты был согласен. Я был согласен. Матросы и служанка были согласны. На чем мы сошлись? На перно? На понимании жизни? На прелести дня? Мы и этого не знали, тем более не смогл бы выразить. Но согласие было таким полным, таким обоснованным в глубине, оно покоилось на вере, такой ясной по сути, хотя и невыразимой словами, что мы охотно согласились бы укрепить наш кабачок, выдержать в нем осаду и умереть, не выпуская оружия из рук, чтобы спасти эту суть.

Какую суть? Тут-то и начинаются трудности! Я боюсь, что слова не достигнут лишь отражение, а не сущность. Беспомощные, они упустят истину. Поймут ли меня, если я скажу, что мы стали бы сражаться ради спасения улыбки матросов, и твоей улыбки, и моей, и улыбки служанки, и особенного чуда этого солнца, которое столько миллионов лет подряд не жалеет трудов, чтобы воплотиться через нас в этой довольно удачной улыбке? Главное — чаще всего невесомо. Здесь оно как будто было лишь в улыбке. Главное часто бывает в улыбке. Улыбка вознаграждает. Улыбка благодарит. Улыбка вдохновляет. И бывает такая улыбка, ради спасения которой идешь на смерть. И так как эта улыбка освобождала нас от тревог времени, дарила нам уверенность, надежду, душевный мир, я должен сегодня, чтобы меня лучше поняли, рассказать также историю другой улыбки.

## IV

Это случилось, когда я был корреспондентом во время гражданской войны в Испании. Я имел неосторожность пробраться тайком около трех часов ночи на товарную станцию, где шла погрузка военного снаряжения. Бегодня грузчиков и полумрак, казалось, благоприятствовали моему бесцеремонному вторжению. Но я показался подозрительным патрулю анархистов.

Произошло все очень просто. Я еще и не подозревал об их гибком и молчаливом приближении, а они уже охватывали меня потихоньку, как пальцы невидимой руки. Ствол карабина слегка коснулся моего живота, и молчание показалось мне многозначительным. Пришлось поднять руки.

Я заметил, что они рассматривают не лицо мое, а галстук (вкусы анархистского предмета не признавали этого предмета искусства). Мое тело сжалось. Я ждал выстрела. То была пора мгновенных расправ. Но выстрела не последовало. Прошло несколько секунд полной пустоты — мне казалось, что грузчики не работают, а танцуют в другой вселенной какой-то призрачный балет, — и анархисты коротким кивком приказали мне идти впереди них.

Мы пошли не спеша через сортировочные пути. Меня схватили в полном молчании и с удивительной экономностью в движениях, будто все это происходило в рыбьем царстве.

Вскоре меня привели в подвал, превращенный в сторожевой пост. Там в тусклом свете керосиновой лампы дремали другие анархисты, зажав карабины между коленями. Они обменялись несколькими вялыми словами с теми, кто меня задержал. Один из них обыскал меня.

Я говорю по-испански, но не знаю каталонского. Все же я понял, что от меня требуют документы. Я забыл их в отеле. Я ответил: «Отель... журналист...», не зная, понимают ли меня. Анархисты передавали из рук в руки мой фотоаппарат — вещественное доказательство. Кое-кто из тех, кто зевал на своих табуретках, поднялся с выражением скуки и приклонился к стене.

Да, здесь преобладала скука. Скука и сон. Способность к вниманию у этих людей, казалось мне, была исчерпана до дна. Хотя бы какое-нибудь проявление враждебности — это все же признак человеческого общения. Но они не удостаивали меня ни гневом, ни даже осуждением. Несколько раз я пытался протестовать по-испански. Мои слова падали в пустоту. Они разглядывали меня так же безучастно, как если бы я был золотой рыбкой в аквариуме. Они ждали. Чего? Возвращения одного из своих? Рассвета? Я подумал: «Может быть, они ждут, пока проголодаются».

Я подумал еще: «Они могут сделать глупость. Это же нелепо!» Как ни сильна была моя тревога, отвращение к нелепости было во мне сильнее. Я думал: «Если они оттают и захотят действовать, они меня расстреляют!»

Был ли я в самом деле в опасности? Поняли ли они, что я не вредитель, не шпион, а журналист? Что мои документы в отеле? Приняли ли они решение? Какое?

Я не знал о них ничего, кроме того, что они расстреливают без особых угрызений совести. Авангардисты, к какой бы партии они ни принадлежали, охотятся не на людей (человек как таковой их не интересует), а на симптомы. Инакомыслие кажется им эпидемической болезнью. Подозрительный симптом — и заразного больного отправляют в инфекционный барак. На кладбище. Вот почему мне казался зловещим этот допрос; короткие слова время от времени ударяли меня, и я напрасно силился понять их смысл. Слепая рулетка играла моей судьбой. И я испытывал странное желание крикнуть им что-нибудь о себе, о моих реальных приметах, чтобы хоть самому почувствовать себя живым.

О своем возрасте хотя бы! Ведь это удивительно — возраст человека. Тут вся его жизнь. Как медленно образуется зрелость! Она вырастает из стольких преодоленных препятствий, перенесенных болезней, утихшего горя, подавленного отчаяния, из пережитых опасностей, о которых уж почти не помнишь. Она вбирает в себя так много желаний, надежд, сожалений, забвений, привязанностей. Возраст человека — это прекрасный груз опыта и воспоминаний. Вопреки ловушкам, толчкам, выбоинам, продвигаешься потихоньку, ни шатко ни валко, подобно доброму возу. И вот к чему ты пришел благодаря счастливому стечению обстоятельств. Тебе тридцать семь лет. А добрый воз с божьей помощью потянет и дальше свой груз воспоминаний. И я думал: «Так вот где я. Мне тридцать семь лет...» Я хотел было смутить моих судей этим признанием, но... они меня больше не допрашивали.

Вот тогда-то и случилось чудо. О, чудо очень скромное! У меня не было сигарет. Один из моих тюремщиков курил, и я знаком попросил дать мне сигарету, слегка улыбнувшись при этом. Человек потянулся, провел медленно ладонью по лицу, поднял глаза уже не на галстук, а на мое лицо и, к великому моему изумлению, тоже чуть улыбнулся. Это было как рассвет.

Это чудо не стало развязкой драмы, оно просто стерло ее, как свет стирает тень. Никакой драмы уже не было. Внешне ничего не изменилось. Скверная керосиновая лампа, стол с ворохом бумаг, люди у стены, цвет предметов, запах — все осталось. Но каждая вещь изменилась в самой своей сути. Эта улыбка меня освободила. Это был такой же окончательный и очевидный по ближайшим последствиям знак, такой же необратимый, как восход солнца. Он открывал новую эру. Ничто не изменилось, все изменилось. Ожил стол с ворохом бумаг. Ожила керосиновая лампа. Стали живыми стены. Даже скука, источаемая мертвыми предметами в этом склепе, растворилась словно по волшебству. Как будто невидимая кровь начала пульсировать, связывая все органы в единое тело, возвращая смысл всему.

Никто не шевельнулся, но если секунду назад эти люди были отдалены от меня больше, чем допотопные твари, теперь они возрождались к новой, близкой мне жизни. С необычной силой я испытывал ощущение их присутствия на земле. Вот именно: присутствия. И я чувствовал наше родство.

Паренек, улыбнувшийся мне, всего секунду назад был только рычагом, орудием, чудовищным насекомым — и вот он уже стал совсем другим: немного застенчивым, почти робким, и какая это была чудесная робость! А ведь он был не менее грубым, чем другие. Этот террорист! Но пробуждение в нем человека так ясно осветило его уязвимость! Мы, люди, часто напускаем на себя важность, но каждый из нас знаком в глубине сердца с колебаниями, с сомнением, с горем...

Ничего еще не было сказано. Однако все было решено. Когда анархист протянул мне сигарету, я положил в знак благодарности руку ему на плечо. И раз уж лед был сломан, другие анархисты тоже вновь становились людьми, и я входил в их улыбки, как в новую и свободную страну.

Я входил в их улыбки, как некогда — в улыбки наших спасителей в Сахаре. Обнаружив нас после нескольких дней поисков, товарищи приземлились поблизости от нас и шли к нам большими шагами, протягивая на ходу бачки с водой, чтобы мы их лучше видели. Об улыбке спасителей, если я терпел бедствие, об улыбке спасенных, если я был спасителем, я вспоминаю, как о родине, где я был так счастлив. Быть гостем — вот в чем истинная радость. Спасая человека, даешь ему случай испытать эту радость. И вода обладает магической силой, лишь когда она — подарок от души.

Забота о больном, кров, предложенный изгнаннику, даже прощение,

которое даруешь, ценны только благодаря улыбке, озаряющей праздник. Мы сходимся в улыбке над языками, кастами, партиями. Пусть у нас разные обычаи, но все мы — дети единой веры.

## V

Разве эта особенная радость не самый драгоценный плод нашей цивилизации? Ведь и тоталитарная тирания могла бы удовлетворить наши материальные нужды. Но мы — не стадо, поставленное на откорм. Благополучие и комфорт не могут удовлетворить нас полностью. Для нас, воспитанных в культе уважения к человеку, много значат простые встречи, оборачивающиеся иногда чудесными праздниками...

Уважение к человеку! Уважение к человеку!.. Вот пробный камень. Ведь нацист, уважающий только себе подобных, на деле почитает лишь себя самого. Он отбрасывает творческие противоречия, убивает всякую надежду достигнуть вершин и на тысячу лет вперед заменяет человека роботом в муравейнике. Порядок ради порядка оскопляет человека, лишая его самой сути его могущества — способности изменять мир и самого себя. Жизнь творит порядок, но порядок бессилён сотворить жизнь.

Нам же, напротив, кажется, что наше восхождение не закончено, что правда завтрашнего дня вырастает из вчерашних заблуждений и что преодоление противоречий — это почва для нашего роста. Мы признаем своим и тех, кто не похож на нас. Но какое странное родство! Оно основано на будущем, не на прошлом. На цели, не на происхождении. Все мы друг для друга странники, разными путями, в трудах, идущие к далекой встрече.

Но сегодня уважение к человеку — условие нашего восхождения — в опасности. Современный мир трещит по всем швам, погружая нас во мрак. Проблемы не ясны. Решения противоречивы. Вчерашняя правда умерла, завтрашнюю еще предстоит создать. Достойного синтеза пока не видно, и каждый из нас обладает лишь долей истины. Политические религии, не способные привлечь души людей, прибегают к насилию. В спорах о путях мы рискуем забыть, что наши труды направлены к общей цели.

Тот, кто взбирается на гору, ориентируясь по звезде, может забыть, какая звезда ведет его, если его поглотят трудности восхождения. Если он действует только для того, чтобы действовать, он никуда не придет. Женщина, слишком рьяно собирающая плату за стулья в соборе, может забыть, что она служит богу. Если я замкнулся в сектантской одержимости, я рискую забыть, что политика лишена смысла, когда она не служит истине духа. В часы чуда мы испытали особую радость человеческого общения — в этом наша истина.

Даже при самой настоятельной необходимости действовать мы не смеем забывать о призвании, вдохновляющем действие, иначе оно окажется бесплодным. Мы хотим основать уважение к человеку. Зачем нам ненавидеть друг друга, нам, живущим внутри одного лагеря? Кто из нас может сказать, что только его намерения чисты? Я могу оспаривать во имя моего пути правильность путей, избранного другим. Я могу критиковать выкладки его разума, ибо выкладки разума недостоверны. Но я обязан уважать духовную природу человека, если он пробивает дорогу к той же звезде.

Уважение к Человеку! Уважение к Человеку!.. Если уважение к человеку заложено в сердцах людей, они смогут создать наконец социальную, политическую или экономическую систему, которая освятит это уважение. Цивилизация заложена уже в самой человеческой субстанции. Сначала в человеке она — только слепое желание какого-то тепла. И лишь затем, идя от заблуждения к заблуждению, человек находит путь, ведущий к огню.

## VI

Поэтому-то, друг мой, мне так нужна твоя дружба. Я жажду товарища, который, поднявшись над распрями разума, уважает во мне странника, идущего к этому огню. Мне порой так нужно заранее ощутить обетованную теплоту и мысленно отдохнуть, уйдя от себя самого к нашей будущей встрече.

Я так устал от споров, от исключительных законов, от фанатизма! К тебе я могу войти без униформы, без цитат из моего корана, не отрекаясь ни от чего, что составляет мою внутреннюю родину. Рядом с тобой мне не нужно оправдываться, защищаться, доказывать: я обретаю мир, как в Турнюсе. За моими неловкими словами, за рассуждениями, в которых я могу ошибаться, ты видишь во мне просто Человека. Ты уважаешь во мне посланца моих собственных верований, обычаев, привязанностей. И тем, в чем я отличаюсь от тебя, я не посягаю на тебя. — я тебя обогащаю. Ты расспрашиваешь меня, как расспрашивают странника.

Как и любой человек, я хочу, чтобы меня признали. Я чувствую себя чистым в тебе, и я иду к тебе. Мне нужно идти туда, где я чист. Ведь ты знаешь меня не по рассуждениям, не по поступкам. Приняв меня таким, каков я есть, ты, если понадобится, простишь мне и рассуждения мои и поступки. Я признателен тебе за то, что ты принимаешь меня таким, каков я есть. Зачем мне друг, если он меня судит? Приглашая друга к моему столу, я прошу его сесть, если он хромает, и не заставляю его танцевать.

Друг мой, ты нужен мне как вершина, где можно свободно вздохнуть! Мне снова нужно посидеть рядом с тобой на берегу Соны, за столом в маленьком кабачке с расшатанным дощатым полом и пригласить туда двух матросов, с которыми мы выпьем вместе в мире улыбки, подобной дню.

И раз я еще сражаюсь, я буду сражаться и за тебя. Ты нужен мне, чтобы крепче верить в пришествие этой улыбки. Мне нужно помочь тебе жить. Я вижу тебя таким слабым, таким беззащитным в твои пятьдесят лет, вижу, как ты часами стоишь в очереди у бедной лавчонки, чтобы прожить еще один день, вижу, как ты дрожишь от холода в своем поношенном пальто. Я чувствую, что ты, истый француз, сейчас вдвойне под угрозой смерти: как француз и как еврей. Я чувствую всю цену единения, ради которого не нужно спорить. Ведь все мы — от Франции, как ветви дерева, и я буду служить твоей истине, как ты служил бы моей. В этой войне мы, французы вне Франции, должны растопить снег, которым немецкое нашествие занесло будущие всходы. Должны помочь вам, оставшимся там. Должны освободить вас на земле, в которой ваши корни, где вы имеете исконное право расти. Вы — сорок миллионов заложников. Новые истины всегда возникают в катакомбах: сорок миллионов заложников обдумывают там свою новую истину. Мы заранее принимаем ее.

Потому что вы научите нас. Не наше дело — нести духовное пламя тем, кто питает его собственной жизнью, как воском. Может быть, вы не прочтете наших книг. Может быть, вы не станете слушать наши речи. Может быть, вас стошнит от наших идей. Мы не основываем Францию. Мы можем только служить ей. Что бы мы ни совершили, мы не заслуживаем признательности. Нет общей меры для открытого боя и гнетущей духоты ночи. Нет общей меры для ремесла солдата и ремесла заложника. Вы — святые.

*Перевел с французского Р. Грачев.*



# ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. БЕЛЯЕВ, В. ТАНДИТ

★

## БРАТСКОЕ СОДРУЖЕСТВО СТРАН СОЦИАЛИЗМА

Стало традицией, что руководители стран социалистического содружества собираются и вместе обсуждают насущные вопросы своего экономического развития. Серьезный, деловой разговор о дальнейшем укреплении единства и сотрудничества стран мировой социалистической системы вели руководители государств — участников Совета Экономической Взаимопомощи и на своей последней встрече в Москве летом нынешнего года. Это совещание, еще более расширив экономические связи, послужило новым шагом к наиболее эффективному использованию преимуществ, заложенных в единстве стран социалистического лагеря. И в этом вновь проявилась наша сила — сила коллектива социалистических стран.

Европе трестов и НАТО, Европе, где под знаменем «ликвидации национального эгоизма» происходит неприкрытая эксплуатация слабого сильным, мы противопоставляем нерушимое единство и сплоченность социалистического лагеря; «...наши страны, — говорил Н. С. Хрушев, — превратились теперь в такую могучую силу, что никакой «общий рынок» не представляет для нас опасности».

Однако буржуазная пропаганда пыталась представить Московское совещание как проявление нашей слабости — как боязнь угрозы со стороны капиталистической «интеграции». Страницы газет запестрели заголовками: «Испуг в Москве в связи с общим рынком», «Проблема общего рынка — главный предмет обсуждения на переговорах красного блока», «Расширение процветающего общего рынка — опасность № 1 для коммунистов» и т. д. На Западе пытаются убедить, что главный повод нашего беспокойства — «неудачная конкуренция между «согласованной экономикой» (так «Франс пресс» величает капитализм. — Ю. Б. и В. Т.) и советским планированием». И, конечно, не в пользу последнего, а в пользу идола капиталистического мира — «малой Европы»<sup>1</sup>, которую расхваливают на все лады на всех мировых перекрестках.

Но давайте разберемся — кто же в действительности испугался: «согласованная экономика» или «советское планирование»?

Мистер Николас Кэрролл, выступивший в «Санди таймс» с обозрением под грозным заголовком «Испуг в Москве», да и выступления других западных «знакоков коммунистической экономики», естественно, вызвали у нас, советских экономистов, желание показать истинное положение вещей, приводя цифры и факты, которых у них нет и которые им не по вкусу, хотя эти данные не так уж трудно найти даже в газетах, откуда черпают свою информацию западные журналисты, не говоря уже о солидных статистических сборниках, анализом которых им заниматься некогда.

<sup>1</sup> «Малой Европой», или же «Общим рынком», называют Европейское экономическое сообщество, в котором состоят шесть капиталистических государств — ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

### РАВНОПРАВИЕ ПО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ

На Западе обычно утверждают, что отношения между «свободными», то бишь капиталистическими, странами строятся на принципах полного равноправия, уважения суверенитета и национальных интересов, взаимной выгоды. На деле же происходит совсем иное. Засилье монополий и фактическое подчинение им государственного аппарата империалистических держав приводит к дискриминации и ущемлению прав одних государств другими, особенно в международных экономических организациях. Так, 138-я статья Римского договора об учреждении Европейского экономического сообщества (ЕЭС)<sup>1</sup> определяет соотношение представителей стран в Ассамблее Сообщества явно в ущерб малым странам. «Старшие» партнеры — ФРГ, Франция, Италия — имеют по тридцать шесть представителей, «младшие» — Бельгия и Нидерланды — по четырнадцать, а Люксембург — только шесть. В другом важном органе ЕЭС — Совете — при принятии решений, требующих квалифицированного большинства, ФРГ, Франция и Италия имеют по четыре голоса, Бельгия и Нидерланды по два голоса, а Люксембург один голос. Ясно, что при таком порядке голосования маленький Люксембург никак не может влиять на решения главных органов ЕЭС и зачастую вынужден поступаться своими интересами. Вот во что в действительности оборачивается «капиталистическая интеграция»! И юридически, и особенно практически, капиталистическое равенство и в этой межгосударственной экономической организации — все та же фальшивая монета, которой обычно пользуются буржуазные демагоги.

В Европейском экономическом сообществе положение участников определяется только по их силе, по капиталу. Федеративная Республика Германии, вскормленная с помощью американских монополий, — самый мощный участник ЕЭС. По своему экономическому потенциалу она уже фактически достигла потенциала остальных пяти стран «шестерки», вместе взятых. Германские монополии рвутся к более широкому экономическому наступлению, они хотят быть не только экономическим, но и политическим хозяином «общего рынка».

Франция и другие члены Сообщества не в силах конкурировать с монополиями ФРГ. Ведь по сути дела это они заставили Францию провести в конце 1958 года девальвацию франка, это они, пользуясь равными правами в торговле с заморскими странами, вытесняют Францию с ее колониальных рынков. Клятвенные заверения Аденауэра в дружбе и полном согласии с Францией не помешали ФРГ по существу аннексировать у Франции Саар — область, дающую в два раза больше промышленной продукции, чем Люксембург.

Еще до формального учреждения Европейского экономического сообщества западногерманские монополии ловко воспользовались в своих интересах одним из институтов «малой Европы» — Европейским объединением угля и стали (ЕОУС)<sup>2</sup>. Сейчас ФРГ производит стали в два раза больше, чем Франция, тогда как до создания ЕОУС производство стали в ФРГ было ограничено Международной организацией Рура<sup>3</sup> одиннадцатью с половиной миллионами тонн. Через это же Европейское объединение угля и стали крестные отцы Гитлера — рурские магнаты вроде Тиссена — расправляются с угольной промышленностью Бельгии. Одной рукой они закрывают шахты ее Южного бассейна, а другой навязывают Бельгии немалую толику своего угля. За 1959—1961 годы там были закрыты шахты мощностью около семи миллионов тонн в год. Несмотря на значительные запасы угля на складах, Бельгия ввезла в 1961 году более четырех миллионов тонн угля, причем треть из них из ФРГ. Сорвав на этой сделке солидный куш, угольные короли Рура меньше всего заботились о судьбе бельгийских горняков, а ведь только в 1960 году в Бельгии потеряли работу восемнадцать тысяч шахтеров.

В Италии ни промышленный бум, ни пребывание в ЕЭС не решили одной из самых

<sup>1</sup> Европейское экономическое сообщество официально было учреждено в 1957 году.

<sup>2</sup> Создано в 1950 году согласно пресловутому «Плану Шумана».

<sup>3</sup> Создана в 1949 году США, Великобританией, Францией и государствами Бенилюкса для контроля за распределением рурского угля, кокса и стали внутри и вне Западной Германии.

острых проблем экономики страны — развития экономически отсталых южных районов. До сих пор здесь остаются неиспользованными огромные природные богатства, а сельское хозяйство находится в упадочном состоянии. Когда же страны «общего рынка» начнут проводить «единую сельскохозяйственную политику» и границы их откроются для беспощадного ввоза сельскохозяйственных продуктов, положение крестьян Южной Италии станет совсем катастрофическим. Дешевая французская пшеница сгонит с насиженных мест не один десяток тысяч крестьянских семей. Так «общий рынок» приведет к еще большему обострению старой болезни Италии — массовому бегству с юга.

ЕЭС — этот капиталистический сверхтрест Западной Европы — не щадит слабых. Он заставляет даже экс-владычицу мира Великобританию топтаться у своей двери, требует у нее солидного вступительного взноса. «Либо распроситесь с Британским содружеством, либо откажитесь от Европы» — такова альтернатива, которая стоит теперь перед Англией.

«Интегрированная» Европа пытается прибрать к своим рукам страны и континенты, сбросившие иго колониализма и вкушившие первые плоды свободы. Монополисты с Рейна и Рура считают, что индивидуальных усилий финансовых олигархий Франции, Бельгии и Голландии явно недостаточно для ограбления слаборазвитых стран Азии, Африки и Латинской Америки. Колониализм «модернизируется», становится коллективным, обновляет методы, с помощью которых национальные богатства, созданные руками черного и желтого человека, превращаются в золотые слитки в сейфах европейских банков.

Апологеты «общего рынка» имеют пока основания похвастаться — их «методы» приносят им ныне выгоду! За последние пять лет торговая политика ЕЭС нанесла ущерб одним только кофепроизводящим странам Латинской Америки, Азии и Африки на сумму десять миллиардов долларов!

### СЭВ — ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА И БРАТСКАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ

Совсем по-другому развиваются отношения между странами внутри социалистического лагеря. Здесь нет ни «старших», ни «младших» партнеров. Социально-экономическая и политическая общность социалистических стран, их единая великая цель — коммунизм — создают объективную основу для прочных и дружественных межгосударственных отношений. Форма проявления этих новых международных отношений, подлинно равноправных, основанных на взаимной товарищеской поддержке, — созданная тринадцать лет назад межправительственная организация социалистических стран, широко известная под названием Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Эта международная организация объединяет и координирует хозяйственные усилия стран-участниц, содействует ускорению их экономического и технического прогресса и подъема благосостояния народов. Верные принципам пролетарского интернационализма, правительства стран — членов СЭВ торжественно провозгласили свою решимость «развивать всестороннее экономическое сотрудничество на основе последовательного осуществления международного социалистического разделения труда в интересах построения социализма и коммунизма в их странах и обеспечения устойчивого мира во всем мире».

В Совете Экономической Взаимопомощи все участники равны, независимо от размеров их территории, численности населения, уровня экономического развития. Пункт 2-й статьи 1-й Устава СЭВ говорит, что эта организация «основана на началах суверенного равенства всех членов Совета». Здесь свято уважаются суверенитет и национальные интересы каждого народа, действуют принципы взаимной выгоды и братской взаимопомощи.

В хорошее старое слово «взаимопомощь» социализм вложил новое содержание и придал этому слову постоянный эпитет «братская». Обмен хозяйственным опытом, взаимное предоставление технической помощи, оказание взаимной помощи сырьем, про-



довольствием, машинами, оборудованием, обмен специалистами, подготовка новых кадров и многие другие формы экономического сотрудничества между странами — членами СЭВ способствовали энергичному движению вперед их экономики. Во взаимоотношениях социалистических стран нет и следа эксплуатации одних стран другими, нет и пронизывающего все клетки капиталистического общества алчного стремления к наживе за счет других. Ведь оказывая слаборазвитым странам «помощь» машинами и оборудованием и покупая у них продукцию сельского хозяйства и добывающей промышленности, развитые капиталистические страны ежегодно обирают их на 14—16 миллиардов долларов. Американская печать много трубит о помощи Индии, ОАР, Пакистану, Индонезии. Но они это делают отнюдь не из горячего желания помочь этим странам, а чтобы с большой для себя выгодой реализовать продовольственные излишки да еще при этом нажить «политический капитал». История еще не знает случая, когда бы развитое капиталистическое государство действительно помогло менее развитому ускорить развитие его производительных сил. А именно эту цель преследует и практически осуществляет СЭВ.

Где и когда какое капиталистическое государство, какая капиталистическая компания или корпорация безвозмездно передаст другой проектную и техническую документацию на производство современных видов машин и оборудования? За тринадцать лет (1948—1960) Советский Союз бесплатно передал другим социалистическим странам Европы около тринадцати тысяч комплектов научно-технического оборудования. В свою очередь он получил от них семь тысяч комплектов такой же документации. По советским чертежам в странах — участницах СЭВ изготавливается множество видов машин и оборудования, ранее там не изготавливавшихся.

Экономический эффект такой помощи в Польской Народной Республике измеряется экономией от двух до четырех тысяч часов конструкторской работы на каждый станок. Внедрение советской технологии ремонта металлургических печей, производства качественных сталей и литья позволило Венгрии сберечь двадцать пять миллионов форинтов. Освоив выпуск подшипников советских образцов, машиностроители Чехословакии избавились от необходимости импортировать дорогие заграничные подшипники и экономят на этом несколько миллионов крон в год.

В свою очередь страны — участницы СЭВ бескорыстно делятся с Советским Союзом своими техническими достижениями. Московские и горьковские автозаводцы благодарят своих чешских товарищей за ценную техническую документацию по автомобилестроению. На основе опыта ГДР, Венгрии и Чехословакии в СССР освоен ряд новых видов кабельной продукции и внедрены в производство новые, прогрессивные технологические процессы, что дает экономии в сумме более двух миллионов рублей. Примеров можно привести еще десятки, и все это делается не корысти ради, а для того, чтобы сберечь труд друга — будь то поляк, чех, немец или русский. Зачем скрывать секрет фирмы, если все мы заняты одним большим делом — строительством нового мира.

В каждой социалистической стране можно увидеть предприятия или цехи, установки, сооружения, о которых там с признательностью и уважением говорят: «Нам помог построить это наш друг и брат — великий Советский Союз». Гордость польской металлургии — комбинат имени Ленина в Новой Гуте и нефтехимический комплекс Онешти — Борзешти в Румынии, болгарский энергетический корпус «Марица — Восток» и одно из лучших металлургических предприятий Венгрии — завод в Дунайвароше — эти известные всему миру промышленные предприятия построены с помощью Советского Союза. А воздвигаемые с его же помощью гиганты современной индустрии — металлургический комбинат в Кошице и нефтеперерабатывающий комплекс в Братиславе (мощность комбината в Кошице около четырех миллионов тонн металла в год) не только выведут Чехословакию на одно из первых мест в мире по производству металла и переработке нефти на душу населения, но и изменят лицо некогда отсталой Словакии, уравниют ее с более развитыми областями Чехии.

Вот конкретные плоды социалистического сотрудничества, вот результаты участия в Совете Экономической Взаимопомощи!

## СРАВНИМ ИТОГИ

Десять — двенадцать лет в истории общества — то же, что капля в море. Но освободившие производительные силы социалистических стран достигли за эти годы таких темпов развития, каких не знало ни одно общество. Подтвердилось предвидение Энгельса о том, что замена отживающих свой век капиталистических производственных отношений отношениями социалистического типа представляет «единственное предварительное условие непрерывного, постоянно ускоряющегося развития производительных сил, а благодаря этому — и практически безграничного роста самого производства».

А вот подтверждение этих слов в социалистической действительности: с 1950 по 1961 год промышленное производство Болгарии выросло в 4,4 раза, Венгрии — в 3 раза, СССР — в 3,3 раза, ПНР — в 3,8 раза, ЧССР и ГДР — в 3,1 раза, РНР — в 3,9 раза.

Ни итальянское, ни западногерманское, ни французское «экономическое чудо» не идет ни в какое сравнение с ростом производства любой из этих стран. Достаточно сказать, что за тот же период производство ЕЭС увеличилось только в 2,2 раза, а экономика всей капиталистической Европы только в 1,9 раза. Кстати говоря, западная печать в последнее время очень шумит по поводу процветания экономики капиталистической Европы и упадка и застоя народного хозяйства социалистических стран, в частности стран — участниц СЭВ. «Коммунистический блок — Совет Экономической Взаимопомощи — становится синонимом того, что дела идут плохо», — захватываясь заявляет «Пари пресс Энтрансжан». «Социалистический лагерь Советского Союза достиг со времени окончания второй мировой войны лишь медленного и болезненного развития, которое в основном объясняется остатками частного предпринимательства», — говорится с претензией на солидность анализа в передовой «Нью-Йорк геральд трибюн».

Тогда, значит, не успехи, а плохие дела «коммунистического блока» и «медленное и болезненное развитие его экономики» заставили западных империалистов ухватиться за «интеграцию» как за якорь спасения. Да ведь сам факт создания ЕЭС — прямое доказательство крепнувшей мощи мирового социализма. «Общий рынок» — это не что иное, как соглашение европейских капиталистов «о том, как сообща давить социализм в Европе». Он, по откровенному заявлению лондонской «Таймс», должен «устрашить Советский Союз, рисуя своей картину состояния всего мира в 1980 году». Но экономического «давления» и «устрашения» социалистического лагеря и Совета Экономической Взаимопомощи у монополий «общего рынка» пока не получается.

За последние шесть лет (1956—1961) европейские социалистические страны увеличили свое промышленное производство на 76 процентов при среднегодовом приросте в 9,9 процента. Капиталистические страны Европы за этот период увеличили выпуск продукции только на 36 процентов при среднегодовом приросте в 5,3 процента. Не только по темпам роста, но и по абсолютным приростам важнейших видов промышленной продукции страны СЭВ обогнали и капиталистическую Европу в целом и сделавшие некоторые успехи страны «общего рынка». Производство стали в странах «общего рынка» и Англии с 1950 по 1961 год удвоилось, в то время как сталевары социалистических стран Европы и Советского Союза выплавляли металла в 2,6 раза больше, чем в 1950 году; в 1961 году абсолютный прирост производства стали в странах СЭВ за период 1955—1961 годы был почти на десять миллионов тонн больше, чем в странах «общего рынка» и Англии. В 1961 году страны СЭВ выплавляли стали почти столько же, сколько «шестерка», входящая в ЕЭС, плюс Англия, вместе взятые, а в 1950 году их производство стали не составляло и  $\frac{3}{4}$  производства этих стран. В 1950 году страны «общего рынка» превосходили страны СЭВ как по выплавке чугуна, так и по производству цемента. Теперь домы стран социализма дают чугуна на восемь с половиной миллионов тонн больше, чем ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург, а цемента наши страны произвели (в 1960 году) на 7,2 миллиона тонн больше, чем хваленая «шестерка».

Страны СЭВ добыли в 1961 году свыше полумиллиарда тонн каменного угля, увеличив его производство по сравнению с довоенным годом в 2,7 раза, в то же время продукция угольной промышленности капиталистической Европы уменьшилась на десять

процентов и находится сейчас в состоянии глубокого кризиса. Ныне страны — члены СЭВ уже обогнали капиталистическую Европу и по абсолютным приростам многих основных видов продукции (электроэнергия, уголь, сталь, цемент) в расчете на душу населения.

Но хотя эти данные не секрет, и особенно для государственного секретаря США господина Раска, он с самым серьезным видом говорил в Пунта дель Эсте «о процветающей экономике Западной Европы и тусклом застое Восточной Европы».

Но вот как в действительности выглядит «тусклый застой Восточной Европы» рядом с «процветающей экономикой Западной Европы».

Социалистические страны Европы сумели за короткие годы заложить прочные основы индустриальной базы, создать современную промышленность, развить те отрасли, для которых в каждой стране существуют наиболее благоприятные условия. Электротехническая промышленность и переработка цветных металлов в Болгарии, производство слаботочной аппаратуры, промышленность средств связи и добыча бокситов в Венгрии, нефтехимия в Румынии, судостроение в Польше, химия бурого угля в ГДР, химия полимеров и тяжелое машиностроение в Чехословакии — таков далеко не полный перечень новых отраслей промышленности, которые по своему оборудованию не уступают самым современным капиталистическим предприятиям.

### ТЕМПЫ РОСТА И ВЫРАВНИВАНИЕ

Сравнение итогов экономического развития двух групп европейских стран наглядно подтверждает положение Программы КПСС о том, что развитие мировой социалистической системы и мировой капиталистической системы происходит по прямо противоположным законам. «Если в мировой системе капитализма действует закон неравномерного экономического и политического развития, приводящий к столкновениям между государствами, то в мировой социалистической системе действуют противоположные закономерности, обеспечивающие неуклонный, планомерный рост экономики всех входящих в нее стран» и на этой основе выравнивание уровней их экономического развития.

Закон неравномерности экономического и политического развития капиталистических стран отражается в усилении противоречий между ведущими империалистическими государствами, стремящимися резко увеличить темпы своего роста. Это дает возможность ранее отстававшим странам догонять выдвинувшихся вперед и тем самым уменьшать разрыв в уровнях экономического развития. Если в период 1938—1950 годов среднегодовой прирост промышленной продукции по отдельным капиталистическим странам колебался от 4,6 процента до 6 процентов, то в период 1951—1960 годов этот разрыв значительно увеличился: темп роста промышленного производства в Англии, Бельгии, Голландии был меньше. В итоге получилось так, что в промышленном производстве ЕЭС значительно возросла доля продукции побежденных во второй мировой войне капиталистических стран — ФРГ и Италии. Удельный вес промышленности ФРГ увеличился с 40,8 процента в 1953 году до 43,8 процента в 1961 году, Италии — с 16,2 процента до 17,9 процента, в то время как доля промышленности Франции упала с 26,7 процента до 26 процентов, доля Бельгии — с 7,8 процента до 5,8 процента, Голландии — с 6 процентов до 4,8 процента. Эти цифры достаточно красноречиво подтверждают прогноз известного американского фельетониста Арта Бухвальда, назвавшего «общий рынок» «не настолько уж общим». «Лет через пять, — писал он, — мы все равно съединим друг друга».

Такое изменение разницы в уровнях экономического развития отдельных империалистических стран, будучи следствием неравномерности их развития, в свою очередь становится базой для нового значительного усиления неравномерности и скачкообразности развития. Отставшие страны стараются догнать ушедших вперед конкурентов, затормозить их рост, отбросить их назад. Страны же, ушедшие вперед, стараются всеми средствами укрепить, удержать и расширить свои позиции. Таким образом, процесс выравнивания у них — всего лишь временный момент.

В содружестве социалистических стран «подтягивание» и выравнивание — это закономерный результат преодоления различий в уровнях их экономического развития. Закон неравномерности развития в условиях капитализма действует стихийно, тогда как преодоление различий в уровнях экономического развития социалистических стран достигается планомерно. Страны социализма, менее развитые в прошлом, опираясь на сотрудничество и взаимопомощь, развивают свои производительные силы более высокими темпами и тем самым ликвидируют постепенно свою отсталость от передовых стран.

В Болгарии, например, валовая продукция промышленности возросла в 1,4 раза быстрее, чем в ЧССР и в ГДР, в Румынии — в 1,3, в Польше — в 1,2 раза. Теперь разрыв в производстве важнейших видов промышленной продукции на душу населения в этих странах значительно сократился. Довоенная Болгария производила электроэнергию на душу населения почти в семь раз меньше Чехословакии, а в 1960 году она отстает от нее уже менее чем в три раза. Угля Болгария производила в пятнадцать раз меньше Чехословакии, а сейчас сократила этот разрыв до шести раз. Подобных примеров можно привести множество. В результате такие прежде аграрные страны, как Польша, Румыния, Венгрия, Болгария, ликвидировали свою экономическую отсталость и превратились в индустриально-аграрные.

### ЗА ШИРОКУЮ ТОРГОВЛЮ

Свидетельством постоянно растущего и крепнущего экономического сотрудничества между социалистическими странами служит быстрый рост их внешнеторговых связей. За одиннадцать лет, с 1951 по 1961 год, взаимный товарооборот стран — членов СЭВ возрос в три с половиной раза. За этот же период внешний торговый оборот капиталистических стран Европы увеличился только в два с половиной раза.

Внешняя торговля социалистических стран развивается планомерно, по стабильным ценам, в основе которых лежат мировые цены, очищенные от превратностей капиталистической конъюнктуры. Цены устанавливаются на длительный срок, а это во многом содействует устойчивости и высоким темпам развития. Страны-контрагенты согласуют номенклатуру экспортируемых и импортируемых товаров. Мировое социалистическое хозяйство и Совет Экономической Взаимопомощи — один из его главных компонентов, — не преследуют цели создания замкнутого рынка или блока.

Жесткая конкуренция и желание добиться прибыли и сверхприбыли заставляют замкнуться экономические организации капиталистических стран, отгораживаться от стран-неучастниц высокими таможенными барьерами. Тарифные преграды Европейского экономического сообщества становятся в тягость не только слаборазвитым странам, но и Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии. Да и Соединенные Штаты начинают обижаться на «малую Европу». Чего стоит, например, повышение США ввозных пошлин на бельгийское стекло и ответная мера «шестерки» в адрес химикалий, ввозимых из-за океана. Разве это не открытая таможенная война?

В отличие от капиталистических стран, образовавших в Европе замкнутые союзы и блоки, страны — члены СЭВ придерживаются в своих торгово-экономических отношениях принципа наибольшего благоприятствования со всеми странами. Страны — члены СЭВ не имеют ни одного соглашения о таможенных и других торговых льготах и преференциях, отличающихся от тех, которые применяются ими по отношению к другим странам. Наоборот, социалистические государства постоянно поддерживают и развивают экономические связи со всеми странами независимо от их общественного и государственного строя на началах равенства, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела. Так записано в Уставе СЭВ и так это выглядит на практике.

Только за один 1961 год товарооборот стран СЭВ с капиталистическими странами вырос более чем на восемнадцать процентов. Советский Союз торгует сейчас более чем с шестьюдесятью капиталистическими странами всех континентов.

Активные внешнеторговые связи с капиталистическими странами Европы и со слаборазвитыми странами поддерживают Польша, Чехословакия, Венгрия и другие члены социалистического содружества.

В наше время существуют пути действительно широкого развития международной торговли, не имеющие ничего общего с торговой политикой господства и подчинения, которую проводит ЕЭС. Страны — участницы СЭВ на своем июньском совещании выступили за созыв Международной конференции по проблемам торговли, которая бы обсудила вопрос о создании Международной торговой организации, «охватывающей все районы и страны мира без какой-либо дискриминации». За круглым столом такой конференции все страны могли бы договориться о нормализации и улучшении торговых связей — важного элемента мирного сосуществования.

Давайте торговать, господа капиталисты, повторяем мы слова Ленина, но торговать без дискриминации на взаимно выгодной основе. В Европе и Америке хорошо знают не только русскую икру и польский бекон, болгарские помидоры и чешский хмель. Страны СЭВ успешно торгуют на мировом капиталистическом рынке сложными машинами и оборудованием, промышленными товарами и полуфабрикатами. Глава известной английской станкостроительной фирмы Роберт Асквит восхищен советскими станками. Советские нефтебуры неплохо зарекомендовали себя в американском Техасе, чешские «шкоды» пользуются большой популярностью в Европе, болгарские электротельферы и румынское нефтеоборудование, венгерская фармацевтика и продукция химического машиностроения ГДР находят широкий спрос в капиталистических странах. В свою очередь социалистические страны готовы закупать за рубежом необходимые им товары. К сожалению, пресловутые эмбарго на торговлю с социалистическими странами и законы, ограничивающие торговлю «с коммунистическим миром», во многих случаях мешают нормальному развитию взаимоотношений стран, принадлежащих к различным социальным системам.

### НОВЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Доставшиеся в наследство от старой практики международных экономических отношений, формы сотрудничества ныне уже не могут удовлетворить страны социалистического содружества. На первом этапе развития мировой системы социализма, когда производство и планирование в молодых социалистических странах были еще недостаточно развиты, внешнеэкономические связи между ними осуществлялись главным образом путем двустороннего обмена через внешнюю торговлю и научно-техническое сотрудничество. Более развитые страны, особенно Советский Союз, оказывали тогда серьезную помощь и предоставляли кредиты более слабым странам. Однако по мере накопления опыта и, главное, по мере строительства социализма в национальных масштабах и укрепления экономического потенциала социалистических стран сама жизнь выдвинула новые формы международных экономических отношений, которые вылились в непосредственное производственное сотрудничество путем специализации и кооперирования с учетом нового международного разделения труда.

Социализм внес существенную поправку в старое представление о международном разделении труда. И при капитализме и при социализме международное разделение труда призвано обеспечивать наибольшую эффективность общественного производства. Но закон прибавочной стоимости, родившийся вместе с капитализмом, так разделяет труд между странами, что одни из них — более развитые — эксплуатируют, обворовывают других. Международное разделение труда при капитализме уродует экономику отдельных стран, превращая их в аграрно-сырьевые придатки империалистических государств. И это не пропаганда, а факт. Общеизвестно, что до недавнего прошлого Куба была сахарницей на столе дяди Сэма. Усиленно поощряя производство на Кубе сахарного тростника, США изо всех сил тормозили развитие ее промышленности, мешали производству других сельскохозяйственных культур, в частности риса. Будучи первым в мире производителем сахара, Куба оставалась одной из беднейших стран мира. Упор на монокультуру в ущерб развитию жизненно необходимого для экономического организма страны комплекса — вот что характерно для капиталистического разделения труда.

Американские монополии выкачивают нефть из недр Венесуэлы, пьют кофе, возвращенный потом бразильских крестьян. А что дают они взамен? Помощь под лозунгом

«Союз ради прогресса»? Но она до мельчайших деталей регулируется Вашингтоном. Капиталы идут только в те отрасли, которые выгодны хозяевам Уолл-стрита. А это значит, как заявил президент Эквадора Аросемена, что «нам придется импортировать камни, воду и даже землю». Союзу «Юнайтед фрут компани» с марионеточными правительствами Центральной Америки обязано существование банановых республик. Вот пример разделения труда по-капиталистически!

Совсем иначе обстоит дело в социалистической системе. Здесь международное разделение труда и специализация производства способствуют созданию и развитию рационального комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих отраслей народного хозяйства в каждой стране социалистического лагеря. А это означает, что в каждой стране создается многоотраслевое народное хозяйство, которое сочетает в наилучших пропорциях промышленность и сельское хозяйство, добывающие и перерабатывающие отрасли, производство средств производства и производство предметов потребления.

Специализация и кооперирование производства в рамках социалистического содружества ныне все в большей степени активизируют технический прогресс. А это в свою очередь создает возможности для производства продукции не только для нужд одной страны, а с учетом потребностей других стран содружества. Такая специализация народного хозяйства и объединение производственных усилий ряда социалистических стран позволяет обеспечить полное и экономичное использование производительных сил каждой страны и всей системы в целом. Такие формы разделения труда выгодны и большим и особенно малым странам, поскольку последние имеют возможность участвовать в серийном производстве промышленной продукции и получать от других стран по соглашению необходимые ей виды продукции.

Члены Совета Экономической Взаимопомощи договорились о специализации более чем тысячи основных типов машин и оборудования. Производство доменного оборудования, например, сосредоточивается в СССР, Польше, Чехословакии и ГДР; нефтеперерабатывающего оборудования — в СССР и Румынии; кукурузоуборочных машин — в Венгрии, Румынии и СССР; картофелеуборочных машин — в Польше, Чехословакии и СССР. Польша будет поставлять в страны ЭВВ суда и подвижной состав, а молодая электропромышленность Болгарии — аккумуляторы и электрокары.

Специализация тесно связана с межгосударственным кооперированием производства и эффективным использованием капитальных вложений в строительство предприятий, осуществляемое на совместных началах.

Когда в Польше были открыты богатые залежи меди и серы, социалистическая Чехословакия пришла на помощь соседу, выделив большую часть капиталовложений для разработки этих месторождений. Польские друзья получили возможность экономить часть своих средств на другие нужды народного хозяйства Медеплавильный комбинат и крупнейшее в Европе предприятие по производству серы вскоре станут новыми центрами промышленного производства социалистического лагеря.

Сейчас социалистические страны выходят на такой рубеж, когда наряду с национальной экономикой необходимо сосредоточить серьезное внимание на экономике мировой социалистической системы как единого, слаженного комплекса. Уже заложены первые кирпичи, вырыты первые траншеи, поставлены первые мачты линий высоковольтных передач для создания этого комплекса. На гигантской строительной площадке между Волгой, Одером и Дунаем сооружается крупнейший в мире нефтепровод «Дружба». Пять братских стран — СССР, ГДР, ЧССР, ПНР и ВНР соединили свои усилия в строительстве не имеющей себе равной стальной артерии, по которой волжская нефть пойдет на пять тысяч километров к нефтеперерабатывающим заводам Чехословакии, Польши, ГДР и Венгрии. Два самых больших нефтепровода земного шара — американский «Большой дюйм» и Трансаравийский, вместе взятые, меньше, чем наша «Дружба». Советская нефть уже пришла в братскую Чехословакию (недавно пущен первый участок Трансевропейского нефтепровода Броды — Братислава), а теперь нефть с Волги уже течет по трубам, проложенным на венгерской земле.

Сбываются мечты и чаяния Ленина об электрификации по единому плану стран-соседей. Выполнение грандиозной задачи, предусмотренной в Программе КПСС, — соединение энергетических систем СССР с энергосистемами других социалистических

стран — идет полным ходом. К существовавшим уже в 1960 году линиям электропередач между энергосистемами ГДР и ЧССР, ГДР и Польши, ЧССР и Польши, Венгрии и Чехословакии прибавилась недавно вступившая в строй электролиния СССР—Венгрия. В 1963—1964 годах ток высокого напряжения пойдет из Румынии в Чехословакию. К 1965 году к «большому кольцу» присоединится Болгария; к тому времени единая энергосистема стран СЭВ будет вырабатывать 170 миллиардов киловатт-часов, а это уже превысит производство электроэнергии всей капиталистической Европы в 1961 году.

Главное средство развития и углубления международного разделения труда между социалистическими странами — координация их народнохозяйственных планов, которая началась еще в 1956 году. Она позволяет поддерживать постоянное соответствие между неуклонно растущими и изменяющимися общественными потребностями и развитием материального производства в каждой стране и во всей социалистической системе.

По мере углубления разделения труда взаимосвязь между экономикой отдельных стран становится все более прочной и устойчивой, и нарушение этой взаимосвязи даже одной страной неизбежно вызывает нарушение хозяйственного ритма в других социалистических странах. Вот почему без координации планов нельзя расширять и укреплять связи между национальными хозяйствами социалистических стран, нельзя обеспечивать планомерное расширение воспроизводства в отдельных странах и в социалистической системе в целом.

Особенно большое значение координация народнохозяйственных планов приобретает в ближайшее двадцатилетие — в период осуществления генеральной перспективы развития экономики социалистических стран. Для Советского Союза это будет период развернутого строительства коммунистического общества. За двадцатилетие промышленное производство СССР возрастет не менее чем в шесть раз, валовая продукция сельского хозяйства примерно в три с половиной раза. Народная Республика Болгария предполагает увеличить общий объем промышленной продукции в 1980 году в 7 раз, Польша и Венгрия — в 5 раз, Румыния — в 6 раз (1960—1975). Промышленное производство СЭВ за 1961—1980 годы увеличится более чем в 6 раз, продукция сельского хозяйства — в 3 раза, а национальный доход — почти в 5 раз.

Выполнение этих планов может быть обеспечено лишь совместными усилиями всех социалистических стран, более тесным их хозяйственным сближением и объединением. Исключительно важной становится в связи с этим роль Совета Экономической Взаимопомощи. Состоявшееся в июне нынешнего года Совещание руководителей коммунистических и рабочих партий стран — участниц СЭВ признало, что «основным методом деятельности Совета Экономической Взаимопомощи на предстоящий период является координация перспективных и текущих народнохозяйственных планов стран — участниц СЭВ, что позволит наиболее рационально использовать имеющиеся в странах ресурсы в целях быстрого развития экономики каждой страны с учетом постепенного уменьшения различий в уровнях экономического развития и ускорения подъема экономики стран социалистического содружества». А то, что социалистические страны уже успешно идут по этому пути, вынуждены признать даже апологеты капиталистической экономики. Так, западногерманский журнал «Дер Фольксвирт» пишет, что «система советской экономики обеспечивает для осуществления этих целей (обеспечение максимума экономической интеграции внутри социалистических стран.— Ю. Б. и В. Т.) определенные возможности, которыми не обладает западная рыночная экономика: они состоят в согласовании производственных планов с целью обеспечения разделения труда».

Координация народнохозяйственных планов, особенно планов перспективных, — это зародыш, начальная ступень к созданию общего плана развития будущего всемирного коммунистического хозяйства.

Несмотря на внешнюю браваду и попытки дискредитировать экономические успехи стран социалистического содружества, руководители империалистических государств предпринимают лихорадочные попытки ускорить рост собственного производства. В последнее время под эгидой Соединенных Штатов появилось на свет новое сообще-

ство — Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)<sup>1</sup>. Помимо США, в нее входят восемнадцать государств капиталистической Европы и Канада. ОЭСР разработала перспективный план развития экономики входящих в нее стран. Предполагается, что путем различных мер — координации финансовой и валютной политики, снижения валового обложения прибылей крупных монополий, расширения долгосрочных торговых соглашений и т. д. — общий выпуск промышленной продукции стран ОЭСР увеличится к 1970 году в полтора раза при среднегодовых темпах роста 4,6 процента.

Реальность этих планов весьма сомнительна. Ведь планы планами, а глубокие противоречия, раздирающие капиталистический мир, остаются, и они так или иначе неизбежно превратят любую «интеграцию», будь она «европейская» или «атлантическая», лишь в новый способ передела капиталистического рынка, то есть новый очаг конфликтов. Обеспечить планомерное и стабильное развитие своей экономики капиталистические страны не в силах. «Наша общественная формация находится в состоянии агонии, и никакой общий рынок не может спасти ее», — признают трезвые умы на Западе.

В крепнущем, набирающем изо дня в день новые силы содружестве социалистических стран прогрессивное человечество видит прообраз мира будущего, когда над всей Землей воцарится подлинное братство народов.

---

<sup>1</sup> ОЭСР создана по инициативе США в 1961 году.





# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Академик И. М. МАЙСКИЙ

★

## ПЕРВЫЕ ШАГИ ПОСЛА

(Из воспоминаний)

### 1. ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ

**Б**ыл серо-туманный осенний день, когда я пересекал пролив Па-де-Кале, направляясь в Лондон, к месту моего нового назначения. Я точно запомнил эту дату: четверг, 27 октября 1932 года. На небольшом пароходе, доставлявшем пассажиров из Кале в Дувр, было тесно и шумно. Все каюты были переполнены. В барах звенели деньги и хлопали бутылки. На палубе пожилые англичанки, завернув в теплые одеяла ноги, полудулежали на шезлонгах и читали модные романы. Молодые девушки в сопровождении шеголеватых кавалеров быстро ходили вдоль борта и громко смеялись. Их пестрые платки смешно раздувались на ветру, и растрепанные пряди волос вырывались из-под платков. Большой волны не было, но, как говорят моряки, была свежая погода. Пароход мерно покачивался с боку на бок, посуда на столах тревожно гремела, и некоторые пассажиры, закрыв глаза, лежали, как мертвые, на койках и диванах.

Моя жена всегда переносила море очень плохо. С самого начала мы приняли необходимые меры. Красноносый обветренный матрос принес шезлонг и теплое одеяло, мы выбрали наилучшую позицию по ветру и по ходу судна, и жена устроилась на палубе, приготовившись к борьбе с морской болезнью.

Французский берег с его башнями и шпилями постепенно пропадал в тумане. Впереди начинал маячить британский берег. Его еще не было видно, но он угадывался на горизонте.

Прошло минут двадцать. Вдали показались меловые утесы южного берега Англии. С каждой минутой они становились все больше и отчетливей. На их прежде ровных откосах вскрывались выступы, изломы, провалы. На высоком холме над утесами показались башни и старинные стены Дуврской крепости. До берега оставалось уже недалеко.

Я прошелся по палубе, остановился у мачты и задумался: как странно моя жизнь связана с Англией!.. Десятилетним мальчиком в Петербурге я в первый раз в жизни по-детски влюбился в девятилетнюю англичанку Алю, с которой играл во дворе. В четырнадцать лет я поклонялся Байрону. В семнадцать лет я прочитал работу Веббов «История тред-юнионизма», которая имела громадное значение для определения моего дальнейшего жизненного пути. В годы эмиграции я провел в Лондоне пять лет, сильно обогативших меня знаниями и опытом и давших представление об английской жизни и английском характере. В советские времена я проработал два года (1925—1927) в Англии советником посольства. И вот теперь я еду вновь в Англию для того, чтобы занять там пост посла...

Да, на эту тему можно было бы много пофилософствовать. Но мне сейчас не до философии. Я еду в Лондон, чтобы сделать там для пославшей меня страны все, что могу.

Пароход, уменьшив ход, стал осторожно входить в Дуврскую гавань. Пассажиры сгрудились на одной стороне судна. По палубе затопали матросские башмаки, команда сносила багаж к месту разгрузки.

Я подошел к жене и, помогая ей встать с шезлонга, весело сказал:

— Ну, твои мучения кончились! Мы в Англии.

## 2. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В Дувре нас встречали торжественно. Капитан парохода проводил меня и жену на берег по специальному трапу. Нас ждал начальник порта в окружении представителей всех местных властей. Мишу таможенно и паспортный контроль, нас сразу провели в вагон лондонского экспресса. Спустя несколько минут носильщики принесли наш багаж, пропущенный, конечно, без досмотра. Вместе с нами в вагон сел первый секретарь советского посольства С. Б. Каган, приехавший в Дувр из Лондона нас встретить. Я знал его по Москве и был ему рад.

Было около пяти часов дня. Легкий серо-желтый туман висел над землей, скрадывая звуки и сглаживая четкие линии. Стало быстро темнеть. Раздался резкий переливчатый свисток кондуктора (в Англии звонков нет) и ответно гулкий свисток паровоза. Начальник порта, провожавший нас до вагона, учтиво раскланялся. Еще мгновение — и длинный, ярко освещенный огнями экспресс мощно рванулся вперед, в быстро надвигающуюся ночную мглу.

Щеголевато одетый худощавый официант принес чай с *buttered toasts* (хлеб, поджаренный в масле), кексами, джемом и печеньями. Чай был густой, английский чай, который можно пить только с молоком.

Во время чая я начал расспрашивать Кагана о нашей колонии. Выяснилось, что во всех советских учреждениях, находящихся в британской столице, то есть в посольстве, торгпредстве, смешанных коммерческих обществах и т. д., работает свыше тысячи человек, из которых две трети приходится на долю англичан. В самой советской колонии, включая жен и детей, насчитывается около семисот душ. Каган сообщил также, что Форейн оффис (английское министерство иностранных дел) в качестве своего представителя пришлет на вокзал Виктория заведующего протокольной частью мистера Монка.

— Монка? — усмехнулся я.

В памяти у меня невольно встала характерная фигура этого чиновника, которого я не раз встречал на официальных приемах в 1925—1927 годах, когда работал в Лондоне в качестве советника полпредства: бледное лицо, редкие светло-каштановые волосы, гладко зачесанные и отливающие блеском, насмешливо-скептические глаза, на губах застывшая официальная улыбка...

— Да, теперь не тысяча девятьсот двадцать пятый год, — прибавил Каган.

Слова его напомнили мне тогда еще совсем недавнее прошлое. В феврале 1924 года лейбористское правительство Р. Макдональда установило дипломатические отношения с СССР. Консерваторы бешено сопротивлялись признанию СССР, но не смогли этому воспрепятствовать: слишком сильно было давление рабочих масс — с одной стороны, деловых кругов, желавших торговать с СССР, — с другой стороны. Однако двор категорически заявил, что «не примет» посла, представляющего советское правительство. Чтобы выйти из затруднения, лейбористский кабинет прибег к хитрости: он предложил советскому правительству впредь до урегулирования всех формальностей обменяться не послами, а поверенными в делах. Расчет лейбористов был прост: посол вручает верительные грамоты королю, и его «принимает» двор. Поверенный в делах вручает полномочия министру иностранных дел страны своего аккредитования, и двор его не обязан официально «принимать». Таким путем Макдональд, который и сам относился к признанию СССР без всякого энтузиазма, обходил препятствие.

Советское правительство, которому в то время не была известна вся эта закулисная игра, в обстановке 1924 года не могло не ценить факта установления дипломатических отношений с Англией; оно приняло предложение Макдональда. Наш первый посол в Лондоне официально приехал туда в качестве поверенного в делах, то же звание

получил и британский представитель в Москве. Однако первое лейбористское правительство просуществовало только девять месяцев. Отношения между СССР и Англией в течение этого периода сложились не очень гладко. Вопрос о замене поверенных в делах послами не был поставлен. А в ноябре 1924 года после выборов, стоявших под знаком пресловутого «письма Коминтерна»<sup>1</sup>, к власти пришли консерваторы. Болдуин стал премьером, Остин Чемберлен — министром иностранных дел, а Джойнсон Хикс — министром внутренних дел.

Кабинет Болдуина очень не любил «большевиков» и не скрывал этого. Дипломатическое признание СССР, проведенное Макдональдом, он считал грубой политической ошибкой. Ряд влиятельных членов правительства требовал разрыва отношений. Однако осторожность, свойственная англичанам в вопросах внешней политики, побудила Болдуина до поры до времени воздержаться от столь радикального шага, грозившего к тому же большими внутренними осложнениями в стране. Разрыв произошел только в мае 1927 года, а до той поры правительство шло по пути фактического бойкота СССР. Это отражалось и на положении советского полпредства в Лондоне.

В самом деле, в 1925—1927 годах по существу никаких отношений между Форейн оффисом и советским посольством не было. Все попытки прорвать эту дипломатическую блокаду разбивались о каменную стену враждебности с британской стороны. Работники советского посольства в Форейн оффисе почти не бывали, ибо «тон», господствовавший в этом учреждении, отбивал охоту ходить туда, а главное — всякий чувствовал, что это бесполезно. Лично я, например, за два года пребывания в Лондоне был в Форейн оффисе два раза: первый — когда сразу по приезде делал официальные визиты вежливости некоторым из его чиновников (включая Монка) и второй — когда один из чиновников Форейн оффиса пригласил меня, пытаясь убедить, чтобы я не ездил на шекспировское празднество 1926 года в Стрэтфорд-на-Эвоне<sup>2</sup>. Сам Форейн оффис при каждом случае старался демонстрировать свое нерасположение к советскому полпредству и создавал для него режим «этикетной дискриминации». Так, например, вопреки обычаю представители Форейн оффиса никогда не появлялись на устраиваемых нами приемах и

<sup>1</sup> Накануне самых выборов консерваторы широко распространили так называемое «письмо Коминтерна», в котором английским коммунистам якобы давались указания по вопросу о ниспровержении буржуазного строя в Англии. Разумеется, «письмо» являлось злобной и притом неискusной фальшивкой — это скоро стало ясно всем. Но оно сыграло свою роль: на выборах лейбористы провалились, и напуганные «призраком революции» избиратели отдали свои голоса консерваторам.

<sup>2</sup> Каждый год в день рождения Шекспира, 23 апреля, в его родном городке Стрэтфорде-на-Эвоне устраивается большой фестиваль, во время которого представители различных наций поднимают свои флаги на специально воздуженных для этого мачтах. Хотя в феврале 1924 года между СССР и Англией были установлены дипломатические отношения, до 1926 года флаг от нашей страны не подымался, так как реакционные власти Стрэтфорда ни за что не хотели «признать» красное знамя СССР. Однако весной 1926 года по ошибке канцелярского служащего в городском управлении Стрэтфорда приглашение присутствовать на фестивале и поднять свой национальный флаг в числе других дипломатических представительств Лондона получило также и наше посольство. Я исполнил в то время обязанность поверенного в делах и немедленно же ответил согласием на полученное приглашение. В результате разыгралась целая буря. В Стрэтфорде поднялась шумная кампания протестов против предстоящего подъема «красного флага». В прессе разгорелась острая полемика. Реакционные элементы стали угрожать «эксцессами» на фестивале. Рабочие в соседнем Бирмингеме реагировали заявлением, что в день 23 апреля они явятся в Стрэтфорд для охраны советского флага. По всей стране пошли слухи о том, что шекспировский праздник в этом году будет ознаменован крупными беспорядками. Шотланд-Ярд решил «на всякий случай» принять экстренные меры и отправить в Стрэтфорд в день торжества свои «летучие отряды». Правительство было обеспокоено и поручило Форейн оффису «отговорить» полпредство от посылки в Стрэтфорд делегации и поднятия там советского флага. В этой связи Форейн оффис пригласил меня для разговоров. Я, однако, остался непреклонен, и 23 апреля советская делегация в составе четырех человек подняла советский флаг в Стрэтфорде-на-Эвоне. Бирмингамские рабочие, которых действительно явилось много на шекспировский день в Стрэтфорде, стали стеной вокруг нашей мачты и охраняли ее от каких-либо покушений со стороны реакционных хулиганов. Британское правительство, не желавшее в сложившейся обстановке создавать острый дипломатический конфликт с СССР на подобной почве, приняло свои меры, и никаких «беспорядков» в Стрэтфорде, конечно, не произошло.

торжествах. Опять-таки вопреки обычаю они никогда не встречали и не провожали на вокзале наших полпредов. Эта подчеркнутая грубость вызывала возмущение в демократических слоях Англии, особенно среди рабочих, и парламентская хроника тех лет изобилует многочисленными запросами лейбористов по поводу всех таких инцидентов. Однако Форейн оффис упорно продолжал свою «этикетную дискриминацию», сделав из нее только одно исключение: когда 24 ноября 1926 года в Лондоне умер наш полпред Л. Б. Красин, представитель министерства иностранных дел заехал на минутку в полпредство для выражения соболезнования...

В такой обстановке полпредству, естественно, приходилось ориентироваться на те британские элементы, которые не чуждались его, которые готовы были поддерживать с ним дружеские связи, — в первую очередь на лейбористов, хотя справедливость требует сказать, что некоторые из их лидеров, в особенности те, кто в 1931 году перебежал в лагерь консерваторов (Макдональд, Сноуден, Томас), уже тогда держались от нас в стороне. В результате почти вся «дипломатия» советского полпредства в 1925—1927 годах сводилась к «дипломатии» с лейбористами и тред-юнионистами, так что в конце концов консервативная печать окрестила наше полпредство «представительством при оппозиции Его Величества».

Конечно, такие отношения между двумя правительствами были крайне ненормальны, и дело рано или поздно должно было пойти до взрыва. Так оно и кончилось в мае 1927 года пресловутый «Джикс» (министр внутренних дел Джойнсон Хикс) устроил свой бесславный налет на «Аркос» (Англо-русское коммерческое общество) и советское торгпредство, после чего британское правительство разорвало дипломатические отношения с СССР.

С тех пор прошло около пяти лет. Соотношение сил изменилось. Когда в конце 1929 года второе лейбористское правительство Р. Макдональда восстановило дипломатические отношения с СССР, произошел уже обмен послами. Однако двор все еще не хотел сдаться. Правда, он вынужден был теперь «принять» посла СССР, однако верительные грамоты от него принимал не король Георг V, который как раз в этот момент почему-то оказался «неспособным надевать форму и устраивать официальные приемы», а принц Уэльский, будущий король Эдуард VIII. Равным образом королева Мэри, которая по обычаю давала официальную аудиенцию женам послов через день-два после вручения послами верительных грамот, на этот раз обнаружила странную рассеянность: лишь через месяц, да и то после того, как Каган сделал демарш в Форейн оффисе, королева Мэри наконец выполнила требование дипломатического этикета.

И вот теперь Монк собирается приветствовать меня от имени министра иностранных дел на вокзале. Было от чего усмехаться!

Поезд быстро приближался к Лондону. Но вот и вокзал Виктория.

На перроне собралась почти вся взрослая часть советской колонии: человек триста—четыреста. Здесь был также Монк в черном котелке и с моноклем в глазу. Десятка два фотографов и корреспондентов торопливо бегали по платформе. Случайно вышло так, что мы оказались не в том вагоне, в котором нас ждали, и, когда выяснилось ошибка, вся толпа сразу ринулась по направлению к нам. Произошла давка. В числе пострадавших оказался и бедный Монк, с которого сбили шляпу. Однако железнодорожные служащие быстро восстановили порядок, и Монк получил возможность церемонно приветствовать меня от имени сэра Джона Саймона — «государственного секретаря по иностранным делам». Вид у него, впрочем, был несколько смущенный. Потом стали представляться и жать руки свои. Жене поднесли цветы. Репортеры хотели тут же, на вокзале, получить от меня интервью, но я отказался: было бы бестактно, еще не вручив верительных грамот, делать какие-либо заявления в печати.

Когда наконец церемонии кончились, Каган провел нас к выходу и усадил в посольский автомобиль. Ряд машин следовал позади. Был легкий туман, скрадывавший резкие линии и придававший элемент сказочности всему окружающему.

Через четверть часа мы были уже в полпредстве. Я быстро обошел квартиру посла, заглядывая во все углы. Жена стала высказывать свои первые импровизированные предположения о том, как лучше расположиться в этих комнатах. Вдруг зазвонил телефон. Я подошел и снял трубку.

— Говорит Брэйльсфорд, — слышалось из аппарата. — Я только что узнал о вашем приезде, мой дорогой Майский. Приветствую вас и шлю привет вашей жене. Желаю вам всякого успеха на вашем новом поприще.

— Спасибо, спасибо, мой дорогой Брэйльсфорд, — несколько растроганно отвечал я. Я был доволен Брэйльсфорда, видного английского социалиста, я знал по моей работе в Лондоне в 1925—1927 годах, и наши отношения в то время были безоблачными. Кладя трубку, я поймал себя на мысли: «По приезде мне позвонил первым приятный человек. Хорошее предзнаменование!» — и невольно посмеялся над самим собой.

### 3. ПОСОЛЬСТВО

На следующий день во всех лондонских газетах появилось краткое сообщение о прибытии нового советского посла. Одна или две газеты поместили фотоснимки нашего приезда. Никаких комментариев не было. В тот же день выяснилось, что мои верительные грамоты будет принимать сам король, но так как он находится сейчас вне Лондона, то церемония вручения грамот может произойти не раньше, как через восемь—десять дней.

Посол до вручения верительных грамот официально еще не посол в стране своего аккредитования. Таким образом, в течение ближайшего десятка дней я мог распоряжаться собой — и не был этим недоволен. Лондон очень трудный пост для посла любой державы; для посла СССР, да еще в тот период, он был вдвойне сложным и трудным. Я был рад случаю, предоставившему мне немножко времени для предварительной ориентировки в ситуации. Я начал с нашего посольства.

В Лондоне царское правительство никогда не имело в противоположность Берлину, Риму и Парижу своего собственного дома. Когда в 1924 году были установлены дипломатические отношения между СССР и Англией, мы получили помещение бывшего царского посольства — Чешем-хаус. То был большой, английского типа шестизэтажный особняк, расположенный в аристократической части столицы. В нем было много больших и красивых приемных залов, роскошная квартира для посла, но зато все остальное представляло собой сложный лабиринт маленьких комнат, комнатушек и клетушек, постепенно возносившихся к самой крыше. Такое помещение было в стиле старой русской дипломатии: последний царский посол граф Бенкендорф, умерший в январе 1917 года, жил здесь один со своей женой; сорок два человека прислуги мужского и женского пола обслуживали знатную чету.

Однако Чешем-хаус не был собственностью царского правительства: дом был снят на пятьдесят лет, и срок аренды кончался в 1928 году. Для наших советских надобностей дом был не вполне пригоден. Однако в обстановке 1924—1927 годов у нас было слишком много других, более острых забот, чтобы еще всерьез ставить вопрос о смене посольского здания. Наоборот, мы держались за Чешем-хаус, несмотря на все его неудобства, ибо не были уверены, что в Лондоне найдется лендлорд, готовый сдать помещение под «большевистское посольство». Даже с хозяином Чешем-хауса у нас то и дело выходили осложнения. Владелец дома, оказавшийся твердолобым реакционером, не мог просто отказать нам, ибо был связан контрактом, но допекал нас всякими способами: присылал своих представителей для проверки состояния дома (что разрешалось контрактом), запрещал производить какие-либо внутренние перестройки, слал строгие письма по поводу замеченных им «беспорядков» во дворе посольства и т. д.

Наши отношения с ним имели, однако, замечательную концовку. Нотой от 25 мая 1927 года министр иностранных дел Остин Чемберлен уведомил советское правительство о разрыве отношений между Англией и СССР. В суматохе тех дней мы совершенно забыли о доме и о сроках царского контракта. Но хозяин неожиданно сам напомнил о себе. Накануне дня, когда посольство должно было покинуть территорию Англии, этот почтенный джентльмен самовольно явился к нам и, указав на то, что контракт истекает в следующем году, с самой любезной миной предложил продлить его действие. В ответ на изумленный взгляд первого секретаря Д. В. Богомолова, который его принимал, хозяин дома, пожав плечами, заявил:

— Чего в жизни не бывает! Сегодня мы с вами в ссоре, завтра мы будем с вами в дружбе. А дом-то стоит, да и мне деньги пригодятся.

Нас, однако, не тронула мудрость лендлорда, и предлагаемая им сделка не состоялась. Тогда он переделал дом на квартиры и пустил внаем.

Когда в 1929-м в Лондон прибыло новое советское посольство, оно оказалось без посольского здания. Первоначально посольство устроилось во временном помещении: 40, Grosvenor Square. Сразу же начались усиленные поиски постоянной резиденции. Это и теперь оказалось нелегким делом. Антисоветские настроения в консервативных кругах (а все лендлорды — консерваторы) были по-прежнему очень сильны. Бедный Каган, на плечи которого легла главная забота по подысканию дома для советского представительства, десятки раз переживал жестокое разочарование. Вот, кажется, нашел подходящее помещение, кажется, договорился с агентом обо всех деталях (в Англии транзакции с домами и квартирами производятся через агентские конторы), кажется, на будущей неделе уже можно переезжать — и вдруг в последний момент владелец дома, узнав, что наниматели «большевики», категорически отказывается заключить сделку. Или еще бывало так: агент согласен, владелец дома согласен, но не согласен собственник земли, на которой стоит дом (часто это два разных лица), — и все идет прахом.

Наконец нашелся южноафриканский «шерстяной» миллионер сэр Люис Ричардсон, который согласился сдать свой особняк в Кенсингтоне советскому правительству. Какие мотивы руководили Ричардсоном, не знаю. Ходили слухи, что потери, понесенные им в связи с мировым кризисом 1929 года, помогли ему преодолеть политические предубеждения. Может быть, это и было так. Земля, на которой стоял особняк, принадлежала королю, и король, только что восстановивший дипломатические отношения с СССР, естественно, не мог возражать против почтения здесь советского посольства. Ричардсон сдавал особняк на шестьдесят лет и требовал уплаты вперед арендной платы за все это время. Условие было жесткое и несбыточное, но после всех пережитых мытарств посольство согласилось его принять. В результате за тридцать шесть тысяч фунтов советское правительство приобрело в свое распоряжение сроком до 1990 года красивый особняк на одной из самых фешенебельных улиц Лондона. В конечном счете вышло даже недорого — особенно если принять во внимание, что в лондонском просторечии наша улица именовалась «кварталом миллионеров».

Сразу же по приезде я стал знакомиться с моей новой резиденцией. Тут предомной открылись многие детали — частью приятные, частью неприятные, частью забавные, но все в характерно английском стиле.

Еще лет сто тому назад земля, на которой стоял дом посольства, принадлежала Кенсингтонскому дворцу. Когда-то, в XVII и XVIII веках, этот дворец, бывший в то время загородной резиденцией королей, играл крупную роль. В нем жили королева Анна, король Георг I, король Георг II. Позднее короли переселились в Лондон, и Кенсингтонский дворец превратился в местожительство младших членов королевской семьи. В нем родилась и выросла королева Виктория. Здесь родилась также королева Мэри, жена царствовавшего тогда Георга V. По мере падения роли Кенсингтонского дворца его права и привилегии стали постепенно сокращаться. В 1841 году специальным актом парламента от владений Кенсингтонского дворца был отрезан «огород» в размере двадцати восьми акров (около одиннадцати гектаров), и на этом «огороде» возникла наша улица, постепенно обстроившаяся двумя рядами богатых особняков. В числе их находился и дом посольства.

Местоположение этого дома было прекрасное: в годы моей работы он стоял среди небольшого зеленого участка площадью около четверти гектара, передний фасад выходил на улицу Кенсингтон Палас Гарденс, задний фасад — в прелестный сад с оранжереями, фонтаном, солнечными часами, теннисной площадкой. Больших деревьев там не было, но цвели розы, и изгородь заросла частым высоким кустарником. За изгородью находилось огороженное поле, где по воскресеньям происходили игры в футбол, а дальше раскинулись знаменитые Сады Кенсингтона, едва ли не самый прекрасный и культурный из лондонских парков.

Улица, на которой стояло здание посольства, была густо обсажена огромными, вековыми деревьями. Это была не простая, а особенная, «частная» улица, считающаяся собственностью тех лиц, которые имели здесь свои дома. Она была закрыта для обычного сквозного движения, и ездить по ней могли лишь те, кто направлялся в один из стоящих на ней особняков; но даже и для них была установлена предельная скорость — двенадцать миль в час. На обоих концах улицы имелись железные ворота, около которых всегда дежурили сторожа в ливреях с золотыми галунами и в высоких цилиндрах. В двенадцать часов ночи ворота запирались до утра, и в это время попасть на нашу улицу было можно, только пройдя через сторожа.

Конечно, за красочные обломки далекой старины собственникам улицы приходилось платить: надо было содержать сторожей, надо было чинить ворота, надо было кормить ленивую разжиревшую собаку, которая будто бы охраняла всех нас от ночных нападений. Однако никто не роптал: ведь англичане так любят сохранять пережитки прошлого. А на нашей улице жили настоящие англичане, да еще какие! Прямо против посольства находился дом, занимаемый одним из английских Ротшильдов. Неподалеку высился каменный особняк Лесли Уркварта — того самого Лесли Уркварта, который имел богатейшие цветнометаллические концессии в царской России и после революции стал одним из злейших врагов советского режима. Еще несколько дальше стоял красивый дом герцога Мальборо.

Каган рассказывал, что, когда собственники улицы узнали о предстоящем вторжении «большевиков», они заявили протест дворцовому ведомству, но успеха не имели. Однако в арендный контракт, который подписало посольство, был внесен пункт о том, что снятый нами дом не может быть использован для целей, вызывающих необходимость появления слишком большого количества людей на Кенсингтон Палас Гарденс. В результате генеральное консульство мы должны были открыть в другом месте — правда, не очень далеко, на Розари Гарденс, 3, в южном Кенсингтоне. Это послужило предметом длительных споров между лондонским посольством и Наркоминделом в Москве. Аппарат центрального ведомства никак не мог понять всех тонкостей положения, связанных с нашей улицей, и в интересах экономии требовал перенесения консульства в помещение посольства. А когда мы доказывали невозможность такого шага, москвичи думали, что мы просто хотим жить в нашем здании посвободнее и изобретаем для этого какие-то странные предлоги.

Дом посольства был построен в 1852 году Стэнхопом, пятым графом Харрингтоном. Это было время, когда между Кенсингтоном и Вестминстером еще залегали зеленые поля, и граф Харрингтон, направляясь в коляске из дому в парламент, частенько по дороге застревал в грязи. Семья Харрингтонов владела домом вплоть до первой мировой войны, но затем дом стал быстро переходить из рук в руки, пока не очутился в собственности уже упоминавшегося Люиса Ричардсона. Тем не менее на воротах дома все время продолжала красоваться надпись «Дом Харрингтона», и только уже при мне, к немалому ужасу соседей, она была закрашена и заменена цифрой «13»: англичане суеверны, и почти всегда дома, на которые приходится этот «несчастливый» номер, отмечаются не цифрой, а каким-либо названием.

Внутри дом не походил на обычные английские дома. В центре его находился большой двухсветный зал, отделанный темным резным дубом. Широкая дубовая лестница вела к такой же балюстраде, шедшей вокруг всего зала. К дубовому залу внизу примыкал белый бальный зал, за которым шли небольшая серая гостиная и красивый зимний сад с пальмами и скульптурными украшениями. Во всех этих приемных помещениях было много старинной мебели, мраморных столов, художественных ваз и других украшений, привезенных из петербургских дворцов. Тут же внизу находился кабинет посла, выходивший окнами в сад, а также кабинеты советника и первого секретаря.

Во втором этаже, вокруг дубового зала, был расположен ряд комнат, частью для жилья, частью для служебных надобностей. Две угловые комнаты меньшего размера с окнами на улицу были оборудованы для малых приемов: желтая гостиная и коричневая столовая. Здесь мы обычно устраивали чан или завтраки для отдельных гостей или для небольших групп. По другую сторону дубового зала, окнами в полпредский сад и с чудным видом на Сады Кенсингтона, помещалась квартира посла. Состояла она

из трех довольно нескладных комнат и двух великолепных ванн. В одной крайней комнате мы устроили спальню, в другой крайней комнате — мой частный кабинет, а средняя — длинная, сараевидная высокая комната — стала нашей столовой и домашней гостиной в одно и то же время. Моя жена потратила немало времени и усилий на то, чтобы создать в ней хоть некоторое подобие уюта, и в конце концов как будто бы успела в этом. Позднее мы пробили в столовой стену и сделали балкон, выходящий в сад.

Конечно, в нашей квартире были лестницы. Без лестниц вообще нельзя себе представить английского дома. Англичане уверяют, будто беганье по лестницам предохраняет от столь распространенного в их стране ревматизма. Оставляю это утверждение на совести англичан. В нашей квартире средняя и две крайние комнаты были расположены в разных плоскостях: чтобы из столовой попасть в спальню или кабинет, надо было спуститься на несколько ступенек.

На третьем этаже посольского здания, где было до десятка небольших комнат, жили главным образом те технические работники, которые непременно должны иметь свою резиденцию в посольстве. Во дворе находился маленький флигель, перестроенный из бывших когда-то здесь конюшен, — в нем обычно жили шоферы и уборщицы.

Дом был в общем значительно лучше Чешем-хауса, но все-таки не вполне удовлетворял нашим требованиям. Да и неудивительно: «Дом Харрингтона» был домом крупного английского магната. В нем в последние годы обычно жили четыре члена семьи Ричардсона и семнадцать человек обслуживающего персонала. Все в доме было приспособлено к такому составу обитателей. Нужды советского посольства были совсем иные. Кроме того, «Дом Харрингтона» был недостаточно велик: всего лишь около тридцати комнат. Позднее, особенно во время войны, когда размах работы увеличился и численность штата возросла, нам пришлось снимать дополнительные дома.

Впрочем, в те дни конца 1932 года посольский дом нам очень понравился. И одной из главных прелестей его были прекрасные Сады Кенсингтона. Выйдя из полпредства, мы уже через пять минут попадали под столетние буки и липы. Часами бродили мы по парку, любуясь его клумбами и рассматривая его достопримечательности. Больше всего времени мы проводили около прелестного Круглого пруда, где всегда было так много уток и чаек и где стар и млад занимались пусканием игрушечных кораблей и лодок. Здесь было всегда живо, весело, много забавной беготни, много детского крика и смеха. Моя жена со свойственным ей темпераментом быстро включилась в царившую около Круглого пруда атмосферу. Особенно ее волновали бумажные змеи, которых много запускалось как раз в этом месте. Как-то однажды она даже купила себе такую игрушку. Однако дальше слов дело не пошло: все-таки ее несколько связывало положение «амбассадриссы»...

Кенсингтонский дворец стоял тут же, в двух шагах от Круглого пруда, сумрачный, полузабытый, как старый царедворец в отставке. В нем никто не жил, и за шесть пенсов всякий желающий мог обойти его залы, хранившие на себе далекий отблеск ушедших эпох.

Да, в те первые дни пребывания в посольстве я был доволен своей новой резиденцией, особенно царившей вокруг тишиной. Тихо было на земле в тени вековых деревьев Кенсингтона. Тихо было в небе, которое не прорезывал еще ни один самолет. Тихо было на «частной» улице. Тысячеголосый гул мирового города не проникал сюда, в этот фешенебельный «квартал миллионеров». И часто, стоя с женой у окна нашей квартиры, я со смешанным чувством изумления и радости повторял:

— Точно в деревне. И ведь подумать только, что мы находимся в центре восьмимиллионной столицы!

#### 4. СОВЕТСКАЯ КОЛОНИЯ

Конечно, меня интересовали не только вещи, но и люди. И люди гораздо больше вещей.

Нашп советские посольства в описываемый период везде, во всех странах, отличались крайне ограниченной численностью персонала. Пожалуй, нигде это не бросалось



так резко в глаза, как в Лондоне. В самом деле, в этой самой мировой из всех тогдашних мировых столиц мировая держава СССР имела в 1932 году всего лишь семь дипломатических работников, внесенных в лист Форейн оффиса!<sup>1</sup> Сюда входили также торгпред и его заместитель — стало быть, чисто дипломатических работников было только пять человек. В то же время Япония и США имели в Лондоне по двадцать человек дипломатов, Франция — восемнадцать, Италия — пятнадцать и даже Дания и Сиам — по девяти. Буржуазные государства обычно страдают излишней перегрузкой своих дипломатических штатов: там нередко сынки богатых людей (иногда даже без жалованья) ради корысти или ради «положения» приписываются к посольствам в качестве атташе, секретарей или советников. Советское государство в тридцатых годах представляло как раз обратную картину. Причины тут были разные, и первая из них — жесткий режим экономии, проводившийся с особой строгостью, когда речь шла о расходовании иностранной валюты или золота, нужных для финансирования пятилетних планов. К тому же тогдашний нарком иностранных дел М. М. Литвинов не любил тратить деньги зря — ни свои личные, ни государственные.

Однако наша «экономность» иногда принимала уж слишком крайние формы. Я это очень остро почувствовал осенью 1932 года в Лондоне: в моем распоряжении было всего лишь пять дипломатических работников, из которых один наиболее опытный — советник Д. В. Богомолов — должен был вскоре уехать. Из остающихся четырех наиболее сильным был встречавший нас в Дувре Каган — опытный дипломат и большой знаток английского языка (или, точнее, его американской разновидности), который он изучил во время многолетней эмиграции в США. Ему несколько позднее был присвоен ранг советника, и в качестве такового он стал моим заместителем и главным помощником.

Характерной особенностью тогдашнего посольства было полное отсутствие в нем представителей вооруженных сил: у нас не было ни военного, ни воздушного, ни морского атташе. Это была не наша вина, тут целиком виноваты были англичане. В 1924—1927 годах лондонское полпредство имело морского атташе. Это был контр-адмирал Беренс, работавший еще в царском посольстве. Он признал советскую власть и был оставлен в том же качестве в нашем полпредстве. С разрывом англо-советских отношений в 1927 году его миссия в Лондоне, естественно, пришла к концу. После возобновления этих отношений в 1929 году советское правительство назначило в Англию военного атташе, британский посол в Москве Овни выдал ему визу; однако в самый последний момент, когда наш командир уже почти садился в поезд, Овни вдруг взял свою визу назад и сообщил, что британское правительство «не заинтересовано» в обмене военным атташе. Не знаю, что лежало в основе этой конфузной для Овни истории, но знаю, что в результате описанного инцидента советское посольство осталось без военных дипломатов в Лондоне. Вопрос был урегулирован только в 1934 году, причем очень полезную роль в этом сыграл один из видных лейбористов тех дней лорд Марри. С тех пор в Лондоне и Москве появились дипломатические представители вооруженных сил обеих стран.

В момент моего прибытия в Лондон основная масса советской колонии состояла из работников наших торговых организаций. Торгпредство помещалось тогда на Книгсгэй в Буш-хаузе — огромном «лондонском небоскребе», где имели свои конторы бесчисленные английские компании и предприятия. Торгпредство снимало ряд этажей, которые в дневное время очень напоминали потревоженный улей. Здесь находились также различные связанные с торгпредством «смешанные общества» и организации, включая знаменитый «Аркос», имевший, впрочем, в этот период уже более или менее номинальное значение. Кроме того, в Сити было еще несколько смешанных компаний советского происхождения, занимавших отдельные помещения: Московский народный банк, Русское лесное агентство, Балтийско-Черноморское страховое общество, Центрсоюз и другие. Все эти общества считались смешанными, так как пайщиками в них были русские и англичане, но большая часть капитала принадлежала Советскому Союзу.

<sup>1</sup> Министерство иностранных дел в любой стране ежемесячно издает особый дипломатический лист, в который вносятся дипломатические работники всех посольств и миссий.

Я пригласил к себе всех советских руководителей «смешанных обществ»; общее впечатление получилось неплохое: товарищи, возглавлявшие эти хозяйственные организации, показались мне толковыми людьми и знающими специалистами. Потом я объехал все эти организации и собственными глазами посмотрел на их персонал и помещения. Такое личное знакомство исключительно важно, его не могут заменить никакие документы и доклады.

Очень скоро мне представился случай встретиться со всей лондонской колонией в целом. Наступило 7 ноября. По установившейся традиции, в этот день устраивалось общее собрание колонии в дубовом зале посольства и посол делал на нем доклад.

Возвращаясь с собрания и последовавшей за ним вечеринки в свою квартиру, я чувствовал, как этот вечер сблизил меня с моими товарищами, и был этому очень рад. Трудно успешно работать за границей, не имея за спиной дружеской поддержки советской колонии.

### 5. «ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ» К ДУАЙЕНУ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА

Хотя, как я уже говорил, посол до вручения верительных грамот еще не является официально послом, дипломатический этикет рекомендует ему сделать до того два «частных» визита — к министру иностранных дел и к дуайену (старшине) дипломатического корпуса. Я решил последовать международному обычаю и посетил их обоих. Особенно запомнился мне визит к дуайену, состоявшийся 2 ноября 1932 года.

Старшинство послов определяется по времени их пребывания в стране аккредитования: чем дольше это время, тем старше посол. Посол с самым длинным стажем является дуайеном. Таково общее правило. В некоторых странах бывают исключения: так, например, в Германии между двумя мировыми войнами старшиной дипломатического корпуса всегда являлся папский нунций, то есть посол римского престола (в Англии папского нунция вообще не было). В 1932 году дуайеном в Лондоне являлся французский посол де Флерно, типичный дипломат старой школы, большая часть карьеры которого прошла в Англии. Здесь он занимал посты атташе, секретаря, советника и наконец посла. Он был послом (но еще не дуайеном) уже в 1925—1927 годах. Тогда он держался очень далеко от нашего полпредства, всем своим поведением стараясь показать, как он не одобряет «большевистской» революции в России; я его видел в те годы всего несколько раз на каких-то официальных английских приемах. Подъезжая сейчас к шестиэтажному особняку французского посольства на Найтсбридж, я с улыбкой думал: «Ну, господин дуайен, как-то вы меня примете?»

Дверь открыл высокий ливрейный лакей и повел меня в небольшую приемную направо. Через минуту вошел низенький брюнет — секретарь — и пригласил меня пройти в кабинет посла.

Де Флерно поднялся из-за письменного стола, чтобы пожать мне руку. Он выглядел как настоящий француз: невысокого роста, подвижной, сухощавый. Черные волосы с проседью. Такая же бородка клинышком. Живые карие глаза. Нос тонкий, с легкой горбинкой. Несмотря на свое почти тридцатилетнее пребывание в Лондоне, де Флерно говорил по-английски с сильным французским акцентом.

Пожав мне руку, он опять сел в свое кресло за письменным столом и голосом, полным возмущения и отчаяния, воскликнул:

— Не понимаю! Ничего не понимаю!

При этом посол с раздражением ткнул пальцем в гору английских «Синих книг», в беспорядке разбросанных перед самым его носом.

Я с недоумением посмотрел на него.

— Они хотят, чтобы я был для них бухгалтером! Не буду! Я дипломат, а не бухгалтер!

При этом де Флерно кому-то погрозил рукой в воздухе.

Я понял: «они» — это, очевидно, Париж, правительство, министерство иностранных дел. Я улыбнулся. Посол был очень комичен со своими сжатыми кулачками и с миной возмущения и отчаяния на лице.

— Да в чем, собственно, дело? — спросил я дуайена.

— В чем дело? — с новым приливом раздражения откликнулся де Флерно. — Они хотят, чтобы я их информировал о платежном балансе Англии за прошлый год! Что за глупость!

— Простите,— сказал я, подымаясь со своего кресла и подходя к письменному столу,— разрешите взглянуть...

Я стал рыться в разбросанных на столе «Синих книгах». Быстро выбрав то, что было нужно, я полистал тяжелый статистический фоллиант и, взяв блокнот и карандаш, выписал на бумажке несколько цифр.

Де Флерно был так ошеломлен моими действиями, что сидел молча, точно онемев. На подвижном лице его отражались смешанные чувства изумления и растерянности. Я протянул послу бумажку с цифрами и спокойно сказал:

— Вот данные, которые вам нужны.

В нескольких дополнительных словах я дал необходимые пояснения.

Эффект был поразительный. Де Флерно был потрясен и смотрел на меня таким взглядом, точно перед ним стоял волшебник. На несколько мгновений он даже потерял дар речи. Когда это прошло, он порывисто схватил меня за руки и воскликнул:

— Спасибо! Спасибо! Вот выручили!.. Но как вы так ловко обошлись с ними?

И де Флерно кивнул на груды «Синих книг» с таким выражением, точно тут было неприятельское войско.

— Ничего особенного,— ответил я.— Просто я по образованию экономист и имел в жизни немало дел с английскими «Синими книгами».

— Ах, вы просто счастливец! — горячо продолжал де Флерно. — Вы разбираетесь в экономике... Ужасная пошла сейчас дипломатия: квоты, лицензии, балансы, пошлины, торговые соглашения... Голова кругом идет... Я во всех этих делах ровно ничего не понимаю... — И потом, точно вдруг рассердившись на кого-то, де Флерно с раздражением воскликнул: — И не хочу понимать! Я дипломат и экономистом быть не обязан!

Да, де Флерно действительно был дипломатом старой школы. Это я видел теперь собственными глазами. Однако для меня лично только что разыгравшийся инцидент оказался весьма полезным. Обнаруженное мной знакомство с тайнами английского платежного баланса произвело сильное впечатление на французского посла. Оно сразу подняло мой престиж в его глазах.

Когда вопрос о «Синих книгах» оказался исчерпанным, де Флерно перешел к вещам, ему более близким. Он стал расспрашивать меня о моей профессии, о моем прошлом, о семье. Поинтересовался, разумеется, бывал ли я раньше в Англии. В ответ я рассказал послу о моем первом визите сюда в годы эмиграции. Де Флерно сразу насторожился:

— Вы жили в Англии раньше в качестве эмигранта? — переспросил он, как бы желая проверить, правильно ли он понял меня.

— Да, жил раньше в качестве эмигранта,— подтвердил я.

— Когда это было? — с внезапно оживившимся лицом продолжал де Флерно.— Скажите точно.

— Впервые я приехал в Англию в ноябре тысяча девятьсот двенадцатого года,— отвечал я, не понимая, почему посла так интересует дата этого далекого события.

— В ноябре тысяча девятьсот двенадцатого года? — с еще большей ажитацией воскликнул де Флерно.— Ноябрь тысяча девятьсот двенадцатого! Сейчас ноябрь тысяча девятьсот тридцать второго! Ну, конечно, двадцать лет! Ровно двадцать лет!

На лице де Флерно проступило почти вдохновение. Я недоумевал: в чем дело?

Вдруг де Флерно стремительно бросился к одному из своих книжных шкафов и вытащил оттуда какой-то увесистый том. Он быстро полистал его и, остановившись в одном месте, глазами пробежал несколько строк. Потом с диким энтузиазмом воскликнул:

— Да, да, совершенно точно! И там тоже двадцать лет!

Мое изумление продолжало расти. Я никак не мог взять в толк, что так волнуется моего хозяина.

— Двадцать лет? — с недоумением повторил я.— Какие двадцать лет?

Де Флерно между тем продолжал:

— Замечательное историческое совпадение! Вы были в Англии в эмиграции и двадцать лет спустя прибыли в Англию послом. Во времена Французской революции Шатобриан тоже был в Англии в эмиграции и двадцать лет спустя тоже вернулся в Англию послом. Поразительно! История повторяется!

Де Флерю был в полном восторге и от избытка чувств начал бегать по кабинету из конца в конец.

— Я очень польщен вашим сравнением,— ответил я.— Но мне кажется, что между мной и Шатобрианом имеется существенная разница: Шатобриан был эмигрантом от революции и вернулся в Англию в качестве посла восторжествовавшей реакции, а я был эмигрантом от реакции и вернулся в Англию в качестве посла восторжествовавшей революции. Это не одно и то же.

— Вы полагаете? — с наивным удивлением спросил де Флерю.

И затем, точно найдя полное разрешение внезапно возникшим сомнениям, он радостно прибавил:

— Но все-таки... И там и там одно и то же: эмигрант и посол... Двадцать лет и двадцать лет... Замечательное совпадение! Второй случай в истории!

Приехав домой, я навел справку в энциклопедии. Де Флерю явно не везло с цифрами. Оказалось, что он и тут ошибся: Шатобриан приехал в Англию в качестве эмигранта в 1792-м, вернулся во Францию в 1800-м и прибыл в Лондон послом в 1822-м. Как ни считай, между первым и вторым появлением Шатобриана на берегах Темзы двадцать лет никак не выходило. Но что это значило для де Флерю? В мире цифр он был точно ребенок...

В течение последующих месяцев мне не раз приходилось встречаться и беседовать с де Флерю на разные темы. Хотя отношения между СССР и Францией в то время были не очень дружественны (а характер отношений между послами в основном определяется обычно характером отношений между их странами), де Флерю оказывал мне много внимания: должно быть, это было следствием моего первого визита к нему. В мае 1933 года он вышел в отставку и уехал во Францию. Официальный Лондон устроил ему пышные проводы. После того де Флерю занялся преподаванием истории и читал лекции в Сорбонне. Спустя несколько лет, незадолго до второй мировой войны, он умер.

## 6. ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ

Королевская семья вернулась в столицу, и вручение моих верительных грамот было наконец фиксировано на вторник, 8 ноября. Одновременно должен был вручать грамоты также новый германский посол Леопольд фон Хеш, прибывший на несколько дней позже меня. Монк предварил меня, что я буду считаться старшим по отношению к фон Хешу, так как король примет меня ровно на четверть часа раньше, чем немецкого посла.

— Вы приехали в Англию за несколько дней до господина фон Хеша,— пояснил глава протокольного отдела,— и по тому мы считаем справедливым дать вам старшинство...

Утром 8 ноября к зданию полпредства подъехали две пароконные придворные кареты на мягких старинных рессорах. Спереди сидели кучера в длинных темных кафтанах с пелеринами. На голове у них были блестящие цилиндры с галунами, на руках ярко-белые перчатки, а в руках вожжи и кнуты на длинных гибких древках. Облучки были подняты так высоко, что кучера возвышались над каретой. Сзади на специальных подножках, тоже возвышаясь над каретой, как какие-то величественные изваяния, стояли гайдуки в таком же облачении, как и кучера,— по два на каждую карету. Из первой кареты вышел главный секретарь министра иностранных дел В. Селби (впоследствии английский посол в Португалии) и, войдя в посольство, сообщил мне, что он будет сопровождать меня от посольства до дворца. Селби был в парадной форме, я — во фраке, с лакированными ботинками и в черном пальто, с блестящим цилиндром на голове. Когда мы с Селби спускались с крыльца, со всех сторон зашелкали аппараты набежавших фотографов. Собравшаяся у ворот публика, обмениваясь различными за-

мечаниями, с любопытством взирала на красочную церемонию. Гайдук выбросил из кареты складную трехступенчатую лестничку, и Селби поспешил возможно комфортабельнее устроить меня на мягком кожаном сиденье. Сам он поместился рядом со мной. Во вторую карету села моя «свита», которая состояла всего лишь из двух человек: Кагана и второго секретаря Голубцова. Затем кортеж тронулся через улицы и парки Лондона. Пешеходы останавливались и, раскрыв рты, подолгу смотрели нам вслед.

По дороге Селби в качестве любезного хозяина занимал меня разговорами. Сначала он довольно пространно объяснял, что есть разница в ритуале вручения грамот между посланцами и посланниками. У первых это обставлено более торжественно, чем у вторых. В частности, придворные кареты ездят только за послами. Посланникам приходится приезжать во дворец в собственных автомобилях.

— Но это, может быть, удобнее? — полушутя заметил я. — Во всяком случае быстрее.

— Помилуйте, — с легким возмущением воскликнул Селби. — Но ведь зато вся прелесть веков пропадает.

Так как я, однако, обнаружил слишком малую чувствительность к этой «прелести», то Селби решил переменить тему разговора. Совершенно неожиданно он вдруг заговорил о Кропоткине. Селби читал некоторые из произведений русского анархиста и отзывался о них очень сочувственно, почти восторженно. Он долго доказывал, что в идеях Кропоткина много интересного и увлекательного. Я спросил: к какой политической партии принадлежит сам Селби?

— Как государственный чиновник, — отвечал Селби, — я не принадлежу ни к какой партии. В Англии государственные служащие по положению беспартийны.

— Очень хорошо, — возразил я. — Как государственный служащий, вы официально не принадлежите ни к какой партии, но все-таки у вас имеются же какие-либо взгляды по различным вопросам политики, экономики, культуры. К взглядам какой из ваших партий они ближе всего подходят?

Селби был несколько озадачен такой постановкой вопроса и, подумав, медленно произнес:

— Мои взгляды, пожалуй, ближе всего к взглядам консерваторов... Однако Кропоткин мне также нравится. Мы, англичане, независимо от партий, больше индивидуалисты. А Кропоткин ведь яркий индивидуалист...

Между тем кареты приблизились к цели нашего путешествия. Вот мы уже въехали в каменные ворота дворца. Еще несколько зигзагов по широкому плацу перед дворцом, потом поворот в какую-то темную нишу под каменными сводами — и мы у широкого крыльца с часовыми в костюмах эпохи Тюдоров: черно-красные полосатые туники, низкие кожаные шляпы, белые гофрированные воротники и алебарды в руках. Вышли из кареты. Мой спутник сдал меня с рук на руки Монку. Пошли длинными коридорами и высокими залами дворца. Я с любопытством осматривал по дороге ковры, картины, старинную мебель. Наконец пришли в так называемый Зал поклонов. Здесь нас встретил лорд-чемберлен короля, играющий роль главного церемониймейстера. С ним было еще несколько придворных чинов.

— Подождите минутку, — произнес лорд-чемберлен. — Его величество вас сейчас примет.

Едва я успел обменяться рукопожатиями со всеми присутствующими, как вдруг дверь в соседний зал плавно открылась, и лорд-чемберлен пригласил меня следовать за ним. «Свита» моя, однако, пока еще осталась в Зале поклонов, так полагалось по ритуалу. Когда я переступил порог смежного зала, дверь за мной так же плавно закрылась, и я очутился лицом к лицу с Георгом V, «коротем Великобритании, Ирландии и Британских доминионов за морями, защитником веры, императором Индии».

Георга V считали очень похожим на его кузена Николая II. Теперь я мог в этом лично убедиться. Пожалуй, в осанке и в выражении лица английского короля было больше уверенности, чем в облике последнего русского царя. Одет он был в военную форму и явно старался придать себе бравый вид. В двух шагах от короля маячила фигура Саймона. Министр иностранных дел незаметно кивнул мне в знак приветствия.

Я подошел к королю, стоявшему в глубине зала, и, пожав протянутую мне руку,

вручил два запечатанных пакета — мои собственные верительные грамоты и отзывные грамоты моего предшественника. Король, не глядя на пакеты, машинальным жестом передал их Саймону. Никаких речей ни с моей стороны, ни со стороны короля не было; это не принято в Англии. Потом, устремив на меня любопытные глаза, Георг V спросил, благополучна ли была моя поездка и случалось ли мне раньше бывать в Англии. Я ответил, что по дороге все было в порядке и что Англия для меня — знакомая страна. Потом король поинтересовался, как чувствует себя после длинного путешествия моя жена, есть ли у нас дети и как я переношу английский климат. Я дал приличествующие случаю ответы и, говоря о климате, позволил себе легкое отступление от строгой официальности.

— Часто говорят, — с улыбкой заметил я, — что английский климат плох. Я этого не нахожу. Мне нравятся английский климат. Я не возражаю даже против ваших туманов. Право же, Лондон без туманов потерял бы половину своего шарма.

В том же ни к чему не обязывающем стиле разговор продолжался еще минуты две. Под конец король выразил надежду, что отношения между Англией и СССР будут развиваться благоприятно. Я выразил такую же надежду. На протяжении всей аудиенции это были единственные слова, которые имели какое-то отношение к политике.

Затем вновь плавно открылась дверь из Зала поклонов, и через нее ввели мою «свиту». Я представил Кагана и Голубцова королю, который обменялся с ними рукопожатиями, спросил, говорят ли они по-английски, и, получив ответы, слегка поклонился, давая понять, что аудиенция кончена. Мы тоже поклонились и вышли. Тем же путем, но в обратном направлении, нас провели к широкому крыльцу с тюдоровскими часовыми. Когда я сел в карету, к крыльцу подъехал совершенно такой же кортеж, как мой собственный, из него вышел фон Хеш со своею свитой. Немцев было значительно больше, чем нас. Полчаса спустя я уже подымался по крыльцу посольства.

Итак, я начал свое официальное существование как посол. На следующее утро, 9 ноября, в придворной хронике «Таймса» под датой 8 ноября было напечатано: «Сегодня утром король дал аудиенцию Его Превосходительству г. Ивану Майскому...» и т. д. Это сообщение также имело значение с точки зрения оформления моего положения.

Теперь оставалась еще одна церемония, без которой посол еще не был вполне посол, — визит жены посла в сопровождении супруга к королеве Мэри. Учитывая опыт моего предшественника, я опасался здесь каких-либо осложнений. Однако на этот раз все обошлось гладко. В день вручения верительных грамот Монк уведомил меня, что королева примет нас на следующий день. Утром в назначенный час мы с женой были в Букингемском дворце. Ехали мы туда уже не в придворных каретах, а в своем автомобиле. Никакой «свиты» с нами не было.

Королева Мэри, вынужденная «принимать» советского посла и его жену, умела хуже короля Георга скрывать свои чувства. Король по крайней мере внешне был корректно-любезен. Королева даже внешне была холодно-враждебна. Она встретила нас, стоя в своем будуаре, и даже не пригласила сесть. Во время разговора она смотрела на стену поверх наших голов. Да и что это был за разговор! Он состоял из двух ничего не значащих фраз и продолжался не больше двух минут. Затем королева поспешила сделать прощальный поклон. Нам тоже незачем было задерживаться.

От этого визита к королеве у меня осталось одно забавное воспоминание. Отправляясь на аудиенцию, моя жена надела свежие, только что купленные белые перчатки. Когда нас вели по коридорам дворца, она где-то провела рукой по перилам лестницы, и — о, ужас! — белые перчатки превратились в черные: так много было копоти и пыли в Букингемском дворце. Удивляться этому не приходилось. Воздух Лондона столь густо насыщен дымом, что, как ни чисти, вещи и люди здесь никогда не могут совсем избавиться от копоти.

Десятого ноября в лондонских газетах можно было найти такое сообщение: «Вчера королева приняла в Букингемском дворце мадам Мунир-Бей (жену турецкого посла), советского посла и мадам Майскую, германского посла (Леопольда фон Хеша), мадам Маскаренас (жену мексиканского посланника) и уругвайского посланника (сеньора Дон Педро-Козно)».

Показывая эту заметку Агния, я со смехом сказал:

— Ну, мы наконец уселись на свои стулья. Теперь надо приниматься и за дела.

Английский двор проявил в отношении советского посла ту официальную корректность, в которой он отказал моему предшественнику. Этот формально символический акт означал собой прогрессивную нормализацию отношений между СССР и Англией, а вместе с тем являлся симптомом роста силы и влияния нашей страны.

## 7. ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ПОСЛА

Предшествовавший опыт работы в Лондоне, Токио и Хельсинки привел меня к убеждению, что, помимо личных свойств дипломата, три основные вещи имеют исключительно важное значение для успеха его работы:

во-первых, хорошее теоретическое знакомство со страной, в которой он аккредитован, — этому помогают книги, газеты, журналы, доклады и другие печатные и письменные материалы;

во-вторых, хорошее практическое знакомство со страной, которое дают частые поездки, посещение ее городов, деревень, портов, промышленных предприятий, культурных учреждений, памятников старины, политических и общественных институтов;

в-третьих, широкая клавиатура связей в самых разнообразных кругах населения страны. Мало быть знакомым с чиновниками министерства иностранных дел и их непосредственным окружением. Дипломат должен иметь хорошие, живые контакты в среде политиков и журналистов, деловых людей и общественных деятелей, лидеров рабочего движения и служителей церкви, корифеев науки и профессиональных спортсменов. Дипломат не должен чуждаться инакомыслящих — наоборот, он должен быть связан по возможности со всеми партиями, со всеми группами, и чем шире, тем лучше. Конечно, тут возможны исключения, но чем реже они, тем лучше. Ибо в политике больше, чем где бы то ни было, следует руководствоваться правилом: никогда не говори «никогда»! Трудно предвидеть, когда, при каких обстоятельствах, для каких целей и какое из знакомств понадобится.

И еще одно. Чтобы быть полезной, связь должна быть живой и активной. Полезная связь — это частые встречи по делу и без дела, это дружеское внимание, приглашение в театр или на обед, поздравление с днем рождения или посылка какой-либо интересной книги. Поддержание каждой такой связи требует времени и сил. Ее нельзя надолго забрасывать. Ее надо постоянно освежать: всякая небрежность к человеку разведает его чувство к вам. Ослабевает взаимопонимание. Возникает отчуждение. Вот почему в данной области всегда надо быть начеку.

Все три только что перечисленные условия исключительно важны для успеха каждого дипломата, но особенно важны они для успеха посла или посланника.

Экзаменуя самого себя под указанным углом зрения, я приходил к выводу, что по первым двум пунктам я достаточно хорошо подкован. Мои прошлые контакты с Англией — в годы эмиграции и в период работы здесь в качестве советника посольства — дали мне большое количество теоретических и практических знаний об этой стране. Я даже написал несколько книжек, брошюр и статей о различных сторонах английской жизни. Конечно, за пять лет отсутствия из Великобритании я кое в чем отстал от современности, однако, поскольку основы у меня имелись, наверстать недостающее было не так трудно.

Иначе обстояло дело с третьим пунктом. Въезжая в Лондон, я мог назвать своими личными знакомыми несколько социалистов, в их числе Г. Н. Брэйльсфорда и Феннера Брокуэя, несколько левых писателей, среди них Г. Уэллса и Яффле, несколько лейбористских лидеров вроде А. Гендерсона и Д. Миндлтона, несколько тред-юнионистских лидеров вроде Д. Хикса и В. Ситрина, несколько либералов вроде В. Лейтона и Д. Теннанта. Были у меня еще знакомые по далеким временам эмиграции, ставшие с тех пор очень видными людьми: Рамсей Макдональд и Филипп Сноуден. Однако пережить ими с тех пор превращения были столь круты и радикальны, что гадать о характере отношений, которые могут сложиться между мной и ими теперь, когда я прибыл в Англию в качестве посла СССР, было очень затруднительно.

Хуже всего было то, что, приступая к своей дипломатической работе в Англии, я совершенно не имел личных знакомых среди влиятельных членов основной политической партии страны — консерваторов, а также в Сити, среди руководителей банков, промышленности, судоходства, торговли. А между тем именно в их руках была власть: в момент моего приезда в Лондон во главе Англии стоял кабинет Макдональда, который формально считался коалиционным, но на деле являлся махрово консервативным<sup>1</sup>. Вполне естественно, что с первых же моих шагов предо мной встал вопрос: как создать широкую клавиатуру связей, особенно среди консерваторов, без которой невозможна успешная работа посла.

Перед отъездом в Лондон я имел по этому поводу беседу с М. М. Литвиновым. Я выдвинул следующий план: дипломатический этикет предписывает вновь приехавшему послу сделать визиты другим иностранным послам в этой стране, а также некоторым ее государственным деятелям; данное правило можно толковать узко и ограничиться лишь визитами к дипломатам и руководителям министерства иностранных дел, его можно толковать и широко, включая в число лиц, которым посол делает визиты, также членов правительства, политических деятелей, хозяйственных заправил, представителей культуры. Так вот, я хочу расширить до максимума число моих визитов и таким путем сразу установить контакты с возможно большим количеством интересующих нас людей. Правда, столь большое расширение сети визитов может показаться не совсем обычным, но что из того? Почему, в самом деле, я, советский дипломат, должен рабски следовать феодально-дипломатическим канонам, установленным Венским конгрессом 1815 года? Сейчас другие времена, и в венские правила следует вносить разумные демократические нововведения. Кому же это делать, как не нам?

М. М. Литвинов согласился с моими аргументами и утвердил мой план. Он сделал только одно ограничение:

— Не ездите с визитами к банкирам из Сити: еще подумают, что мы их обхаживаем для получения более выгодных кредитов. Таким шагом мы можем лишь затруднить развитие англо-советских экономических и финансовых отношений.

Я обещал выполнить указание наркома. И вот теперь предстояло осуществить согласованный с М. М. Литвиновым план. Моя «визитная кампания» продолжалась около четырех месяцев. Она потребовала много нервов, много выдержки, но зато полностью оправдала мои расчеты. Конечно, я не смог превратить советофобских Савлов в советофильских Павлов, да я и не задавался столь утопической задачей. Но зато мне удалось установить личное знакомство с рядом видных представителей господствующего класса, заинтересовать их Советским Союзом и обеспечить себе возможность в дальнейшем поддерживать с ними постоянный контакт. Это было равносильно тому, как если бы в стене сплошной враждебности, окружавшей посольство, я пробил амбразуры. Сейчас я с полным убеждением могу сказать, что именно эта «визитная кампания» открыла мне дорогу к такому расширению наших связей в Англии, о каком до того нам не приходилось и мечтать.

## 8. МАКДОНАЛЬД И СНОУДЕН

Мой первый официальный визит после вручения верительных грамот был к премьер-министру Рамсею Макдональду.

Сознаюсь, я ехал на свидание с ним не без волнения. Дело было не в том, что мне впервые в жизни предстояло переступить порог знаменитого дома 10, Доунинг-стрит (резиденция премьер-министра) и лицом к лицу встретиться с главой британского правительства, — совсем не в том! Положение было гораздо сложнее и деликатнее.

Рамсей Макдональд был мой старый хороший знакомый далеких эмигрантских лет. В те годы он был лидером Независимой рабочей партии, стоявшей на левом крыле английского рабочего движения, и одной из крупнейших фигур Второго Интернационала, к которому тогда примыкала и РСДРП. В области идеологической между Макдональдом и мной уже в те времена имелись большие разногласия: я был марксистом, а Макдо-

<sup>1</sup> Из пятисот двадцати депутатов, входивших в коалицию, четыреста семьдесят были консерваторами.



нальд типичным «фабианцем»<sup>1</sup>, о котором В. И. Ленин писал, что он ведет «либеральную рабочую полигику»<sup>2</sup>. Революционные методы борьбы пролетариата были для Макдональда анафемой. Однако в вопросах практической полигики он иногда выступал так, что заслуживал одобрения даже со стороны Ленина<sup>3</sup>.

Когда пришла первая мировая война и в Англии началась шовинистическая вакханалия, Макдональд выступил против войны. Он исходил при этом из принципов буржуазного пацифизма, но тем не менее нашел в себе мужество лойги против течения, за что подвергся травле в печати, в политических кругах, с церковной кафедры. Это тоже расценивалось Владимиром Ильичем как положительное явление<sup>4</sup>. Исходя из других принципов, я тоже был противником войны, хотя и занимал в то время половничатую позицию меньшевика-интернационалиста. Борьба против войны невольно сближала нас, и мы иногда участвовали в одних и тех же антивоенных действиях.

Февральскую революцию в России Макдональд приветствовал с большой радостью и усматривал в ней начало конца первой мировой войны. Когда в мае 1917 года я покидал Англию, возвращаясь в Россию, Макдональд на прощанье сказал мне:

— Вот если бы Временное правительство прислало вас в Лондон в качестве посла!.. Мы бы с вами поработали над скорейшей ликвидацией войны.

С тех пор прошло пятнадцать лет, всего лишь пятнадцать лет! Но кажется, что протекли века, ибо мир за это время изменился до неузнаваемости. И как раз оба мы — и Макдональд и я — могли служить прекрасной иллюстрацией происшедших перемен. Тогда Макдональд был левым английским социалистом — теперь он был премьер-министром консервативного правительства Великобритании. Тогда я был меньшевиком, безвестным эмигрантом из царской России — теперь я был большевиком и полномочным послом СССР. Все это походило на сказку. Через несколько минут мы оба — Макдональд и я — снова встретимся лицом к лицу, однако в иной «эманации», чем пятнадцать лет назад. Какова будет эта встреча? Каков будет наш сегодняшний разговор?..

Такие мысли быстро мелькали у меня в голове, пока я ехал от посольства до резиденции премьера.

Высокий дородный лакей провел меня по длинному коридору и открыл дверь в кабинет премьера. Макдональд поднялся с кресла, в котором сидел, и сделал два шага мне навстречу. Мы обменялись рукопожатиями и сели у длинного зеленого стола, за которым обычно происходят заседания английского правительства.

В дальнем и этот длинный зеленый стол и вся эта большая комната с каминном, с кожаными креслами стали мне хорошо знакомы. Я видел здесь на премьерском кресле Макдональда, Болдуина, Чемберлена, Черчилля. Я не раз здесь разговаривал, спорил, волновался, огорчался, радовался. Я оставил здесь немало своих нервов и крови...

Но в то хмурое, чисто лондонское утро все это было впереди, в лоне того неродившегося будущего, которого еще никто не мог предвидеть. Я взглянул на Макдональда: тот ли это Макдональд или не тот? Внешне он мало изменился: такой же высокий, прямой и статный, каким я знал его раньше. Только голова совсем побелела да на лице проступили резкие морщины... И еще — в полупотухших глазах (а раньше они были такие яркие!) появилось выражение растерянности и беспокойства, какого в них прежде не было.

С Макдональда я перевел взгляд на стол. На календаре стояло: 15 ноября 1932 года. За окном по небу ползли тяжелые серые тучи, слегка моросило. Все вокруг отдавало холодом и скукой, и наша беседа с Макдональдом вначале носила холодно официальный характер. Правда, раза два во время разговора я уловил на своем лице быстрый

<sup>1</sup> В 1884 году в Англии было создано «фабианское общество», которое вплоть до настоящего дня является «мозговым трестом» реформизма в британском рабочем движении. Суть учения «фабианцев» сводилась к тому, что торжество социализма в Англии придет постепенно, почти незаметно, в порядке длинного ряда небольших частичных социальных и экономических реформ.

<sup>2</sup> В. И. Ленин Сочинения, т. 17, стр. 286.

<sup>3</sup> Там же, т. 20, стр. 206.

<sup>4</sup> Там же, т. 21, стр. 20, и т. 31, стр. 233.

щупающий взгляд премьера, точно он хотел сказать: «А ну, каков-то ты стал?» — однако это никак не отражалось на его поведении.

Прежде всего я поставил общий вопрос об англо-советских отношениях и указал, что на протяжении предшествовавших одиннадцати лет они не раз подвергались острым потрясениям и притом не по нашей вине. Я напомнил об ультиматуме Керзона (1923 год), о налете на «Аркос» и разрыве отношений (1927 год) и наконец сейчас, в 1932 году, об одностороннем денонсировании торгового соглашения.

— Не думаете ли вы, господин премьер,— продолжал я,— что пора бы покончить с этой странной политикой? Ведь советское государство существует уже пятнадцать лет. Все предсказания о его крахе лопнули, как мыльный пузырь. Оно крепнет и усиливается. Оно стало постоянным фактором международной экономики и политики. Это непреложный факт. А ведь англичане славятся своим умением считаться с фактами. В данном случае они делают какое-то странное исключение. Не следует ли вернуться к правилу?.. Советская сторона стоит целиком на базе «здорового смысла». Она хочет жить с Англией в мире и дружбе. Но вот хочет ли того же британская сторона? Я был бы рад слышать ответ на свой вопрос от вас, премьер-министра Великобритании. Ибо от этого зависит многое: не только благо наших обеих стран, но и благо Европы, больше того — благо всего мира.

Макдональд холодно выслушал меня и затем ответил:

— Могу заверить вас, что моему правительству чужды всякие агрессивные намерения в отношении СССР. Мы тоже хотим жить с вами в мире и дружбе. Мы тоже хотим разрешать все спорные вопросы под углом зрения «здорового смысла». Мы стремимся укрепить и развить мирные настроения, вообще улучшить атмосферу между нашими странами. Но у нас, в Англии, есть твердолобые, которые держатся иных взглядов. Прошу вас делать различие между правительством и твердолобыми и не придавать излишнего значения твердолобым.

Я заметил, что, к сожалению, наш опыт не подтверждает оптимизма премьера. Очевидно, твердолобые в Англии очень сильны, если в 1923 году они смогли бросить нам ультиматум Керзона, а в 1927 году довести дело до разрыва отношений. Как же с ними не считаться?

Макдональд стал доказывать, что я не прав. Из слов премьера вытекало, будто бы все сменявшиеся до сих пор британские правительства стояли в отношении СССР на базе «здорового смысла».

— Было только одно исключение,— продолжал Макдональд,— это история с налетом на «Аркос». Однако могу вам сказать, что даже и тут правительство Болдуина действовало не совсем наобум. Оно получило точные сведения о том, что в «Аркосе» хранятся компрометирующие документы. И, если бы налет не был произведен так нелено, эти материалы, несомненно, оказались бы в наших руках.

Я рассмеялся и воскликнул:

— Какая чепуха! Неужели вы можете в это верить?.. Джикс тогда провалился и выдумал всю эту историю в свое оправдание, а вы принимаете ее всерьез. Я сам был в Лондоне в момент налета на «Аркос», работал здесь тогда в качестве советника посольства и могу вас самым категорическим образом заверить, что никаких компрометирующих документов в «Аркосе» не было.

Макдональд недоверчиво покачал головой, но затем, махнув рукой, прибавил:

— Ну, не стоит об этом говорить... Дело прошлое!..

Затем Макдональд вновь заговорил о том, что британское правительство хотело бы наладить и укрепить англо-советские отношения.

Я ответил, что не вижу пока никаких конкретных проявлений этого намерения.

— Вы глубоко ошибаетесь! — с аффектацией воскликнул Макдональд. — Заявляю вам самым торжественным образом, что при денонсировании торгового соглашения у нас не было никаких политических мотивов. Нами руководили исключительно экономические соображения. Британская империя переживает сейчас момент великой перестрой-

ки: мы ввели тарифы и пытаемся создать имперское единство. Это заставляет нас пересматривать наши экономические отношения со всеми странами, не только с вами...

— Но почему все-таки,— прервал я Макдональда,— вы денонсировали торговое соглашение только с нами и ни с кем другим?

Тень прошла по лицу премьера, и с легким раздражением в голосе он ответил:

— Вы сами в этом виноваты. Мы уже неоднократно обращали ваше внимание на ненормальность англо-советского торгового баланса: вы у нас страшно много продаете и очень мало покупаете. Однако советское правительство было глухо ко всем нашим предупреждениям. Что нам оставалось делать? Вести с вами переговоры? Из собственного горького опыта я знаю, что вести переговоры с советским правительством нелегко. Вы прекрасно овладели всеми тонкостями кунктагорской тактики. Вот, чтобы избежать излишней потери времени, мы и решили денонсировать торговое соглашение с вами. Теперь в распоряжении сторон имеется ровно шесть месяцев, предусмотренных соглашением, для заключения нового договора. Никаких задержек и оттяжек не может быть.

Макдональд оказался плохим пророком: на самом деле англо-советские переговоры о новом торговом соглашении протянулись не шесть, а пятнадцать месяцев. Но и этого в то ноябрьское утро никто, конечно, еще не мог знать. Поэтому в ответ премьеру я с усмешкой заметил, что, очевидно, советское правительство умеет хорошо защищать интересы своей страны и что это можно поставить ему не в осуждение, а в заслугу. Как бы то ни было, но сегодня я позволяю себе приветствовать заявление Макдональда о желании британского правительства заключить с СССР новое торговое соглашение.

Затем я спросил, что англичанам не нравится в соглашении 1930 года.

Макдональд обрушился на принцип наибольшего благоприятствования. Этот принцип, по его мнению, неприменим к англо-советской торговле, поскольку в СССР торговля ведется государством. В результате СССР выигрывает, а Англия проигрывает. Премьер пояснил, что еще тогда, в 1930 году, когда он был главой лейбористского правительства, которое подписало соглашение, он считал, что СССР получает это соглашение «слишком дешево». Однако большинство лейбористских министров оказалось против него.

На этом официальная часть визита по существу закончилась, и я было уже собрался уходить, но Макдональд удержал меня и сказал, что у него есть еще один вопрос, по которому он хотел бы откровенно поговорить со мной. Я сразу насторожился.

Указав на пачку бумаг, лежавших перед ним на столе, Макдональд с нарочитой небрежностью заметил:

— Наш посол в Москве Овни прислал доклад о Коминтерне... Еще не успел его целиком прочитать.

И дальше началось то, что мне в те годы уже не раз приходилось слышать из уст министров и политиков буржуазных стран: Коминтерн, московские деньги, директивы Кремля, пропаганда в Англии, ответственность советского правительства за деятельность Коминтерна и т. д. Все было старое и знакомое. Ничего нового.

Я перебил премьера и сказал:

— К чему вы подымаете этот набивший оскомину вопрос? Спор между нашими правительствами о Коминтерне старый. Позиции твердо определились. Какой смысл вновь касаться данной темы? Мы стоим накануне торговых переговоров. Важно, чтобы они проходили в нормальной обстановке. Лучший способ отравить политическую атмосферу и затруднить эти переговоры — поднять шум о «пропаганде». Твердолобых в Англии много. Среди них уже замечается в последнее время какое-то оживление. Они ждут только сигнала, чтобы распрячься в полную силу и развернуть анти-советскую кампанию. Этого ли вы хотите?

Макдональд покачал головой и затем... На моих глазах произошло неожиданное превращение. Премьер вдруг сделал резкое движение, точно сбрасывая с себя чужую кожу, рассмеялся, полодвинулся ко мне и с видом человека, решившего быть до конца откровенным, заговорил:

— Послушайте, забудем на минутку, что я премьер Великобритании, а вы посол СССР! Будем говорить просто, как Макдональд и Майский... которые когда-то так часто встречались на Хоуит Роуд!<sup>1</sup>... Будем говорить как социалист с социалистом... Ведь вы же не можете отрицать, что Британская коммунистическая партия существует на московские деньги! Я сам прекрасно знаю и Поллита, и Ханнингтона, и других коммунистических лидеров... Да они без московских денег и московского руководства не просуществовали бы и недели!

Макдональд, очевидно, рассчитывал поймать меня, вспомнив Хоуит Роуд и обратиться ко мне как «социалист к социалисту»... Но пятнадцать лет, прошедшие с тех пор, меня многому научили, а зловещий путь предательства, проделанный за это время Макдональдом, был мне слишком хорошо знаком. Поэтому, выслушав спокойно премьера, я ответил:

— Позвольте в таком случае и мне сказать несколько слов — тоже не как советский посол британскому премьеру, а как Майский Макдональду... К чему кивать все время на Москву? К чему кричать о «московских деньгах»? Суть дела состоит в том, что, пока в Англии будет три миллиона безработных, внутренние осложнения в стране совершенно неизбежны, независимо от того, существует на свете Коминтерн или нет.

Макдональд круго повернулся на своем стуле и, снова приняв вполне официальный вид, уже совсем другим тоном произнес:

— Итак, как глава правительства я считаю нужным еще раз заявить, что денонсирование горгового соглашения отнюдь не является враждебным актом по адресу СССР. Британское правительство хочет поддержания и развития дружественных отношений с Советским Союзом.

Тем же тоном я ответил:

— Это вполне соответствует также стремлениям правительства, которое я представляю.

Я стал прощаться. Премьер поднялся и проводил меня до дверей кабинета. Здесь он как-то нерешительно остановился и вдруг совсем другим, человеческим голосом сказал:

— Сколько воды утекло с тех пор, как мы встречались с вами в Хемпстеде!<sup>2</sup> — И затем, показав на свои седины, прибавил: — Да, время бежит.

— Еще бы! — откликнулся я и показал на свою лысину. — Годы идут, и мы не молодеем. Но без комплиментов: вы хорошо сохранились.

Мое замечание явно понравилось Макдональду, и он еще более «потеплел». Стал вспоминать наши встречи, наши разговоры тогда, в далекие времена Хоуит Роуд. Потом, круго оборвав себя, он посмотрел на меня «пронзительным» взглядом и спросил:

— Вы большевик?

— Конечно! — ответил я. — Что за вопрос!

— Но ведь тогда вы были меньшевпком, — возразил Макдональд.

— Совершенно верно, тогда я был меньшевиком. Но революция кое-чему меня научила. — Я посмотрел искоса на Макдональда и с легким лукавством в голосе прибавил: — А ведь вы были тогда лидером Независимой рабочей партии!

Макдональд как-то неловко дернулся, тень прошла по его лицу. Он недовольно крикнул и ответил:

— Всякий учится по-своему.

Я усмехнулся. Потом, глядя прямо в лицо премьеру, сказал:

— А помните, как перед моим отъездом в Россию в 1917 году вы высказали пожелание, чтобы я вернулся в Лондон в качестве посла Временного правительства?

Макдональд слегка потер лоб и затем откликнулся:

— Да, да, вспоминаю!

— Так вот, — закончил я, — ваше пожелание исполнилось, но с одной существенной поправкой. Я приехал сюда послом не временного, а постоянного правительства революционной России.

<sup>1</sup> Адрес квартиры Макдональда в дни моей эмиграции.

<sup>2</sup> Хоуит Роуд расположена в районе Хемпстеда.

Макдональд еще раз потер лоб и прибавил:

— Да, я оказался чем-то вроде пророка.

Мы расстались.

Филипп Сноуден тоже был моим старым знакомым времен эмиграции. Вместе с Макдональдом Сноуден тогда играл крупную роль в Независимой рабочей партии. Выходец из мелкобуржуазных кругов, он получил скудное образование и постоянно пополнял его усиленным самовоспитанием. Сноуден сидел на скамьях парламента от Блэкберна — черного, закопченного ланкаширского города — и всегда искал случая вонзить в противника клинок своего красноречия. Именно клинок. Хромой, желчный, с острыми чертами лица, Сноуден был прекрасный оратор, но оратор едкого, язвительного, саркастического стиля.

Во время первой мировой войны Сноуден, подобно Макдональду, занимал пацифистски-антивоенную позицию и за это подвергался со всех сторон травле и заушениям. Однако он твердо вел свою линию. И, подобно Макдональду, Сноуден с энтузиазмом приветствовал февральскую революцию в России. В марте 1917 года он вместе с Макдональдом выступал на большом митинге в Кингсудей, посвященном этой революции. Сноуден произнес тогда очень сильную речь.

В мае 1917 года, уезжая в Россию, я зашел к нему домой попрощаться. Сноуден жил тогда в небольшом домике в Голдерс Грин (северо-западный район Лондона) и встретил меня с теплотой и дружелюбием, которые были не часты в этом озлобленном человеке. Мы сидели втроем — я, Филипп и его жена Этель — в кабинете хозяина и как-то особенно проникновенно говорили о русской революции и о перспективах, которые она открывала. Сноудены желали мне всякого успеха на родине и осторожно, намеками, выражали беспокойство за мою личную судьбу: ведь течение всякой революции так изменчиво! Ведь во время революции все может случиться!..

Теперь, спустя пятнадцать лет, мне захотелось возобновить это старое знакомство. Вернее, захотелось посмотреть, можно ли его возобновить. Ибо с того дня, когда я прощался со Сноуденами в Голдерс Грин, слишком много воды утекло и, насколько я слышал, слишком сильно изменились сами Сноудены. Все-таки я решил попробовать.

В темный ноябрьский вечер я ехал к Сноудену в его загородный дом, расположенный милях в сорока от Лондона, и мысленно перебирал события, совершившиеся в течение этого пятнадцатилетнего промежутка...

Этель Сноуден в 1920 году была в Москве в составе лейбористской делегации, посетившей Ленина, и вернулась из Советской России «совершенно разочарованной». Из всей великой революции она заметила, кажется, только клопов, которые атаковали ее в отведенной для делегации гостинице. Этель много выступала в Англии — устно и письменно — по поводу русской революции, и всегда враждебно.

Филипп Сноуден дважды, в 1924 и 1929—1931 годах, был лейбористским министром финансов в обоих кабинетах Макдональда, но не обнаружил при этом никакого стремления дать практическое выражение тем социалистическим идеям, которые когда-то, казалось, составляли душу его души. А осенью 1931 года, после провала второго правительства Макдональда, Сноуден вместе со своим шефом был исключен из лейбористской партии и перебежал к консерваторам, образовав вместе с Макдональдом эфемерную партию национал-лейбористов. Однако в коалиционном правительстве, сформированном Макдональдом в конце 1931 года, Сноуден не вошел и жил теперь «на покое», в отставке, изолируясь в остро отточенных сарказмах по адресу всего мира, а больше всего по адресу лейбористской партии и консервативного правительства, возглавляемого его лидером и другом. Каких-либо симпатий к Советскому Союзу Сноуден никогда не обнаруживал.

Да, все это не предвещало ничего хорошего. Тем не менее я не терял надежды: авось старые воспоминания согреют и оживят Сноудена? Авось он так или иначе сможет мне пригодиться в моей практической работе посла?..

Я застал Сноудена в гостиной. В камине ярко горел огонь. Хозяин сидел в кресле перед камином, погруженный в свои думы. Увидав меня, он с трудом поднялся и, опираясь на палку, прогнулся руку. Он стал еще худее, чем был пятнадцать лет назад, чер-

ты лица его еще более обострились, и на них, точно маска, легла печать горечи и сарказма. Человек с таким лицом не мог никого и ничего любить. Зато он мог ненавидеть.

Мы присели у камина. Беседа явно не клеилась. Я пробовал растопить лед воспоминаниями о прошлом, но не имел успеха. Со Сноуденом было куда хуже, чем с Макдональдом. Я перешел на вопросы текущей политики, в частности на торговые отношения между СССР и Англией. Это тоже не помогло. Видимо, перспективы англо-советской торговли Сноудена мало интересовали. Наоборот, вышел неприятный инцидент. Когда я коснулся препятствий, чинимых консерваторами развитию этой торговли, Сноуден вдруг, точно сорвавшись с цепи, бурно атаковал Коминтерн и его «пропаганду» в Англии. Мне пришлось перейти в контратаку, от чего общая атмосфера разговора не улучшилась.

Я понял, что попытки восстановить старое знакомство со Сноуденом кончились крахом. Дверь в прошлое была крепко захлопнута, а в настоящем между нами не было ничего общего.

Я поднялся со стула и стал прощаться. Хозяин меня не удерживал.

Больше Сноудена я не видел до самой его смерти, последовавшей в 1937 году.

## 9. ВАНСИТАРТ

Я хорошо помню свою первую встречу с Ванситартом. В 1932 году он занимал пост постоянного товарища министра иностранных дел и являлся вторым лицом в Форейн оффисе. Он принял меня в своем кабинете — большой угловой комнате в нижнем этаже министерского здания. Когда ливрейный служитель распахнул предо мной дверь, моим глазам представилась характерная картина: полусвет английских сумерек, книжные шкафы по стенам, длинный стол под зеленым сукном слева, большой камин справа, а прямо предо мной — высокая плотная фигура в прекрасно сшитом черном пиджаке и серых в мелкую клетку штанах (Ванситарт всегда одевался элегантно). Из кармана брюк висела длинная цепочка со связкой звенящих ключей на конце, забавно болтаясь и постукивая о кресло. Ванситарт стоял перед письменным столом и, слегка склонившись, что-то искал в разбросанных перед ним бумагах.

Эта картина навсегда запечатлелась в моей памяти. И не случайно: то был любимый костюм и любимая поза Ванситарта. Каждый новый визит к нему (а их было много) только повторял первое впечатление.

Ничего интересного в нашем первом разговоре с постоянным товарищем министра не было. Ванситарт в беседах с послами вообще был осторожен, а в данном случае — осторожен вдвойне. Он ни на чем не ставил особого ударения, не углублял ни одного серьезного вопроса, а лишь бегло касался самых разнообразных тем, быстро переходя с одного предмета на другой. Я тоже был осторожен и не хотел сразу как-либо ангажироваться. Поэтому я больше присматривался и прислушивался, чем говорил сам.

В результате мой первый разговор с Ванситартом, выражаясь дипломатическим языком, был выдержан в «протокольном стиле» и лишь в малой степени затронул текущие политические и экономические вопросы, в частности вопрос о предстоящих торговых переговорах. Но сам Ванситарт произвел на меня сильное впечатление. Я видел пред собой образованного и культурного человека с острым умом и недюжинной энергией.

В последующие годы я близко с ним познакомился, имел с ним много дел и стал лучше понимать его значение — не только как индивида, но и как яркого воплощения определенного, очень важного явления английской жизни.

Биография Ванситарта была выдержана в стиле людей его класса. Он окончил Итон — одну из самых привилегированных школ Англии, — в возрасте двадцати одного года поступил на службу в Форейн оффис, последовательно прошел все ступени дипломатической лестницы от атташе до советника, был личным секретарем министра иностранных дел лорда Керзона, занимал пост главного секретаря премьер-министра при Макдональде и наконец с 1930 года стал постоянным товарищем министра иностранных дел. На протяжении своей служебной карьеры Ванситарт много раз бывал за грани-

цей — в Париже, Стокгольме, Каире, Тегеране. Он мне как-то рассказывал, что в молодые годы по дороге из Персии домой проезжал через Кавказ и навсегда сохранил лучшше воспоминания об его красоте и величавости.

Однако Ванситарт был не только дипломатом и чиновником. Природа наделила его также писательскими дарованиями: он был поэтом, романистом, драматургом и публицистом. Постепенно он создал себе литературное имя, и то, что из его произведений я читал или видел на сцене, не оставляло сомнений в талантливости автора. Особенно хорошо он умел изображать пустую жизнь английского фешенебельного общества, которую так близко знал и к которой относился с большим презрением.

Все это вместе взятое делало Ванситарта очень интересным человеком. Он был первоклассным специалистом по вопросам внешней политики. Он прекрасно знал людей и нравы правящей верхушки. Он превосходно владел тремя языками. Он был чрезвычайно начитан в литературе — не только английской, но и иностранной, включая русскую. Вместе с тем Ванситарт был человеком сильной воли и крепкой административной хватки — на посту постоянного товарища министра он был настоящим хозяином Форейн оффиса. Еще важнее было то, что Ванситарт имел твердые убеждения. Вопросы внутренней политики его интересовали лишь постольку, поскольку они могли так или иначе отразиться на внешней политике Англии. Но зато в сфере внешней политики у Ванситарта была своя очень определенная линия, которой он был верен всегда и из-за которой ему приходилось в те годы немало страдать от интриг и нападок со стороны различных «умиротворителей» фашизма. Ибо Ванситарт тридцатых годов был вполне законченный германофоб, а отсюда франкофил и в дальнейшем до известной степени русофил. С той, впрочем, разницей, что франкофилом он был по чувству и воспитанию, а русофилом только по политическому расчету. Легко понять, как трудно было Ванситарту работать с таким министром иностранных дел, как Саймон, или позднее приспособляться к такому премьер-министру, как Невилл Чемберлен. Не удивительно также, что мюнхенская клика пыталась к Ванситарту вражду и перед самой войной сумела-таки «скушать» его, сделал это, впрочем, чисто по-английски, то есть в порядке формального повышения в чине: в 1938 году Ванситарт был назначен «главным дипломатическим советником британского правительства». Это означало, что он должен был покинуть активный и решающий пост постоянного товарища министра, уступив его А. Кадогану, и перейти на положение декоративного и мало влиятельного «мужа совета», привлекаемого к оперативным делам, если и когда того захочет глава правительства или министр иностранных дел. Так как ни Чемберлен (тогдашний премьер), ни Гэлифакс (тогдашний министр иностранных дел) не проявляли желания о чем-либо «советоваться» с Ванситартом, то по существу он попал в отставку.

Вторая мировая война сыграла большую роль в судьбе Ванситарта. Сначала она чрезвычайно подняла его авторитет: ведь все его пророчества касательно Германии оказались правильными. Однако Ванситарт не вернулся в Форейн оффис. У него в это время были иные планы. В 1941 году, получив титул лорда, Ванситарт уже формально вышел в отставку в связи с достижением предельного возраста<sup>1</sup>. Он хотел, перестав быть официальным лицом, получить большую свободу для развертывания антигерманской пропаганды. Он широко использовал эту свободу и в годы войны (особенно в первой ее половине) стал лидером германофобского движения в Англии, нередко скатываясь к чистому шовинизму.

Зато после окончания второй мировой войны Ванситарт, подобно многим другим британским империалистам, сделал крутой поворот и превратился в резкого противника Советского Союза. Впрочем, тут едва ли была какая-либо непоследовательность с его стороны. Англичане подобного типа молятся обычно одному богу — Британской империи. В тридцатых годах этому богу угрожала гитлеровская Германия, и Ванситарт был тогда германофобом. В наши дни этому богу угрожает — конечно, исторически, а не военно-стратегически — мощный подъем национально-освободительных движений в колониальных странах. Ванситарт очень плохо понимал движущие силы истории:

<sup>1</sup> В английской дипломатической службе предельный возраст шестьдесят лет, однако из этого правила довольно часто делаются исключения, особенно если речь идет о каком-нибудь видном работнике.

и потому объяснял пробужденные афро-азиатских народов и их борьбу против колониализма главным образом «происками коммунистов». В результате Ванситарт послевоенных лет превратился в советофоба. Но тут с ним произошла характерная метаморфоза: атакуя «мировую коммунизацию» и «советский империализм», он сразу потерял весь свой литературный талант и всю свою незаурядную эрудицию. Читая его произведения послевоенных лет, я часто просто диву давался: до какой степени антисоветские стрелы Ванситарта оказывались тупы. Вот что значит выступать против сил прогресса в развитии человечества!

Однако я забежал далеко вперед. В те дни, когда я попал в Лондон в качестве посла, Ванситарт, с точки зрения англо-советского сближения, имел еще положительную ценность. В те дни он был проводником политики, которая объективно служила делу мира. Именно поэтому у меня сравнительно скоро сложились с ним не только вполне корректные, но даже дружественно-дипломатические отношения. Вместе с тем, наблюдая близко работу Ванситарта, я стал понимать одну очень важную вещь в политическом механизме Великобритании. Я стал понимать, что хотя де-юре Великобританией правит парламент и выдвигаемый из его среды кабинет министров, де-факто эту задачу выполняет высшая бюрократия, прекрасным олицетворением которой являлся Ванситарт.

Как это происходило на практике?

Пример Ванситарта мог служить тому прекрасной иллюстрацией.

За то время, когда он занимал пост постоянного товарища министра иностранных дел (1930—1938), во главе Форейн оффиса сменялось четыре министра, принадлежавших к разным партиям и разным школам внешней политики: лейборист А. Гендерсон, национал-либерал Д. Саймон, консерватор мюнхенского толка С. Хор и консерватор анти-мюнхенского толка А. Иден. Но Ванситарт все время оставался на своем месте, сохраняя в своих руках очень большую власть и как глава аппарата и как авторитетный специалист в области международных отношений. За исключением, быть может, Идена, все остальные министры иностранных дел, с которыми Ванситарту пришлось работать, далеко уступали ему в знаниях и опыте. Это, естественно, давало ему большое преимущество над ними и открывало возможность для серьезного влияния на ход текущих дел. Для Гендерсона и Идена, со взглядами которых у Ванситарта было много точек соприкосновения, он являлся большой поддержкой, а для Саймона и Хора, политической линии которых Ванситарт не сочувствовал, он был большим препятствием.

Это не значит, конечно, что Ванситарт был в состоянии изменять общее направление внешней политики. Конечно, он не мог сделать ничего подобного. Однако его постоянная, упорная борьба против мюнхенцев внутри Форейн оффиса и — еще шире — в правительственных и парламентских кругах вообще до известной степени связывала Саймона и Хора. Едва ли можно сомневаться, что именно благодаря Ванситарту некоторые предательства этих махровых мюнхенцев были предупреждены. И, наоборот, едва ли можно сомневаться, что именно благодаря Ванситарту, вопреки этим махровым мюнхенцам, британским правительством были сделаны некоторые положительные шаги, которые иначе были бы невозможны. Так, летом 1934 года в переговорах со мной, начатых по его инициативе, он сделал важный шаг в деле разрядки напряжения, существовавшего раньше в англо-советских отношениях. Осенью того же 1934 года он сильно способствовал приему СССР в Лигу Наций. Его влияние в немалой степени облегчило поездку Идена в Москву в марте 1935 года. Ни Саймон, ни Болдуин не смогли всего этого предупредить, хотя сами мало сочувствовали такому развитию событий.

Положение, которое Ванситарт занимал в Форейн оффисе, не представляло ничего исключительного. Оно вполне соответствовало общей системе. Вековая практика британской государственности выработала метод своеобразного дуализма в управлении страной — сочетание парламентских министров с бюрократическими управляющими министерствами. По существующим правилам министрами могут быть только члены палаты общин или палаты лордов. Специалистов по различным отраслям государственной деятельности среди них немного. Обычный тип английского парламентария — это политик, который умеет хорошо говорить и кое-что знает все, но толком не знает ничего. Таковы даже лучшие из парламентариев, даже те, кто обладает широким политическим



горизонтом и имеет определенные взгляды в области внешней и внутренней политики. Исключения, конечно, бывают, но они лишь подтверждают правило.

Между тем нормы британского парламентаризма требуют, чтобы правительство состояло не просто из членов парламента, но только из членов той партии или той коалиции партий, которая в данный момент стоит у власти. Это еще больше суживает выбор людей, могущих быть министрами. Обычно при распределении портфелей лидер господствующей партии руководствуется различными политическими или внутрипартийными соображениями: надо дать портфель такому-то, потому что он является представителем такой-то влиятельной группы в партии; надо дать портфель такому-то, потому что, если его обойти, он может стать неудобным критиком правительства; надо дать портфель такому-то, потому что он принадлежит к такой-то очень знатной семье; надо дать портфель такому-то, потому что он ловкий демагог и может оказаться полезным для воздействия на широкие массы; надо дать портфель такому-то, ибо он влиятельный газетный король, который может оказать большие услуги правительству, и т. д. и т. п. Момент профессиональной пригодности для занятия того или иного министерского поста при этом играет совершенно второстепенную роль. Случайно момент профессиональный и момент политический могут совпасть, но это бывает очень редко, особенно если вспомнить, как часто английские министры меняют свои портфели. В результате, как правило, средний английский министр мало знаком со сферой деятельности своего министерства, в лучшем случае является лишь поверхностным дилегантом в данной области. И, конечно, по-настоящему руководить работой министерства он не может.

Вот тут-то и выступает на сцену постоянный товарищ министра, который имеется в каждом министерстве. Он не политик, а чиновник, он сидит годами, иногда десятилетиями на своем месте и не меняется со сменами правительства. Этот постоянный товарищ министра прекрасно знает свое дело, часто он является профессионалом-специалистом в данной отрасли государственного управления. Он держит в своих руках аппарат, он подготавливает для министра все вопросы, он снабжает его всеми необходимыми материалами и, конечно, оказывает на него сильнейшее влияние. В Англии считается само собой разумеющимся, что министр должен действовать в соответствии с «советами», даваемыми ему постоянным товарищем министра. Это вековая традиция, а ведь сила традиций в Англии огромна. В итоге постоянные товарищи министров в подавляющем большинстве являются подлинными руководителями ведомств. Разумеется, не все постоянные товарищи министров столь энергичны и способны, как был Ванситарт, но это не меняет существа дела. Помню, Беатриса Вебб, о которой речь будет ниже, как-то в разговоре со мной сказала:

— Конечно, парламентское правительство в общем проводит политику господствующих классов, однако, говоря технически, оно больше царствует, чем управляет. Действительно управляет Англией и империей высшая бюрократия. Собрание постоянных товарищей министров из разных министерств легко могло бы заменить собой парламентское правительство. Но только это было бы правительство, построенное на сугубом подчеркивании принципа: «Осторожность прежде всего!» Вы не можете себе представить, до какой степени английская бюрократия не любит риска.

В этих словах старой социалистки много правильного. Мои наблюдения над Англией (а они охватывают почти двадцать лет в старое и новое время) тоже подтверждают, что эта страна с точки зрения административной держится прежде всего своей бюрократией — знающей, опытной, умной, изворотливой. Ванситарты спасают Саймонов и Болдуинов, но оставляют им все почести и лавры: по английской традиции *civil servants* (чиновники) должны держаться в тени, а политики должны разыгрывать роль настоящих хозяев. Но Ванситарты не сердятся, в конце концов ведь и те и другие служат одному и тому же делу, поклоняются одному и тому же «богу».

## 10. ЛЛОЙД-ДЖОРДЖ

Имя Ллойд-Джорджа было известно мне с юности. Я знал, что он сын народного учителя и сделал совершенно феерическую карьеру, пройдя путь от мелкого провинциального адвоката до премьер-министра Великобритании. Я знал, что Ллойд-Джордж

замечательный оратор и ловкий стратег в сложном лабиринте британской политики. Я знал, что Ллойд-Джордж главный организатор победы над Германией в первой мировой войне и один из творцов недоброй памяти Версальского договора. Я знал, что Ллойд-Джордж большой мастер социальной демагогии и как таковой оказал немало услуг английской буржуазии до и после первой мировой войны. Не случайно В. И. Ленин называл его «специалистом по части одурачивания масс»<sup>1</sup>. Я знал, что Ллойд-Джордж был первым государственным человеком Запада, который прорвал политическую блокаду Советской России и де-факто признал советское правительство в 1921 году. Я знал, наконец, что Владимир Ильич характеризовал Ллойд-Джорджа как «одного из опытных, чрезвычайно искусных и умелых вождей капиталистического правительства»<sup>2</sup>. Все это вместе взятое создавало у меня большой интерес к личности Ллойд-Джорджа, и я с особенным чувством подъезжал 30 ноября 1932 года к огромному зданию на Миллбэнк, где в то время среди многих других контор и учреждений помещалось бюро Ллойд-Джорджа.

У лифта меня встретил его секретарь и приветствовал на русском языке. В ответ на мой удивленный взгляд секретарь поспешил заметить, что по поручению своего шефа он изучил наш язык и ежедневно передает ему содержание «Известий». Бюро Ллойд-Джорджа помещалось в одном из верхних этажей, и пока секретарь ходил докладывать о моем прибытии, я бросил беглый взгляд в окно. Картина была поразительная: ажурные башни парламента; Темза с тонкими ниточками мостов и сотнями барж и пароходов; дальше, за Темзой, необозримое море каменных домов; и над всем этим — легкая дымка тумана.

С низким поклоном секретарь пригласил меня войти в кабинет Ллойд-Джорджа. Я переступил порог и на мгновение остановился. Навстречу мне из-за стола живо встал, почти вскочил хозяин и тепло приветствовал сердечным рукопожатием. Передо мной был человек невысокого роста, но крепкого сложения, прочно стоящий ногами на земле. Первое, что поражало в нем, были ярко-голубые блестящие глаза и огромная шапка снежно-белых, слегка взлохмаченных волос. Эти волосы окружали голову, точно волшебное сияние. Такие же снежно-белые усы были подстрижены по-русски. Одет Ллойд-Джордж был в светло-серый с голубоватым отливом (под цвет глаз!) костюм, на длинном черном шнурке висело золотое пенсне, которым хозяин в ходе разговора весьма искусно манипулировал. По серебру волос и по возрасту (семьдесят лет!) Ллойд-Джорджа следовало бы отнести к разряду стариков. Однако слово «старик» как-то плохо вязалось с его внешностью: в голосе Ллойд-Джорджа, в его жестах и движениях чувствовалось еще так много силы и энергии, а в его румяно-загорелом лице было еще так много свежести и здоровья! Я знал, что незадолго перед тем Ллойд-Джордж тяжело болел: опасались даже за его жизнь. Но сейчас никаких следов болезни нельзя было заметить.

В голове мгновенно мелькнуло: «В прошлом Ллойд-Джорджа часто называли «маленьким валлийским волшебником»... Похож ли он на волшебника?» Я как-то по-новому взглянул на Ллойд-Джорджа, и само собой сложилось заключение: «Да, похож!» Оденьте его в звериные шкуры, взлохматьте еще больше его снежно-белую гриву, дайте посох в руки, бросьте в чашу лессв — чем не волшебник из старинной народной сказки?.. Этот образ внезапно встал передо мной с такой яркостью, что реальный Ллойд-Джордж должен был дважды пригласить меня сесть, прежде чем я вернулся в деловое, прозаическое бюро на Миллбэнк.

Ллойд-Джордж заговорил первый. Он начал с вопросов — быстрых, острых, пронизывающих, неугомонных. Он хотел знать, что сейчас делается в Советском Союзе.

— Расскажите мне все подробно, — почти повелительно воскликнул он, — меня все интересует.

В немногих словах я постарался изложить все, что мог, о наших достижениях и наших трудностях. То был конец первой пятилетки, и трудностей тогда было больше, чем достижений. Мы были, однако, бодры и полны надежд на будущее. Я заверил Ллойд-Джорджа, что мы скоро выйдем из полосы наиболее тяжелых испытаний

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения. т. 18, стр. 246.

<sup>2</sup> Там же, т. 33, стр. 120.

и справимся с продовольственными и иными неполадками, если, конечно, не помешает международная ситуация.

Ллойд-Джордж слушал меня очень живо и внимательно. Часто перебивал и задавал дополнительные вопросы. Понимал все с полуслова. Из моих сообщений его особенно поразило, что к тому моменту грамотность в СССР достигла восьмидесяти процентов. Он не думал, что цифра эта так высока. Очень интересовался он также нашим дорожным строительством и все хотел выяснить, на что мы сейчас делаем ставку: на железные дороги или на шоссейные пути?

Когда я кончил, Ллойд-Джордж вдруг неожиданно спросил:

— Кто у вас министр земледелия?

Я назвал товарища, который в то время занимал пост народного комиссара. Ллойд-Джордж опять спросил:

— А что, он хороший организатор?— И затем, еще не дав мне ответить, пояснил:— С промышленностью вы справились. Если у вас тут и имеются еще кое-какие затруднения, не беда. Они изживутся. Вот деревня — совсем другое дело. Здесь ваше слабое место. Мало построить колхозы и совхозы. Их надо еще наладить, пустить в ход.

Я ответил, что мы тоже прекрасно понимаем всю важность налаживания новой формы советского земледелия. И не только понимаем, но и делаем для этого все возможное.

Ллойд-Джордж взял со стола лежавший перед ним номер «Дэйли телеграф» и, тыкая в него пальцем, воскликнул:

— Вот Мартин Мур уверяет, будто бы ваша пятилетка провалилась. Это вообще сейчас модная тема в Европе. Какая чепуха! Самое худшее, что может с вами случиться, это то, что вы закончите свою пятилетку не в пять, а в семь-восемь лет. Неприятно, конечно, но не смертельно. Пятилетка все-таки будет осуществлена, и Россия превратится в великую индустриальную державу.— И затем, подумав мгновение, Ллойд-Джордж прибавил:— Ваша пятилетка — самое важное из всего того, что сейчас делается в мире. Исход ее будет иметь колоссальное значение для человечества. Вот попомните: если пятилетка окажется успешной, у вас найдется масса раздражителей повсюду, в том числе и в Англии. А если пятилетка провалится (во что я не верю), то социализм и коммунизм будут отброшены по крайней мере на целое поколение назад.

Я заметил, что никто у нас не сомневается в торжестве пятилетки, если только не помешает война.

Ллойд-Джордж сразу как-то подобрался и задумался. Потом он заговорил:

— Вы говорите: война... Но откуда может прийти война? Из Европы? Не думаю. Кто будет с вами воевать? Англия? Нет, это совершенно невероятно. У Англии сейчас и без того достаточно хлопот: Индия, Оттава<sup>1</sup>, безработица, военные долги, падение фунта, колоссальное сокращение внешней торговли... А сверх того, английские рабочие никогда не допустят войны против России!.. Франция? Но у Франции тоже достаточно собственных забот: Германия, военные долги, вассалы, которые все время тянут с нее деньги... И, кроме того, неужели вы думаете, что французский солдат пойдет умирать за польские границы? Никогда! Французский солдат, пожалуй, еще выступит против немца, но воевать за Польшу? С какой стати?.. Кто же еще может вам грозить? Польша? Но что она в состоянии сделать одна, да еще в обстановке отчаянных внутренних трудностей? К тому же Польша сейчас гораздо больше опасается столкновения с Германией, чем с вами... Нет, я не вижу, кто в Европе мог бы напасть на вас. Я, правда, не упомянул в своем перечислении Германии, но... собственных хлопот и у Германии хватит по крайней мере на два поколения... Вы видите, весь Запад страдает от последствий войны 1914—1918 годов. Кому же придет здесь в голову начинать новую войну?..

События, как известно, разошлись с ожиданиями Ллойд-Джорджа. Германия, вскопавшая гитлеровской Германией, развязала всего лишь через семь лет после нашего разговора вторую мировую войну, во время которой она атаковала СССР. Политика же Англии, Франции и Польши в течение этих семи лет только поощряла империалистиче-

<sup>1</sup> Ллойд-Джордж намекал на состоявшуюся осенью 1932 года имперскую конференцию в Оттаве, где был решен вопрос о переходе Англии от свободной торговли к протекционизму.

скую агрессивность Германии. Уже тогда мы, советские люди, предчувствовали возможность таких событий. Оптимизм Ллойд-Джорджа казался мне недостаточно обоснованным.

Я высказал ему эту мысль и затем прибавил, что громадный рост вооружений, который происходит в Европе в последние годы и по поводу которого сейчас разыгрывается столь недостойная комедия на конференции по разоружению в Женеве<sup>1</sup>, заставляет нас сильно насторожиться. А к тому же, кроме Европы, имеется еще Дальний Восток...

— Да, да,— сочувственно откликнулся Ллойд-Джордж,— Япония представляет собой большую опасность.

Я это подтвердил и рассказал Ллойд-Джорджу кое-что из моих собственных наблюдений над тогдашними тенденциями японской внешней политики.

Узнав, что я проработал два года в Токио, Ллойд-Джордж снова засыпал меня вопросами. Больше всего он интересовался личностями: что из себя представляет император Хирохито? Что за человек генерал Танака? Сможет он стать диктатором Японии или не сможет? Как смотрят в Японии на японского посла в Лондоне Мацудайра? Считаются с ним или не считаются? И т. д. В меру возможности я старался удовлетворить любопытство Ллойд-Джорджа. И, когда тема о Японии наконец была исчерпана, я суммировал:

— Теперь вы видите, мистер Ллойд-Джордж, что наши опасения насчет возможности войны вовсе не так безосновательны.

Ллойд-Джордж возразил:

— Вижу. Но вижу также, что они преувеличены. Впрочем, вашу психологию я хорошо понимаю: испытав интервенцию 1918—1920 годов, вы, конечно, не можете думать и чувствовать иначе.

Упоминание об интервенции сразу отбросило мысль Ллойд-Джорджа к далекому прошлому. По его живому лицу пробежала хитрая усмешка, и он воскликнул:

— Интервенция!.. А знаете ли вы, что даже в 1918—1920 годах в Англии, в сущности, никто серьезно ее не хотел? Я сам решительно возражал против интервенции. Бонар Лоу тоже был против. Бальфур был скорее против, чем за. Наши либералы и лейбористы не хотели и слышать об интервенции. Даже наши военные относились к ней без всякого энтузиазма, особенно тогдашний начальник генерального штаба сэр Генри Вильсон. Военные считали, что Россию нельзя завоевать и что если бы даже иностранным войскам временно удалось занять Петроград и Москву, то затем, после ухода этих войск домой, в России опять воцарился бы хаос. Поэтому военные не сочувствовали планам интервенции.

Я подумал: «Да, теперь, четверть века спустя, ты хочешь снять с себя ответственность за интервенцию, а что ты скажешь о меморандуме из Фонтенбло?»<sup>2</sup> А как расценивать тот факт, что в течение 1918—1920 годов ты возглавлял правительство, которое проводило интервенцию?..»

<sup>1</sup> Мировая конференция по разоружению была созвана Лигой Наций в Женеве 2 февраля 1932 года. В течение 2—24 февраля происходили общие прения по вопросам разоружения, во время которых М. М. Литвинов от имени СССР внес предложение о полном разоружении, указывая, впрочем, что, если данное предложение не будет принято, СССР готов поддержать любое другое предложение, реально обеспечивающее сокращение вооружений. Однако империалистические державы, собравшиеся на конференцию, не желали действительного разоружения или хотя бы существенного сокращения вооружений — поэтому в течение последующих пяти месяцев различные комиссии и комитеты конференции, отказавшись от мысли о «количественном» разоружении, то есть о сокращении всех вооружений на определенный процент, тщетно ломали голову над проблемой «качественного» разоружения, то есть запрещения державам иметь определенные виды оружия, признаваемые «агрессивными». Так как эксперты оказались не в состоянии прийти к соглашению о понятиях «агрессивного» и «не агрессивного» оружия, то 23 июля 1932 года конференция по разоружению разошлась «на летние каникулы» и больше уже не собиралась.

<sup>2</sup> Во время Версальской конференции Ллойд-Джордж 25 марта 1919 года представил так называемый «Меморандум из Фонтенбло», в котором делал первый набросок будущего мирного договора. Этот меморандум был резко заострен против «большевистской опасности» (см. D. Lloyd-George. The truth about peace treaties. 1938. London, v. 1, p. 407).

Вслух же я сказал:

— Вы говорите, что никто в Англии не хотел интервенции, и все-таки она произошла. Как это объяснить?

— Во всем виноват Уинстон Черчилль! — еще более горячо воскликнул Ллойд-Джордж. — Нельзя отрицать, что настроения против большевизма в то время в Англии были сильны, однако, не найди они организатора и руководителя крупного масштаба, все, вероятно, ограничилось бы газетным шумом и громкими речами. Но тут выступил Черчилль. Он человек сильной воли и большой энергии. К тому же он неукротим, если заберет себе что-нибудь в голову. С января 1919 года я был на Парижской мирной конференции и провел вне Англии почти семь месяцев. Домой удавалось наезжать только урывками и на короткое время. Черчилль воспользовался этим положением и вместе с наиболее безответственными элементами консервативной партии заварил всю кашу. Когда осенью 1919 года я вернулся в Англию, то стал тушить пожар, но это удалось мне не сразу: машина интервенции уже была пушена в ход.

Ллойд-Джордж погрузился в воспоминания. По лицу его опять пробежала усмешка, и он с горечью сказал:

— До чего Черчилль упрям! Я помню такой случай: в самом конце 1920 года, когда уже ясно было, что интервенция умерла, Черчилль однажды привез ко мне в Чекерс<sup>1</sup> Савинкова. Черчилль тогда все еще носился с планами крестового похода против большевиков и после разгрома Юденича, Деникина, Врангеля пскал теперь нового «вождя» для вашего белого движения. Он облюбовал Савинкова, вызвал его в Лондон и стал вводить в политические круги. Так Савинков попал в Чекерс. В тот вечер у меня были Сноудены. Миссис Сноуден села за рояль, а Савинков под ее аккомпанемент исполнял русские песни... Однако «вождем» белых Савинков не стал. Из затей Черчилля ничего не вышло. Эпоха интервенции кончилась.

Итак, все дело, оказывается, было в упрямстве Черчилля!..

Ллойд-Джордж замолчал на мгновение и затем продолжал:

— Много ошибок мы сделали в эпоху прошлой войны из-за того, что не имели правильной информации из России... В начале войны к вам в качестве представителя нашего генерального штаба был послан Нокс..

— Не тот ли самый, который позднее был при Колчаке, — поинтересовался я, — а сейчас в качестве депутата парламента специализировался на неустанном советодестве?

— Он, он самый! — со смехом откликнулся Ллойд-Джордж. — В интересах справедливости должен, однако, сказать, что в те годы Нокс правдиво сообщал нам, не жалея красок, о разрухе, коррупции, неспособности чиновников и т. д. в старой России. Он возмущался также тем, что царское правительство, которое не имеет оружия для фронта, находит его для расстрела стачечников в тылу. Доклады Нокса носили столь резкий характер, что Китченер, бывший тогда военным министром, сместил его с занимаемой должности. Я вмешался, и Нокс был восстановлен, но ему было запрещено писать доклады на том основании, что они содействуют слишком пессимистическому представлению о России... Каково?! Наше военное министерство просто не хотело знать правды.

Ллойд-Джордж на минутку остановился и затем продолжал:

— Помню еще такой эпизод. В начале тысяча девятьсот семнадцатого мы отправили в Петроград специальную миссию во главе с лордом Мильнером — одним из наших лучших людей — для того, чтобы на месте выяснить, что же такое происходит в России?.. До нас доходило много тревожных слухов, имелся ряд угрожающих симптомов, но толком мы ничего не знали... Вот и решили послать Мильнера. Мильнер был умный человек, но до мозга костей бюрократ. Народ, массы для него не существовали. Он их не видел, не понимал... Мильнер прибыл в Петроград 29 января 1917 года, пробыл там недели три, виделся с представителями правительственных кругов и петроградского «высшего общества», вернулся в Англию 2 марта и уверенно заявил: «Все обстоит благополучно, никакой революции не будет до окончания войны!» А ровно

<sup>1</sup> Чекерс — официальная загородная резиденция английских премьер-министров.

через тринадцать дней разразилась революция!.. Вот вам цена официальных обследований.— Ллойд-Джордж вдруг сделал хитрое лицо, и глаза его сверкнули.— Признаюсь, я не очень поверил Мильнеру,— усмехнулся он,— чуть мне говорило, что в Петрограде назревает буря... С Мильнером в качестве одного из секретарей ездил мой земляк Дэвис — ныне лорд Дэвис — молодой паренек, мышсленый, живой, наблюдательный. Когда он вернулся в Лондон, я вызвал его и спросил, что он думает о положении в России. Дэвис дал оценку, прямо противоположную мильнеровской. Дэвис встретил в Петрограде своего дальнего родственника, постоянно там живущего. Этот родственник не имел отношения к высшему обществу, но зато он знал русский народ. Он повел Дэвиса на базары, на фабрики, познакомил со студентами, с интеллигенцией... И Дэвис мне прямо заявил: «Со дня на день ждите в России революции». Так оно и вышло...

От воспоминаний о прошлом Ллойд-Джордж перешел к родственной теме — он сообщил, что пишет сейчас свои мемуары о войне, первый том которых выйдет в 1933 году. В его распоряжении имеется огромное количество материалов, в том числе весьма сенсационных.

— Когда книга появится,— с довольным смехом прибавил Ллойд-Джордж,— подыметса вой... не только в Англии, но и в других странах. Что же, я к этому готов! Мне не впервой выходить на бой с врагами.

В мемуарах Ллойд-Джордж намерен был особый раздел посвятить России. Однако ему не хватало некоторых важных данных относительно войны на Восточном фронте, и он сказал, что был бы очень благодарен мне, если бы я помог ему получить эти данные.

Я обещал Ллойд-Джорджу свое содействие и сдержал свое слово. В связи с просьбой либерального лидера я не раз обращался в НКВД и получал оттуда материалы, нужные ему. Старик был очень доволен. Осенью 1933 года он преподнес мне первый том своих мемуаров с авторской надписью, которая гласила: «Мистеру Майскому с благодарностью за ценную информацию о положении русской армии во время кампаний 1914—15 и 1916 гг. Д. Ллойд-Джордж. 10 сентября 1933 г.».

Слушать Ллойд-Джорджа было очень интересно, но у меня имелись и свои собственные вопросы. Главным из них были предстоящие переговоры о новом торговом соглашении. Между Ллойд-Джорджем и мной произошел большой разговор на эту тему, который дал мне много для оценки сложившейся ситуации. Ллойд-Джордж рекомендовал нам взять твердую линию в переговорах и заверял, что в этом случае консерваторы вынуждены будут пойти советской стороне на уступки. Я ответил, что твердости нам не занимать, и выразил удовлетворение по поводу прогноза моего собеседника. Как показали дальнейшие события, Ллойд-Джордж в данном случае оказался прав.

В связи с вопросом о торговых переговорах Ллойд-Джордж опять пустился в воспоминания:

— Я знал Красина — это был очень умный, образованный и честный человек. Он был муж здравого смысла, и я всегда верил его слову. Очень жаль, что Красин умер так преждевременно. С Чичериным я познакомился в Генуе, где он показал себя хорошим дипломатом. Положение Чичерина было нелегкое: ему одному приходилось выступать против всех нас. Но он справлялся со своей трудной задачей прекрасно: всегда умел ударить в слабое место противника и крепко защитить свое слабое место. Кстати, как поживает Чичерин? Что он делает сейчас?

Я рассказал Ллойд-Джорджу о болезни Чичерина. Ллойд-Джордж выразил сожаление и затем сказал:

— У вас теперь комиссаром по иностранным делам Литвинов — это хороший выбор. Литвинов очень умный человек и к тому же не фантаст. Стоит ногами на твердой земле.

Я это подтвердил и со своей стороны сказал несколько слов, рисующих Литвинова в благоприятном свете.

Когда я поднялся и стал прощаться с хозяином, Ллойд-Джордж воскликнул:

— Мы должны с вами опять встретиться. Помните, вы всегда можете рассчитывать на меня.

Действительно, в ходе последовавших затем торговых переговоров либеральный лидер оказал нам весьма существенную помощь.

Так началось мое знакомство с Ллойд-Джорджем. Оно продолжалось в течение всех одиннадцати лет моей работы на посту советского посла в Англии.

Больше всего меня поражали в личности Ллойд-Джорджа две черты.

Во-первых, его изумительная, какая-то почти сверхчеловеческая живость. Все его восприятия, реакции, чувства, мысли, даже жесты и движения были воистину молниеносны, точно в его мозгу помещался конденсатор высочайшего интеллектуального напряжения, который при малейшем раздражении извне рассыпал вокруг тысячи блестящих искр.

Во-вторых, в Ллойд-Джордже меня всегда поражал уровень его мышления. События он понимал сразу, отвечал мгновенно и притом ярко, остро, законченно. Чем ординарнее человек, тем меньше он способен подняться до понимания вещей основных, первостепенных, которые в конечном счете решают все. Ординарный человек слишком часто из-за деревьев не видит леса. Не таков был Ллойд-Джордж. Конечно, классовая ограниченность ставила определенные рамки его проницательности (до конца жизни он так и не смог, например, понять, что человечество вступило в эпоху социализма), однако в отпущенных ему положениях и истории пределах Ллойд-Джордж в своих суждениях о людях, событиях, явлениях всегда умел отметить все временное, случайное, неважное и видеть главное и основное. Оттого на всех таких суждениях Ллойд-Джорджа лежала печать необыкновенной простоты — той простоты, которая дается лишь большим умом и большим знанием.

Однако были у Ллойд-Джорджа и крупные недостатки, которые подчас вытекали как раз из его достоинств. Конечно, гибкость — большое достоинство для политика. Но у Ллойд-Джорджа гибкость нередко переходила в недостаток устойчивости. Так было в прошлом, особенно в первые годы после войны 1914—1918 годов. Так было и в период моей работы в Англии. В позиции и настроениях Ллойд-Джорджа за эти одиннадцать лет бывали значительные колебания, и в связи с этим в наших отношениях наблюдались то приливы, то отливы.

Приведу один характерный пример. Летом 1936 года Риббентроп, тогда еще советник Гитлера по внешнеполитическим делам (послом в Англии он стал лишь в конце того же года), пригласил Ллойд-Джорджа посетить Германию и ознакомиться с теми мерами, которые Гитлер принял для борьбы с безработицей. Это был ловкий ход, ибо Ллойд-Джордж считал себя «огнем борьбы с безработицей в Англии» (ведь он провел в 1911 году закон о страховании от безработицы) и потому мог легче всего принять приглашение Риббентропа именно под этим предлогом. Так оно и вышло.

В сентябре 1936 года Ллойд-Джордж в сопровождении небольшой группы спутников, среди которых находились его старший сын Гвильям и его дочь Меган, провел в Германии около десяти дней. Разумеется, нацисты постарались заработать на визите Ллойд-Джорджа возможно больше политического капитала. Поэтому, когда либеральный лидер оказался на их территории, они быстро развернули первоначальную программу визита (ознакомление с мерами по борьбе с безработицей) в помпезную политическую сенсацию. Ллойд-Джорджа возили по различным городам страны, показывали ему десятки заводов, фабрик, сельскохозяйственных лагерей, демонстрировали пред ним формирования «новой», гитлеровской армии и — самое главное — устроили для него две пышные встречи с «фюрером».

Во время этих встреч речь шла уже не о борьбе с безработицей, а о коренных проблемах международной политики. Гитлер в беседах с Ллойд-Джорджем изображал себя чуть ли не пацифистом, клялся и божился, будто он не имеет никаких завоевательных планов и будто единственной его целью является восстановление равноправия Германии с другими великими державами да обеспечение ее безопасности от нападения со стороны «большевистской России»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Подробности об этой поездке в Германию см. в книге главного секретаря Ллойд-Джорджа А. J. Sylvester «The real Lloyd-George» (1947. London, p 192—227).

Трудно поверить, но это «голубинное воркование» Гитлера произвело на Ллойд-Джорджа большое впечатление. Вернувшись домой, он выступил с интервью и статьями в английской прессе, которые нельзя было истолковать иначе, как апологию гитлеризма. Так, например, 17 сентября 1936 года в бивербрукском «Дейли экспресс» Ллойд-Джордж писал: «Те, кто воображает, что Германия вернулась к своему старому империализму, не имеют никакого представления о характере происшедшей перемены. Мысль о Германии как об угрозе для Европы, с мощной армией, готовой перешагнуть через границы других государств, чужда ее новой программе... Немцы будут стоять насмерть против всякого вторжения в их собственную страну, но сами они не имеют желания вторгаться в какую-либо другую страну».

Вот до какой степени Ллойд-Джордж был ослеплен лицемерием Гитлера!

Поворот в настроениях либерального лидера меня сильно беспокоит. Политически было бы очень невыгодно, если бы столь крупная фигура перешла в лагерь «умиротворителей» Гитлера. Поэтому, выждав некоторое время, я как ни в чем не бывало поехал навестить Ллойд-Джорджа в его поместье. Конечно, разговор между нами сразу же превратился в беседу на политические темы, и в ходе ее я со всей необходимой тактичностью, но все-таки с полной определенностью выразил свое удивление по поводу последних выступлений хозяина. Ллойд-Джордж вскипел и начал доказывать, что «антигитлеровская пропаганда» сильно преувеличивает агрессивность «фюрера». Он-де совсем не дурак и прекрасно понимает, что захватить Европу ему не под силу, а потому и не стремится к этому. Все, чего добивается Гитлер, это признание равноправия Германии с другими великими державами, против чего едва ли можно возражать.

Я не согласился с Ллойд-Джорджем и возразил, что агрессивность — это «душа души» Гитлера и вообще германского нацизма.

— Где доказательства? — вызывающе воскликнул Ллойд-Джордж.

— Могу привести два, — ответил я. — Первое — посмотрите, что делается сейчас в Испании.

Когда Ллойд-Джордж путешествовал по Германии, война в Испании только началась и нацистская интервенция на стороне Франко была еще невелика и к тому же хорошо завуалирована. Но к моменту нашего разговора германская интервенция приняла уже столь явные формы, что мировая печать то и дело сообщала о прибытии к Франко огромных транспортов немецкого вооружения и о высадке в Кадисе и других франкистских портах тысяч нацистских «волонтеров». Не удивительно, что мое упоминание об Испании вызвало у Ллойд-Джорджа известное беспокойство. Однако он стал доказывать, что это сравнительно «мелочь, которую не стоит принимать слишком трагически», и что «фюрер» достаточно умен, чтобы не завязнуть в ней слишком глубоко.

— Поживем — увидим, — возразил я и затем продолжал: — А теперь мое второе доказательство органической агрессивности Гитлера: вы знакомы с его книгой «Mein Kampf» («Моя борьба») — этой библией германского нацизма?

— Знаком, — ответил Ллойд-Джордж.

— Так вот в этой книге Гитлер черным по белому пишет, что его целями являются разгром и покорение Франции и захват так называемого «жизненного пространства» на востоке, то есть в Польше, в Прибалтике, в СССР, особенно на Украине. Как видите, Гитлер даже не скрывает своей агрессивности.

— Ничего подобного там нет! — запальчиво воскликнул Ллойд-Джордж. — Вы лишний раз доказываете, как несправедлива к Гитлеру враждебная ему пропаганда.

— Как ничего подобного нет? — возмутился я. — Там все это есть и в очень определенных выражениях.

Ллойд-Джордж вскочил с места и, подбежав к книжному шкафу, вытащил оттуда «Mein Kampf» в переводе на английский язык.

— Вот, вот, смотрите! — совал он мне в руки книгу. — Тут ничего такого нет!

Я взял книгу и стал ее перелистывать... Что за черт! В том месте, где говорилось об агрессивных планах Гитлера против Франции и Востока, хорошо знакомых мне страниц не оказалось.



— Это фальсифицированное издание! — воскликнул я. — Нацисты изъяли из него наиболее однозвучные места, чтобы не пугать англичан.

— Не может быть! — изумился Ллойд-Джордж.

— Как не может быть? Я читал «Mein Kampf» в подлиннике. Я пришлю вам точный перевод недостающих в английском издании страниц. Вы сами убедитесь.

Несколько дней спустя я исполнил свое обещание. Ллойд-Джордж был ошеломлен и возмущен. Ошеломлен и возмущен (как он объяснил мне при нашем ближайшем свидании) даже не столько содержанием изъятых страниц, сколько тем, что они были скрыты от английского читателя.

Тем временем германская интервенция в Испании выливалась во все более скандальные формы...

Все это не могло не оказать влияния на Ллойд-Джорджа. В 1937 и следующих годах он уже твердо держал курс против фашистских диктаторов и превратился в горячего сторонника англо-франко-советского фронта как барьера против их агрессивных устремлений.

Чем объяснялась дружелюбность Ллойд-Джорджа к СССР? Прежде всего его положением в английском политическом мире. С 1922 года (когда распалась последняя коалиция, в которой главенствовал Ллойд-Джордж) он не был у власти. Напротив, либеральный лидер постоянно находился в оппозиции к консерваторам. А так как среди буржуазных партий взаимная конкуренция играет очень большую роль, то Ллойд-Джордж пользовался каждым удобным случаем, чтобы нанести удар своим политическим противникам. Борьба советского правительства против британских консерваторов, которая так ярко окрашивала англо-советские отношения в те годы, казалась Ллойд-Джорджу таким удобным случаем. И он охотно пользовался им в своих политических целях, тем более что советская позиция на международной арене нередко вызывала в Ллойд-Джордже чувство симпатии.

Было и другое, дополнительное соображение, действовавшее в том же направлении. Ллойд-Джордж считал себя «отцом» англо-советского сближения: разве не он заключил в 1921 году первое торговое соглашение с советской страной? Потом к власти пришли консерваторы и все испортили. Теперь Ллойд-Джордж с особым удовольствием атаковал консерваторов за их ошибки в области англо-советских отношений, тем самым постоянно освежая память о мудром шаге, сделанном им в 1921 году.

Каковы бы ни были, однако, мотивы Ллойд-Джорджа, его позиция, несомненно, шла нам на пользу.

## 11. СИДНЕЙ И БЕАТРИСА ВЕББЫ

Имя Веббов я услышал впервые, когда мне едва исполнилось семнадцать лет. Я только что кончил гимназию и ехал в Петербург для поступления в университет. По дороге я остановился на несколько дней в Москве у родственников. Бродя по городу, я увидел в окне книжного магазина на Петровке небольшой томик в светло-голубой обложке, на титульном листе которого стояло:

«С. и Б. Уэбб

История рабочего движения в Англии

Перевод с английского Паперна

Издание Ф. Ф. Павленкова».

Я купил книжку с намерением внимательно, не торопясь, ее прочитать и затем проконспектировать. Но вышло совсем иначе. С первой же страницы она захватила меня, как редко захватывало какое-либо другое произведение. Я просидел за ней всю ночь, весь следующий день и когда наконец кончил, то почувствовал, что в моей жизни произошло что-то очень важное.

Я не ошибся. Работа Веббов по истории британского тред-юнионизма сыграла большую роль в моей жизни. Да-да, именно это фабианское исследование, недостатков которого я в то время еще не понимал, явилось тем кристаллом, около которого сложились в определенную систему мои тогда еще растрепанные мысли и чувства. Именно это

фабианское исследование окончательно оформило мое решение связать свою судьбу с пролетарским движением в России. Не правда ли, странно? Но такова уж логика предреволюционной эпохи; в ее атмосфере даже фабианские произведения могут становиться умственным диннамитом.

С тех пор я всегда помнил о Веббах. Конечно, позднее, став марксистом, я понял все недостатки фабианского учения, и работа Веббов по истории британского тред-юнионизма предстала предо мной в несколько иной перспективе, чем тогда, когда я читал ее в первый раз. Однако я сохранил к авторам этой работы теплое чувство.

Я внимательно следил с тех пор за научно-литературной и политической работой Веббов. Я читал их «Индустриальную демократию», «Социализм в Англии», «Конституцию социалистического британского содружества наций», «Распад капиталистической цивилизации» и многие другие произведения. Я интересовался их участием в бесчисленных королевских комиссиях по различным экономическим, социальным и политическим вопросам. Я наблюдал за деятельностью Сиднея Вебба в качестве министра торговли в первом лейбористском правительстве (1924 год), и в качестве министра колоний и доминионов во втором лейбористском правительстве (1929—1931 годы). Я с удовлетворением услышал, что, когда в результате шахматных ходов своей партии Сидней Вебб в 1929 году стал лордом Пассфильдом, его жена отказалась принять этот титул и осталась по-прежнему Беатрисой Вебб. Я часто пользовался материалами, почерпнутыми из трудов Веббов, критически перерабатывая их для своих докладов, статей, брошюр, как в годы подполья, так и в годы советской работы.

В 1925—1927 годах Веббы держались в стороне от нас, поэтому мне тогда не пришлось лично познакомиться с ними. Однако с начала тридцатых годов Веббы уже поддерживали известную связь с советским посольством, а летом 1932 года они совершили продолжительную поездку в Советский Союз и собрали там большой материал о политическом и экономическом развитии нашей страны.

Еще по дороге в Лондон я решил сразу же по прибытии на место сделать визит моим старым духовным друзьям. И я осуществил свое намерение.

Был вечер, когда я подъехал к загородному дому Веббов. В то время они уже ликвидировали свою лондонскую квартиру и поселились в сорока милях от города. Дом был небольшой, двухэтажный, простой, но очень культурно устроенный. Стоял он в саду с дорожками, полянками, купами приятных деревьев. Входная дверь оказалась незапертой, и я вошел в крохотную стеклянную прихожую. Меня приветствовала высокая, стройная женщина с умным и одухотворенным лицом. В молодости эта женщина, должно быть, была очень красива. Особенно хороши были глаза — большие, лучистые, в глубине которых пряталась чуткая, пытливая мысль. Это была Беатриса Вебб. Из-за спины ее выглядывала другая фигура — фигура мужчины с седой шевелюрой и седой бородой клинышком. Он был плотного сложения и почти на голову ниже женщины. На широком красноватом лице его лежала печать ума и упорства. Это был Сидней Вебб. По внешности супруги представляли полную противоположность. В дальнейшем я мог убедиться, что и во многих других отношениях они были далеко не одинаковы. Но что здесь доминировала женщина — это бросилось мне в глаза при первом же свидании и подтвердилось при последующем знакомстве. Оказалось, например, — мне это рассказала как-то сама Беатриса — что метод совместной работы супругов таков: общий план труда, к написанию которого супруги приступают, составляет Беатриса (конечно, после предварительного обсуждения с Сиднеем); она же пишет некоторые, наиболее важные в принципиальном отношении главы; все остальное делает Сидней. В многочисленных беседах, которые мне за одиннадцать лет работы в Лондоне пришлось вести с Веббами, Беатриса всегда занимала ведущую роль. Вспоминая сейчас все, что я знал и слышал о Беатрисе Вебб, могу сказать с полной определенностью: это была самая выдающаяся женщина, рожденная Англией в XIX столетии.

В тот вечер, когда я впервые переступил порог их дома, Веббы дружески пожали мне руку и провели в небольшую гостиную. Главным украшением этой комнаты были книги. Их было очень много, они теснились с трех сторон по стенам на потемневших от времени полках. С четвертой стороны находился камин. Я и Сидней расположились перед огнем в глубоких удобных креслах, а Беатриса уселась на мягкой низенькой

приступочке у самого камина, время от времени подбрасывая в огонь короткие деревянные обрубки.

Сначала разговор не выходил из рамок светского обмена мнениями. Веббы спрашивали меня о том, как прошло мое путешествие от Москвы до Лондона, как я устроился на новом месте, каковы мои первые впечатления от английской действительности. Я отвечал общими, ни к чему не обязывающими фразами. Мне, однако, хотелось поскорее пробить тонкий ледок благовоспитанности, замораживавший наш разговор, и по-серьезному побеседовать с ними о различных серьезных вещах, лежавших у меня на душе. Поэтому я задал Веббам вопрос о результатах их летней поездки в СССР.

Оба они сразу встрепенулись, оживились и стали наперебой делиться впечатлениями. Беседа приняла вполне дружеский характер. Видно было, что мой вопрос затронул какие-то весьма чувствительные струны в душе Веббов. Скоро выяснилось, что это за струны.

Оказалось, что, побывав в СССР, Веббы окончательно решили писать большое и солидное исследование, посвященное истории и современному состоянию Советского Союза. Они вывезли от нас много ценных материалов, обзавелись квалифицированным переводчиком и сейчас занимались классификацией и изучением собранных в СССР документов и печатных произведений. С легкостью, необычной в ее возрасте, Беатриса Вебб (которой было тогда семьдесят четыре года) вскопчила со своей приступочки у камина и повела меня в соседнюю комнату — рабочий кабинет супругов. Сидней следовал за нами. В кабинете стояли два письменных стола с двумя креслами перед ними, а все стены снизу доверху были густо забиты книгами в красных переплетах. Ряд полков с одной стороны заполняли толстые черные папки с пестревшими на их корешках белыми наклейками. Беатриса подвела меня к этим папкам и с гордостью сказала:

— Вот тут мы группируем все материалы, касающиеся вашей страны.

Маленькая экскурсия в кабинет Веббов сразу создала между нами ту атмосферу дружеской интимности, которой не хватало в начале разговора.

Мы вернулись в гостиную и продолжали беседу о будущем труде Веббов. Беатриса, глядя на меня своими лучистыми глазами, с увлечением набрасывала план подготовляемой работы. Она боялась только, что им не хватит материалов, вывезенных из СССР, и что им потребуются дополнительные справки и документы.

Я охотно предложил свои услуги для получения всего недостающего. Веббы очень обрадовались и горячо меня благодарили. У них точно гора с плеч свалилась: видимо, они думали просить меня о такой услуге, но не решались заговорить об этом при первом знакомстве.

С тех пор в течение последующих трех лет я систематически добывал для Веббов из Москвы через Наркоминдел горы фактических, статистических, документальных и печатных материалов, которые затем тщательно ими исследовались и перерабатывались. Больше того. Я часто и подолгу беседовал с ними, разъясняя происхождение и смысл различных явлений советской жизни, вызывавших в головах Веббов вопросы или сомнения. Я читал в рукописи и комментировал некоторые главы их труда, и, когда осенью 1935 года наконец появилось их двухтомное произведение «Soviet Communism», в тысячу с лишним страниц, я испытал большое удовлетворение. Не потому, чтобы Веббы на старости лет вдруг стали коммунистами; коммунистами они, конечно, не стали, да и не могли стать. Не потому, чтобы я был согласен с каждым словом, написанным в их книге, — наоборот, с рядом их мыслей и суждений я был не согласен. И все-таки я был доволен, потому что труд Веббов имел три очень важных достоинства.

Во-первых, он давал очень подробную и объективную картину развития СССР.

Во-вторых, несмотря на отдельные критические замечания авторов, он по существу представлял собой умную и доходчивую до европейской публики защиту советского строя в нашей стране. Больше того, он предрекал распространение «советского коммунизма» за пределами СССР. Вывод, к которому авторы приходили в заключительной части, сводился к тому, что «советский коммунизм» есть новая цивилизация, идущая на смену старой, то есть капиталистической цивилизации.

И дальше они писали: «В этом месте мы слышим, как заинтересованный читатель задает вопрос: «Распространится ли эта цивилизация на другие страны?»... Наш ответ

гласит: «Да, распространится». Но как, когда, где, с какими видоизменениями, с помощью насильственных революций, или с помощью мирного проникновения, или с помощью сознательного подражания — на все эти вопросы мы не можем ответить»<sup>1</sup>.

Такой итог, несмотря на все сделанные авторами оговорки, в обстановке тридцатых годов являлся большой идеологической победой советской страны.

В-третьих, наконец «Soviet Communism» был произведением Веббов, столпов фабианства, важнейших теоретиков Второго Интернационала, крупных общественных деятелей и научных работников лейбористской Англии. Это чрезвычайно повышало его авторитет в глазах многочисленных элементов, относившихся в те годы с величайшим недоверием ко всяким положительным оценкам СССР, считая их продуктом «большевистской пропаганды».

В течение полувека работы Веббы оказывали сильное влияние на умы руководящей верхушки британского рабочего движения, а через нее и на все движение в целом. Отсюда это влияние шло дальше и шире в круги европейского и мирового рабочего движения. В течение полувека умственная лаборатория Веббов была источником той идеологической пищи, которая затем по бесчисленным каналам шла в рабочие, мелкобуржуазные и даже буржуазные головы. И вот теперь этот замечательный интеллектуальный инструмент обратился против антисоветских предрассудков и предубеждений, которыми в тридцатых годах были заражены широчайшие круги британского и мирового общественного мнения! Ибо труд Веббов был не только издан и много раз переиздан в самой Англии, он появился также в Соединенных Штатах Америки, разошелся по всем углам Британской империи и по всему миру. В частности — и это было предметом особого удовлетворения для Веббов, — «Soviet Communism» был опубликован в Москве на русском языке, а в «Известиях» появился большой подвал об этой работе. Не удивительно, что я не жалел тех усилий, которые были затрачены мной на помощь Веббам в подготовке их труда.

Впрочем, я далеко забежал вперед. В тот темный ноябрьский вечер, когда я приехал знакомиться с Веббами, их труд был еще только задуман. Поэтому, обменявшись взглядами относительно плана нового исследования, мы перешли к текущим делам. Веббы расспрашивали меня о состоянии англо-советских отношений, а я расспрашивал их о политической обстановке в Англии. В своих оценках они были несколько пессимистичнее Ллойд-Джорджа и особенно подчеркивали страх господствующего класса Великобритании пред коммунизмом. Тем не менее Веббы считали, что в предстоящих переговорах о новом торговом соглашении мы можем добиться многого, и давали советы, как легче преодолеть сопротивление консерваторов.

На обратном пути я думал о моих новых и вместе с тем старых знакомых, и я невольно чувствовал, что с ними в дальнейшем у меня могут создаться весьма прочные отношения.

Действительно, несмотря на идеологические разногласия и частые споры между нами, наши отношения постепенно, в течение лет, превратились в то, что заслуживало наименования дружбы (не дипломатической, а простой человеческой дружбы). Мы часто виделись, немало переписывались. Особенно оживленной была корреспонденция между Беатрисой Вебб и моей женой. Нередко письма Беатрисы по существу были адресованы мне, однако, воспитанная в нравах викторианской эпохи, она, видимо, считала не совсем удобным вести переписку со мной непосредственно.

Эта дружба с Веббами явилась большим украшением нашей жизни в Англии. А сверх того, она была чрезвычайно полезна для меня как для советского посла.

## · 12. ЛЕДИ АСТОР

Это была богатая, очень богатая американка, вышедшая замуж за небогатого, совсем небогатого, английского аристократа. Классическое сочетание титула и денег. В Лондоне они жили в громадном доме № 4 на Сент-Джемской площади, который

<sup>1</sup> Sidney and Beatrice Webb. *Soviet Communism a new Civilization*. Third edition, 1944, London, p. 917.

всегда был полон людьми самого разнообразного вида и звания. Здесь часто устраивались большие завтраки, обеды, балы. А в двадцати милях от Лондона у Асторов было имение Кливден, разделенное в стиле Версаля, с красивым замком и огромным тенистым парком. В конце тридцатых годов, перед Мюнхеном, это поместье приобрело мировую известность совсем особенного свойства: в нем по воскресеньям собиралась так называемая «кливденская клика» («cliveden set») — компания махровых чемберленовцев, несущих такую тяжкую ответственность за развязывание второй мировой войны. Эта известность в конце концов оказалась столь едкой, что уже во время войны Асторы сочли за благо «отмежеваться» от Кливдена, «подарив его нации». Впрочем, в 1932 году, когда я впервые встретился с Асторами, блеск Кливдена еще ничем не был затуманен.

В доме Асторов господствовали начала матриархата. Хозяйкой, и притом весьма властной хозяйкой, была леди Астор. Невысокая, худенькая, изящная, со слегка взбитыми темными волосами, с маленьким подвижным лицом, на котором быстро бегали живые, чуть лукавые глаза, леди Астор была прекрасным воплощением вечно беспокойства. В ней точно бес сидел. Она всегда куда-то торопилась, всегда кого-то с кем-то знакомила, всегда кому-то что-то сообщала и притом все это делала с большой ажитацией. Манеры у леди Астор были резкие, чисто американские: говорила она быстро, хохотала громко, фамильярно хлопала собеседника по плечу, хватала гостя за руки и тащила куда хотела.

«Фердальной базой» Асторов был портовый город Плимут. Лорд Астор представлял его в парламенте в 1910—1919 годах. Когда он решил уйти, мандат был передан его жене. С тех пор Нэнси Астор неизменно заседала в палате общин от Плимута. Здесь она очень скоро создала себе совсем особое положение. Всегда в красивом черном платье, чуть тронутым белой вставкой на груди, всегда в маленькой черной шляпке и на высоких черных каблуках, леди Астор гордо, почти надменно восседала на угловом месте во втором ряду консервативных скамей. Однако надлото ее спокойствия не хватало. Уже через полчаса после начала заседания леди Астор начинала ерзать на месте, смотреть во все стороны, переговариваться с соседями. Затем она вскакивала со своей скамьи и, отвесив положенный поклон спикеру, торопливо выбегала из зала заседаний и начинала носиться по комнатам и коридорам обширного здания парламента. Потом так же стремительно возвращалась в зал заседаний и ловила первый подходящий случай для того, чтобы вскочить со своего места и открыть беглую бомбардировку по какому-либо оратору длинной очередью сенсационно-крикливых вопросов. Слова леди Астор сыпались как из пулемета, депутаты кругом смеялись и подбадривали Нэнси иронически-сочувственными возгласами. Разыгрывался маленький парламентский фарс. Но это несколько не смущало леди Астор. Она упорно продолжала выкрикивать что-то свое и затем, выпустив весь накопившийся пар, с покрасневшим лицом садилась на свое место, забавно жестикулируя по адресу оппонентов. А после заседания депутаты в курилке парламента говорили:

— Ну и Нэнси! Совсем от рук отбилась!

Общее мнение резюмировало:

— Это наше парламентское *enfant terrible*!

И так как англичане считают, что без «чуждачеств» жизнь была бы очень скучна, то парламент привык к леди Астор и даже относился к ней с добродушно-иронической терпимостью.

А «чуждачеств» у леди Астор было много. Так, она была строгая абстинентка: алкоголь никогда не осквернял ее рта. На званых обедах и банкетах она пила только содовую воду. Леди Астор была также прозелитом распространенной в Америке секты «Христианское знание». Учение этой секты, между прочим, включало отказ от пользования современной медициной: считалось, что бог и природа должны приносить человеку исцеление в болезни. Леди Астор была столь последовательна в проведении данного принципа, что, когда у нее тяжело захворала дочь, она отказалась пригласить врачей. Дочь умерла, но леди Астор осталась верна своему богу. Леди Астор была также не прочь поиграть в своего рода пуританскую демагогию. Располагая миллионами, она любила перед всеми демонстрировать свою «бережливость». Иногда вечером, после

званного обеда с гостями, она садилась около камина и начинала штопать порванные чулки.

Молясь богу-доллару, леди Астор в начале тридцатых годов была готова шегольнуть и своей «близостью» с большевиками. Так, летом 1931 года она вместе с Бернардом Шоу совершила поездку в Москву и даже виделась со Сталиным. Вернувшись домой, леди Астор рассказывала всем, будто бы «убедила» Сталина в том, что Англия придет к коммунизму скорее, чем Россия. Все эти «чуждества» создавали вокруг имени леди Астор постоянный шум и делали ей рекламу.

Я говорил до сих пор все время о леди Астор. А что же лорд Астор? О, тут все было ясно. Этот большой, красивый, неглупый мужчина с мягкими манерами и благородной внешностью был тенью своей жены. Конечно, лорд Астор занимал разные посты и должности. В период первой мировой войны он был товарищем министра продовольствия и позднее товарищем министра здравоохранения. В дальнейшем он был одним из британских делегатов в Лиге Наций. Он председательствовал в правительственном комитете по туберкулезу и возглавлял старинную гильдию музыкантов. В мое время он был бессменным президентом научно-политического «Королевского института по иностранным делам», тесно связанного с Форейн оффисом. Однако все это было внешнее и неважное. Важно было то, что он являлся мужем леди Астор.

У четы Асторов имелись также дети, среди них был один сын, о котором говорили, что он «чуть ли не коммунист». Леди Астор заботилась о них, помогала им делать карьеру, но в ее доме дети также ступеньки шли перед всемогущей волей матери.

Асторы сразу же обратили на меня с женой свое внимание. Еще бы! Ведь леди Астор в тот период считала себя в числе «друзей Сталина». Они пригласили нас к себе на завтрак. Гостей было человек тридцать. Шум за столом от разговоров стоял такой, что трудно было расслышать соседа. Присутствовали видные представители политического, общественного и газетного мира Англии, которые для меня представляли несомненный интерес. Я охотно с ними познакомился бы. Однако в такой обстановке это трудно было сделать. К тому же Нэнси со своей лихорадочной нервностью все время мешала мне в моих попытках. Я хотел воспользоваться для своих целей кофе, пить который все перешли в гостиную. Не тут-то было! Едва я начинал с кем-либо из гостей разговор, как внезапно, точно из-под земли вырастала леди Астор, врывалась в беседу с каким-либо неожиданным вопросом, дергала меня за рукав и тащила к какому-либо другому гостю. Внутренне я сердился, но ничего не мог поделать.

В дальнейшем наши отношения с Асторами пережили различные этапы, но основная тенденция сложилась в виде затухающей кривой. Примерно до середины тридцатых годов мы числились «друзьями», бывали друг у друга, обменивались любезными письмами. Два раза по приглашению леди Астор мы с женой были на «week end» (то есть с субботы на воскресенье) в Кливдене, тогда еще не имевшем зловещей репутации.

Потом положение изменилось. Чем ближе надвигалась вторая мировая война, тем реакционнее становилось настроение Асторов. С приходом в мае 1937 года к власти Чемберлена окончательно сложилась «квивденская клика» и салон леди Астор превратился в главный штаб антисоветских интриг и «умиротворения» Гитлера и Муссолини. Наши пути резко разошлись, и встречи прекратились.

### 13. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС

Я говорил до сих пор о моих встречах и знакомствах с англичанами. Однако параллельно с этим я устанавливал связи и контакты с дипломатическим корпусом, который в Лондоне всегда отличался необыкновенными песиротой и многочисленностью. Владения Англии в начале тридцатых годов были раскинуты по всем морям и океанам, и это, естественно, создавало у нее сложный переплет отношений со странами и народами во всех концах земли, а ее экономические, финансовые, стратегические и культурные интересы далеко выходили за пределы Британской империи. Лондон в описываемый период, по тридцатии и в силу реального соотношения сил, еще продолжал, хотя и со все возрастающим трудом, играть роль центра мировой политики и экономики. Не удив-

тельно поэтому, что все государства, существовавшие тогда на нашей планете, имели свои дипломатические представительства в Англии и посылали сюда своих наиболее спыгных, способных послов и посланников.

Осенью 1932 года, когда я приехал в Лондон, я нашел там пятьдесят одно дипломатическое представительство. В этих представительствах согласно дипломатическому листу Форейн оффиса насчитывалось свыше трехсот членов. Вместе с их семьями получалось около тысячи человек — шумная и большая дипломатическая колония! А к иностранным дипломатам из чужих стран прибавлялось еще весьма крупное число тех, кого по справедливости можно было бы назвать «имперскими дипломатами», — «высокие комиссары» Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки плюс представители крупнейших колоний Великобритании.

При таких условиях вполне естественно, что установление отношений с дипломатическим корпусом также явилось одной из важнейших задач первых месяцев моего пребывания в Лондоне. Она до известной степени облегчалась тем, что в то время Советский Союз поддерживал дипломатические отношения только с двадцатью из полусотни государств, которые имели свои представительства в Англии. Это были: Англия, Франция, Германия, Италия, Япония, Турция, Персия, Афганистан, Китай, Австрия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Болгария и Греция. Остальные три десятка, в том числе Соединенные Штаты Америки, не признавали советской страны.

Первое, что мне бросилось при этом в глаза, было отсутствие в Лондоне тесной корпоративной жизни дипломатического корпуса, какую я наблюдал во время моей предшествующей работы в Токио и Хельсинки.

В Токио, например, в конце двадцатых годов дипломатический корпус являл собой совершенно особую сферу, резко отграниченную от окружающей японской среды. Контакты между дипломатическим корпусом и местными жителями были ограничены и непрочны: отчасти тут мешала разница языков, культур, общего уклада жизни, а отчасти — чисто полицейские рогадки, которые ставило японское правительство. Поэтому тот «японский мир», с которым дипломатический корпус в Токио имел возможность общаться, состоял главным образом из представителей официальных и крупнокапиталистических элементов с небольшой примесью особо отобранных единиц из общественно-политических и культурных кругов. С этим «японским миром» дипломаты систематически встречались, однако он не в состоянии был поглотить всю потребность дипломатического корпуса в «светской жизни». Оставался еще большой запас неиспользованной энергии, и он находил выход в чрезвычайно интенсивной жизни внутри дипломатического корпуса. Послы то и дело устраивали завтраки и обеды для послов, советники для советников, секретари для секретарей. Организовывались домашние «увеселения» с участием дипломатов и их жен. Во всех таких случаях японцы либо совсем не приглашались, либо приглашались в малом количестве.

Как во всяком замкнутом мире, в дипломатической колонии Токио можно было найти все: дружбу, вражду, ссоры, сплетни, соперничество дам, соревнование мужей, любовные эскапады, поиски женихов, свадьбы и разводы...

Доктор Зольф, в прошлом морской министр кайзера Вильгельма, а в двадцатых годах германский посол и дуэйн дипломатического корпуса в Токио, любил, иронически прищурившись, спрашивать:

— Ну, что слышно нового в *notre village diplomatique*?<sup>1</sup>

И, говоря так, Зольф был не далек от истины.

В Хельсинки положение было почти такое же. Между дипломатическим корпусом и финнами здесь прежде всего стоял язык. Финский язык труден, и из иностранных дипломатов мало кто его изучал. Правда, многие финны сами говорили на иностранных языках, но тут далее вставала другая трудность для возникновения близкого контакта между дипломатами и местными жителями: в Финляндии имелось не так много богатых людей, которые могли бы позволить себе устраивать большие приемы с участием дипломатического корпуса. Как правило, такие приемы устраивало правительство, да и то

<sup>1</sup> В нашей дипломатической деревне (франц.).

не очень часто, обычно в связи с какой-либо официальной датой или событием. При таких условиях естественно, что дипломатический корпус в Хельсинки тоже жил главным образом своей внутренней жизнью со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В Лондоне картина была совсем иная. Когда вскоре после вручения верительных грамот я вновь, уже «официально», посетил нашего дуайена де Флерно, он мне сказал:

— Дипломатический корпус здесь очень разрознен. Нет никакой корпоративной жизни. Встречаются дипломаты между собой редко, да и то большей частью в третьих местах — у англичан: на приемах, обедах и так далее, устраиваемых либо британским правительством, либо представителями британской знати, британских деловых кругов. Я вот состою дуайеном уже несколько лет, однако есть главы миссий, которые никогда не были у меня и у которых я никогда не был. Кажется, я не всех даже знаю в лицо.

Де Флерно говорил правду. Корпоративной жизни у лондонского дипломатического корпуса не было. Для этого отсутствовали все необходимые предпосылки. Язык здесь не стоял препятствием для контакта между дипломатами и местной средой — обычно все лондонские дипломаты прекрасно говорили по-английски, а если кто-либо приезжал сюда без языка, то быстро ему выучивался. Полицейских рогаток не существовало никаких: встречайся с кем хочешь, и говори о чем хочешь. Богатых, хлебосольных хозяев, устраивающих приемы, — хлебосольных, конечно, по-английски — было здесь хоть отбавляй. В Лондоне имелось немало людей, которые могли созвать к себе на вечер и действительно созывали по тысяче человек сразу. Для иностранных дипломатов в Англии трудность состояла не в том, что «светских приглашений» было слишком мало, а в том, что их было слишком много. Сплошь да рядом несколько приглашений сталкивались в один день, и между ними приходилось делать выбор. И наконец дипломатический корпус в Лондоне (за вычетом советских дипломатов) смотрел на страну своего пребывания снизу вверх. Это относилось решительно ко всем иностранным представителям капиталистического мира, не исключая и американцев. Да, как это, может быть, ни покажется на первый взгляд странным, дипломаты Соединенных Штатов в Англии тогда испытывали своего рода «комплекс неполноценности» по отношению к своим хозяевам. Почему?

Это вытекало из всего характера отношений между англичанами и американцами.

Историческая память народов иногда бывает очень длинна. Мне рассказывали, что французский адмирал Дарлан, сыгравший столь позорную роль в ходе второй мировой войны, всегда был врагом англичан, так как не мог забыть Трафальгара. Эта традиция была вообще сильна во французском флоте. Борьба Соединенных Штатов против Англии за свое освобождение происходила почти двести лет назад, однако психологические последствия ее сказывались по обе стороны Атлантики и в XX столетии.

В самом деле, как средний англичанин смотрел на Америку в тридцатых годах?

Средний англичанин тех дней считал американцев бунтовщиками, которые восстали против старой и мудрой культуры своей родины и потому совершили большое историческое преступление. Конечно, средний англичанин никогда не сказал бы этого прямо, открыто. Наоборот, со свойственным ему юмором он готов был в данной связи подшутить над самим собой и посетовать на своих предков, которые по глупости и слепоте довели американские колонии до восстания. Тем не менее в глубине души, почти подсознательно, средний англичанин чувствовал именно так. И это рождало в нем инстинктивную неприязнь к американцам и отношение к ним сверху вниз. Правда, заокеанским грешникам страшно повезло. Но чем могущественнее делались США, чем явственнее оттесняли они Великобританию на второй план, тем больше раздражения они вызывали. Ибо теперь к чувству неприязни, вызывавшейся психологическими пережитками XVIII века, все больше примешивалась уже вполне современная горечь зависти и уязвленной гордости. Этот сложный психологический переплет скрывался под маской спокойно-юмористического хладнокровия, однако истинные чувства то и дело прорывались в анекдотах, шуточках, эпиграммах по адресу американских «кузенов», которые можно было услышать на каждом шагу. Словом, если мерить мерками старой России, отношение среднего англичанина к американцам в тридцатых годах походило



на то, какое было, скажем, у Рябушинского или Морозова к разбогатевшему золото-промышленнику из Сибири, которого, конечно, придется принимать, ибо он ворочает миллионами, но к которому нельзя же относиться как к равному, ибо он носит сапоги бугылками, ругается матерными словами, во хмелю бьет зеркала и лезет в ванну из шампанского.

А как средний американец тех лет смотрел на англичан?

Странно сказать, но обычно... снизу вверх. Он страшно злился за это на самого себя, он всячески старался доказать себе, что он не только не ниже, а, наоборот, выше англичанина. В своем процессе психологического самоутверждения американец часто бывал резок и презрителен в своих отзывах об Англии и англичанах. Американец охотно, почти со сладострастием, говорил о том, что англичане старомодны и безнадежно отстали от века, что преклонение перед традициями сковывает их волю к прогрессу, что английская промышленность технически далеко уступает американской, что британская конституция является коллекцией смешных политический раритетов, что англичане слишком осторожны и трусливы во всех своих действиях, что им не хватает американского размаха и инициативы — словом, что его старая родина выродилась и должна перейти на положение европейского аванпоста «english speaking world» (мира, говорящего по-английски), естественным центром которого теперь являются Соединенные Штаты Америки.

И все-таки, несмотря на все эти шумные, нередко переходящие в бахвальство слова, средний американец в глубине души, почти подсознательно, считал англичан существами более высокого порядка, чем он сам. Вы это постоянно чувствовали, а иногда замечали даже невооруженным взглядом. Вспоминаю такой любопытный эпизод.

В 1936 году в Лондоне происходили переговоры по морским делам между США, Англией и Францией, результатом которых явился договор об известном ограничении морских вооружений. В связи с этой конференцией было много всяких завтраков и обедов с участием представителей дипломатического корпуса. На одном из таких приемов я оказался как-то поблизости от группы американских делегатов на конференции. Колонна скрывала меня от них, и делегаты думали, что их никто не слышит. Они обсуждали между собой перспективы переговоров, которые должны были на другой день открыться. Настроение американцев было неуверенное и тревожное. Один из делегатов — человек в морской форме — в заключение суммировал:

— Помяните мое слово: обведут нас англичане вокруг пальца опять, как в 1922 году<sup>1</sup>.

— Почему обведут? — попробовал возразить другой делегат. — Теперь не те времена. Мы сами тоже кое-что понимаем.

— Понимаем! — передразнил первый делегат. — Конечно, понимаем. А вот увидите, что англичане нас перехитрят. Других таких ловкачей в мире поискать.

Никто из американцев больше не огкликнулся, но лица у всех были хмуры и унылы.

Вот это полусознание-полуощущение, что англичане опытнее, ловчее, хитрее, что их культура тоньше, глубже, разнообразнее, что они лучше воспитаны, говорят на правильном английском языке, имеют изысканные манеры, что за ними стоит накопленный многими столетиями политический, экономический, интеллектуальный, быговой капитал, — вот что лежало в основе того «комплекса неполноценности», который в тридцатых годах средний американец испытывал в отношении англичан, хотя и старался всеми силами его пребороть.

Возвращаясь, однако, к лондонскому дипломатическому корпусу и моему знакомству с ним.

Традиционный дипломатический обычай, кодифицированный Венским конгрессом 1815 года, предусматривает, что, когда новый посол вручил свои верительные грамоты, он делает визиты вежливости другим послам, уже ранее аккредитованным при главе

<sup>1</sup> Имеется в виду Вашингтонская конференция 1922 года, на которой в числе других обсуждался вопрос об уровне морских вооруженных сил США, Англии и Японии.

данной страны, после чего эти послы наносят ему ответный визит. Напротив, посланники, имеющиеся в данной столице и обычно представлявшие страны второго и третьего ранга, первые делают визит вновь назначенному послу, после чего этот посол уже наносит им ответный визит. Тем самым венский протокол подчеркивал разницу в статусе посла и посланника, которая в наши дни потеряла почти всякую реальность.

Когда я приступил к знакомству с дипломатическим корпусом, я прежде всего поставил себе вопрос: почему я должен считать себя связанным венским протоколом? Почему мне здесь не внести в традиционный ритуал некоторых демократических нововведений, вытекающих из духа нашей эпохи и характера государства, которое я представляю? И я их внес без всяких угрызений совести, заботясь лишь о том, чтобы эти нововведения не создали каких-либо нежелательных осложнений для меня как посла, то есть в конечном счете для политики Советского Союза.

Я рассуждал так: если в какой-либо город приезжает человек, то, желая познакомиться с интересующими его местными жителями, он первый делает им визит, а не ждет, пока они к нему приедут. Это вполне естественно и нормально с точки зрения простых общечеловеческих обычаев. Нет никаких разумных оснований допускать какое-либо исключение для лиц дипломатического звания. Поэтому я посетил сначала всех послов, а затем и всех посланников тех стран, которые поддерживали дипломатические отношения с СССР. Это оказалось очень удачным шагом. Во-первых, я быстро и без задержек познакомился с интересовавшими меня главами миссий, что облегчило установление потребных мне контактов. Во-вторых, я сразу создал около себя атмосферу оживленных толков, причем толков не враждебного, а скорее благожелательного характера: мое поведение было необычно, но оно многим (особенно посланникам) понравилось. Люди есть люди, посланнику малой державы невольно льстило, когда посол великой державы, да еще такой, как СССР, первый делал ему визит. Реальное соотношение сил между представляемыми нами государствами исключало всякую мысль о возможности чего-либо вроде заискивания с моей стороны; оставалось поэтому лишь единственно возможное объяснение моего поведения, которое тогдашний норвежский посланник в Лондоне Фогт в разговоре с одним журналистом сформулировал так: «Новый большевистский посол не гордец и не делает разницы между представителями великих и малых держав».

Именно такой эффект мне и был нужен. Он облегчал создание трещин в окружающей посольство стене враждебности и вместе с тем он укреплял престиж СССР как носителя передовых идей человечества во всех делах — больших и малых.

## 14. НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЫ И ПОСЛАННИКИ

Среди лондонских дипломатов были люди самых разнообразных званий, состояний, возрастов и видов: напыщенные аристократы в расшитых золотом мундирах; капиталистические дельцы с толстыми чековыми книжками в карманах; тщательно вымуштрованные чиновники, усердно потрафлявшие начальству; своенравные интеллигенты, переливающие всеми цветами политического спектра; капризные чудачки, дававшие обильную пищу для сплетен и анекдотов; старики, воспитанные в дипломатических нравах XIX столетия, и молодые, выросшие уже в обстановке, сложившейся после первой мировой войны. Конечно, далеко не все послы и посланники были интересными личностями, и большинство их не заслуживает того, чтобы упоминать о них на этих страницах. Однако были некоторые, о которых по тем или иным соображениям стоит сказать несколько слов.

### Американец Меллон

США в то время были представлены в Лондоне известным капиталистическим магнатом Эндрю Меллоном. Он был очень богат, очень важен и очень стар. Когда Меллон стал послом в Англию, ему стукнуло почти восемьдесят лет. Это была чрезвычайно красочная фигура: высокий рост, седая голова, пристальный взгляд, медленные, раз-

меренные движения. Все существо Меллона излучало чувство превосходства и самоуверенности. Он не ходил, а носил свою персону и, видимо, ожидал, что каждый проходящий с ним в соприкосновении будет считать себя счастливым от одного созерцания его личности.

Меллон был типичным представителем американского «большого бизнеса». Он являлся главой крупного «Меллоновского национального банка», директором огромного числа промышленных и финансовых корпораций, руководителем «Меллоновского института индустриальных исследований». В течение одиннадцати лет (1921—1932) он был министром финансов Соединенных Штатов, и с этого поста в феврале 1932 года был назначен американским послом в Англии. Меллон принадлежал к республиканской партии и строго придерживался взглядов «здорового американского консерватизма».

Меллон был также крупным меценатом: покровителем университета в Питтсбурге и одним из руководителей известного «Carnegi Institution», основанного на деньги миллиардера А. Карнеги и преследующего образовательные цели. Кроме того, Меллон собрал картины. Он не жалел на это деньги и в конце концов составил прекрасную картинную галерею, которая в бытность Меллона американским послом в Англии украшала стены посольства США в Лондоне. Компетентные люди мне говорили, что галерею Меллона стоило посмотреть, однако политические обстоятельства (у нас еще не было с США дипломатических отношений) мешали мне это сделать.

До Лондона Меллон совершенно не занимался внешней политикой и в дипломатии являлся совершенным профаном. Однако это было в порядке вещей. В Соединенных Штатах существует твердо укрепившийся обычай, что места послов (а во многих случаях и посланников) не занимают профессиональными дипломатами. Эти места являются разменной монетой пришедшей к власти политической партии, которая раздает их своим наиболее отличившимся в избирательной кампании членам. Если вы внесли в партийную кассу крупную сумму денег, или если вы вели в ваших газетах энергичную агитацию в пользу партии, или если вы каким-либо иным способом содействовали успеху партии при выборах президента,— вы можете рассчитывать на вознаграждение в виде посольского поста в Лондоне, Париже, Москве или какой-либо другой крупной столице мира. Ваши личные качества играют при этом совершенно второстепенную роль: фактически делать политику будет дипломатический аппарат, начиная с советника и ниже,— профессионалы государственного департамента. Посол же будет только представлятьствовать да тратить деньги на обеды и приемы. Ибо обычно жалованья, которое получают американские послы, далеко не хватает на то, что они считают «подобающим образом жизни». Вот почему на постах дипломатических представителей США за границей так часто можно увидеть людей с неожиданными профессиями, но всегда богатых (в Париже, например, в первые годы рузвельтовского президентства послом был Штраус — владелец крупного универмага в Нью-Йорке). Надо ли удивляться, что в начале тридцатых годов американским послом в Лондоне оказался Эндрю Меллон?

Мое личное знакомство с Меллоном было кратковременно и поверхностно. Кратковременно, потому что Меллон покинул Лондон через четыре месяца после моего приезда. Поверхностно, потому что при отсутствии официальных отношений между нашими странами делать визит Меллону просто как коллеге по дипломатическому корпусу я не считал удобным, зная его общую политическую установку и его нерасположение к Советскому Союзу. Вот почему довольно долго, встречаясь в различных грехьих местах (на открытии парламента, на больших английских приемах и т. п.), мы с Меллоном не здоровались, хотя по внешности знали друг друга.

Только в начале 1933 года наконец состоялось наше знакомство — на завтраке у Макдональда. Британский премьер от времени до времени устраивал в своей резиденции небольшие «ленчи», на которые по очереди приглашал послов. На этот раз в качестве дипломатических гостей были приглашены Меллон и я. Народу на «ленче» было немного. Меллон был старшим гостем, я вторым (так полагалось по правилам старшинства). Между нами сидела дочь Макдональда Ишбел, игравшая роль хозяйки в доме премьера (Макдональд в те годы был вдовцом), и усиленно старалась завязать

общий дружеский разговор. Это, однако, плохо удавалось, так как Меллон был явно в дурном настроении и не откликался на все попытки Ишбел: американский посол был, видимо, раздражен «бестактностью» Макдональда, столкнувшего за своим столом его, Эндрю Меллона, с «большевистским послом». Сразу после завтрака Меллон уехал и при прощании пытался уклониться от пожатия моей руки. Я иронически посмотрел на Меллона и со смехом сказал:

— Господин посол, а ведь скоро между нашими странами будут установлены дипломатические отношения!

В это время Рузвельт был уже выбран и вопрос о признании Советского Союза Соединенными Штатами висел в воздухе. Меллон понял мой намек и протянул мне руку.

В марте 1933 года Меллон уехал в Америку: поскольку к власти пришла демократическая партия, все республиканские послы вышли в отставку и Рузвельт теперь должен был назначить новых послов из состава своей партии. Так пришла к концу дипломатическая карьера Меллона.

Однако память о Меллоне в Лондоне не совсем исчезла: в дни больших королевских приемов послам приходится не меньше двух часов выстоять на ногах. Меллону в его возрасте такое физическое упражнение было не под силу. Учитывая преклонные годы Меллона, а также его богатство и положение, английский двор нашел возможным в виде исключения поставить для Меллона стул. Он единственный из всех послов сидел во время торжественного дефилирования пред королем и королевой лиц, представляемых ко двору. Потом Меллон уехал... а его стул в дворцовом зале остался. Он стоял на своем месте в течение всех одиннадцати лет моей работы в Лондоне. Так сильна власть прецедента в Англии. Во время королевских приемов послы по очереди присаживались на «стул Меллона», чтобы немножко отдохнуть. Их в такие моменты закрывали своими фигурами коллеги, чтобы скрыть нарушение этикета от внимания двора. Это походило на проказы школьников.

### Немец фон Хеш

Я уже говорил, что одновременно со мной верительные грамоты королю вручил новый германский посол Леопольд фон Хеш. Он был моим коллегой в течение последних трех с половиной лет, вплоть до своей неожиданной смерти, и в памяти моей он остался как одна из наиболее интересных и вместе с тем одна из наиболее трагических фигур лондонского дипломатического корпуса тех дней.

Хеш, которому в момент его назначения послом в Англии было около пятидесяти лет, принадлежал к числу лучших представителей германской дипломатии догитлеровской эпохи. Буржуазный демократ по своим взглядам, он был хорошо образован, имел прекрасные манеры, в совершенстве владел английским и французским языками и отличался исключительной памятью: прочитав раз страницу, он мог затем повторить ее от слова и до слова. Культурные интересы Хеша были весьма разнообразны: он любил литературу, понимал толк в искусстве, питал большое пристрастие к музыке. У Хеша было много друзей среди виднейших представителей германской интеллигенции, и не меньшее количество друзей он сумел завоевать в кругах английской интеллигенции.

Хеш был высок и строен, его красивое, всегда чисто выбритое лицо было полно мысли и внимания, в блестящих глазах искрился огонек, веселого сарказма. Хеш был увлекательный собеседник — живой, остроумный, обаятельный. Одевался он прекрасно, и платье умел носить, как бог. Газеты утверждали, что Хеш имеет сто костюмов с таким же количеством соответствующих им шляп и ботинок и что гардероб посла занимает две большие комнаты, над которыми безраздельно царствует его верный слуга — лакей Губерт. Так ли это было или нет, не берусь судить, но во всяком случае Хеш являлся законодателем мод среди мужских представителей лондонского дипломатического корпуса. В довершение всего Хеш был холостяк — это делало его еще более

«интересным» и «интригующим» в глазах английского общества, особенно его женской половины, которая на британских островах (да и не только здесь) играет крупную роль в дипломатии и в политике.

Положение Хеша как посла с самого начала оказалось исключительно трудным. Он был назначен в Лондон в октябре 1932 года последним предгитлеровским представителем Германии и приехал сюда из Парижа, где много лет с большим искусством и достоинством представлял веймарскую систему. Спустя три месяца после вручения Хешем своих верительных грамот к власти пришел Гитлер. Хеш остался германским послом и при Гитлере. Он как-то объяснял мне, что его побудили к этому патристические соображения: он-де хотел служить интересам своего отечества независимо от того, каково стоящее в данный момент у власти правительство. Возможно, что эти соображения играли известную роль, но думаю все-таки, что дело было не так просто и благородно. Несомненно, большое значение имели иные расчеты — забота о карьере. Весьма вероятно также, что на первых порах Хеш, как и многие другие в то время, не верил в долговечность Гитлера и рассуждал так: перебыю год-два, а там «наци» выдохнутся, и все постепенно вернется к старому.

Как бы то ни было, но Хеш сохранил свой лондонский пост, и тут-то началась его трагедия. Хеш никогда не был, да по самому существу своему и не мог быть «наци», а служить ему приходилось гитлеровскому правительству. «Наци» Хешу явно не доверяли, однако до поры до времени они считали неудобным заменить его кем-либо из «своих», опасаясь враждебной реакции со стороны Англии. Вместо этого «наци» решили использовать Хеша в своих интересах, использовать его связи, авторитет и влияние в политических кругах Великобритании, которые действительно были велики. Но так как они сомневались в «благонадежности» Хеша, то поспешили отозвать из своего лондонского посольства большую часть старого, «веймарского» штата и вместо него отправили туда собственных, «нацистских», секретарей и советников, которые стали комиссарами при после. Внутренняя жизнь в посольстве превратилась для Хеша в настоящий ад. Он пытался спасти свое положение путем различных компромиссов, но это ему плохо удавалось. Ситуация все больше обострялась. Пока «наци» не чувствовали себя достаточно прочно в седле, неустойчивое равновесие в положении Хеша сохранялось. Однако по мере укрепления Гитлера акции Хеша падали все ниже, а звезда Риббентропа всходила все ярче. Чувствовалось, что долго так продолжаться не может. И вот «счастливый случай» пришел на помощь «наци»: в апреле 1936 года Хеш «скоропостижно скончался» в собственной ванне при каких-то весьма таинственных обстоятельствах. Так как смерть произошла в здании посольства, которое пользовалось экстерриториальностью, то английские власти не могли ни выяснить обстановку смерти, ни произвести вскрытия тела. А затем останки Хеша — также в экстерриториальном порядке — были отправлены в Германию.. В Лондоне тогда ходили упорные слухи, что Хеш стал жертвой «наци» и что его гибель была нужна для расчистки дороги Риббентропу. Действительно, несколько месяцев спустя Риббентроп занял место Хеша.

Мои личные отношения с Хешем все время были хорошие. Хотя по воспитанию, вкусам, опыту, умонастроению Хеш чувствовал себя ближе к «западному» направлению германской дипломатии, он ясно сознавал огромную важность для его страны добрых отношений с Советским Союзом. В этом духе он не раз высказывался в наших беседах и одновременно выражал желание работать в Лондоне в контакте со мной. Я мог только приветствовать намерение Хеша. Потом пришел Гитлер, и положение круто изменилось. Политические отношения между СССР и Германией из дружественных превратились в напряженно-подозрительные и в дальнейшем — во враждебные. Но наши личные отношения с Хешем остались прежними и в тех редких случаях, когда нам приходилось сталкиваться в обстановке, исключавшей присутствие «нацистских» комиссаров (на обедах в английских домах и т. п.), германский посол всячески старался подчеркнуть, что, несмотря на свою службу Гитлеру, в глубине души он продолжает оставаться самим собой. Помню, как-то в конце 1935 года, незадолго до своей смерти, Хеш бросил в разговоре со мной: «Какая грязная вещь политика! В этом я особенно убедился в последние месяцы».

Хеш не захотел уточнять своего восклицания, но по смыслу разговора было ясно, что он имел при этом в виду гитлеровскую политику вообще и «нацистские» интриги против него лично в частности. Слова Хеша были проникнуты тяжелыми предчувствиями. Спустя несколько месяцев они оправдались: Хеша не стало.

### Бразилец Оливейра

В лондонском дипломатическом корпусе имеется особая группа — черноволосая, темноголазая, шумная, многочисленная: это представители Латинской Америки. В момент моего приезда в Англию из общего числа пятидесяти одной миссии целых пятнадцать, то есть немногим менее трети, приходилось на ее долю: здесь были Бразилия, Аргентина, Перу, Колумбия, Уругвай, Гватемала и многие другие. Среди латиноамериканских дипломатов тех лет было сравнительно мало профессионалов этого дела. В большинстве они вербовались из числа «деловых людей» и занимались в Лондоне не столько внешней политикой, сколько своими личными торгово-финансовыми операциями. Очень часто эти дипломаты сами доплачивали своим правительствам за право числиться членами их миссий в Англии, ибо такое положение было для них очень выгодно: звание дипломата открывало здесь перед латиноамериканскими дельцами такие двери и такие возможности, о каких иначе они не могли бы и мечтать.

Из пестрой толпы латиноамериканцев, с которыми мне пришлось столкнуться по прибытии в Англию, в памяти у меня остался только один — посол Бразилии спнбор Рауль Регнс де Оливейра. Он был уже пожилой человек, и вся его жизнь прошла на дипломатической службе. У Оливейры была красивая жена и взрослая дочь — тоже красивая; она была сильно англазирована и мечтала найти в Великобритании вторую родину, выйдя замуж за одного из ее сыновей. Сам Оливейра в молодости, по-видимому, был брюнетом, но с годами его черные волосы тронула седина, и, когда я впервые встретился с ним, он весь был какой-то серый.

Наружности вполне соответствовало и внутреннее содержание. Он был добрый службист, умеренный реакционер, хорошо воспитанный салонный дипломат, горячий поклонник английской монархии и аристократии. После отъезда француза де Флерю Оливейра стал дуаиемом дипломатического корпуса в Лондоне, и я хорошо помню, с каким почти благоговейным восторгом он «представлял» дипломатический корпус на свадьбе герцога Кентского с принцессой Мариной греческой (в ноябре 1934 года).

Как старшина дипломатического корпуса Оливейра был всегда корректен и тактичен, и лучшим доказательством этого являлись его отношения со мной. Несмотря на то, что СССР и Бразилия в тридцатых годах не поддерживали дипломатических отношений, Оливейра не делал никакой видимой разницы между мной и, скажем, американским или французским послом. Оливейра был поистине великоленен, когда в качестве старшины ему приходилось выступать с речами от имени всего дипломатического корпуса на различных официальных или полуофициальных приемах, обедах, завтраках и т. п. Подобные выступления — дело очень деликатное и щекотливое, ибо они не должны вызвать возражений ни с какой стороны. А поди-ка угоди всем членам дипломатического корпуса со всеми оттенками их политических и национальных взглядов — от советских коммунистов до германских нацистов. Но Оливейра прекрасно справлялся со своей задачей... Как? Ответом на это может быть восклицание одного видного англичанина, который, выслушав тост Оливейры на банкете у лорд-мэра, восторженно бросил:

— Какой непревзойденный мастер общих мест!

В 1942 году, уже во время войны, Оливейра был отозван и уехал в Бразилию. Покидать Лондон ему страшно не хотелось. Используя свои связи в придворных и правительственных кругах Великобритании, Оливейра долго оттягивал наступление рокового для него момента. Однако предельный возраст и интриги в окружении бразильского президента сделали свое дело. Оливейре в конце концов пришлось сказать Лондону «прости». Перед отплытием домой он заехал ко мне попрощаться. Оливейра был

грустен, подавлен и не скрывает своего огорчения. Он вспоминает о своей многолетней работе в Лондоне, как о навсегда уходящем рае. Он гозорил, что его жена и дочь в отчаянии. Года два спустя я прочитал в газетах, что Оливейра умер на родине. Дочь его так и не вышла замуж за англичанина.

### Австриец Франкенштейн

В дни молодости, еще в царские времена, когда я работал в земстве, мне иногда приходилось попадать в старинные поместья, в прошлом роскошные и блестящие, а теперь находившиеся в состоянии развала и запустения... Вы въезжаете во двор. Ворота покосились и плохо закрываются. Резные украшения на них облезли и наполовину обзалились. Большой сад со следами искусно распланированных аллей зарос бурьяном и крапивой. Старик инвалид с одним глазом и трясушей правой рукой встречает вас и приглашает пройти к хозяину. Дряхлая собака с поседевшей мордой, устало таякнув раз или два для проформы, вновь успокаивается и сворачивается клубочком на солнце. Вы входите в дом — половицы крыльца скрипят и шатаются. Внутри тишина и прохлада. Древняя мебель полиняла и выцвела, кожа потерлась, ножки обились, стекла в шкафах треснули. К вам выходит хозяин — он в просторном халате, лысый, с трубкой в зубах. Подают чай. На столе старинная посуда из дорогого фарфора, но носик у чайника отбит, блюдо склеено, и амуры на вазе для печенья потеряли все свои краски. За чаем пынешний владыка именина долго и нудно рассказывает, что его отец и дед жили очень хорошо, что ему досталась в наследство только куча долгов, что сейчас именно заложено и перезаложено, что денег ни на что не хватает и что не сегодня-завтра поместье будет продано с молотка. Вы уезжаете из поместья с мыслью: «Все в прошлом...»

Вот такое впечатление произвело на меня австрийское посольство, когда я в первый раз попал в его стены.

Было ясное осеннее утро. Я приехал с визитом к австрийскому посланнику барону фон Георгу Франкенштейну. Дом посольства был большой, шикарный дом английского стиля в наиболее фешенебельной части Лондона, но от времени и недостаточного ремонта он как-то обшарпался, потемнел и облупился. Широкая блестящая лестница, устланная поношенными коврами, была украшена монументальными портретами Марии Терезы, Иосифа, Леопольда и Франца-Иосифа. Старые императоры смотрели строго и торжественно из-под толстого слоя пыли, осевшего на полотнах. В красной приемной стояла старинная мебель, висели картины, пестрели изящные безделушки. Все было дорогое, со вкусом подобранное, но на всем лежала тяжелая рука времени. На всем был какой-то неуловимый налет запустения и упадка. Казалось, паутина висит в углах. Конечно, паутины не было, но ее невольно искал глаз.

Пока я сидел в приемной, по коридору прошмыгнули две монашки в широких яркочерных накрахмаленных чепчиках. «Зачем они здесь?» — невольно мелькнуло у меня в голове, и тут же сам собой сформулировался ответ: «Чтобы напоминать о бренности всего земного!»

Франкенштейн принял меня у себя в кабинете. Вся комната была завешена и заставлена разными диковинками Азии: картинками, статуэтками, лакированными коробочками, вазам, изображениями Будды и т. д. А прямо против письменного стола возвышался уродливый восточный идол с загадочной улыбкой на устах. И тут все говорило о прошлом, не о настоящем.

Хозяин любезно пожал мне руку и усадил на кресло около себя. Он был высок, худощав, со впалыми щеками и костлявыми руками. Липо было узкое, продолговатое, нос длинный, тонкий, с горбинкой. Под большим лбом, переходящим в лысину, глубоко сидели трагические глаза. Слегка волнистые седоватые волосы, откинутые назад, пышно прикрывали виски и легкой перемычкой бежали по затылку. На взгляд Франкенштейну было лет за пятьдесят. Во всем облике его было что-то средневековое: не то монах негритского ордена, не то странствующий рыцарь феодальной эпохи. Глядя на Франкенштейна, я еще раз подумал, что монашки здесь очень у места.

Наш разговор вначале был чисто протокольный характер. Потом я осторожно стал его переводить на биографию хозяина. Франкенштейн очень живо реагировал на это, и

спустя четверть часа я знал, что он рьяный католик и старый холостяк, что род его насчитывает свыше тысячи лет и дал немецкому народу много видных прелатов и государственных людей, что отец его был австро-венгерский дипломат и что сам Франкенштейн побывал в качестве дипломатического работника в Петербурге, Риме, Токио и Лондоне. Одно время он был секретарем министра иностранных дел барона Эренталя и по окончании войны 1914—1918 годов состоял членом австрийской делегации, подписавшей Сен-Жерменский договор с Антантой.

Я поинтересовался, давно ли Франкенштейн находится в Лондоне.

Франкенштейн ответил, что он работает в Лондоне уже не первый раз. В 1913 году он был назначен сюда в качестве коммерческого советника австро-венгерского посольства и оставался здесь вплоть до начала первой мировой войны. В 1920 году Франкенштейн был назначен в Лондон посланником послевоенной Австрийской Республики и вот с тех пор остается в Англии в качестве дипломатического представителя своей страны.

В этот момент в дальнем углу кабинета неожиданно открылась незаметная на первый взгляд дверь и оттуда осторожно выглянула милостивая женская физиономия, однако, увидев чужого человека, тотчас же скрылась и испуганно захлопнула дверь. Франкенштейн, конечно, заметил, что произошло, но лицо его осталось по-прежнему бесстрастным и невозмутимым. Он помолчал немного и вдруг, точно осененный какими-то дальними видениями, заговорил прочувствованно, полускрыв глаза:

— Какая жизнь здесь была, когда я первый раз попал в Лондон перед войной! Какие блестящие балы давались вот в этом самом здании, где мы с вами сейчас находимся! Какие веселые карнавалы устраивались! Какие люди сюда собирались! Сколько могущества, славы, богатства видели эти стены!.. Все прошло, как сон! — Франкенштейн глубоко вздохнул и, точно выходя из транс, вернулся на землю. — Я нашел наше посольство после окончания войны, — продолжал посланник, — в большом запустении... Страшно вспомнить! Вот уже двенадцать лет, как я прилагаю все усилия к тому, чтобы его восстановить, возродить, но это теперь так трудно. Государство наше стало маленьким и бедным. Денег нет. На ремонт не хватает. Все постепенно разрушается, а я ничего не могу сделать. Это бессилье горше всего...

Я не прерывал скорбных излияний Франкенштейна, а они текли, как тихий ручей

— В сущности, это здание для нас сейчас велико... Оно было в пору для великой империи, существовавшей до тысяча девятьсот четырнадцатого года. Но для государства с семью миллионами жителей такое посольство роскошь... Мне не хочется, однако, отказываться от старого дома, с которым связано столько дорогих воспоминаний — государственных и личных...

Да, Франкенштейн был весь в прошлом. В своих воспоминаниях «Facts and features of my life», опубликованных в Лондоне в 1939 году, он сам, между прочим, пишет: «Казалось, экзамен (для поступления на дипломатическую службу, который он выдержал в 1903 году. — *И. М.*) открывал предо мной дорогу к уверенному будущему. Даже если бы Австрия оказалась вовлеченной в войну, все-таки — думалось мне — монархия, существующая тысячу лет и пережившая много трудных военных кампаний, уцелеет как политическое выражение национального бытия. Я мог поэтому надеяться в дальнейшем служить своей стране в качестве посланника, может быть, даже посла, а затем, подобно моему отцу, выйти в отставку и провести вечер моей жизни на положении тайного советника и члена верхней палаты парламента, дыша приятной и интересной атмосферой искусства и политики в имперской столице. Увы! Человек предполагает, и бог располагает! Как все иначе вышло!»

Здесь весь Франкенштейн: аристократ, монархист, католик, корнями своими ушедший в социально-политические пласты далекого прошлого. История жестоко расправилась со всем тем миром, в котором вырос и в котором собирался умереть Франкенштейн. Великой империи, которой он хотел служить, не стало. Старинная австрийская аристократия, которая его породила, распалась и рассыпалась. Тысячелетняя монархия на жизнеспособность которой он так рассчитывал, рухнула. Осталась одна католическая религия, и Франкенштейн судорожно ухватился за этот последний якорь спасения. Добрый католик с молодости, он стал особенно набожным после первой мировой войны.



И чем больше сгущались тучи на европейском горизонте, чем труднее делалось положение Австрии, тем сильнее он впадал в состояние, близкое к религиозному мистицизму. Помню, однажды, незадолго до второй мировой войны, мне пришлось выступать вместе с ним и другими посланцами на одном собрании, посвященном столь прозаическому вопросу, как вопрос о расширении изучения иностранных языков. Речь Франкенштейна была похожа на молитву и на испуленный призыв к богу. Даже англичане, которые, вообще говоря, не прочь апеллировать к небу в публичных выступлениях, были шокированы слишком «папистским» тоном австрийского посланника.

Но в этом, в сущности, не было ничего удивительного. Приехав в Лондон в 1920 году, Франкенштейн оказался у разбитого корыта. Ему приходилось представлять здесь не великую державу, с мнением которой считаются в европейском концерте, а маленькое, слабое государство, неуверенно балансирующее на краю пропасти. В двадцатых годах Франкенштейн должен был вымалывать у победителей денежные субсидии для предупреждения финансового банкротства Австрии. В тридцатых годах положение еще более ухудшилось: с приходом Гитлера к власти Франкенштейну пришлось обивать пороги английских министерств в страхе за самое существование Австрии. Несмотря на это, Австрия все-таки погибла.

Надо отдать справедливость Франкенштейну, он был очень хороший посланник. Располагая совершенно ничтожными политическими ресурсами, Франкенштейн очень ловко и искусно вел свою игру. Он умел использовать в австрийских интересах всякую, даже самую маленькую, возможность. Особенно это относилось к искусству. Будучи сам любителем музыки, Франкенштейн превратил свое посольство в центр музыкальной и артистической жизни, где встречались английские и австрийские певцы, композиторы, актеры, режиссеры, художники и другие служители искусства. Устраиваемые Франкенштейном музыкальные вечера, фестивали, выставки и т. п. были очень популярны и славились высоким качеством. Все это создавало около австрийского посольства особый ореол. О нем много говорили, его выделяли из скучной вереницы дипломатических представительств второстепенных стран и ставили вровень с посольствами великих держав. Так, с помощью муз Франкенштейн до известной степени компенсировал недостаток политического влияния послевоенной Австрии. Не будь этого, его посольство просто превратилось бы в маленькую захудалую канцелярию по австрийским делам.

Впрочем, Франкенштейн не ограничивался только сферой искусства. Он усердно старался также укрепить, поскольку это было вообще возможно, политический престиж Австрии и ее лондонского посольства. Это в значительной степени облегчалось тем обстоятельством, что, будучи монархистом, аристократом, католиком, Франкенштейн являлся «своим» человеком для английского двора и для правоконсервативных кругов. И Георг V и Георг VI всегда относились лично к Франкенштейну очень хорошо, приглашали его во дворец и разными иными способами демонстрировали свое благоволение. Он был желанным гостем и в домах таких мажорных английских консерваторов, как лорд Лондондерри, лорд Ридесдель, лорд и леди Астор и другие. Франкенштейн сумел хорошо использовать все эти связи политически, добывая займы и субсидии для своей страны, организуя визиты руководителей Австрии в Лондон и т. п. В мое время в Англию приезжал Дольфус, канцлер-карлик (его убили нацисты в 1934 году). Позднее британскую столицу посетил преемник Дольфуса на посту канцлера Шушницг. Сам Франкенштейн до конца остался антинацистом. Корни этих настроений австрийского посланника приходилось искать, конечно, не в его склонности к демократии (каковой у него как раз не было), а в его приверженности к аристократизму, католицизму, австрийскому национализму. Известную роль, вероятно, играло и его англофильство — в Лондоне он провел свыше двадцати лет. Как бы там ни было, но сразу же после оккупации Австрии германскими войсками в марте 1938 года Франкенштейн вышел в отставку и отказался служить Гитлеру.

Что было дальше делать? Франкенштейн недолго раздумывал над своим будущим. Английские друзья очень скоро предоставили ему выгодный «бизнес» в Шане, а 25 июня 1938 года английский король пожаловал ему английское дворянство. Из барона Георга фон Франкенштейна он превратился в сэра Джорджа Франкенштейна. Около того же

времени этот старый, казалось закоренелый, холостяк вдруг женился на молодой англичанке с внешностью красавицы из трагической сказки: бледное, как маска, лицо, черные, как вороново крыло, волосы, ярко-пунцовые губы и горящие огнем глубоко сидящие глаза.

Старый австрийский аристократ с тысячелетней традицией власти и господства кончился. Начался средний преуспевающий английский бизнесмен, слегка позолоченный дворянской короной...

---

К концу четвертого месяца пребывания в Англии моя «визитная кампания» была в основном завершена. Как-то в марте 1933 года я был с очередным визитом у сирогов Вебб. В ходе разговора Беатриса сказала:

— Вы поступили очень правильно, что перезнакомились с таким большим количеством людей, занимающих видное положение в различных кругах и сферах. За последние недели мы с Сиднеем много слышим об этом от наших знакомых и друзей. Все говорят: «А знаете, этот новый большевистский посол как будто бы всерьез хочет работать над улучшением отношений между Лондоном и Москвой...» Желаем вам всякого успеха в вашей нелегкой задаче!



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

И. РАДВОЛИНА

★

## ВСТРЕЧИ С ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ

**Ч**то больше всего запомнилось, когда я ходила по улицам, вглядывалась, вслушивалась в жизнь Праги. Пльзени, Брно. Братиславы во время первого посещения Чехословакии? Мягкая красота ее природы, городов, ее древностей и новых зданий? Несомненно. Братская сердечность в отношении к нам, советским людям? И она вызвала прочную привязанность, которая останется навсегда. Но, пожалуй, ярче всего запомнилось уважительное отношение к тому, что делает человек руками, умом, сердцем — его естественная и постоянная потребность сделать полезное одновременно и красивым. И еще: привычка ценить человека не по тому, какую он должность занимает, а опять-таки по умению рук, по уму и по сердцу. Мне казалось, что именно отсюда вытекает спокойное чувство собственного достоинства, которое сказывается в манере поведения, в общении между заводским слесарем и министром, шофером и ответственным редактором, официантом и посетителем кафе. Об этом я вспомнила, отправляясь в Чехословакию снова.

Был воскресный день, и друзья предложили мне поехать по старинным городкам Южной Чехии. Брно — Телч — Индржихув Градец — Тржебань — Ческе Будейовице — Чески Крумлов и дальше. Милан Юнгман, редактор «Литерарных новин», и шофер редакции Вашек самоотверженно решили потратить день отдыха, чтобы показать гостю из Советского Союза самые красивые места Чехии.

Рано утром мы тронулись в путь.

Мягкие линии холмов с темными соснами или огненно-рыжими осенними рошицами по гребням сменялись вдруг суровой готикой дремучего елового бора. А за темнею бора, в густой зеленой траве так и застыли широко раскрытые, словно удивленные «божьи глаза», — как прозвал их исстари здешний народ, — пруды, сооруженные человеком.

И вот Отокар Плзак ведет нас по старому замку в городке Индржихув Градец. Плзак — управляющий этого замка, хранитель музея, и он же экскурсовод, он же увлеченный историк-краевед, страстный реставратор древности. Вдобавок ко всему актер-любитель.

У Отокара Плзака на редкость забавная манера рассказа. Видно, что он многое знает, что он широко интересуется и историческими трудами, и мемуарами, и народными сказаниями, и результатами раскопок. Но помимо всего этого он еще как бы сам прожил в этом замке все пять столетий его существования. И лично знавал и даже на хребте своем ощутил характеры его владетельных хозяев и хозяек. И давно знаком со всеми их свойствами, с грешками, с их пустой важностью, с их никчемностью, с суетностью хроник и родословных и со скабрзностью анекдотов, сопутствовавших их жизни.

И всем нам — то есть группе ребят с учительницей из школы в Ческе Будейовице, что приехали сюда в двух огромных автобусах, супружеской паре с двумя сыновьями (очевидно, близнецами), трем молодым парням с девушкой

и Милану. Вашеку, мнс, — всем нам интересно и приятно чувствовать врожденный юмор Отокара Плзака, которым окрашено все, что он нам рассказывает.

Соудруг Плзак ведет нас по залам, галереям, гостиным, спальням в домашнюю капеллу. Одни комнаты одеты в резное дерево, в других сохранились фрески тринадцатого века, третьи увешаны портретами. От сухопарой и угловатой готической строгости мы переходим в хоромы, что пристраивались позднее, где строители дали волю округлостям барокко. Он показывает нам рояль. На нем, говорят, сам Моцарт давал уроки музыки кому-то из здешних сиетельство.

Плзак ведет нас через крохотный дворик в людскую кухню. Высоченную, закопченную, отапливаемую по-черному. В стене — небольшое окошко. Все эти века — не больше и не меньше, чем один раз в год, — сиятельная владелица замка собственноручно раздавала отсюда голодным по тарелке похлебки. Одиннадцать тысяч крепостных мастеровых, тех, что копали, наполняли водой и рыбой для нее «божий глаз» у самых стен замка, тех, кто поставлял ей хлеб, мясо, дичь, — все они однажды в году выстраивались у оконца, чтоб полакомиться похлебкой.

В заключение Отокар Плзак привел нас на открытую террасу, выходящую во внутренний двор замка.

Здесь регулярно даются оперные представления.

Издавна в Индржихувом Градце существовал мужской певческий кружок имени Сметаны. В нем участвовали служащие и рабочие южночешских деревообделочных заводов, текстильного предприятия «Иголен» (что по-русски бы прозвучало как «Юго-лэн»), керамического завода и различных городских учреждений. Кружок давал концерты национальной музыки, выступал на собраниях, брал все больше и больше, как говорят здесь, энтузиастов искусства. А их в Индржихувом Градце, как мне показалось, по меньшей мере половина городка, если не все его одиннадцать с половиной тысяч жителей.

Примерно с того же времени существовал здесь и женский певческий кружок «Славы дочери». И вот десять лет назад оба кружка решили объединиться друг с другом, да еще и с любительским симфоническим оркестром «Музыкального союза». И создать собственный оперный театр. Но одно дело — концерт, и совсем другое — оперное представление. А денег на обзаведение, конечно, не было. Не было нужного реквизита. Не было и пультов для оркестра. Не было электрического оборудования для световых эффектов, не было даже стульев ни для музыкантов, ни для зрителей. Положение безусловно трудное. Но ведь не откажешься из-за этого от такой славной затеи, как собственная городская опера в Индржихувом Градце.

Тогда несколько сотрудников районного национального комитета, т. е. что пели в хоре, конечно, пошли в строительный отдел своего же учреждения и попросили помочь. А там, разумеется, тоже нашлись поклонники музыки. И даже исполнители. И они помогли. Затем присоединились общественные организации «Югольна». И опера пошла в рост. За эти годы здесь были исполнены «Проданная невеста» Бедржиха Сметаны и его же «Либуша», «Две вдовы» и «Русалка» с «Якобинцем» Антонина Дворжака, и «Кармен», и «Севильский цирюльник», и «Травиата», «Риголетто», «Фауст», «Фиделио» и еще очень многое. Сейчас театр ставит «Евгения Онегина».

Любители Индржихува Градца сумели сделать доступными для каждого человека округа богатство национального оперного творчества, крупнейшие произведения мирового оперного репертуара. «Им хотелось, и они сумели повлиять на воспитание сограждан», — так говорит об этом книга, выпущенная в областном центре — Ческе Будейовице — к десятилетию театра.

Во внутреннем дворе замка и на огромной террасе, где мы стоим, летом можно разместить три с половиной тысячи человек. Здесь отличная акустика. Переключившись друг с другом, мы услышали, каким чистым донесся звук. Двор не симметричен. Когда в более остром углу его устанавливают сцену, она отовсюду хорошо видна. И в этой романтической обстановке эпохи Возрождения люди, кото-

рые днем работают ткачами, учителями, бухгалтерами, врачами, адвокатами, вечером выступают на сцене, радуя сердца земляков. Они выступают еще и в здании городского театра. Выезжают в другие города. Их уже слушали и смотрели сто тысяч зрителей.

Чуть насмешливо, как говорят иногда о самом дорогом, рассказывал нам Отокар Плзак о семнадцати премьерях этого театра. О том, как солидные мужья, жены, матери, отцы семейств после службы спешат на репетиции, старательно заучивают роли, стараются, не дай бог, не опоздать, потому что дело есть дело. И еще о том, как звучит здесь вечером «Фиделио», точно он именно для этой сцены написан. А слушают? Слушают отлично. И взрослые, и юноши, и дети. И, конечно, это очень облагораживает людей, когда каждому становится так дорого музыка. А он сам, соудруг Плзак, просто очень любит здесь петь. Но о том, что в этих спектаклях и ему отведена была не одна серьезная роль, что он одновременно и заместитель председателя правления театра, — он даже и не упомянул. Об этом я узнала уже в Москве, читая книгу о театре, рассматривая отпечатанные в ней фотографии. Вот он Мумлак в «Двух вдовах» Сметаны, вот столтник в «Гальке» Монюшко, вот Брандер в «Фаусте». И нетрудно себе представить после его иронического рассказа о сиятельных владельцах Индржихува замка, с какой искренностью он пел:

...Конечно, уж судьба ко мне благоволит,  
Что быть мне канцлером иль князем не велит!..

### СЛОВО ВЗЯЛ МАСТЕР ИРЖИ ЧЕХ

На заводе «ЧКД», где работает Анна Вербенова, идет читательская конференция. Она начинается после дневной смены, в просторной, густо заставленной стульями комнате — позади заводской столовой.

Слово взял мастер Иржи Чех. Собственно, он просто заговорил после того, как, озадаченно оглядев всех, высказалась Иржинка Эргартова, энергичная крановщица из литейного. Ей понравилась повесть молодого писателя Клементиса «Мария», которая все лето печаталась в «Литерарных новинах» и, как рассказывали здесь члены редакции, помогла удержать от сезонной усушки тираж газеты.

Повесть пришлась по душе Иржинке. Почему? Потому, что в ней говорится об интимной жизни человека. Женщины. И о том, как в эту жизнь неминуемо врывается вот... и несуразница чувств, и работа, и собрания, и домашние заботы, и снова несуразница: чувств, и книги... И ее, Иржинку Эргартову, да и не только ее, все это очень волнует.

Заливаясь краской, Иржинка говорила:

— Для нас, которые раньше служили только мужу, такая книжка... — Недоуменно поглядывая не то вглубь, не то на сидящих за столом президиума, она продолжает: — Как работать по-социалистически — это мне ясно! А как жить по-социалистически — этого я себе представить не могу!

Обращаясь к сидящим рядом, Иржинка Эргартова проводит над их головами рукой, показывая при этом, как она передвигает под потолком цеха послушный ей мощный кран с многотонными поковками, и жалуется:

— Я вот вожу свои грузы над вами! Одна!.. Вам хорошо, вы вместе, у вас бригада! А я хотела гоже организовать бригаду социалистического труда, так мне не с кем. И я уже десять лет на кране. А из своих тысячи крон — хотя и жить надо, и мясо дорого стоит — на книги я не жалею, нет! На газеты тоже. Читаю. И в театр билеты беру и в кино беру — это все надо! Я на спартакиаде целых пять функций выполняла! («Функция» — это нечто вроде нашей «нагрузки».) И у меня сын. Я ему должна все объяснять. Должна! А я еще даже не член брига-

ды и не знаю, как живут по-социалистически, как чувствуют по-социалистически... Ведь есть еще у нас, например, и зависть, и нечестность, и всякое другое...

В ней кипело искреннее недоумение, и она, кажется, была уверена в том, что тотчас же, здесь же должна получить от писателей ответ на все мучившие ее вопросы. Она еще рассказала о том, как однажды попыталась было в журнале «Пламен» найти что-то поучительное для себя, потратила «целых пятнадцать крон». Но обнаружилось, что там «все очень сложно», пожалела истраченных денег и вновь вступилась за повесть «Мария».

— Она такая сегодняшняя... — повторила она.

Тут-то и заговорил Иржи Чех.

За длинным столом и вокруг него, поворачивая голову то к Эргартовой, то к Чеху, сидели их друзья. В рабочих комбинезонах, в халатах, еще не до конца отмывшие от рук копоты, масло, металлическую пыль. Это были члены бригад социалистического труда крупнейшего машиностроительного предприятия столицы.

О чем шла здесь речь? О многих вещах, но главным образом о том, что не хлебом единым жив человек. Особенно если этому человеку все виднее становится, насколько запасы знаний, имеющихся сегодня у него за душой, для социализма еще недостаточны. И еще речь шла о правде. О правде, без которой не может быть настоящей жизни, не может быть настоящего искусства, не может быть коммунизма.

Если я не ошибаюсь, зачинатели беседы, сотрудники редакции «Литерарни новины» предполагали сначала, что пойдет она по более определенному руслу. Им хотелось послушать, что пожелали бы видеть в их газете и что думают о ней те, для кого она делается. Им хотелось, должно быть, точнее уяснить для самих себя, какими представляются социалистический труд и жизнь при социализме Семену Гулге, например, как и его друзьям по бригаде — Вацлаву Гусу, Стефану Дерениху, той же формовщице Анне Вербеновой, чьей работой я так долго любовалась.

С Вербеновой, с Рациным, с Эргартовой, с Чехом, со многими другими рабочими и служащими завода писатели предполагали сегодня побеседовать.

Писатели... Один из них — уже немолодой, высокий и худощавый Вашек Каню, очень подвижной, с лукавыми темными глазами — предпочитал, кажется, чтоб его по-старому считали рабочим завода. Он ходил по цехам, как у себя дома. Больше показывал, рассказывал своим коллегам по редакции, чем смотрел. У ворот завода он привычно предъявил свой постоянный пропуск. В петлице у него синел крохотный синий кружочек с эмблемой завода.

Не так давно я прочитала повесть Вашека Каню «Обездоленные войной». Повесть автобиографическая. Она вышла еще в 1951 году. И рассказывала о горьком, очень горьком и совсем недалеком прошлом вот таких же рабочих людей, как и собравшиеся здесь, и о том, что будущее рабочего человека зависит все-таки только от него самого. От всех нас...

Еще один участник этой беседы — известный чешский критик Милан Юнгман — тоже пришел на завод, как домой. Хотя и говорил, что чувствует себя вроде немного виноватым. Он слишком давно тут не был. А во время войны — сын и внук шахтеров из Моса — он здесь работал. В модельном цехе, в литейном. И он тоже внимательно слушал Иржинку Эргартову и Иржи Чеха.

...Иржи Чех говорил, оставаясь сидеть на своем месте, чуть опустив сидящую голову:

— ...Следовало бы согласовать ритм культурной жизни города с многосменной работой предприятий.

Озабоченно говорил он о том, какими бы ему хотелось видеть телепередачи. Они могли бы дать человеку то, чего он не получает ни в кино, ни в театре. Повести его, например, каждый день в другую страну, показать, как люди живут в

Африке, в Америке, в России, раскрыть для него тайны науки, расширить кругозор.

А вот передавать спектакли... нет! Для него, Иржи Чеха, например, пойти в театр — это праздник. И он любит такую торжественность: хорошо одеться, не спеша отправиться туда, где люди будут ему показывать свое искусство. А смотреть театр в пижаме, развалясь на тахте, — нет, это кажется ему неуважением к искусству. «Так обкрадываешь самого себя!..»

Мастер Чех, конечно, подписывается на «Литерарку» — это слово он приносит с нежностью. И еще на газету «Культура». Надо ведь знать человеку, чем живет мир. Но вот ему непонятно, почему та и другая газета одинаково занимаются всем понемногу. Здесь о книгах — там о книгах, здесь о кино — там о кино, здесь о театре — там о театре. А вместе с тем и там и здесь ему не хватает, если можно так выразиться, углубленности, специализации. Точности не хватает. И там и здесь — всего понемногу, но не исчерпывающе. А бывает и так, что мнения расходятся. Кому же верить? Хотя...

Этот человек, предпочитающий, очевидно, поточнее знать, что такое хорошо и что такое плохо, задумался на секунду и возразил сам себе: нет, лучше, пожалуй, оставить возможность прийти к окончательному суждению за собой. Ведь вот, например, к книгам Достоевского в статьях относятся с холодком, да, что-то там осуждают критики. А ему интересно читать и полезно, и он будет их перечитывать. Почему? Хотя бы потому, что люди там описаны сложные, настоящие и чувства настоящие и есть над чем серьезно подумать. А в некоторых сегодняшних книгах его часто смущает или полная во всем «правильность» героя, или такая же полная «неправильность». Ведь вот если посмотреть его бригаду, одну из лучших на заводе, работают люди хорошо, но по-разному и по разным причинам. И общественную жизнь вроде не обходят стороной, нет. А вот жена, например, сидит дома. Жена по-старому «мужу служит». Именно служит. Собираются бригадой. Жить хотят по-социалистически, учатся. А жена опять-таки дома... Политические события обсуждают. Сессия ООН заседала. Новую конституцию принимать собираемся. О тех же романах идет спор. А жена — дома. На кухне или с детьми возится. Воспитывает детей. А что она может им рассказать, что может социалистического вдохнуть в них, если на ее долю остаются только покупки (и так, чтобы геллер крону уберег), уборка квартиры, кухня, белье, посуда?..

Мастер Чех задумался:

— ...Жизнь по-социалистически... обязательства... все очень хорошо. Но вот как бы сделать, чтоб это было действительно «жить» и действительно «по-социалистически», а не только «отсвистать акцию»? («Отсвистать акцию» — это чешский эквивалент нашего «провести мероприятие», «поставить галочку».)

— Жизнь изменилась, — продолжает свою мысль Иржи Чех. — Сильно изменилась...

Вот он, например, отец пятерых детей. Уже двадцать лет женат. Когда ему было лет восемнадцать, захотел приобрести лыжи. А они стоили целых двадцать пять крон... Пришлось от трамвая, от обеда отказаться. Питаться одним хлебом. Но ведь лыжи доставили ему радость. Большую радость! А потом он без сожалений и от лыж и от многого другого отказался, когда была забастовка, когда надо было помочь людям на заводе. И лишения не были ему в тягость. А теперь, пожалуй, стоило бы подумать над тем, как сделать, чтоб сегодняшние молодые люди научились чего-то сильно желать. И желать не только «эти самые лыжи», мотороллеры, машину, модную одежду...»

Иржи Чех задает вопрос себе и окружающим: не слишком ли быстро молодые ребята привыкают нынче все получать, приобретать, потреблять? Потребителями становятся. И не приходится им себе ни в чем отказывать. Ради большей цели. И если чуть что получают не так скоро — уже разочарование... Ничто не тренирует мускулатуру их воли. К этой мысли Чех несколько раз и разными путями подводит слушающих.

— Мускулатура воли, — говорит он, — без тренировки может стать дряблой...

Мастер Чех задумывается и высказывает еще одно свое сомнение: не выходит ли так, что толковые, практичные люди, которым сейчас уже под пятьдесят, забывают все-таки, что и им когда-то было шестнадцать, восемнадцать и что лучшее в них самих вспыхивало вовсе не тогда, когда только корона оказывалась позывным сигналом их поступков.

Иржи Чех возвращается к своим размышлениям о книгах. Он прочитал их уйму. Все, что выходит, старается прочесть.

— Но очень, — говорит, — просто в них все происходит. По-программному правильно! И вроде уже все решено. Вроде мало еще затхлости, жадности к вещам и деньгам осталось, карьеризма — и знаете, какой у нас карьеризм? — зависти, всяческого лицемерия... И об этом надо писать поглубже, позже. Чего, собственно, бояться? — спрашивает Чех. — Ведь все уже в наших руках. — Он понимает свои руки, большие, сильные руки. — А не писать об этом, — продолжает он, — значит, не быть уверенным в самих себе. Не понимать своей собственной силы. Ведь мы-то уже справились со значительно большим...

Я не смогла бы, да и не пытаюсь передать здесь все своеобразие речи Иржи Чеха. Но как естественна его озабоченность судьбой газеты, телевидения, радио, всей жизнью общества, его будущим, его молодым поколением! Я невольно приглядываюсь к нему, слежу, как он чуть повертывает свою большелобую голову к тому, кто выступает, стараясь уловить не только его слова, но и то, о чем выступающие недоговаривают, на что они лишь намекают.

И в том, как он, не прерывая свою мысль, поднялся, медленно прошел к выключателю, зажгет свет, как он посматривал на часы, когда чей-то полемический пыл отвлекал сидящих от конкретного разговора, мне виднее был человек, который уже давно осознал свою ответственность за все, что происходит вокруг. И именно это чувство ответственности научило его вдумываться во все окружающее, анализировать, доискиваться до первопричин, искать подтверждения и в книге и в спектакле, который он, кстати, требует уважать так же, как уважает свой труд. И, продолжая выяснять, уточнять свою мысль, Чех еще раз переспрашивает:

— Почему мы справились со столькими трудностями в сорок восемь лет и в пятьдесят шестом?.. Почему справились? — переспрашивает мастер Чех. — Потому что поняли правду! — отвечает он сам себе. — И теперь, — говорит он, — тоже необходима правда. В книгах, в фильмах, в статьях. Только правда! Для того, чтоб знать, что еще предстоит одолеть рабочему человеку... Для того, чтоб рабочий человек мог пояснее разглядеть и хорошее у себя и плохое. Обманывает себя внешней видимостью благополучия только слабый. А рабочий человек уже достаточно силен. Он способен все понять. Он может без страха докапываться до корней плохого. И, пожалуй, только на борьбе с плохим в себе и вокруг себя он мог бы тренировать волю, силу желаний, способность побеждать и у своих сыновей... А так, — заключает мастер Чех, — когда в книгах начинает казаться, будто все уже решено, так... — Он не заканчивает фразу, он прерывает ее снова вопросом, обращенным к себе, к собранию, к писателям: — Не потому ли молодежь отдает теперь так много времени спорту, книгам же вроде поменьше?..

Уже наступил вечер, а взволнованный разговор о насущном не остывает.

Потом слушают сообщение Милана Юнгмана о том, что именно собирается напечатать в ближайших номерах «Литерарка» и как бы ей хотелось удовлетворить своих требовательных читателей. А Вашек Каню продолжает мысль мастера Чеха и, очевидно, давнюю свою мысль о том, что перед молодыми людьми и книгами, и кино, и газета, конечно, должны ставить цели романтичнее, крупнее масштабом, сложнее, чем «этот самый акцент на экономике», чем просто «материальное благополучие». Он, Каню, убежден тоже, что на таком «акценте» настоящий человек не вырастет.

— Нет, — говорит он, — экономике, может быть, такое и полезно, но она еще не воспитывает доброго, умного человека для социализма...



## ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ СЛОВАКИИ

Еще вчера стояли мы на вершине холма в Братиславе, где высится древний дворец-крепость. В нем жили когда-то австрийские монархи. В роскошной, украшенной гербами карете, окруженная блестящей свитой, сюда въезжала Мария-Терезия. Солдаты Наполеона сожгли дворец, и с той поры он стоит в развалинах.

Сейчас заканчивается его восстановление. В него войдут теперь новые хозяева страны. Нас привела туда мой друг — рослая, стройная, решительная, подвижная молодая женщина Криста Бендова — словацкая поэтесса.

Мы уже побывали на улице Шкультети, где возводятся целые массивы жилых домов. И на улице Февральской победы. Их много здесь, новорожденных улиц. Прямые линии, крупные пропорции выступов, балконных, лестничных вертикалей, большие окна со стеклом во всю раму. Облицовка — цветная или цемент, нарочито грубоватый. Но все чистой и очень точной работы. Стена фасада чуть выше остальных стен, чтобы скрыть нагромождения вытяжных труб, антенны и прочее хозяйство крыши. И в общем — при том же промышленном способе строительства, при тех же крупных панелях — дома красивые, легкие, приятные своим разнообразием.

Сопротивляясь осеннему ветру, мы прошли по парку культуры вдоль Дуная к новому клубу-театру. И когда входили в огромный ступенчатый зал, более тысячи ребячьих голов с уголочками красных галстуков волнами то наклонялись вперед, то поворачивались к одной из сторон широченной сцены, то приподымались. Они переживали все, что происходило в пьесе, все, что случилось там с партизанами, с фашистами, с советскими бойцами.

Мы побывали в отличном студенческом общежитии «Молодая гвардия», в его удобных, просторных, по-современному обставленных столовой, залах, библиотеке. И зашли в первую попавшую небольшую жилую комнату. По рациональности использования каждого сантиметра площади она напоминала купе вагона, каюту парохода. Один из двух ее хозяев, буркнув утвердительно на наш стук, в первые секунды сидел спиной к двери, поджав под себя ногу, и ничего вокруг не замечал. В быстрых, умелых пальцах вертел он простой, сухой, почти белый кукурузный лист. Где натягивал его, где ловко подвертывал, где чуть-чуть касался краской. И вдруг на нас глянула озорная крестьяночка. Вот-вот она звонко засмеется, а то еще руки в боки — и отчитает нас за то, что мы так не вовремя ворвались сюда. И мешаем студенту художественного института как раз в те часы, когда он готовит курсовое задание.

Было и так: захватив план города и заглянув в один из чудесных фотоальбомов, подаренных мне, поутру, в четверть седьмого, я вышла из гостиницы «Карлтон», пересекла площадь и, подчиняясь деловому темпу утреннего потока прохожих, отправилась по небольшой улочке (вся она в огромных нарядных витринах) к одной из самых старых артерий города — к Микаэлевой. Возраст ее легко было бы установить по тому, как тесно прижались здесь друг к другу двух- и трехэтажные дома, как белые рамы их окон не отступают в глубину проемов и стены от этого кажутся плоскими, подобно театральным декорациям, как извивается она, узкая, прихотливая, то и дело сворачивая в глухие, таинственные расщелины переулочков, тупичков, двориков, переходов. Вместе с потоком пешеходов я вышла из-под сводов белой башни Микаэля, которая появилась здесь еще в тринадцатом веке, на широкую центральную улицу, свернула направо, мимо современного — стекло, металл, пластмасса — магазина обуви, мимо десятков витрин, мимо открытых уже столовых, кафе, закусовых, мясных и овощных лавок, мимо огромной рекламы газеты «Правда» — органа Коммунистической партии Словакии. Еще дальше. Села в трамвай. Он был полон. Пожилой грозного вида усатый и бровастый человек заботливо поддержал меня сзади, когда в толчее нога не сразу нашла место на подножке. Потом он оглядел, уже сверху, всех, кто хотел еще попасть в вагон, и, кивнув туда, куда трамвай отправлялся, пошутил:

— Можно подумать, что там бесплатно вином угощают!

Кто-то сзади пробасил:

— Зачем вином? Сливовицей!

Рядом со мной двое молодых людей, вроде ничего не видя и не слыша, обсуждали вчерашний футбольный матч. Но когда на очередной остановке в вагон вошли еще три женщины, они поднялись, так же как поднялся и тот, кто уступил место мне, как-то рефлексивно, привычно.

И казалось, в вагоне становилось теплее не только оттого, что стекла и стены его защищали от ветра, который, кстати, разгонял уже нависшие почему-то сегодня тучи, а еще и потому, что людей согревала шутка, и потому, что почти все пассажиры направлялись к одной и той же цели — к нарядному светлomu зданию химического завода имени Георгия Димитрова.

А когда на центральных улицах и площадях города, в закоулках и на окраинах не утанлось, кажется, ни одного такого камешка, который не дал бы себя почувствовать наболевшим подошвам моих ног, мы снова сидели у Кристи. В низких креслах, на тахте, у круглого столика, на котором лежала раскрытая книга и дымился непрменный крепкий кофе. Криста рассказывала нам о своей последней командировке. Ей поручено было написать очерк о хороших делах и хороших людях госхоза. Она поехала, всмотрелась, и на поверку вышло, что тамошние жители считают и дела не такими уж хорошими и кое-кого из людей предпочли бы видеть лучшими. Теперь она будет писать, но совсем не очерк, а фельетон.

Доброе, по-девичьи смешливое лицо Кристи удивило меня в тот вечер своей непримиримостью. Но тут же она опять подобрела. В комнату вошли ее три сына. Двое школьники. Третий вскоре отправится в первый класс. Все как на подбор крупные, круглолицые, с любознательными веселыми глазами.

— Они, — Криста смеялась, — они совсем не озорники. Но недавно они устроили в доме настоящее сражение: один был Буденным, другой Чапаевым, а третий — Яношек или кто-то еще. И потом вместе с дедом, главным потатчиком во всех их делах, написали письмо в Москву настоящему Буденному и только на днях, когда уже и ответ получили, довели всю свою затею до сведения мамы. Ее-то в стороне не оставишь!

Но, рассказывая о том, как проводит свой день поэтесса Криста Бендова, я чуть было не упустила из виду самое главное. Стихи. Они неотрывны от всего, чем она по горло занята, в чем она горячо заинтересована, что целиком наполняет ее вечно торопящуюся жизнь. Последняя ее книга называется «Сквозь огонь и воду».

В один из вечеров, уже накануне моего отъезда из Братиславы, мы с Кристой поднялись к крепости-дворцу. С нами пришла тогда небольшая, тонкая, с яркими черными глазами переводчица Магда Такачева. Как утверждают, ей удастся заставить говорить по-словацки — и даже отлично говорить — многих героев русской классической и советской литературы.

С плоской крыши замка, где высятся его четыре дозорные башни, виден был весь город. И Дунай в сумерки казался действительно седовато-голубым, печально загадочным. И дальше, за городом и рекою, темнели перелески — то ежиком на макушке пригорка, то вдоль откоса, точно наперегонки сбегая вниз к речке, то в узком корытце между холмами.

Криста протянула руку в одну сторону — там совсем близко проходит граница и чуть позднее в седловине займется зарево огня Вены.

— А вон там моя Банска Бистрица, — показывала Криста. — Видишь? Там наши партизанили. Поедешь туда. У нас там такое строят...

И Магда показывала вниз, на левую часть города, и говорила:

— Когда в следующий раз приедешь, обязательно покажу тебе еще вот тут нашу новую улицу. Очень красивые дома...

И меня спрашивали:

— Ну как тебе понравилось и а ш е студенческое общежитие?

— Ну как и а ш а постановка «Полночной мессы» — лучше, чем пражская?

И в ушах эти слова перезванивались с вопросом Милана Юнгмана:

— Ну как, правда, у нас на заводе хорошие люди?

А седой гривастый писатель Карел Новый, кажется, вновь как собственную точку показывал мне «наше новое море», потом «наш древний Табор». Табор с его глубочайшими трехэтажными, выложенными стесанным камнем катакомбами, в которых жили и работали табориты, когда наверху воины Жижки защищали свою крепость свободы. И мне будто слышались слова закона таборитов: «Итак, в Таборе ничего нет моего, ничего нет твоего, все принадлежит всем одинаково...» И кажется, снова Мария Майерова, ветеран чешской литературы, опираясь на палочку, вела меня от километровых цехов к доменным печам ее родного Кладно. Знакомила с молодой нарядной парой, что собралась в клубе завода имени Конева отпраздновать с друзьями литейщиками начало семейной жизни, показывала универсальный магазин «Сирена», который назван так в честь ее, Майеровой, романа «Сирена», на лес дымящих труб и ревниво спрашивала:

— Ну как, содружка, понравилось тебе наше Кладно?

Да, здесь, наверху, в братиславском граде, я, как и всюду, чувствовала нас горящее родство между нами.

Ведь точно так же мы вместе с Кристой смотрели в свое время «наш последний спектакль» в Ленинграде, и точно так же я показывала ей «наш юго-западный район» в Москве, и точно так же хвалились:

— Этот сад мы, жильцы, сами сажали!

...Рано утром черная «татра» выбралась из запруженных людьми, трамваями, машинами улиц Братиславы, набрала скорость, взлетела на один пригорок, спустилась вниз, взяла второй покруче, третий еще круче — и понеслась дальше. По долинам и по взгорьям Словакии.

Машина мчала нас по удивительно веселой дороге, мягко огибая зеленеющие листвою и хвоей холмы. Водитель притормаживал у новехоньких сел, у заводских поселков, где и тротуары, и современная прямизна линий, и яркость домов, и витрины магазинов выглядели не хуже пражских или братиславских и прохожие одеты были, как в столицах.

Машина замедлила ход у одного завода — он лишь только что выкарабкался из котлована; она задержалась у другого завода — тот уже гудит, дымит и дышит во все свои трубы. Она оставила позади третью или пятую плотину; она остановилась у подножья скалы, на верхушке которой, словно огромный белый корабль, разрезающий синеву воздушного моря, причален старый Оравский замок.

По стоштаным веками каменным ступеням, по трухлявым от времени деревянным лесенкам стоит подняться наверх, чтоб вдруг воочию представить себе, как, утверждаясь на граните скал и крепостных стен, феодалы этой земли, а затем австрийские, венгерские губернаторы столетиями выращивали в себе надменное чувство собственного превосходства и уверенность в своем праве владеть.

Потом машина стремительно мчится по долине обратно, минует поворот, ныряет вниз, вверх. А у руля сидит невысокий, широкоплечий, мрачноватый человек. Он расстегнул ворот рубашки, откинул пиджак на заднее сиденье. То и дело переводит острый взгляд серых глаз с дороги на пригорок, на лес, на синеевущий вдали перевал и как бы равнодушно бросает:

— Вон там воевал наш отряд...

— А там видите? Памятник — братская могила. Наши и ваши. Вместе.

— А здесь немцы выжгли все. Ни одного дома в селе не оставили. Это... — кивком своего упрямо выдвинутого вперед подбородка он показывает на почти городские строения, — это тоже новое! Совсем новое!

Слова его звучат сухоовато. И борозды, четко просеченные по всей ширине выпуклого лба, от уголков глаз к щекам, от ноздрей к опущенным углам изогнутых губ, позволяют угадать порывистую решительность, резкость характера Ладислава Мнячко — известного словацкого писателя.

Совсем недавно я прочитала его небольшой лирический очерк. Очень сдержанный, нежный и печальный. Рассказ о старой усталой матери партизана. Она так и не смогла узнать, где похоронен ее сын. Приехала издалека и поздней

ночью встретила писателю у братской могилы. Может быть, здесь найдет она своего сына?..

И еще есть у Ладислава Мнячко роман со странным названием «Смерть зовут Энгельхен», то есть «Смерть зовут Ангелочком». Закрыв последнюю страницу этой книги и вернувшись по привычке к первой, я, по правде говоря, удивилась, что ее назвали романом. Я услышала в ней исповедь человека с обостренной гражданской совестью, раздраженного и доброго, непримиримого и любящего. В этом романе вел свой рассказ партизан, раненный в последней схватке с фашистами в позвоночник, но все-таки выживший. Его разбил паралич, и вынужденный покой особенно остро дал ему ощутить — опять-таки совестью — все, что было, что происходит вокруг, все, что может еще случиться. И рассказывает он об этом, иногда воспроизводя событие, иногда страстно убеждая себя, других, иногда лишь намекая на то, чего нет уже сил изображать, иногда вдаваясь в детали, которые могли бы быть и опущены.

Его гложет ни на минуту не затихающая боль о былом: о бессмысленной гибели русского парня — командира отряда, с которым он делил горе и счастье великих дней отщепеня; о сожженном немцами хуторе, который пришлось после долгой стоянки отряда оставить. Потому что война требовала. Потому что кольцо преследования сжималось. Потому что в чем-то ошиблись. А фашисты палили, вешали, бросали собакам на растерзание беззащитных людей. Тех, что месяцами, не заботясь о своей судьбе, давали партизанам ночлег, пищу, человеческое тепло.

Рассказывающего мучит вопрос: почему случилось такое? Он убежден, что именно теперь время дать себе отчет во всем. Иначе может пострадать будущее. И он вспоминает: в какой-то момент партизаны поверили только словам двух пришельцев, только словам людей, что выдавали себя за беглецов из фашистского плена. Поверили их правильным словам и не поверили чужью.

Рассказывающего заставляют метаться по постели, срывать, мучить врачей, сестер обрушивающиеся на него воспоминания о трагической судьбе женщины, молодой, красивой, умной. Она отважилась пойти на многое для того, чтобы заслужить доверие у «ангелочков», чтобы выведать у них все, что можно, чтоб помочь их уничтожению. Она дожила до победы, но не смогла пережить все, что продолжало ее мучить изнутри. И покончила с собой. А те, кто истоптал ее душу, кто пытался затоптать душу народа, те, кто с волкодавами гонялся за мечущимися по горам партизанскими отрядами — кровожадный «ангелочек» из тихого немецкого музыкального городка, — они живы. И что не менее плохо: где-то рядом существуют еще те мелкие растленные душонки, что ради жалкого самосохранения, ради наживы прислуживали «ангельхену». Ведь не случайно в самом начале книги рассказано о том, как первым заторопился выдать себя спасителем раненого партизана, первым услужливо и нагло завопил: «С дороги! Раненый герой!» — именно тот, кто вчера сотрудничал с врагом. И потом он же, вооруженный уже словами «товарищ», «народная власть», решается прийти к партизану в госпиталь за рекомендацией. Он еще будет не раз втираться в доверие, будет, может быть чаще, чем сам герой, кричать о своей преданности новому строю, будет, быть может иногда правильной, чем этот герой, повторять прописные истины, найдет доверчивых... А доверчивость... Надо всегда помнить, к чему уже однажды привела доверчивость тех, кто верил лишь правильности слов.

Вот о чем день и ночь тревожились партизан, вот что он перебирал в памяти, вот что заставляло его то и дело ощущивать свои бесчувственные ноги, еще и еще лечить их, тренировать. К ним должна вернуться жизнь. И она возвращается. И борьба еще не закончена. И фронт проходит сейчас не по прямой, не по видимой простому глазу линии окопов, воинских построений, географических пунктов — фронт проходит сейчас по часто извилистым, скрытым линиям душ.

Строгий водитель лихо берет виражи. И, не глянув на указатель дорог, он уверенно сворачивает на ту из них, что ведет через самый живописный изгиб гор.

Они отливают сейчас на солнце всеми оттенками зелени, золота, багрянца. Строгий водитель снова кивает на впадину перевала:

— Вон там проходил наш отряд...

И я отчетливо представляю себе, как шагают между деревьями по откосу, как прислушиваются к каждому шороху снизу, сверху измученные люди. И среди них сам Ладислав — юный еще и, наверное, озорной. Представляю себе командира отряда, резковатого, справедливого русского парня Николая, которого гранатой разорвало у него на глазах. Представляю ужас мальчишки — соратника его, который по доверчивости душевной оказался виновником гибели собственного отца — подпольщика-антифашиста. Представляю себе молодую красивую женщину, пробирающуюся в отряд: она любила, ее любили, и ей пришлось дать сжечь в себе все дорогое, все чистое, чтобы могли расти, греться на солнце, не бояться огня фашистских пожарных вот эти города, заводские поселки, села. Они здесь густо нанизаны на бетонные нити дорог, убегающих из-под колес машины. А в них — люди...

Раннее утро в Раечке Теплице. Это уже Малые Татры. Я вышла из горного санатория-отеля, в котором мы вчера ночью остановились, чтобы на следующий день посмотреть Жилину. Она расположена всего в нескольких километрах отсюда, и мне уже давно хотелось увидеть этот старый промышленный город, в котором в двадцатых годах происходило одно из первых собраний рабочих, впоследствии объединившихся в дорогую моему сердцу коммуны «Интергельпо».

Ехать мы должны были после завтрака. А теперь санаторий еще спал. Дремотой и все селение. Прохладное солнце еще только поднималось из-за гор. В синеватой тени деревьев не мешало бы и теперь, в сентябре, натянуть на себя пальто потеплее. Шоссе — оно же и главная улица Раечке Теплице — тоже блестело влажной, ночной еще прохладой. Но вот из-за угла, резанув сонную тишь грохотом мотора, промчался парень на мотороллере. Потом минут десять спустя — велосипедист. Потом две девушки на велосипедах, в спортивных брючках, с рюкзаками, с чемоданчиками. Не то на работу, не то спозаранку за покупками. Потом грузовик. Откуда-то со двора петух все более настойчиво стал напоминать, что пора наконец приниматься за дело. Второй откликнулся ему. И, точно по их зову, к скрещению дорог поднял огромный краснобокий автобус. За ним — другой и третий. Битком набитые. С гроздьями детских лиц в окнах. Из автобуса они выходили — не высыпали, а выходили — на удивление чинно, один за другим, помогая малышам. И только свернув в переулок, в конце которого начинался школьный двор, они рванули таким бегом, что и сам Эмиль Затопек в свои лучшие времена мог бы им позавидовать.

Только один из них застрял на дороге. И в его вынужденной солидности виновата была я. Или, вернее, чувство его собственного сугубо серьезного гостеприимства. Это он, кареглазый Янош, ученик седьмого класса, терпеливо, очень терпеливо (в это время ребята уже начали гонять мяч по двору) объяснял мне, что они все живут в окрестных селах; что каждый день точно по расписанию, минута в минуту, к определенным стоянкам у каждого села, туда, где ждут дети, подходит автобус, собирает их, а вечером развозит; что в школе они так же, как и ученики Праги и Братиславы, завтракают, обедают и полдничают; что с дружиной они ходили недавно в поход, и ездили в Братиславу, и были в театре; что он прочитал «Повесть о настоящем человеке» и она ему очень понравилась; что он собирает сейчас крохотный радиоприемник, который можно будет сунуть в карман и слушать весь мир, а помогает ему в этом деле его брат, тракторист; что он тоже решил стать трактористом и агрономом и, может быть, еще будет мастером по радиоаппаратам. Это его очень интересует. И больше всего ему хотелось бы поехать к морю. И вообще он очень обстоятельно знает, что ему предстоит делать сегодня, и завтра, и послезавтра, и через десять лет.

Янош бы, наверное, еще многое рассказал мне и про своих родителей — членов сельхозкооператива, и про своих друзей, если б не раздался звонок. И тут

орава сорванцов, отчаянных футболистов, волейболистов, баскетболистов снова так же волшебю на моих глазах превратилась в степенных девочек и мальчиков. входивших в распахнутые двери высокой красивой школы. Я туда не заглянула (пора было возвращаться в санаторий). Ни одного учителя я во дворе не видела. Но точно так же, как сад прямизной стволов, зеленой сочностью листвы даже в отсутствие садовника сам говорит о его труде, точно так же вся повадка ребят говорила об умении и этой сельской школы не только обучать детей, но и выращивать, воспитывать в них человека. Человека, который всегда и везде помнит, что рядом люди...

За все это, собственно говоря, и отдали свою жизнь друзья Ладислава Мнячко, герои его романа.

А накануне вечером в столовой санатория проплыла стайка девушек. Они были оживлены и нарядны. Но не броско, не стараясь во что бы то ни стало обратить на себя внимание. Весело оглядываясь, они заказали ужин. Свет в зале был чуть пригашен. Играла музыка, тоже вроде пригашенная, не заглушающая разговор, мягко ритмическая. Потом и она затихла. Мне сказали, что здесь, в санатории, который одновременно является и отелем в горах, девушки проходят сейчас краткосрочные курсы повышения квалификации сыроваров.

Рядом с ними за двумя сдвинутыми столиками сидела группа мужчин, солидных, сосредоточенно разговаривавших о чем-то. Папки, портфели были сложены на стуле рядом. Мужчины потягивали коньяк и спорили. Один начал чертить что-то на коробке сигарет, поглядывая то и дело на соседа. Другие вроде отшучивались, но тоже что-то дочерчивали, доказывали. Официант сказал, что это комиссия экспертов по делам электрическим. Из столицы. Несомненно, они спустились сюда отдохнуть. Но то, что так знакомо по нашей жизни, радовало и здесь — все те же фамильные черты родства по социализму: трудовой день давно окончился, а работа продолжала волновать, хотя отдых полностью вступал в свои права, хотя вновь раздавались звуки музыки. Но вот один поднялся, махнул рукой — все равно, мол, всего не обговоришь, — решительно подошел к девушкам, улыбнулся и пригласил ту, что сидела с краю. Поднялся и второй и третий. Вскоре весь зал танцевал. И пожилая пара из-за столика у самых дверей. Утром я разговорилась с ними — это был железнодорожник из Жилины с женой, уже вторую неделю отдыхающие здесь...

Когда музыка кончилась, девушки вернулись к своему столу. Оттуда доносились шутки и смех. И, может быть, эта спокойная картина отдыха не всплыла бы так выпукло в памяти, если бы утром я не увидела опять эту стайку совершенствующихся мастеров сыроварения — теперь уже строгих и, должно быть, очень деятельных — с тетрадочками в руках. Они торопливо доедали свою традиционную простоквашу с джемом. Они тоже хорошо знали, что им надо делать завтра и послезавтра, чтоб страна была сыта, чтоб жизнь стала лучше.

И еще вспомнилась мне встреча наверху — в музее Оравского замка.

Молодой ученый, член экспедиции Академии наук, подошел к Ладиславу и, придерживая его за локоть, стал настойчиво просить о помощи в очень важном деле: его беспокоило, его крайне беспокоило, что крестьяне окрестных сел, строя для себя новые, современные жилища, попросту сносят старые. И мебель покупают новую, и скоро уже здесь совсем не останется тех деревень, чьими высокими крышами, темными причудливыми очертаниями так памятны исстари эти края.

Ученый считал, что следует поторопиться: надо сохранить хоть остатки памятников древней и вчерашней еще сельской архитектуры. Сvezти сюда, к подножью Оравского замка, дома, утварь, все, что имеет историческую ценность, и заботливо сохранить. Молодой ученый просил писателя заговорить об этом в печати. Он, на верное, и не предполагал, что может означать сказанное им для человека, который всего лишь несколько минут назад вспоминал, как совсем еще недавно крестьяне этой долины по два месяца в году попросту голодали, как скупой и жестокий город черпал отсюда готовую на любой труд ради корки хлеба черную, почти только черную рабочую силу. Здесь стояла темень непроглядная. Казалось,

не поддающаяся изменению. Ученый, наверное, и не задумывался над тем, что могло означать для бывшего партизана этих гор такое наглядное доказательство: жертвы были не напрасны, бороться стоило!

А может быть, и писателю было сейчас не до исторических аналогий. Может быть, и он, занятый сегодняшними делами, больше заботился о будущем, хотя, конечно, совсем не возражал против того, чтоб сохранить старинную деревню на положении музейной редкости. Пусть она еще и еще раз зримо, в сопоставлении напоминает: так жили здесь люди до борьбы, до жертв и совсем иначе живут сейчас.

К изданию пьесы «Мосты на восток», где Ладислав Мнячко со всей своей непримиримостью обрушивается на остатки эгоизма, собственничества, отгороженности в психологии мастерового Словакии, предпослано несколько слов автора о себе.

«Я был репортером и останусь репортером до самой смерти. — пишет Мнячко. — Я люблю этот горячий контакт с сегодняшним днем, непрерывный спор с людьми, с предметами. Мне трудно выдержать долго на одном месте. Если я нахожусь месяц дома, то уже чувствую себя несчастным. Я должен смотреть, выискивать, что нового принес день. Но время от времени меня захватывает величие темы, перерастающей возможности газетного материала, газетного подхода, газетного диапазона. В такой мере, только в такой мере меня можно назвать писателем, только в такой мере я имею нечто общее с литературой... Я пишу с одинаковой радостью как заметку в газете, так и большие прозаические произведения. И когда заметка мне удастся, я радуюсь этому так же, как удачной книге. Некоторые упрекают меня за это, твердят что-то о разменивании таланта. Но для меня жгуче вопросы жизни важнее, чем литература. Если я чувствую, что мне есть что сказать и нужно это сказать немедленно, а не через несколько лет, когда тема «созреет», я сажусь за машинку...»

И он садится за машинку, как здесь говорят, часто. В Братиславе мне рассказали такой случай: кажется, в старинной белой башне Микаэля — на самой верхушке башни — в отчаянной тесноте издавна ютилась многолетняя рабочая семья. В своем неудержимом хозяйском желании заглянуть во все закоулки сегодняшнего дня, вычистить, выветрить их писатель обнаружил и эту семью. Написал о ней. И людям дана была возможность зажить по-человечески.

А в другом месте мне рассказывали, как писатель, забыв о своих литературных делах, на протяжении месяцев отстаивал необходимость продолжения какой-то стройки и вместе с тем добивался реабилитации честного человека. С министрами спорил, опять-таки писал. И стройка пошла в рост. И честь человека была спасена. А в третьем месте мне рассказали о фельетоне Ладислава, в котором он изобразил одного местного деятеля культуры. В чертах характера этого человека писателю увиделось нечто не совместимое с тем, что каждый из нас должен прихватить с собой в коммунистическое завтра. Речь шла не только о том или ином поступке, а именно о чертах характера, которые породят еще многие поступки. И Ладислав посчитал, что время не терпит, что пора обратить внимание людей — пусть пока и не называя имени виновника. Кто должен — тот догадается, кто способен одуматься — тот одумается. Он предупреджал. И машинка его снова отстукивала то, что требовала жизнь и что как будто отодвигало в сторону литературу.

Еще много всякого рассказывали мне о Ладиславе Мнячко — прозаике, драматурге, удостоенном высших наград, и репортере. Может быть, кое-что и прибавили, кое-что напутали. Одни говорили о нем с удивлением: «И на неприятности, мол, может человек нарваться и врагов может нажить, а ему все нипочем, до всего ему дело!» Другие — с дружеским уважением: «Молодец парень! Гнет свою линию всюю! Может, конечно, иногда и перегнуть, но кому не ясно, что даже его перехлесты тоже оттого, что справедливость стала для него действительно высшим мериллом социализма». Третьи — с раздражением: «Во все, мол, лезет! Всем досаждают! Ему вроде больше всех надо!» Но даже эти последние,

когда речь заходила о романе Мнячко, о его пьесах, рассказах, фельетонах, волей-неволей признавали, что в них сама жизнь, что в них сегодняшняя гордость народа, сегодняшние заботы, беспокойство, сегодняшнее чувство, я бы сказала, родительской ответственности за отвоеванное.

...Поворот, опять поворот. Дорога все расширяется и прямеет. Позади остались огромные корпуса нового, еще более нового, совсем новехонького металлургического завода, химического, цементного. Последний уж очень старательно припудривает деревья и строения во всей округе... Ослепительно поблескивает окнами пенициллиновый. Мебельная фабрика — это она, наверное, останавливает у витрин молодых и старых братиславцев, пражан и волнует сердца москвичей легкостью и удобством своих кресел, столиков, шкафов.

Поток грузовых машин сгущается. Вот и первые признаки окраины. До чего же само это понятие «окраина» здесь, как и в наших городах, коренным образом изменилось: сначала показываются леса и краны, этажи строящихся домов (они еще только взбираются вверх); этажи только что выстроенных домов (у них уже крыша над головой); дальше идет шеренги уже заселенных жилищ. Очертаниями они похожи, как близнецы. И все же каждый хотел бы отличаться. Хотя бы цветом стен — желтым, зеленым, красным, оранжевым, голубым. Яркость красок еще не притушили ни возраст, ни пережитое. А вокруг уже кишат ребятишки, на балконах после утреннего дождя еще пестреют цветут вьюны, и ветер развеивает в открытых окнах клетчатые занавески. Потом начинается старый город. Тот, что был до войны. Коренастый, с серыми приземистыми подступами. С домами, что плотно прибились друг к другу. С обязательными для каждого уважающего себя города этой страны торговыми рядами, чьи витрины защищены низкими сводами аркад. Тут есть и готический храм в центре. И столб на главной площади, весь увитый ангелочками, молящими о чем-то небо. Ему, вот этому столбу, жители городов доверяли и поручали в былые века отгонять чуму, мор и бог вести еще какие напасти.

Таких городов здесь немало. Но этот все-таки единственный. Это Банска Бистрица. И если вы чуть прикроете глаза, вам представятся настороженные, пробирающиеся вдоль улиц подпольщики, повстанцы.

Отсюда, с пригорка, или оттуда, со стороны сквера, они выбегали на центральную площадь. Среди них вашему воображению видятся и знакомые лица. Может быть, родные.

Да, стоит только прикрыть глаза и вспомнить все, что вам известно о Банской Бистрице, — и воображение уже заполнит эту площадь партизанами, отстреливающимися от дьявольских «ангелочков». Это нетрудно вообразить здесь, на главной площади города, если вы оставили в стороне столб с ангелочками — он не смог спасти Банску Бистрицу от фашистского мора — и подойдете поближе к высокому черному обелиску, на котором золотом выведены слова: «Здесь похоронены воины Красной Армии, павшие смертью храбрых в бою за свободу и независимость Советского Союза и за возрождение Чехословацкой республики. 1945 год».

Молодая мать с поднятой вверх копной черных волос везет мимо нас в ослепительно-белой коляске пухлого черноглазого малыша. Наверное, мальчик — весь в голубом. Тоже мимо, подхватив девушку за руку, спешит куда-то паренек. Трогательно взявшись за руки, проходит пара пожилых людей. Всем им повезло: не дали все-таки «ангельхенам» до конца разгуляться здесь.

Я смотрю на обелиск, что указующим перстом, напоминая, предупреждая, поднят над площадью, над страной. Он точно говорит: «Не смейшь забыть!» И мне по-родному дорог каждый новый дом в этом городе, каждый новый завод, каждое простое человеческое счастье. Не дешево оно далось всем нам.

...Еще одна остановка: мы на улице Карла Маркса в городе Мартин. И раньше, когда город еще назывался Святым Мартином, улица носила все то же имя.



Здесь, на окраине, издавна живут мастеровые. И задолго до войны они потребовали от социал-демократической ратуши назвать их улицу именем человека, чье дело обещало им счастье, хотя бы впереди. А так как окраина здесь и кончалась, и за частоколом ограды уходили в стороны боками в тротуару длинные, скучные одноэтажные дома барачного типа, и городу в этом районе похвастаться было нечем, то жителям разрешили такую вольность.

Но приехали мы сюда не только затем, чтобы увидеть еще одну историко-революционную достопримечательность. Нет. Ладислав взбежал на крыльцо дома, что стоит слева, заглянул в переднюю, в комнату. Потом взбежал на другое. Глянул, постучал в третью дверь. Заговорил с мальчонкой, что сидел на скамейке. Обогнул цветник. А тут с самого глубинного крыльца спустилась молодая женщина. Она присмотрелась, всплеснула руками и протяжно закричала:

— Ладё!..

Из дверцы сарая, замыкавшего удлинённый четырехугольник двора, выглянул смуглый, худощавый, морщинистый человек с закатанными рукавами, с топором в руках, согнутый не то жизнью, не то возрастом. Он подходил, издали еще протягивая руку:

— Ладё!..

Убежавший за угол мальчуган привел за руку отца. Тот тоже долго обнимал, по-дружески поддавал под ребра, придиричиво разглядывал моего спутника.

— Ладё!..

Дальше пошел оживленный разговор. Отрывистый, полусловами. Перескакивающий с имени на имя. Такой, какой бывает между самыми близкими друзьями детства...

Только сейчас легла на мой стол еще одна книга Ладислава. Именно так она и называется: «Улица Маркса». Он очень любит ее и считает самым удачным своим произведением. В ней рассказано об этих семьях, об этих людях. О людях улицы Маркса. Здесь прошла юность писателя. Здесь родился он. Здесь учился. Здесь начал работать. Отсюда ушел в партизаны. И то, что ему впоследствии доверили редактировать центральный орган Коммунистической партии Словакии «Правду», и то, что ему было поручено редактировать центральную словацкую газету «Культурни живот», и то, что его уже многие годы заставляет ездить и писать об успехах рабочих людей в Советском Союзе, в Китае, во Вьетнаме, о фашистах, которые еще живы и еще не сложили оружие, — это тоже идет отсюда, с рабочей улицы имени Карла Маркса...

— А как твоя жена, Ладё? Как твоя мама? Почему она с тобой не приехала? Она еще этого не видела? — Марженка, молодая женщина, что вела нас к себе в квартиру, обвела взглядом цветники посреди двора, выкрашенные в светлый, солнечный цвет дома, густую зелень вокруг них. И повторила свой вопрос: — Мама еще всего этого не видела?

Больше о том, как изменилась жизнь за эти годы, сказано не было. И, может быть, слова приобретают здесь особую ценность, потому что их словно бы стесняются произносить. Каждому и так ясно, что дело не только в новых цветниках, не только в обновлении домов, не только в том, что квартира друзей детства Ладислава — Марженки и ее мужа сама по себе говорит о достатке.

— Жалко, что твоя маменька не приехала! Привези ее! — повторяет Марженка снова, когда мы пьем крепкий кофе у нее в комнате.

Только позднее — в Братиславе, в день отъезда из Словакии — я поняла, почему ей так хотелось снова увидеть здесь, на улице Карла Маркса, мать Ладислава. Мы сидели тогда за низким обеденным столом в комнате, где стояли стеллажи с книгами, рабочий стол, а украшением были цветы и картины. Со всех сторон на нас смотрели знакомые имена. Тонкий, сдержанный, видно, очень наблюдательный человек, жена Ладислава — художница Гедвига — спрашивала о впечатлениях после путешествия, показывала альбомы. Ладислав рисовал на карте маршрут нашей поездки. Жизнерадостная Магда Такачева рассказывала о последних новостях: в городе уже шел всечехословацкий смотр театров.

И тут в комнату вошла статная, с ослепительно чистым блеском голубых глаз, с нежным, почти девичьим румянцем во всю щеку, пожилая, но очень красивая женщина. Если бы это не звучало слишком громко, я бы сказала — царственно красивая. И вместе с тем даже натруженные ее руки, что сразу принялись полнее и полнее накладывать в тарелки любимое блюдо сына — галушки с сыром, — выдавали ее доброту. Она угощала щедро и точно боялась, что от хорошего отношения к хозяевам вы, гостя, можете заставить себя через силу есть то, что для вас непривычно, и тут же радовалась, что гостю по вкусу пришлось местное блюдо, и радость эту тоже можно было опознать лишь во взгляде, в движениях, но не в словах.

Так много говорят только глаза человека большой и нелегкой жизни. Совсем нетрудно было представить себе, как заботливо штопала она чулки, гладила рубашки, свитер, обо всем тревожилась, все, что может понадобиться, умела предусмотреть, собрать, уложить. Обнимала сына, даже улыбалась ему, чтоб не беспокоился напоследок, чтоб не заметил, как ей горько, чтоб ушел в партизанский лес с легкой душой.

Невольно в своем рассказе я то и дело нарушаю порядок маршрутов, так разумно, так рационально продуманных моими друзьями. Попытаюсь оправдаться тем, что память склонна иногда к своевольному отбору. Ей нравится проявлять свою независимость.

Ей показалось, например, естественней соединить в этом рассказе замкнутый с трех сторон длинными одноэтажными домами и сараем помолодевший двор рабочей окраины, населяющих его мастеровых, их сыновей, которые сумели добиться справедливости, — и эту седую, на редкость красивую женщину, жену рабочего с улицы Маркса. Ее крыльцо было вторым слева. Теперь оно спускается прямо к огромному цветнику.

### У ЯНА ПАВЛИКА ГАЙДОШЕКА

...Машина свернула с шоссе на боковую дорогу. Сначала немного вниз, потом вверх, потом в сторону — к селу. Оно раскинулось по косогору под высокими округлыми зонтами деревьев, проросшее густой зеленью кустов. Мы остановились на повороте. Ладислав вышел, оглянулся, задержал паренька, что спешил, очевидно, в школу или из школы (в руке у него была сумка с книгами), и спросил: — Гайдошек? Где сейчас Гайдошек?

Парень кивнул на небольшое строение у спуска к ручью (оттуда доносились удары молота и гул работающего мотора), глазами выразил недоумение («Где, мол, еще можно найти этого Гайдошека?») и зашагал дальше.

Действительно, Ян Павлик Гайдошек оказался в мастерской. Вымазанный дегтем, машинным маслом, пылью, он согнулся в три погибели над колесом тракторной сеялки, что-то прилаживал там. Услышав оклик гостя, он вскочил, радостно улыбнулся, стремительной походкой совсем молодого человека пошел навстречу, стараясь не коснуться ладонью, обнял приезжего, тут же, выходя вместе с нами, сбегал к речке, умылся, обтерся фартуком и теперь, встряхивая наши руки, весело заговорил:

— Ко мне, ко мне, поехали ко мне!

По дороге, поблескивая яркими глазами в частых лучиках морщин и очень заинтересованно расспрашивая о Братиславе, о Москве, о дороге, он то и дело возвращался к неполадкам сеялки, к машинам, которые купил кооператив, к телевидению, которое скоро сюда придет, к тому, над чем остался колдовать в мастерской его помощник — «отличный парень», «очень способный парень». Взмахивая крупной, точно дубленой ладонью, он сжимал ее, поворачивал, словно ввинчивая что-то, пытаясь объяснить и нам, как именно они заставят эту сеялку поскорее работать.

Следует признаться, минут двадцать назад, прислушиваясь к словам Ладислава о Гайдошке, я уже внутренне готовилась к беседе с одним из опытейших

создателей и руководителей дружества в Злинской Слатине, с видным общественным деятелем. Конечно, начальственно важным (шутка ли, какое дело доверено ему), конечно, целиком поглощенным агротехникой, севооборотами, удоями, удобрениями, доходами — всеми премудростями современного сельского хозяйства. Теперь мы поднимались на крыльцо его небольшого домика. И мне уже совсем ясно представилось другое: еще секунда — и мы увидим в комнате тиски, провода, паяльники, части каких-то приспособлений, все, что бывает так мило душе человека, отдавшего талант своей увлеченности — технике и только технике. Он, видно, так самозабвенно захвачен ею, что даже починку сеялки никому доверить не может.

Гайдошек гостеприимно распахнул дверь, предложил расположиться под машиной. Вышел предупредить жену и привести себя в порядок. А я... признаюсь, я опять удивилась. Никакой техники здесь не было. Если не считать пишущей машинки. И вообще оказалось, что у меня с хозяевами множество общих привязанностей, общих друзей. В книжном шкафу слева, на стеллажах справа, на полке впереди стояли Толстой, Стендаль, Сервантес, Апулей, Диккенс. И новинки современной литературы были, кажется, те же, что и у меня в Москве. А на рабочем столе в послушной готовности ждал, очевидно, хозяина начатый листок в машинке. Рядом тоже лежала стопка книг.

Гайдошек вернулся, все так же широко улыбаясь — теперь он держал внучку на руках, — и пригласил нас сесть за большой стол посреди комнаты. С тем же оживлением начал он рассказывать, как работается ему над новой книгой. Она кажется, будет наполненней, чем «Первая борозда», открытее, смелее — одним словом, совсем другая. Ему хочется рассказать в ней о соседях, о друзьях, с которыми он провел свою молодость, с которыми вместе воевал и потом строил здесь дружество. Ему хочется рассказать вот об этой природе, которую он так любит, о собаке, к которой он был привязан, как к самому верному другу, а немец, натравливая ее на людей, сделал ее снова диким зверем. И еще о тех, кто хотел запугать его, Гайдошека, когда он поверил в новую жизнь и начал налаживать дружество, о тех, кто ставил палки в колеса. И еще о многом...

Он пишет. Правда, работа в кооперативе — а ее он считает основною — не оставляет ему и минуты свободного времени днем. Несмотря на то, что от председательства ему уже, слава богу, удалось освободиться. Но ведь и в мастерской, и на поле, и в коровнике, и в правлении забот столько, что с утра до вечера не переделаешь всего. И партийных дел хватает. И от работы агитатора нельзя было ему отказаться... А писать? Ничего не поделаешь, слава богу, что хоть зимой ночи длинные — больше успеть можно. Гайдошек усмехнулся. Доброй, на редкость доброй и немного печальной улыбкой. Эти бесконечные снежные ночи доставляют ему, очевидно, большую радость.

Гайдошек смеется: однажды он решил «схитрить» и остаться на день дома. Уж очень хотелось дописать начатое.

— Но меня, — говорит он, — чуть было прогульщиком не назвали... Прогульщиком...

Он все еще посмеивается. И сколько может быть выражений в одной человеческой улыбке. В ней и горьковатая печаль отца, пожилого человека, на котором собственный сын начинает пробовать крепнущие зубки, в ней и удивление и горделивость того же отца — силен, мол, сынок, вырос, ничего не поделаешь. Гайдошеку доставляет, кажется, и радость то, как он необходим еще дружеству, как это дружество уже без его напоминаний, забот стало само охранять свой строгий порядок. Ведь кто-кто, а он, Гайдошек, отлично помнит, как десять лет назад здесь, в Злинской Слатине, четырнадцать семей решили вместе добиваться достатка. Им было очень трудно. Село большое. Недавно кончилась война. Немцы постарались на этих взгорьях ни одного сарая жителям не оставить. По старому обычаю выходило, что каждый должен был заботиться о своем: сеять свою землю, возделывать свой огород, пещься о своей коровке. И многие именно так и принялись за дело. А Гайдошек с друзьями — с теми, что победней,

и с теми, что попрacticalней, — решили вылезать из беды вместе. Им помог и армейский опыт, и партизанский, и рассказы о советских колхозниках. Они понимали, что десять человек вместе всегда сильнее, чем те же десять человек, когда они врозь.

— Вы знаете, содружка, что здесь раньше значила земля? — Это Гайдошек обращается ко мне. — Знаете, наш крестьянин трудней расставался с гектаром, чем с жизнью. И женился он на земле! И умирал из-за земли. И убивал из-за земли. Отца родного мог убить. Вот я взял в жены бедную девушку. У нее ничего не было. По любви женился. Так это здесь раньше и понять не могли. Считали меня...

Гайдошек недоговаривает. Поглядывает на милое, округлое, кажется, всем, всюду, всегда сочувствующее лицо своей жены Зузаны. Как раз в эту минуту она пододвигает нам густо паперченную самодельную колбасу, свежий хлеб и чашечки кофе. Погладив меня по плечу, она берет у мужа внучку, присаживается рядом.

— Если б вы знали, как трудно у нас расставался крестьянин вот с этим: «Мо я земля!» Она его душит, а он молится на нее... — Гайдошек говорит серьезно, очень серьезно. Он не хотел бы, чтоб я хоть на секунду подумала, будто земляки его по природе плохие люди. Нет, они и красноармейцев, бежавших из плена, прятали здесь, и партизанам помогали, и народную власть всегда готовы поддерживать. Но «сво я земля»... она для них была, как водка для пьяницы, как дурман.

А Гайдошек решил убеждать людей. Слова «убедить», «доказать», «уверить», «каждому объяснить» то и дело звучат в его рассказе. И становится все яснее, что не только возраст — а Гайдошеку уже за пятьдесят — и не только участие в солдатском восстании в годы войны, концентрационный лагерь в Германии и постоянная тяжелая работа отложили свои глубокие борозды на его худощавом, смуглом, все время меняющемся лице. Мысль, отзывчивая, умная, пытливая, добирающаяся до корней, до истоков, тоже углубляла эти борозды.

— А сколько писем анонимных я получал сначала! Хм... сколько писем!.. Прятал их! Боялся, что Зузана узнает и испугается.

Они, очевидно, отлично понимают друг друга — эта пара пожилых и... все еще молодых людей. Обмениваются взглядом, в котором нежность прячется за мягкой насмешливостью. Гайдошек встает, кладет руку на плечо жены и продолжает:

— Я шучу, конечно. Зузана у меня настоящий друг. Во время войны она прятала здесь русского парня, что бежал из плена. За это ведь расстреливали тогда. А дети наши были еще совсем маленькими... во время войны... — Гайдошек все еще опасается, как бы мы не приняли его шутку всерьез. — И в дружество, — говорит он, — она пошла работать первая. Жена председателя должна была быть первой и в поле, и в коровнике, и на собрании. Сколько бы ни ругали, сколько бы ни запугивали ее... Нет, не хотелось бы еще раз пережить то, что выпало тогда на ее долю. Недаром у нее сердце разболелось.

Чего бы ни касался в своем рассказе этот человек, от слов его неизменно веет ласковой, отзывчивой добротой. И особенно дорого то, что ты чувствуешь (а чувство ведь верный сейсмограф), как каждое слово, даже громкое, даже немного приевшееся, кажущееся от частого повторения стершимся, для него существует в его точнейшем первоначальном значении. И, конечно, уж оно ничего не прикрывает собой, ни от чего не должно стводить глаз.

Он и о себе рассказывает так — прямо, естественно. И о дочках — одна из них стала учительницей, вторая занялась было медициной. В институте училась. Но заболела. Сейчас живет с родителями здесь...

Он и о дружестве рассказывает с той же отцовской гордостью: до чего же оно стало большим теперь. Зажиточным. Нет, я, гость, конечно, и не догадалась, что все в этом селе выстроено заново. Меня, гостя, наверное, не удивляет, что под пшеницей, кукурузой, рожью уже полторы тысячи гектаров земли занято. И пшеница какая! И кукуруза какая! И восемь с лишним сотен голов рогатого скота! И овец — сотни! И все это своими руками. И только потому, что дружество. Какое это хоршес слово «дружество» — содружество!

Удовлетворение победителя не вытесняет в словах и в глубине глаз Гайдошека все того же доброго, умного, чуть насмешливого сочувствия. Он все время сопоставляет:

— Раньше мужик здесь воображал, будто только он и понимает все на свете! Только он хозяин земли, хозяин дома, хозяин жены. А сейчас вернулась девушка из ветеринарного техникума, агротехникума, с курсов, из института — она и толковой бывает и добросовестней. И в корчме не сидит... Попробуй сейчас считать только себя хозяином!..

Перед глазами Гайдошека, должно быть, не стоят, нет, а то и дело сталкиваются, стараются сдвинуть один другого, с глухой яростью упираются и напирают друг на друга вот эти «раньше» и «сейчас». И именно они, кажется, посадили его за письменный стол, заставили взяться еще и за перо.

Легко ли это?

Внучка опять перекочевала на руки Гайдошека. Она занялась серьезнейшим изучением просторов стола, и деду приходится покрепче придерживать ее ручки. Все с той же улыбкой, в которой отлично уживаются и печаль и юморок, он покачивает седеющей головой.

Позади у него всего лишь восемь классов средней школы, порядком позабытых. Жизнь — она, конечно, университет. И даже, как известно, отличный. Но доучиваться, и вспоминать, и опять доучиваться — ох, как надо было!

Когда дочки — Зуска и Анка — возвращались из школы, отец, бывало, вечером, после работы, преподробно выспрашивал их. Незаметно, конечно. Вроде знания проверял. Но попутно сам узнавал, что проходили вчера, что нового рассказал учитель, что задал. И ночью брался за учебник.

— А книги... — Гайдошек показывает на стеллажи, которые так по-родному обрадовали меня, когда я вошла сюда. — Книги для меня — самое дорогое...

И каждому, кто входит в эту просторную комнату, где тома и томики оттеснили уже и кровати, и обеденный стол, и остальную утварь, — каждому ясно, к чему склонна душа хозяина. По правде сказать, мне хотелось сначала выразить свою мысль так: «...что всецело владеет душой хозяина...» Потом я представила себе, как Гайдошек самозабвенно колдовал над сеялкой, весь в мазуте и в копоти, потом как он тревожился о том, куда заведет глупая спесь парня из местных, что учился в городе, а теперь стал начальником и непонятно почему выходит к людям, «как хозяин, покручивая на пальце ключом от конторы...» И грубит. И «несет свой авторитет, как глиняный сосуд с вином». Мне еще вспомнился рассказ Гайдошека о том, как он, жена, соседи вышли прокладывать первую борозду дружба, как по-родительски гордо говорил Гайдошек теперь о его богатствах.

Нет, не одни книги владеют душой этого человека. Она очень богата, эта душа.

К концу беседы не то в шутку, не то всерьез он сказал:

— Зимой я все-таки устрою прогул. Настоящий прогул. Время бежит. Как сквозь сито просыпается... А так много надо рассказать людям.

...Еще минута — и надо двигаться в путь. По правде говоря, уходило от этих сердечных людей совсем не хочется. Как раз сейчас Гайдошек заговорил о том, как много в каждой работе зависит от души, от того, что обращаешься к душе, от того, что каждый рядом с тобой не только понимает, но и чувствует, действительно ли ты душой заботишься о его благе, о благе людей.

### **ЕЩЕ НЕМНОГО О ЖИЗНИ, О ПИСАТЕЛЯХ, ОБ ИСКУССТВЕ**

Чего, собственно говоря, мог бы пожелать для себя народный писатель в народном государстве? Чувствовать себя необходимым? Чувствовать, что у тебя ищет совета совесть современника? Что ты делаешь зримей, осознанней его любовь к родному краю, к родным людям, помогаешь точнее увидеть себя и окру-

жающих, разглядеть то, на что ему не хватает собственного зрения? Что ты, всматриваясь в настоящее, оглядываясь на прошлое, предупредишь его: «Вот отсюда может зародиться опасность, сюда не забывая посматривать!»?

...Дважды, в Братиславе и в Праге, смотрела я пьесу известного словацкого драматурга Петера Карваша «Полночная месса». И оба раза мне показалось, что, увидев свое детище воплощенным на сцене театра, писатель должен был почувствовать удовлетворение.

О чем же рассказал Петер Карваш?

Кончилась война. В город — это могли быть и Братислава, и Жилина, и та же Банска-Бистрица — входили партизаны и советские войска. В семье Кубишей царил шумная радость. Зять торопился вывесить огромное красное знамя. Он метался по комнате с восторженным криком: «Наши пришли!» Обнимал тещу, жену, и, когда в дверях появился первый партизанский патруль, к девушке-командиру подбежали все члены семьи, торопясь утвердить свое родство с ней, свое родство с тем, что грядет. И вы им поверили. Вас даже немного удивило, почему девушка-командир медленно обвела этих милых людей сдержанным взглядом — от лица к лицу. Но она тут же повернулась к своим товарищам и сказала: «Фашистов здесь нет!» Слово «фашистов» она подчеркнула. И в конце этого успокаивающего пролога вы ожидали разговора о том, что же было дальше. Но... Карваш решил повести вас не вперед, а назад, к годам оккупации. И вы увидели, как к началу войны в этой же комнате собирались, бурно разговаривали, тревожились о своем родителе, зять, дочка, сыновья этой добропорядочной, не бедной, но и не слишком богатой семьи. Зять — так называемый «интеллигент», не прочь пококетничать цветистыми разглагольствованиями о социальной справедливости, наверное, социал-демократ, наверное, из тех, что привыкли в кафе решать мировые проблемы. Его жена — молодая женщина, мечтающая о блестящей жизни. Один из ее братьев — недоучившийся гуляка, готовый платить любой ценой за то, что он называется «хорошо пожить!». И наконец еще один брат, младший, — мечтатель, романтик, уходит в партизаны.

Весьма возможно, что все они так и прожили бы тяжкие годы оккупации, не постигнув собственной сущности и «не вынося сор из избы», если бы сюда на постой не вселили немецкого офицера...

Звериный страх заставляет каждого члена семьи действовать по-своему; «любителю пожить» — с этим все ясно; он без колебаний нацепил на себя декоративную форму «защитника национальной чести» словаков, тут же пошел в услужение к немцам, грабил, пьянствовал, справлялся со своими же земляками, как бы снимая, таким образом, вину с оккупантов. Он потом и бежал с фашистами. Все в его поступках было логично: крикливый провозглашатель только национального, сугубо национального, исключительно национального, воинствующий ненавистник другой нации — в данном случае чешской — на поверку всегда оказывается фашистом.

Много сложнее выглядело поведение остальных. Каждый из них, ведая или не ведая это, становится предателем. А драматург вновь подводит своих зрителей к той фразе, которая была произнесена в прологе начальником партизанского патруля и, как мы узнали теперь из пьесы, невестой убитого партизана. «Фашистов здесь нет!» — повторяет она снова в эпилоге. И очень точно подчеркивает: «фашистов». Но каждый, кто сидит в театре, теперь уже должен задать себе вопрос: «А кто же они?» И каждый должен подумать, как много страшного сделали эти мещане, как много страшного они еще могут сделать — цепкие, алчущие продержаться на поверхности любой ценой. Каждый осмотрится: а нет ли рядом с ним такой же слепо верующей матери, которая, подчиняясь «тайнству» исповеди, способна предать в руки палачей собственного сына? А не живет ли и сейчас по соседству приспособленец, способный ради собственного благополучия поднять над своим домом любой флаг (в том числе и красный!), способный облачиться в кольчугу любых звонких фраз, даже самых революционных. И каждый, выходя из театра, точно так же, как и дочитав последние страницы романа Ла-

дислава Мнячко, произвольно окинет взглядом все и вся вокруг себя. Он оглянет оживленную, кажется единую уличную толпу — такую по-трудовому не вычурную, такую деловито-уверенную — и пристальной всмотрится: а так ли она едина, как это могло показаться? А какую окраску теперь принимает мещанин? И не только та его разновидность, что живет по правилу «моя хата с краю»? Не старается ли воинствующий мещанин теперь и обликом своим и опять-таки словесами не только походить на озабоченного судьбами страны мастера Иржи Чеха, или на литейщиков, шахтеров Кладно, или на Яна Павлика Гайдошека из Злинской Слатины, не старается ли он вкратце в доверие, стать совсем «своим»?

Такая разновидность воинствующего мещанина самая опасная. Она предпочитает не идти в открытую — убеждение против убеждения, ненависть против ненависти, орудие против орудия. Если особь этого рода мечтает добраться до благ и до власти (родилась ли она детищем кулака или собственника или отроду ничего не имела), она может в наши времена годик-другой с готовностью отработать на заводе, даже в сверхактивистах значиться, чтоб в дальнейшем присвоить себе право на каждом перекрестке трубить: «Мы, рабочий класс!», «Для нас, для рабочего класса!» А потом всю жизнь исподтишка мстить тем честным людям, что своей борьбой создали такую обстановку, при которой ему, властобивому мещанину, приходится окрашивать себя в ненавистные цвета человека трудового. Он лукав. Он создает видимость сверхпатриотичности, сверхозабоченности, он подыгрывает национальной гордости, он умеет вовремя подсунуть и «утешающий обман», извне похожий на правду. И лицемерная сверхпреданность — испытанное оружие его. Но если к встрече с таким врагом вы готовы, в этом уж большая часть победы. А готовит к этому своих зрителей не один Петер Карваш.

Уже в первой своей пьесе «Третье желание» Вратислав Блажек заставил зрителя и посмеяться и подумать над тем, как при соответствующей обстановке мещанин тихонький может переродиться в мещанина воинствующего.

И вот вторая его пьеса — «Щедрый вечер» в постановке пражского Театра комедии. В ней опять много смешного, много доброты, много размышлений. Блажек ввел нас на этот раз в дом старого коммуниста, целиком, с утра до ночи, поглощенного своим делом. И мы увидели, как жизнь заставила этого хорошего человека оглянуться на то, что происходит не на работе, нет, а вокруг его самого, в повседневности, в быту. Быт казался ему до сих пор вполне благополучным. А ведь и сюда залез мещанин, и тут он начал калечить души...

...Когда я села за письменный стол и взялась за перо, мне хотелось как можно полнее выложить то, что я увидела, услышала и, кажется, поняла в братской стране. Я видела много хороших людей, хороших дел. Очень много. Но я знаю, что другу, который приходит извне, свойственно поначалу больше видеть общие черты, самое характерное, и много еще надо времени для того, чтобы узнать эту жизнь изнутри, в деталях, со всеми местными усложненностями, трудностями, борьбой. Я это знаю и потому позволила себе там, где собственными глазами еще не удалось убедиться, прибегнуть к свидетельству произведений писателей, художников этой страны, к свидетельствам тех, кому при постоянном соприкосновении многое виднее. Они помогли мне распознавать те силы прошлого вокруг трудового человека и в нем самом, с которыми каждому по-своему приходится бороться — и Иржи Чеху на заводе «ЧКД», и Яну Павлику Гайдошеку из Злинской Слатины, и, конечно, неистовому репортеру Ладиславу Мнячко, и автору умной пьесы «Щедрый вечер» Вратиславу Блажеку.

Увиденное, прочитанное и опять-таки увиденное помогает распознавать те силы прошлого, с которыми еще предстоят прямые и косвенные столкновения и драматургу Петеру Карвашу в Братиславе и инструментальщице Ярмиле Сметановой с ее друзьями на заводе имени маршала Конева в Кладно. О ней я не успела еще здесь рассказать, хотя она и запомнилась именно своей самобитностью. В клубе этого завода Ярмила Сметанова, вся светящаяся доброжелатель-

ностью молодая красивая женщина, дочь местного шахтера, с удовольствием рассказывала за обедом Марии Майеровой и мне, как удалось летом этого года увлечь и старых и молодых рабочих отличным делом: они построили своими собственными силами в горах большой двухнедельный дом отдыха. И просторную столовую при нем. И зал с библиотекой, с телевизором. И еще отдельные хапки оборудовали в лесу и у озера Маха. А туда можно на субботу и на воскресенье выезжать целыми компаниями и семьями. Рыбу удить, грибы собирать. Она говорила об этом с милой гордостью, то заинтересованно заглядывая в лицо (представляем ли мы себе всю прелесть такого времяпрепровождения), то хитровато улыбаясь. Ведь нечего греха таить, сначала были и такие, что устались, раздумывали, стоит ли тратить выходной, чтоб работать для всех, а что, мол, себе останется... А потом один, другой, третий отработали, понравилось, другим рассказали, начали понимать, для кого строится.

К концу обеда соудружка Яркила обеспокоенно поглядела на часы, откинула прядь каштановых волос, оправила платье, еще раз украдкой глянула на стрелку, увидев, что мы заметили ее беспокойство, смутилась и пояснила: сейчас, оказывается, ей с мужем, тоже рабочим этого завода, предстоит здесь же, в том зале, где накрывали столы, когда мы сюда проходили, от имени заводского комитета, членом которого она избрана, благословлять вступающую в брак молодую пару. Она должна сказать какие-то значительные слова. Ведь это для молодых очень важный день. А она волнуется и никак не может собраться с мыслями.

Я слушала ее. Я слушала еще в соседнем зале молодых ребят, что сидели за узким длинным столом. серьезные и озабоченные. Медленно потягивая пиво из огромных кружек, сидели юные литейщики и прокатчики двух смежных заводов; девушек среди них не было. И степенная деловитость этого сугубо мужского общества пока ничем посторонним не нарушалась. Потом они отправятся поплясать на свадьбе своего товарища. И будут дурачиться, веселиться, будут подшучивать над собой и над другими. И в них тоже вы сможете ощутить то чувство собственного достоинства, которое на всем пути по стране так радовало ваш глаз и говорило о том, что рабочий человек уже действительно ощущает себя здесь хозяином.

К сожалению, не удалось мне в тот день побывать дома у Яркилы Сметановой или у кого-нибудь из этих ребят. В тот последний пасмурный день сентября в Кладно, когда упрямый, равномерно тяжелый проливной дождь с утра и до вечера будто силится прижать к земле черные штопоры дыма, что ввинчивались в небо из сотен высоченных труб, угольную пыль, огненные всплески плавильных печей, искры паровозных топок, литературный вечер в клубе, все ту же веселую свадьбу и еще многое-многое, чем живет этот город.

Иностранцу, если он хочет понять, как получилось, что представители этого народа, в общем немногочисленного, стремлением к великой державности не отличавшегося, — как получилось, что они везде, всегда ощущают такую врожденную, такую никого не давшую непринужденную уверенность в себе, в своей нужности на земле, надо побывать в Кладно.

Если ты хочешь понять, почему именно в этой стране и не со вчерашнего дня подмастерье мастера, парень девушку, покупатель продавщицу так естественно встречает и провожает приветствием «чест праци!» («честь труда!»), надо побывать в Кладно. В Кладно, которое обычно не включают в туристские маршруты, потому что у него нет ни волнующего воображение средневекового замка на горе, ни фантастического озера под землей, по извилинам которого можно часами кататься на лодках.

Друзья писатели рассказали мне однажды о том, как покойный президент республики профессиональный революционер Антонин Запотоцкий, автор книг, берущих за сердце своей человечностью, искренней уверенностью в правоте людей труда, приходи на собрания писателей, всегда садился где-нибудь позади, с краю, дружески переговаривался с товарищами по перу, шутил, вслушивался, доказывал. И это меня не удивило. Он был рабочим здесь, в Кладно. А ра-



бочий человек всегда понимает, что не чинами, не почестями, не родовитостью, а мастерством в любом деле гордится тот, кто действительно чтит труд.

Сейчас, когда приходят к концу мои записи, я еще стою на террасе Летны. В воображении, конечно. И желаю счастья доброму городу внизу, всей стране, такой гостеприимной и по-братски открытой, всем тем, с кем я повстречалась и подружилась за это время. И той паре, что, кажется, сидит еще на спрятанной среди кустов скамейке. Как хорошо, что ей не может помешать ни тихо накрапывающий дождик, ни ветерок. что вдруг, притворяясь сердитым, то угрожающе взмахивает фонарем и кидает весь пучок света прямо в стекла его очков, то уносит фонарь, оставляя их совсем в темноте, то бросает в лицо ей теплые еще горсти листьев. Они обнялись и тоже смотрят на родную Прагу.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. КУЗНЕЦОВ

★

## СУДЬБЫ ГУМАНИЗМА

*Спешите творить добро.*

Гёте.

**Г**уманизм нового мира — одна из центральных тем всей литературы социалистического реализма.

Старый буржуазно-индивидуалистический гуманизм, оторванный от суровых объективных законов действительности, оказался бессильным совместить свой идеал с реальной борьбой масс за освобождение. Недаром многотомная «панорама десятилетий» М. Горького разворачивается одновременно и как история «пустой души» и как история беспощадного развенчания иллюзий гуманизма старого типа. Клим Иванович Самгин выглядит более земным, более твердо стоящим на почве реальной жизни, нежели его друзья интеллигенты с их прекраснодушной беспочвенностью. Но в свою очередь тот же Самгин с самого начала удивительно последовательно антигуманен, бессердечен в своем снобистском эгоцентризме и бесчеловечно жесток.

Гуманизм старый и гуманизм новый противостоят друг другу в открытой схватке в романах, созданных на самых разных этапах истории советской литературы. Это конфликт Мечика с Левинсоном и Морозкой, Григория Мелехова с Михаилом Кошевым, Андрея Старцова с Куртом Ваном...

В кровавых родовых муках появлялся на свет новый мир и новый человек. В те годы искусство социализма тесно связывало гуманизм с правом «решать войной» вопросы жизнеустройства и нередко «только войной». Вместе с тем, начиная с тридцатых годов, все сильнее и сильнее утверждается в характерах героев романа, в самом его сюжете, в событиях и ситуациях гума-

низм созидающий, строящий и мир и самого человека.

Сегодня, когда партия ставит перед всем народом задачу воспитания человека будущего как практическую задачу, в романе и повести едва ли не самой жгучей проблемой выступает проблема реального осуществления величайшего нравственного принципа: «Человек человеку — друг, товарищ и брат».

Для понимания проблемы гуманизма в советской литературе благодарный материал дают романы Константина Федина.

1

Федин — писатель, пишущий об интеллигенции, — такова традиция и читательского и критического восприятия. Впрочем, для этого есть все основания. Но... присмотритесь к его книгам: в каждом романе есть большой пласт собственно народной жизни. Люди физического труда, представители масс здесь не статисты, а подлинные герои, определяющие судьбы истории.

Какова роль Федора Лепендина в системе образов романа «Города и годы»? Быть может, как пишет сам автор, «Федор Лепендин — только отступление от другой повести, — более страшной и жестокой, нежели его»? Та печать несколько чрезмерной юношеской художнической «лихости», что лежит на всем этом талантливом фединском романе, есть и на образе Федора Лепендина. Рассказ о том, как Федор, увидев торчащие из снарядной воронки сапоги мертвеца, польстился на них, полез, добыл

и вдруг от разрыва снаряда потерял собственные ступни,—этот рассказ слишком ловок, чтобы быть откровением искусства. Но в дальнейшем «лихость» авторского повествования умеряется и образ Лепендина заметно оживает. Лепендин — это те самые «нижайшие низы», о которых писал Ленин. В войну, в инвалидность, в немецкий плен его ввергает тот ход большой истории, который всколыхнул широчайшие массы людей. Федин рисует Лепендина без всякой народнически-интеллигентской умильности и сусальности, он порой даже склонен гротесково подчеркнуть примитивность чувств своего героя.

Но этот семидольский мужик движется сквозь города и годы, меняясь вместе с временем. Крайне важно для всего строения романа, для развития основного замысла первое пересечение судеб Старцова и Лепендина, что происходит при возвращении их обоих из Германии на границе новой, революционной России. Нет, не согласишься с автором: судьба Лепендина более ужасна и драматична, чем судьба Старцова. И будущее Лепендин ищет с куда большей определенностью, чем главный герой романа.

На границе России, ожидая отправки на родину, Лепендин встречается с дядей Киселем. Этот крестьянин — живое олицетворение трагической и жалкой мужичьей жадности, он «за свое хозяйство черту душу продаст». Дядя Кисель не может забыть, как немец, на которого он работал, не отдал ему денег. Послушав рассказ о том, что на родине «спокойной жизни нету», Кисель, навьючившись, идет... назад, в плен. Солдат-большевик бросает ему вслед:

— Я говорю, что кто хочет в одиночку быть, сам по себе,—такой человек в наше время не жилец. Народ теперь зажил миром...

И Лепендин отзывается:

— Я ему так и объяснил: не надо, мол, нам таких, ступай с богом!..

Это не пресловутое прозрение «вдруг», что набило оскомину в дешевых романах. Лепендин еще только поддакивает новому, но сдвинулось многое в его дремучем характере; при встрече с новой родиной он уже что-то впитал в себя из ее революционной морали. А Старцов? Увы, он только любознательный наблюдатель.

Мы встретим Лепендина еще в последний раз во время трагических событий в

Семидоле. Слово «вожак» в применении к Федору было бы не к месту, но как рефрен звучит мужицкое «пусть скажет Федор», «Федор, объясни»... То, что Лепендин уже может «объяснять», очень важно. Ибо он русский мужик, человек масс, разбуженный революцией, человек на подъеме — гражданском, моральном... Он погибнет в самом начале своего нового бытия — погибнет от руки фон Шенау, того самого, которого отпустит на свободу мягкосердечный Старцов. Так сплетутся в смертном узле судьбы Старцова — Лепендина, линии старого гуманизма и народной судьбы... Старцов виновен не перед абстрактным идеалом — он виновен перед народом, перед погибшим Лепендиным.

А в «Братьях» уже не увечный, косноязычный, только-только пробуждающийся Лепендин, а лоцманский сын Родион Чорбов, сознательный революционер, большевик, комиссар. Чорбов и Никита Карев — это воплощенный в характерах главный конфликт романа: революция и искусство. Их притяжение, их столкновение, дружба-вражда и вражда-любовь определяют ход сюжета.

В отличие от многих своих западноевропейских коллег, пишущих романы об интеллигенции, Федин не мыслит решения проблемы творческой личности вне проблемы народа. В «Братьях» связь главного сюжета с темой народа менее умозрительна, «конструктивна», чем то было в «Городах...». «Города...» прерывисты, в них сознательно задуманные провалы действия. В «Братьях» действие, как река, течет непрерывно и многослойно. Романист погружает и главного героя, композитора Никиту Карева, и все действие в быт народной жизни, в самые ее неожиданные и многообразные проявления.

Каждый, кто хоть раз открыл «Братьев», не забудет пламенеющего киноарно-красного человека, избитого погромщиками и неверными шагами уходящего, шатаясь, по закатной улице. В этой сцене погрома есть героически звучащий финал. Безумствует осатанелая, воющая толпа, и вдруг беззвучно появляется небольшая кучка людей, человек восемь. «Почти все они были одеты одинаково скучно, точно экипированы каким-то бедным интендантством — в черных куртках или в прямых длинных пальто, в сапогах с короткими голенищами... Движения этих людей были очень

скупы, бережливы и неспешны. Они растянулись редкой цепью поперек дороги, обернувшись лицом к бараку». Это большевикские дружинники с браунингами вышли против черной сотни и погнали громил. И — помните? — среди них слесарь Петр. Из калитки вылетела маленькая простоволосая его жена и с отчаянным, раздирающим душу воем ухватилась за него, стараясь заставить уйти из этого смертельно опасного братства. «Слесарь ступал тяжело, с усилием отдирая от земли ноги, наклонившись всем телом вперед. Но в лице его было что-то неколебимо упрямое, как будто он решил непременно выволочить свой груз...»

Слесарь Петр не пропал в передрягах жизни, хотя мы и мало что о нем узнали из «Братьев». Он стал затем одним из главных героев трилогии — Петром Петровичем Рагозиным. В эпизоде с Петром как в капле воды отразилась ведущая тенденция развития фединских романов — от книги к книге все слышнее и слышнее шаги народа: люди труда, раздвигая своими плечами других, выходят у него на авансцену искусства. Это характерно и для советского романа в целом, претендующего быть поэтическим анализом современной народной жизни.

В «Первых радостях» и «Необыкновенном лете» центр внимания автора перемещается: здесь уже Рагозин, Извеков, их соратники — вот главные действующие лица; а Пастухов, Цветухин — это необходимейшая и важнейшая, но все же в некотором роде «романная периферия». Обо всем этом написано немало, и потому не стоит повторяться. Но разве случаен в последнем романе «Костер» его зачин — неторопливое повествование о судьбе смоленского кузнеца Ильи Веригина из деревни Коржики и его сына Матвея, повествование о новой деревне, классово-борьбе, коллективизации, борьбе с нуждой?.. Нам доводилось слышать мнение, что эти главы — некое неоправданное отступление. Это неверно. Глубоко прав И. Соколов-Микитов, когда пишет в «Письме другу»: «В двадцатых годах ты не раз приезжал гостить в деревню, на «глухую» Смоленщину... Нам памятливы деревенские встречи, живые люди, с которыми встречались мы тогда ежедневно... Тебя изумляли наши смоленские мужики, удивляла деревня, переживавшая крутые пере-

ходные времена... для тебя и для меня это была подлинная, не показная, не выдуманная Россия...»

В твоих прежних писаниях, в новом романе я с радостью встречаю знакомые мужицкие имена. Прообразы «деревенских» героев рождались и жили на знакомых нам лесных скромных речках, воды которых извечно питают родную тебе великую русскую реку матушку Волгу, а судьбы людей, с которыми мы встречались, чудесным образом вливаются в новую, общую, еще небывалую на земле жизнь».

Вот и в последнем романе Федину необычайно важно это «деревенское вступление», ибо через сопоставление с народным характером, глубинами народной жизни проверит он в огне войны своих главных действующих лиц, проверит, кто из них свеча, а кто костер (ибо «ветер задувает свечу и раздувает костер» — гласит эпитафия романа).

Изображая в романе «Костер» вечеринку у Пастухова, автор совсем не прибегает к сатире, не слышно и прямого сурового осуждения. Но почему же мы не только все строже и строже воспринимаем юродство Ергакова, мешанский «бонтон» Юлии Павловны, болтовню гостей, но ощущаем несомненную неприязнь и к самому Пастухову? И наоборот, когда, разряжая спертую атмосферу этого «пира во время чумы», врывается знакомая фигура Матвея Веригина с фронтовой повесткой в руках, мы с радостью узнаем человека как бы другого мира. В нем, простом, ничуть не приподнятом, обыкновенном трудовом человеке, чувствуется некая освежающая истинность, прочная сила характера. И, может, оттого, что мы побывали до этого вместе с Матвеем в Коржихах, хлебнули трудной (где каждый рубль на счету!), но настоящей жизни, после того, как пережили драму конюха, сдававшего в армию колхозных коней (это видит проездом на дачу Пастухов), — на этом широком народном фоне мы не могли не ощутить глухой неприязни ко всему строю пастуховского быта.

Искусство, свобода и расцвет личности, строительство справедливого будущего — все это в романах Федина наполняется истинным содержанием потому, что крепчайшим образом сопряжено со всей народной жизнью. Он с этого начинал, он этому остался верен и по сей день.

## 2

Судьбы нового гуманизма — вот «главная книга» Федина. Обреченность индивидуализма и связанного с ним абстрактного гуманизма, рождение нового гуманизма — проблема эта, обогащаясь всякий раз новым содержанием, переходит из романа в роман.

— Значит, самое большое в твоей жизни за эти годы — любовь?

Андрей сказал:

— Да.

И, погода опять несколько минут, в застывшей ночи, в темноте, произнес Курт:

— А в моей — ненависть.

Диалог этот — средоточие жгучего конфликта первого романа Федина. Все взаимноисключающе: или — или! Никаких полутоннов. Кто не с нами, тот против нас. Курт Ван еще крикнет в сердцах Андрею, топнув ногой:

— Кровь, кровь — вот что тебя пугает. И эта вечная опаска, что зло рождает зло. А что ты можешь мне предложить взамен зла? Из меня тянут жилы, по ниточке, без остановки, всю жизнь. И мне же предлагают строить эту мою жизнь на добре, потому что — зло рождает зло. Откуда мне взять добро, если кругом — зло? Докажи мне, что злом нельзя добиться добра.

Андрей бессилён что-либо доказать, и побеждает Курт. И не только в этом споре, а вообще в романе.

Право же, для этого есть основания: Андрей добр, но дрякл, слаб, вял, возмущительно бездействен... Великое Время разворачивает перед ним титанические картины, он ужасается или восторгается, но даже и тогда, когда вал грандиозных событий вздымает его до небес, Андрей лишь ожидает, что «ветер пригонит его к берегу, которого он хотел достичь»... Его прекраснородушие не только бесцельно — оно вредно для дела революции, в нем источник трагической вины Старцова. Автор настолько беспощаден к своему герою, что лишает его под конец единственной деятельной стороны характера — Андрей предал и любовь Мари...

И все же пусть тысячу раз прав автор, и десять тысяч раз права эпоха, и справедлив приговор Старцову, и неизбежна гибель его, «мучительная и ничтожная», а все же и поныне читатель не может избавиться от симпатии к этому запутавшемуся герою.

Невольно приходит на ум сопоставление — быть может, и неожиданное — с Григорием Мелеховым.

Обычно «Города и годы» сопоставляют с «Севастополем» А. Малышкина, с романом «В тупике» В. Вересаева. Шолоховская эпопея — это ведь совсем иная стихия, невиданный еще в мировой литературе разрез пластов народной жизни, иные принципы строения романа. И все же, и все же! И там и здесь — трагедия, и там и здесь — трагический герой. При всей глубочайшей разнице социальных типов, индивидуальных характеров и Старцов и Мелехов оба находятся в трагическом противоречии с революционной эпохой, с народом, сражающимся за будущее. Субъективно они хотят быть вместе с народом, но объективно оказываются в лагере врагов. Не случайны же ожесточенные споры в критике, которые вспыхивали по поводу третьего, а в особенности четвертого томов «Тихого Дона», по поводу судьбы Григория Мелехова. Нельзя все объяснять «злокозностью некоторых критиков», у этой пресловутой «злокозности» были же и причины.

Чтоб пояснить их — небольшое отступление. В 1918 году утверждался герб ново-рожденной Советской Республики. Художник, представивший проект, нарисовал земной шар, колосья, молот, серп, а в середине — обнаженный меч. Ленин, которому принесли проект на утверждение, предложил убрать меч. Шла гражданская война, начался белый террор, победа революции требовала беспощадности к врагам, но Ленин смотрел вдаль, герб принимался надолго, и в этом коммунистическом далеком меч не играл главной роли. Думается, что критики, требовавшие решительного осуждения Григория, не понимавшие его трагедии, были сродни художнику, нарисовавшему меч, — они были ригористичны и прямолинейны, видели сегодняшний отрезок времени, а не весь путь социалистической революции в целом.

«Города и годы» с их главным конфликтом сегодня звучат по-иному. Вина Старцова, так же как и Григория, не снимается, их гибель неизбежна. Но есть в их трагедии тот мотив, который отзовется в будущем. «Не останавливалось время, лишь становилось иным», — говорится у А. Твардовского. Прямолинейная и узкая мораль

Курта Вана (только через зло к добру) не есть краеугольный камень нового мира и нового гуманизма. Время вовсе не амнистирует Старцова, но оно объективно судит его, и если есть в его метаниях искра истины — она не пропадет зря...

Первый роман Федина юношески радикально (и чуточку примитивно) решал проблему нового гуманизма: «Стекло не сваривается с железом», абстрактное добро — со справедливой жестокостью революции. Критика долго упрекала Федина за образ Курта Вана, ибо действительно этот «Неподкупный» XX века начисто лишен обаяния человечности. Образа главного героя эпохи Федин действительно не создал. Вспомним, однако, что и Михаил Кошевой — фигура безупречно правдивая — тоже не принадлежит к героям, вызывающим горячую любовь читателей. Кошевой — это далеко не Левинсон, не Клычков и не Давыдов... Но в Кошевом есть своя историческая точность, этот характер обусловлен и условиями гражданской войны на Дону, особенно ожесточенной и кровавой, и средой, в которой складывалась его индивидуальность.

В таком огромном по масштабу явлении, как коммунистическое движение, участвовали очень разные люди; попадались люди и подобные Курту Вану — фанатически-сектантского толка. Причем Курт уже совершенно определился еще до революции, в 1914 году. Вспомним, как сочувственно и страстно принимает Курт войну, как жестоко, бесчеловечно рвет он дружбу с Андреем: «Я ненавижу тебя, Андрей... Я должен ненавидеть!» С каким-то упоением погружается он в шовинистическую нетерпимость. Это его стихия. Революция подняла и облагородила Курта, но примитивная прямолинейность, бесчувственность, фанатичная одержимость, «сухотка сердца» остались определяющими в его характере. Немецкая дисциплинированность и пунктуальность граничат с немецкой же одержимостью. Федин дал лишь первый набросок такого типа, и дал его правдиво. Но писатель возложил на героя непосильную ношу — только один Курт в романе олицетворяет новую мораль революции, а это-то он и не был в силах выполнить.

«Если бы я писал роман не тридцать лет назад, а сейчас, я многое увидел бы иначе... Но как тридцать лет назад, так и сейчас я сохранил бы зерно своего замысла...»

Сказано это в 1947 году в послесловии к новому изданию романа, послесловии, для которого характерен (сороковые годы!) несколько извинительный тон — за «смятенность» композиции, за всю необычность своего романа двадцатых годов. Автор прав в своем признании: в романе есть нечто неумирающее, и зерно замысла не только в страстной антивоенной направленности книги, но и в резкой драматичности изображения судеб нового гуманизма.

«Стекло не сваривается с железом» — эта формула могла трактоваться и более расширительно: как разобщенность революции и интеллигенции. Меж тем «стекло» (продолжим метафору), хотя оно и хрупко и непрочное, — необходимейший элемент цивилизации. Сквозь стекло наблюдают физики за структурой мироздания, сквозь стекло узнают тайны жизни биологов, стекло охраняет реакции химиков, свет идет сквозь стекло ламп, прожекторов, окон, наконец стекло участвует в создании произведений искусства. Нет, в новом мире и новом веке («железном!») должно было быть место и для стекла! Формула нуждалась в уточнении.

Андрей Старцов — пустоцвет. С трудом вспоминаем мы, что он, кажется, художник, — настолько это не интересует ни автора, ни читателя. Никита Карев в «Братьях» — это истинный талант, весь в страданиях и поисках. Уже не о месте в революции абстрактного «добра», но о судьбах конкретного высокого искусства идет спор в романе.

Спор возникает почти так же, как у Андрея с Куртом.

— Что ты делал в войну? — спрашивает большевик Ростислав своего брата Никиту.

— Писал симфонию...

— Писал симфонию? — простодушно воскликнул Ростислав. — Всю войну, четыре года? И больше ничего?

Но теперь Никита не беспомошен, как Андрей; он может ответить как равный — за ним подвиг искусства: «Я не хочу вас судить, ни тебя, ни отца, потому что, пока я шел по степи, на моем пути каждый день попадались трупы. Этого, вероятно, требует прекрасное дело, твое или твоих противников, все равно. Решайте сами судьбу дела... Я ему служу тем, что смотрю и слушаю». Это позиция. Спор продолжается:

— Ты ничего, кроме войны, не знаешь и хочешь решать все войной...

— Да! Хочу решать войной. Уверен, что ты — тоже будешь решать войной.

Это и повторение и развитие старого конфликта. В Никите еще заметны черты буржуазного индивидуализма — эгоцентризм, буржуазные иллюзии, оторванность от народа, жалость к «сусликам» (вспомним слова Евграфа: «Я тебя хорошо помню, Никита Васильч. Ты все, бывало, сусликов жалел. Как стукну я дубинкой суслика по башке, ты кричишь: ай!»). Его позиция «над схваткой» жалка и бесполезна, волны времени швыряют его, как щепку, и каждый раз в роковую минуту силы революционной «волны» спасают его от гибели. Такая межумочность осуждается в романе жестоко, бесповоротно и справедливо.

Но судьба искусства? Карев не пустоцвет, он несет в себе то, что может обогатить людей. Много писалось (и осудительно) о трагедийном изображении искусства у Федина. Эта традиция дождалась до наших дней — «ложная идея трагедийности искусства», «ошибочность... взгляда на сущность и специфику искусства»<sup>1</sup>. Но все ли мысли романиста ложны? Ведь речь идет не об искусстве вообще, а о том искусстве, которое исторически существовало в эпоху величайшей из революций. На одном полюсе — изощренность интеллекта, достигшего вершин в своем развитии и одновременно мечущегося в своем одиночестве; на другом полюсе — неслыханная революционная активность масс, соединенная в то же время с темнотой, невежеством, «глухотой» ко всему утонченному, клубком всяческих «пережитков» прошлого... Как перекинуть мост от одного к другому, мост, который не опростил бы до примитива искусства — с одной стороны, не оторвал бы его от массы — с другой?

Напрасно иной раз становление нового искусства рисуется в идиллических разводах: в жизни все жестче, драматичнее. Даже великому Горькому не просто давалось понимание новой действительности. Примеров, притом драматичных, из истории литературы социалистического реализма можно привести немало. Хорошо сказано (правда, о кино, но это не меняет сути дела) у Сергея Эйзенштейна: «Если бы

мне поручили написать историю нашего кино, я подошел бы к этой задаче не как историк, а как художник.

Как художник-баталист.

Я развернул бы широкие сменяющиеся полотна упорных боев.

Это были бы прежде всего сплоченные армии новых революционных идей, выступающих против идей старых и реакционных...

И это была бы картина самых упорных боев — ночных. Беззвучных и незримых... Один на один с самим собою. Самый ожесточенный поединок, направленный к тому, чтобы изжить, «изжечь» внутри самого себя последние остатки неживого и чуждого, того, что тянет назад, а не вперед...

Но я не забыл бы отметить и тупки на этом пути... Я не упустил бы обозначить и волчьи ямы».

Конечно, дело не в том, что новая действительность (как то тшатся представить наши враги) будто бы не благоприятствовала искусству. Наоборот, то цветение талантов, которое вспыхивает после революции, поражает в сравнении с предшествующим (тоже не бедным!) десятилетием русской литературы. Но эта новая героическая и небывалая действительность сразу же предъявила крупнейшие требования к художнику, отважившемуся запечатлеть этот в грозах и огне возникший мир...

Карев — художник, идущий в конечном счете к народу, к революции, несмотря на заблуждения, тупки, ошибки, провалы. Его симфония пронизана стремлением «видеть высокий смысл совершающихся событий и творчески их отразить». Искусство требует отрешенности от всего «житейского», самоотдачи до конца ценой самых больших жертв — таков первый итог судьбы Карева. Но искусство теперь требует также и активности участника борьбы. Позиция только «слушающего» порочна. «Музыку понимают все» — восторженное это признание, эта в полном смысле поворотная в творческом развитии Никиты Карева фраза вырывается у него после того, как он наблюдает действие увертюры «Риенци» на двух матросов. Между «железом» и «стеклом» уже перекинут мостик. Но Федин менее всего дидактичен и не спешит к назидательной развязке.

«Перековки» Никиты не произошло. Эгоцентризм, раздвоенность, межумочность индивидуального склада Никиты не сброс-

<sup>1</sup> В. Брайнина. Константин Федин. М., 1952, стр. 131, Д. Брегова. Константин Федин. «Литература в школе», № 2, 1962, стр. 20.

шены со счетов, они проявляют себя до последней страницы. Трагедии его личный путь в новое искусство, но эта трагедийность — законное следствие индивидуализма. Как сложатся в дальнейшем отношения «стекла» и «железа», пока не ясно ни автору, ни герою.

Родион Чорбов в «Братьях» далеко ушел от Курта Вана — он человечнее и народнее, но этот выигрыш не был еще истинной победой. Чорбов велик и героичен своей революционной энергией, новой нравственностью солдата революционера. Он выхвачен из народной массы, целен, монолитен, но в этой монолитности немало примитива. Правда, Чорбов прислушивается к словам блогога Арсения Баха: «Пробудить в человеке любознание, заставить людей искать, толкнуть их спящий ум в поиски истины», — и это очень симптоматично, что он к таким словам прислушивается. Но он косноязычен, мысли его медленны, как жернова, чувства скованы. Есть сила в его ответе Баху на вопрос, как коммунисты строят жизнь:

— Ну, уж как умеем. Не прогневайтесь.

Сила. Но и только! Если Бах зовет к пробуждению «любознания», то Чорбов с чугуниной упрямостью предлагает пробудить «веру в себя». Веру в силы человека, веру в революционную переделку мира — это отлично. Но к этому надо и веру в знание или, точнее, — веру, основанную на полном и бесстрашном знании. Малограмотный Чорбов еще недоверчив и к интеллигентам — хранителям знания и к тому, что они хранят... Автор сочувствует ему, но рисует его грубым сфинксом.

«Братья» — это не роман итогов, а роман проблем, угловатых, колючих, нерешенных.

И если в эпиграфе стояло: «Прощай, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай!» — то понимать это следовало: прощай Андрей Старцов, прощай Никита Карев, пытающийся укрыться в скорлупу от революции... Но «прощай» проблеме, поднятой в романе, говорить было рано.

В следующих романах Федин продолжал разрабатывать тему гуманизма в искусстве в XX веке, судьбу интеллигенции в новом мире, видя в этом крупнейшую проблему не только настоящего, но и будущего. Ведь в конечном счете то будущее, к которому мы стремимся, — это превращение всех членов общества в интеллигентов. Уничтожив

классовое, расовое, национальное, экономическое неравенство, мы движемся к уничтожению неравенства в уровне культуры и образованности.

В своих романах тридцатых годов, а в особенности в трилогии, автор переносит центр тяжести на изображение новой, революционной интеллигенции, которая в органическом единении с рабочим классом и крестьянством создает новые человеческие отношения. Вновь воскресает описанная уже однажды эпоха, но теперь прожектор романиста выхватывает контуры иных событий, характеры иного профиля и значения. Вновь возникает герой — сторонник аполитичного искусства. Но Пастухов уже не трагедий, временами он драматичен, а нередко смешон. Рагозин и Извеков мало напоминают Курта Вана или Родиона Чорбова. Гуманизм больше воплощен в них, чем в Пастухове.

### 3

Новое решение проблемы гуманизма, которое приходит к Федину, самым теснейшим образом связано с проблемой положительного героя — «задачей коренной важности для всей литературы», как скажет Федин в 1951 году.

В силу той роли, которую стала играть литература в процессе строительства социализма, проблема положительного героя у нас приобрела важнейшее значение, причем значение не только литературное, но и общественное, политическое. Было бы упрощением сказать, что наши романы запоминаются только по положительным героям (иначе как быть с «Жизнью Клима Самгина», «Тихим Доном» и другими произведениями?). Однако положительные герои наших романов — это средоточие споров, различных тенденций, противоборствующих сил литературного процесса.

С тридцатых годов в романах Федина происходит весьма характерный «переворот»: герои, страдающие и терпящие поражение, оттесняются с центрального места, их заменяют герои побеждающие, герои, обладающие будущим. «Страдание необходимо ненавидеть, лишь этим уничтожишь его. Оно унижает человека, существо великое и трагическое», — писал Горький Федину в годы, когда создавались «Братья». И продолжал: «На мой взгляд, с людей страдающих надобно срывать словесные лохмотья. Часто под ними обнаружится



здоровое тело лентяя и актера, игрока на сострадания и даже — хуже того». Позднее, в книге «Горький среди нас», Федин скажет, что Горький «отгонял работу моего воображения прочь от традиционного в старой литературе интереса к страданию... и призывал любить «существо великое и трагическое» — человека, верящего в творческие силы разума и воли».

Сама «концепция действительности» в двух ранних романах еще обходится без положительного героя как некоего центра мысли и действия, этики и эстетики. Но и в первых романах Федин берет своих героев из самого трудного участка жизни — из той революционной действительности, что только начинала создаваться.

Грубо говоря, поиски романиста идут от Курта Вана, Ростислава Карева и Родиона Чорбова к Левшину и Рогову, а от них к Рагозину и Извекову, наконец к Аночке, которая в последнем романе выходит на самый передний план.

Современная «Городам...» и «Братьям» критика зло упрекала автора и за «смесь детектива с Достоевским» и за то, что порою его герои, изображенные в разные периоды жизни, — это как бы несколько различных людей: настолько слабо прочерчены линии их развития... Доля истины тут была. И на Мари Урбах, а в особенности на Варваре, лежит явственный отблеск «инфернальности»: алогичность, порыв, произвольный взрыв страстей — заманчивый, но не свой наряд, украшающий этих героинь. Подобные эффекты уже оставлены в последующих книгах, а тем более в трилогии. Исчезает и нарочитая прерывистость психологического портрета. Наоборот, теперь романист не удовлетворен демонстрацией результатов развития, его внимание привлекает психологический процесс. Созревание души Кирилла поглощает весь первый роман. Есть такой кинофокус: день за днем с одной и той же точки снимается бутон цветка, его налив, наконец торжественный миг распускания, и затем зритель на экране увидит все таинство зарождения, набухания и цветения.

«Три» Кирилла Извекова из трех романов куда ближе друг другу, нежели «два» Курта Вана из одной книги «Городов...». Но в какой-то степени прежний, юношеский принцип автора — контрастное сопоставление одного и того же человека на разных этапах его жизни — вошел в «снятом виде»

в трилогию. Сопоставляются три эпохи — 1910, 1919, 1941, — три этапа жизненного пути героев. Но хотя мы расстаемся на годы и годы (между второй и третьей частью — двадцать два года!), у нас нет ощущения провала, скорее наоборот — сохраняется ощущение, что мы «присутствуем» непрерывно при всех событиях жизни героев. И в этом, пожалуй, одно из примечательных свойств последних романов Федина. В трилогии он широко и разносторонне подходит к изображению характеров. В иных случаях он самым пристальным образом прослеживает последовательность целеустремленного их развертывания (Аночка, Кирилл), в других — противопоставляет друг другу один и тот же характер в разных фазах (Лиза в «Первых радостях» и в «Необыкновенном лете», в более широком плане — «судьи» из «Первых радостей» становятся «подсудимыми» в «Необыкновенном лете»; наконец Рагозин в «Необыкновенном лете» и Рагозин же в «Костре»). Пожалуй, можно сказать, что в первых двух романах в изображении характеров Федин ближе к новеллистическому принципу, когда демонстрируется жизненное противоречие, тогда как в трилогии он верен принципу «романическому» — исследует характеры в движении, в процессе их развития.

Это очень показательно. При всем том, что для советского романа характерны масштабность, широкая панорама истории, изображение характера современника — высшее, на наш взгляд, завоевание литературы вообще и романа в частности. Федин много искал на путях широкого, панорамного романа, разделяя как общие успехи, так и общие заблуждения. Но главным для него оставалось стремление найти синтез Истории и индивидуальной судьбы. Можно даже сказать, что у него обнаруживается тяготение к тому типу романа, который можно назвать, условно говоря, романом характеров или романом судьбы. Так, «Первые радости» довольно «плотно» композиционно заключены в рамки истории судьбы Кирилла Извекова, Лизы, Аночки. А «Необыкновенное лето», хотя и построено на иных принципах и тяготеет к изображению событий, так сказать, «с птичьего полета», все же внутренне движется опять-таки как история судеб главных героев, даваемых с обстоятельностью, завоеванной еще в «Первых радостях»...

Новый герой романиста — коммунист, ре-

волюционер, строитель будущего, теперь не противопоставит искусству и гуманизму, а наоборот. только в союзе с ними побеждает. Ныне гуманизм фединского героя — воинственный, оптимистичный и, что особенно важно подчеркнуть, очень человеческий.

Рагозин, Извеков, Аночка — подобно героям ранних романов — «решают войной», но разве только войной? Б. Брайнина верно подметила в свое время, что Извеков у Федина первый герой, который счастлив в любви. Скажем точнее: счастлив, пройдя через несчастье, испытав измену и предательство. Кстати, это немаловажно. Хотя диалогия писалась в сороковые годы, когда нередки были в печати призывы к созданию героев на котурнах (позднее это будет «обобщено» под вывеской «идеальный герой»), но Федин малочувствителен к этому поветрию. Он стремится к пластическому характеру, как бы видному со всех сторон, плотно стоящему на земле, достоверному и в то же время несущему в себе черты борца, строителя «аэродрома будущего». В облике Извекова «Первых радостей» существенны не только его мужество и стойкость, но и его петушинный молодой задор в споре с Цветухиным, и наивная юношеская ревность, и еще многое другое, что делает его очень земным...

Новый положительный герой Федина всесторонне связан с жизнью; у него есть сердце, улыбка, слезы, он может быть неумолим, но ему ведом и восторг. Перед нами герой, наделенный мыслью, пылливо размышляющий о времени, герой интеллектуального склада и в то же время герой, у которого есть культура чувств, точнее, у которого все время идет процесс становления этой культуры чувств.

Вспомним сцену, о которой в свое время спорили критики. Виктор Шубников, бывший счастливый соперник Кирилла, женившийся на Лизе, осужден трибуналом за измену. Кирилл, однако, отказывается поставить свою подпись под приговором. Автор поясняет: «Отказом подписать приговор Кирилл разоблачает клевету, будто Шубников — его жертва. Разоблачается ложь, которая стремится нанести вред солдату революции, значит, самой революции».

Впрочем, необходимо уточнение — это не автор рассуждает, это мысли самого Кирилла. Война гребует беспощадности — это бесспорно. Но есть еще и внутреннее требование нравственной чистоты — оно заго-

ворило в Кирилле. Он не хочет быть причастным к расстрелу Шубникова. При выходе романа иные критики сетовали на эту ненужную чувствительность Кирилла. Между тем автор, в сущности, шел куда дальше своего героя. Да, суровость обстановки требовала применения высшей меры — расстрела, и все же есть, пусть слабые, «но». Шубников дан со всей определенностью: он безволен, вздорен, глуповат, ничтожен, мелкотравчат и даже... беззлобен. В сущности, трудно увидеть в нем заматерелого врага. Тяжкое воинское преступление он совершил под прямой угрозой законченного подлеца Зубинского. На допросе чистосердечно признался во всем. По правде факта его расстрел оправдан, но есть какая-то маленькая зацепка (человек мелкий, сам признался), чтобы получить, как сказали бы юристы, «повод для кассации». Чувствует сложность и спорность положения и автор — потому-то концовка неожиданна: Шубникова застрелил Зубинский. Это неплохо придумано, но все же придумано. А с другой стороны — всем читательским сердцем не хочешь, чтоб кровь Шубникова пала на Кирилла.

Автор, видимо, чувствует, что его герой потерял что-то в человечности, и старается это возместить. Струсил красноармеец Карнаузов, его дружок Ипат сурово требует расстрела для друга, а Кирилл выступает судьей, и судьей милосердным — Карнаузов в бою должен вымолить себе прощение. Карнаузов спасен, но ведь жестокие и трагические годы революции требовали суровости. Нам кажется несколько назидательной история гибели Дибича, вернее, не столько сама гибель, сколько та прямолинейная мораль, которую извлекает из нее Кирилл, — «не надо жалеть».

И вот новое испытание герою — Лиза приходит к Кириллу (это первая их встреча после девятилетней разлуки и ее измены) просить за арестованного отца. Кирилл — воплощенная революционная неподкупность: «Не могу помочь». Кажется бы, все верно с точки зрения революционной нравственности. Кирилл еще вдобавок бросит Лизе: «Почему такое ослепление?! Разве вы не слышите, что это только заклинание — муж, отец! Ведь за этими словами — люди, а за людьми — их дела. Ведь Каин тоже носил имя брата». Сформулировано отчетливо и вполне в духе времени. Однако Лиза возражает:

— В чем вы меня обвиняете? В том, что мои родные — это мои родные? Что они мне близки и дороги?

Формально Кирилл опровергает и это возражение. Однако сцена разрешается совершенно неожиданно. В комнату вбегает Аночка, видит Лизу стоящей на коленях, и она, Аночка, мгновенно меняет все. По священному праву юной и любимой она заставляет Кирилла в секунду согласиться и обещать не только узнать, в чем обвиняют отца Лизы, но и «помочь — если это будет можно». Христианский или — как там — абстрактный гуманизм? А может быть, скорее великодушное и человечность человека нашей эпохи?

Это вторжение «доброты» глубоко закономерено для Федина. Его романы потому и продолжают жить и поныне, что они не сглаживают противоречий жизни. Коммунисты вынуждены были многое «решать войной», но они не возводили войну в единственный принцип бытия, не считали насилье единственной добродетелью. И то, что для Кирилла, да и для Рагозина обязанность «решать войной» нередко оказывается очень трудной, иногда невозможной, — это глубокая правда реальной диалектики жизни.

Да, конечно, Извеков и Рагозин прежде всего борцы, солдаты революции, испытывавшие жестокие удары врагов и беспощадно воюющие с ними. Но ради чего война? Ради утверждения братства и счастья людей, ради того, что зовется издревле «доброе». В повести Ю. Бондарева «Последние залпы» ее герой, капитан Новиков, трагически гибнущий в борьбе с фашистскими танками, все время размышляет среди смерти и боя: «Где оно, добро, в чистом виде, на войне я его не вижу». Действительно, Новикову приходится посылать своих подчиненных на смерть, посылать на гибель людей, бесконечно ему близких. — такова трагическая действительность. Но и среди крови и смерти Новиков остается олицетворением сурового гуманизма, «чувств добрых», нравственной чистоты. Он понимает, что пришел в этот мир «творить добро», хотя подчас и противоречивым путем. Гибель Новикова, гибель его батареи, не пропустившей в конце войны гитлеровские орды на землю Чехословакии, есть в конечном счете — как ни парадоксально это звучит — то великое «добро», ко-

торое они сотворили своей мужественной смертью.

Мне кажется, что есть внутренняя переключка этой очень современной повести молодого писателя с героями Фединских романов, с их самыми глубинными мыслями. Ведь у Федина проблема положительного героя — это в то же время проблема любви к людям в ее современном понимании.

Наряду с революционной волей и идейностью, смелостью, мужеством, энергией, беззаветным устремлением в коммунистическое будущее в героях Федина растет гуманистическое начало. Потому-то и кажется неслучайным, что Аночка от романа к роману начинает занимать все большее место. Аночка сама как бы сошла с того «аэродрома будущего», о котором мечтали и Кирилл и, по-своему, Старцов, Карев... Она творец искусства юного и доброго, выросшего вместе с народом, вместе с ним подымавшегося до того высшего восторга человеческого бытия, что зовется творчеством. Аночка идет по трем романам как воплощение свежести, чистоты, благородства, отзывчивости, обаятельнейшее воплощение того, что породил этот в крови и муках зачатый мир.

Еще очень трудно представить, как развернется дальше «Костер»; наверно, многое предстоит пережить и свершить Извекову, недаром автор поселил его в городе исключительно драматичной военной судьбы — Туле. Наверно, не раз мы встретимся с шофером Матвеем Веригиным и его односельчанами. Но сейчас самые поэтичные, возвышенные и одновременно самые «простые» страницы романа — те, где повествуется о хождении по мукам Аночки. Нет, недаром это сопоставление в романе: у Пастухова на именинах соперничают в островах гости, а Аночка бредет среди смерти и народной беды!.. Немало человеческой дребедени на страдном пути Аночки — и хозяйка брестской квартиры, негодующая на русских, «накликавших немцев», и трус чинуша в Пииске, горюливо запикивающий свое барахло в казенную машину, и сладкий хам — народный артист Скудин... Бесчеловечие гитлеровских захватчиков, ничтожество трусов и подлецов — все это со слепящей резкостью выступает особенно в свете того нравственного начала, которое все время присутствует в романе. А это нравственное начало воплощено в Анне Тихоновне Улиной, бывшей Аночке, впрочем, скорее чуть повзрос-

левшей прежней чистой, обаятельной Аночке. Странное дело — Аночка в «Костре» не философствует, не произносит речей, не подводит итогов виденному, не совершает особых подвигов. Временами кажется, что ее роль — роль Вергилия, ведущего нас по современному аду. Но нет, она не бесстрастный Вергилий — все сильнее и сильнее ощущается некая скрытая сила нравственной чистоты, заключенная в ней. Наверно, это от какой-то предельно непринужденной человечности ее характера, от того, что в нем совершенно нет диктата некоего отвлеченного от человека «должного» над непосредственным и естественным. И еще: в этом характере все время ощущаем соизмеримость того, что происходит с Улиной, с тем, что испытал бы читатель на ее месте. А вместе с тем за этой простой, чистой, страдающей женщиной временами начинаешь видеть саму Россию в тот трагический момент войны, когда родилась «неутолимая любовь к человеку, обороняющая себя от зверства».

Больше чем кто-либо из всех героев Федина Анна Тихоновна олицетворяет «добро» в его коммунистическом понимании: «человек человеку — друг, товарищ и брат». И эти силы добра не одиноки в романе. Последовательно и убежденно Федин изображает движение (пусть подчас стихийное) могучих сил «добра». Это и актеры передвижного театра, под бомбами не теряющие человечности, и красноармейцы со станции Жабинка с их гуманным мужеством и неожиданная сердечная и трогательная забота о беженцах на какой-то станции, и удивительно благородная, бескорыстная помощь пинских актеров нашим героям. Автор страстно рисует оилу «неутолимой любви к человеку», укорененной в нашем народе, силу, что помогла одержать победу.

Герои Федина сражаются за добро, у них «героическая нравственность». Борьбу со зверством они великолепно умеют «решать войной». Но добро остается добром!

Еще в 1936 году был задуман писателем роман о женщине-актрисе, роман-судьба — от детских лет до славы и признания. Роман вырос в трилогию, на первый план вышли революционеры — «инженеры будущего», ворвалась в книгу «буря истории», многое менялось в плане романа, в его стиле, композиционных решениях. «Инженеры будущего» помогли девочке вырасти в актрису, несущую людям искусство чистое,

солнечное, доброе. Это тот «человек человечества», которого начал искать тридцать лет назад романист.

## 4

Рассказывают, что однажды Иоганну Себастиану Баху приснилось его новое произведение в виде готического храма, причудливой и смелой конструкции, с контрфорсами, узорчатыми башнями, сквозь узкие окна прорывались золотые солнечные лучи... Пожалуй, подобное могли бы рассказать и о Федине, ибо романы его могут присниться как великолепные архитектурные конструкции — они прежде всего построены, много слова не подберешь. В советской литературе мало найдется романистов, которые могут соперничать с ним в искусстве организации романа, чувства целого, умения придать самой форме книги глубокий смысл. Если даже роман ему не удался, все равно поиск остается глубоко поучительным («Похищение Европы»).

У Федина нет романов-хроник, которые у иных авторов не столько движутся своим развитием, сколько переползают с одного исторического события на другое. Романы Федина прямо-таки «заострены» против пухлой бесформенности. Они, как правило, спортивно подтянуты, в них мускулы, а не рыхлый «жир» многословия, каждая часть их взвешена и строго соотносена с другими.

И при этом ни разу Федин не повторился в своих поисках романной конструкции. Да, у него, как у всякого художника, большую роль играет фантазия, но, право же, так и хочется сказать, что этой фантазией правит математический, точный расчет.

В первых двух романах эксперимент столь заметен, что подчас даже «выпирает» наружу. «Города и годы» начинаются с развязки, с 1922 года. Первая подглавка «Речь» прямо-таки эпатирует читателя: мы только к концу ее узнаем, что речь, весьма и весьма смахивающую на сказовое авторское повествование, произносит не автор, а Андрей Старцов (что, кстати, совсем не в его характере). Речь нас несколько оглушает, еще более поражает хронологическая непоследовательность: после 1922 года идет глава о 1919 году, а за ней — глава о 1914-м. Потом — «Глава отступлений»; опять назад — в детство и девичество Мари Урбах. Потом идут главы о годах девять-

сот шестнадцатом, девятьсот семнадцатом, девятьсот восемнадцатом. Снова некий сдвиг: «Глава вторая о девятьсот девятнадцатом, которая предшествует первой». Последняя глава — о девятьсот двадцатом годе. Как видим, «перетасовка» основательная.

Странным образом она не слишком мешает восприятию. Внутри романа явственно ощутима логика исторической последовательности. В романах Б. Пильняка часто нет никаких хронологических нарушений, но в них история алогична. У Федина при всей необычности изложения история даже чересчур жестко прокладывает свой путь (недаром главы названы не по героям, а по годам).

Автор то и дело расталкивает своих героев и берет слово сам. В главе о Петрограде 1919 года он до предела патетичен, в главе о военной Германии — саркастичен и желчен, в главах об Андрее философствует и оплакивает своего героя. «Города...» — роман-сказ и одновременно роман-проповедь. Это попытка создать форму, адекватную ломке сознания, представлений, характерной для прожитой эпохи. Это роман, рассчитанный на большую ответную активность читателя — тот должен сам восполнить и провалы в годах и недосказанное автором. Это роман, эпичный по сюжету и необычайно лиричный, субъективный по повествованию.

В «Братьях» автор чаще отступает в тень, предоставляя арену самодействию героев. Однако «объективность» тут своеобразная. Странное дело — роман назван «Братья», но ведь судеб братьев-то нет! Есть крупным планом данная или, точнее, под микроскопом показанная история Никиты Карева. Все усилия автора направлены в этом романе на то, чтобы найти синтез детально изображенной судьбы героя и широкой панорамы времени. В романе ощущается противоборство двух стихий — попытка дать время, эпоху объективно и поток субъективных, «каревских» восприятий.

Много позднее Федин напишет: «Свое «я» надо смирять и рассказывать условно, что мы и видим в хорошей «объективной» прозе, где знание автором скрытой жизни героев передается тоже скрыто, как подразумеваемое (это исключает надобность авторских извинений перед читателем, объяснений с ним и оговорок)».

Образцом верно найденного соотношения изобразительности и рассказа остается для новой прозы. Чехов. Но, черт возьми, приближаться к чеховскому рассказу и притом быть на него не похожим, оставаясь собой, — это задача головоломная.

В высшей степени характерен этот поворот повествователя-оратора, прерывающего героев, говорящего даже на разные голоса, к авторскому «смирению», обращение к Чехову как эталону. Мы не думаем, что именно здесь «истина в последней инстанции» — ведь в повествовательной манере «Городов...» и «Братьев» есть своя прелесть, и будут еще писатели, что станут искать и на этих путях. Но поворот к «объективности» — общая закономерность нашей прозы. Вс. Иванов от «Партизан» и «Голубых песков» приходит к «Пархоменко», А. Малышкин от «Падения Дaira» и «Вокзалов» — к «Людям из захолустья» и т. п.

«Похищение Европы» для Федина было и поворотом к объективной прозе и каким-то скрытым бунтом романиста против канонической формы романа (бунт этот выражался в некоем авторском «угнетении» характеров героев). Проклятый вопрос, терзавший многих романистов, — как сочетать в романе судьбу героя и панораму общества, Историю с большой буквой и характер, события и индивидуальности, — этот вопрос вновь и вновь возникал перед Фединым. Произведение задумывалось как поэтический анализ двух миров — капиталистического и социалистического. Роман приобретал крупномасштабность, и задача, поставленная Фединым, — дать «многообразный ряд картин современного Запада», становилась самостоятельной и господствующей. Вспомним, что в эти годы в третьей книге «Тихого Дона» история вешенского восстания заслонит все: автор меньше пишет даже о Григории, а Аксинья почти исчезает со страниц книги (и все это едва ли победа романиста). Главы об истории гражданской войны в трилогии Толстого начинают жить какой-то вставной самостоятельной жизнью. Наконец даже в «Жизни Клима Самгина» (в последних книгах) поток событий отодвигает исследование характеров.

В тридцатые годы было модно писать о «масштабности» советских романов по сравнению с романами прошлого. Но нерелек под «масштабностью» разумели лишь широту охвата событий. Такая «масштаб-

ность» могла подвести художника. «Герои слагают сюжет» — эту истину К. Федин выскажет позже. Меж тем в «Похищении Европы» герои мало двигали сюжет, полупублицистический рассказ о современном капиталистическом Западе куда больше двигал роман. Получался некий «роман в романе».

К. Федин сам чувствовал это и заметил в одной из статей, что ему удалось добиться скрещения двух линий лишь в главе «Амстердам ночью». Действительно, первая ее половина — ироническое изображение амстердамских полицейских, ночного города, лицемерия витрин... Другая половина — счастливое свидание Рогова с Клавдией. Ирония авторского повествования сливается с ироничным восприятием Роговым ночного Амстердама, а затем все повествование органично переходит в взволнованный и мажорный финал; хотя Рогов и одинок в этом чужом городе, он — победитель, он, как Парис, похищает здесь свою Елену.

Увы, Елена обманула не только Рогова, но и читателей. Клавдия мелка и пошла, она вообще слаба как тип. Герои потому не движут сюжет, что им не хватает жизненной силы, простора в романе.

Написанный вскоре «Санаторий Арктур» по своему типу — полная противоположность «Похищению Европы». Никакой отвлеченной публицистики, характеры диктуют повороты сюжета. Роман этот несколько традиционнее и... человечнее. словно бы устав от титанической борьбы с Историей, с огромными панорамами и диорамами общественной жизни, автор замыкает действие в пределах санатория, курортного местечка, сосредоточиваясь на противопоставлении характеров — символов двух миров, углубляясь в душевную жизнь героев.

А в трилогии — опять торжество Истории: из задуманного романа об актрисе получается нечто совсем иное. «Все как бы стало с головы на ноги. Первоначальная тема искусства показалась мне лишь одним из мотивов. На первый план выступило нечто более значительное. Это была тема истории», — так скажет сам автор. Любопытно, однако, что во всех трех романах — разные конструктивные принципы.

Особенно дает волю Истории автор в романе «Необыкновенное лето». Центральные герои — активнейшие участники исторических событий, и автор стремится всемерно показать их деяния. Не знающее

удержу стремление к исторической панораме, непрерывная проекция общероссийской карты военных действий на сюжет слагают форму романа.

Кирилл Извеков идет в госпиталь навестить больного Дибича. По дороге он «перебрал в уме все, что стало известно за последние дни о военных действиях». Автор упоминает об этом лишь для того, чтобы получить повод подробнейшим образом пересказать ход военных действий в стране. Романист многократно возвращается к характеристике военного положения. Он даже сообщает, что у Кирилла Извекова «картина событий — расстановка сил, места сражений, время военных действий, их объем и важность — жила как бы в подсознании». Иначе говоря, карту военных действий автор переносит уже как бы внутрь характера. Временами у него целыми страницами идет «голая» история, есть даже глава «Пролог к военным картинам», которая могла быть уместна в «Истории гражданской войны в СССР». Пожалуй, ни в одном романе Федина не было такой «интервенции объективного», как в «Необыкновенном лете».

Отечественная война 1941—1945 годов по масштабам, конечно, превосходит гражданскую войну. Казалось бы, в третьей части трилогии должны были усиливаться тенденции, наметившиеся в «Необыкновенном лете». Меж тем тут нет ничего от «романа — военной карты». «Костер» как бы сплетен из четырех нитей: судьба Веригиных, судьба Извекова, судьба Пастухова и — красная нить! — судьба Аночки. Масштабность тут достигается не изображением мира «с птичьего полета», не диорамами и панорамами, а многосторонностью картины жизни, углубленностью психологических характеристик героев. Вот, к примеру, как сказано о диспозиции воюющих сторон в «Костре»: «Все в вагоне вспоминали поутру, что идут вторые сутки с тех пор, как Брест проснулся в войне. Уже известно стало, что не один Брест подвергся внезапному нападению — назывались город за городом, которые бомбил немец. Но это были слухи, никто толком не знал, верны ли они. Говорили, что война идет по всей границе, с юга до севера. Но и это не принималось за достоверное. Почти дословно на станции повторялся эпический ответ железнодорожника-украинца, когда его спросили, что говорит наше радио:

— Наших мы увесь день й не чулы. Нимец марши грае. Та Гитлер гавкае».

Сравните это с «Прологом военных картин» из «Необыкновенного лета», где обстоятельно, но сухо (как и полагается историку) сообщается и о том, что делал Дутов, а что замышлял Качедни, каковы были планы Фрунзе и какую телеграмму ему прислали из Москвы,— сравните, и вы сразу убедитесь, что и ныне Федин в силах ломать уже раз найденное и искать совсем новые решения. В «Костре» «чистая» (быть может, «голая»?) публицистика отрицает. История, как сказала однажды Берггольц, «говорит живым человеческим голосом». Автор стремится все события и повороты Истории раскрывать только через судьбу героев, и из этих индивидуальных линий складывается картина эсличественной народной судьбы. Еще трудно говорить, как сложится целое, ибо перед нами лишь первая часть книги, но «Костер» обещает многое для истории советского романа. Ибо этот роман не «батальное произведение», тем более не «просто» продолжение дилогии, на манер некоей пристройки к главному зданию, как то мы с досадой встречаем в иных многотомных сочинениях (и не всегда голько у малоталантливых авторов). «Старомодность» нового романа Федина чисто внешняя. Это роман

глубоко современный по своим проблемам, характерам, конфликтам. Ведь это произведение о новых нравственных критериях, с которыми время подходит к герою. Нравственными критериями нового гуманизма поверяются и качества революционера, и гражданский долг каждого, и, наконец, право на искусство, вонстину современное и необходимое народу. Из этого гуманистического замысла и вытекает новая форма романа, в котором все гигантские события эпохи оцениваются прежде всего тем, что они несут человеку. Если бы это не звучало выперенно, можно было бы сказать: Федин ищет в «Костре» наиболее человечную конструкцию романа.

...Семь романов, и каждый раз — новое решение! Каждый раз — выстраданный, творческий ответ художника. С ростом общества и его литературы — все более глубокое и разностороннее освещение нового гуманизма.

Добро! Они спешат творить добро: и фединская Аночка, и Алеша Скворцов из «Баллады о солдате», обошедшей весь земной шар, и обожженный горем Андрей Соколов из шолоховского рассказа, и капитан Новиков из бондаревских «Последних залпов», и герои «Дневных звезд» Берггольц. В этом одна из самых резких черт времени.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Н. Коржавин. Мужественный голос.— Л. Снорино. Сказка и обыденность.— Ю. Бондарев. Повесть о любви.— В. Сергеев. Друзья и недруги.— Л. Лазарев. Еще раз о книге А. Метченко «Творчество Маяковского».— Ю. Волчен. Воображаемая жизнь.— Р. Зернова. Смерть надежды.— Н. Крутикова. Прекрасная судьба.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

С. Устинос, генерал-майор авиации запаса. Великий стратег.— И. Пешкин. Неотвратимый закон истории.— А. Ильин. На подступах к серьезному исследованию.— О. Кузнецова. Неопровержимые документы.— М. Кораллов. Энциклопедия древнерусской культуры.

## Литература и искусство

### МУЖЕСТВЕННЫЙ ГОЛОС

Кайсыи Кулиев. Огонь на горе. Стихи. Перевод с балкарского. Редактор Д. Н. Голубнов. «Советский писатель». М. 1962. 160 стр.

Конечно, можно назвать Кайсына Кулиева поэтом гор. Это не будет ошибкой. Мужественные горцы и прекрасные горянки, высокие вершины и глубокие ущелья, зоркие орлы и быстроногие туры занимали и занимают очень большое место в его стихах. Это и основа его образности, и начало всякого рода ассоциаций, и просто детали привычных с детства пейзажа и уклада. Но есть у него нечто, что выгодно отличает его от многих других поэтов гор, а также степей и лесов (специализация здесь особого значения не имеет): он не видит в этом никакой экзотики. Для него это просто жизнь, та область общей жизни, которая ему наиболее знакома. И через которую ему открывается сущность жизни вообще. И то сказать, мудроно увидеть экзотическим то, к чему ты привык с детства,— для этого надо смотреть на все это чужими глазами.

У Кайсына Кулиева сильный темперамент. И острое чувство жизни. Поэтому горы не заслоняют ему весь мир, а дают возможность лучше его увидеть. И именно поэтому же они не заслоняют его от нас, как бы далеко от Кавказа мы ни жили.

Вот он пишет о дряхлом горце:

Руки горца, знавали  
Вы счастливей деньки...

...Вы и поле пахали  
С незапамятных дней.  
И проверно седлали  
Самых лучших коней.

Кровь водою смывали,  
Разрывали бинты,  
Голубиц обнимали  
Неземной красоты.

Кольбели качали,  
И ласкали детей,  
И землей засыпали  
Опочивших друзей.

Вы дома возводили,  
Превращенные в прах,  
Вы огонь разводили  
В ледяных очагах.

Разгробали во вьюгу  
С гор скатившийся снег,  
Подвигали вы другу  
Свой последний чурек.

Никогда не ленились,  
Не жалели щедрот.  
А теперь опустелись,  
Кто вас в том упрекнет?

(Перевел Н. Гребнев)



Здесь есть все приметы горской романтики: и кони, и горянки, и сами горы. Есть много примет места, национальной специфики. Речь идет не вообще о человеке, не вообще о крестьянине, а именно о горце. Все подробности быта этого горца совсем иные, чем у большинства читателей этого стихотворения. Но внимание поэта привлекает не то, что его отличает от нас, а как раз то, что у нас с ним общего. Не условия, в которых он живет, а то, чем он живет, жил.

Прежде всего мы чувствуем в стихотворении жизнь, ее трепет, мощь ее полноты и неотвратимости ее окончания, ее временность. Одно время сама мысль об этой временности казалась пессимизмом. Между тем это, к сожалению, факт, с которым нельзя не считаться и о котором невозможно не думать. И чем оптимистичней смотрит поэт на жизнь, тем бесстрашней обращается он к этой теме. Неминуемость смерти только подчеркивает ценность жизни, ценность каждого дня. Герой стихотворения живет. Живет полной жизнью. Такой же, как живем или стремимся жить мы. И это мы чувствуем прежде всего, когда читаем стихотворение. И благодаря тому, что мы чувствуем это, то есть то, что нас с ним объединяет, мы понимаем и специфические черты именно его жизни. Ибо это частности общего, правда, такие частности, вне которых это общее просто не существует. Настоящее искусство, кроме всего прочего, дает нам возможность понять людей, вовсе на нас не похожих, обнаружив то общее, что нас с ними объединяет, — жизнь. Именно поэтому искусство по своему своему существу отрицает войну.

У Кайсына Кулиева есть много стихов, прямо посвященных минувшей войне и необходимости предотвратить новую. Но опять (в своем большинстве) эти стихи при всей общественной направленности — стихи глубоко личные.

Новый год, как с добычей охотник,  
В белой бурке спускается с гор.  
И во многих квартирах сегодня  
Вспыхнет елки зеленый костер.

Снег летит, снег летит,  
и воочью  
Вижу поле далекое я,  
Где встает новогодняя ночь  
В наступление рота моя.

Ах, как молоды мы еще, кстати.  
Батальонный у нас тамада.  
Кровь багрит белоснежную скатерть,  
И падающая блещет звезда...

Новый год постучался в ворота,  
Что ж я плачу, смешной человек?..  
...Все идет в наступление рота,  
И ложится ей под ноги снег.

(Перевел Я Козловский)

Конечно, это стихи о войне. Но также и о молодости. Конечно, это стихи грустные. Но также и светлые. В этом воспоминании гармонично сочетается боль о погибших друзьях и щемящая гордость за свою молодость, прожитую так, как надо. И конечно, это стихи против войны, потому что хотя с ней и связана молодость и светлые воспоминания, но это относится не к ней, а к людям, которые вынуждены были в ней участвовать. К тому, как героически они переносили всю ее неестественность. «Кровь багрит белоснежную скатерть...»

«Огонь на горе» — не первая книга балкарского поэта, вышедшая на русском языке. Но эта книга мне кажется наиболее зрелой, наиболее мужественной из его книг. Наиболее беспощадной, если можно так выразиться.

И я причинил вам, о женщины, горя немало,  
Хотя не хотел, чтобы старились вы от обид.  
Вас, правых во всем, тосковать заставлял я.  
бывало,  
Поэтому сердце мое так болит и скорбит.  
Нет, я не из тех, кто становится в бравые  
позы.  
Смотрите, мол,— я молодец, победитель,  
герой!  
Сквозь ливни годов мне виднеются женские  
слезы,  
И хлеб мой насущный мне кажется горьким  
порой.  
— Простите меня! — это, женщины, вам  
говорю я,  
Почти не надеясь, что давнюю боль мне  
простят.  
— Простите меня! — говорю вам и долго  
смотрю я  
С горы моих лет, где тяжелый идет

снегопад.  
(Перевел С. Липкин)

Это стихотворение говорит о вешах, отнюдь не веселых, ибо муки совести — вещь не веселая. Быть может, даже попадутся люди, которые назовут подобные настроения пессимистическими. Но вряд ли кто-нибудь будет утверждать, что человек, чуждый подобным мукам, мужественный оптимист. Мне кажется, что это стихотворение утверждает совесть, верит в совесть, а следовательно, верит в человека. Они утверждают высокое понимание человеческой личности, человеческого долга.

В сборнике много стихов, посвященных жизни и смерти. Но все они воюют за

жизнь, за ее высоту и поэтичность. Есть в нем и стихи, где радость жизни выражена прямо, где природа и жизнь людей сливаются в единый светлый и бурный поток, как, например, в стихотворении «Гром»:

Две горы ли, две скалы ли  
 Бьются лбами в этот час,  
 Или же с горы пустили  
 Вниз по крышам тарантас?

Первый гром грозы весенней  
 Прокатился за горой,  
 Как полки перед сраженьем,  
 Скалы выравняли строй.

Гром гремит, раскаты глухи,  
 Собирается гроза,  
 К небу подняли старухи  
 Воспаленные глаза.

Старикам в грозе весенней  
 Видится огонь и дым  
 Грохотом былых сражений  
 Вешний гром приходит к ним.

Им мерещатся дороги  
 И тревоги прежних дней.  
 И дрожащие их ноги  
 Шпорят воронных коней.

Гром грохочет в отдаленьи,  
 Видится мальчишкам бой.  
 Кажется им гром весенний  
 Дальней пушечной пальбой...

(Перевел Н. Гребнев)

Много в сборнике стихов о родном балкарском народе, о его радостях и бедах, о кровной связи с ним поэта. Много стихов,

написанных в духе процитированных выше, много — написанных совсем иначе, более плавно, гармонично, ласково. Но о чем бы ни шла речь в этих стихах, в каком духе они бы ни были написаны, везде слышится мудрый и мужественный голос поэта. Везде мы ощущаем то, что является главным в мироощущении Кулнева — обаяние жизни.

В сборнике много стихов и одна поэма. Разумеется, не все произведения, вошедшие в сборник, равноценны. Есть среди них и такие, которые мне кажутся поверхностными, случайными, недостаточно выразительными. Но не они определяют лицо сборника, да и количественно их немного. Хочется сказать и несколько добрых слов о переводчиках. Перевод стихов такого поэта, как Кайсын Кулиев, — акт высокого творчества. Переводчики Наум Гребнев, Яков Козловский, Семен Липкин и Михаил Дудин оказались на высоте. Перед нами живая книга интересного поэта. К сожалению, многих стихов, вполне этого достойных, я не мог здесь процитировать. Даже из числа самых лучших. Но читатель может прочитать их сам. Правда, для этого ему придется проявить некоторую предприимчивость, ибо эта очень хорошая книга вышла в количестве 3 200 экземпляров. Вероятно, на тех, кто определяет тиражи книг, обаяние жизни не действует.

Н. КОРЖАВИН.

★

## СКАЗКА И ОБЫДЕННОСТЬ

Николай Рыленков. Сказка моего детства. Повесть. «Знамя», № 6, 7, 1962.

Поэт Николай Рыленков обратился к прозе. И проза его — как и его стихи — оказалась исполненной лиризма. Глазами ребенка, еще только постигающего красоту и сложность человеческого бытия, смотрит художник вместе с героем своей повести на старую деревню предреволюционных лет. Ему, герою «Сказки моего детства», с каждой страницей все более открывается и трудовой мир крестьянства и очарование родной земли.

Русская природа во всей ее тихой, спокойной прелести сразу обступает читателя. Художник заставляет нас вслед за героем то восхититься морозному зимнему утру, когда так празднично белели сугробы, так радостно похрустывал под ногами молодой

снежок», так «мерцал и переливался в холодном блеске иней на деревьях», то ощутить прелесть обычной проселочной дороги, «мягкой, заросшей травой», неторопливо бегущей «среди созревающих и ждущих уборки хлебов», и услышать какую-то «особую, праздничную тишину лугов и перелесков».

Окружающая действительность для простого деревенского мальчишки еще полна тайн и вызывает страстное желание понять ее законы, разгадать загадки, отделить правду от неправды, реальность от вымысла. Где кончается сказка и начинается настоящая жизнь?

«На юго-востоке к нашим полям подступали вековые леса, тянувшиеся на десятки верст — до самого города Рославля. Эти

леса для нас, детей, были каким-то особым, почти сказочным миром...» Здесь встречались медведи и лоси, здесь хозяйничал леший, пугал и заводил в трюшбы тех, кто забредал в чащу за грибами и ягодами. Да мало ли чудес таили в себе эти леса, «то густо-зеленые, то коричнево-желтые, то багряно-золотые, то серебристо-серые, но всегда одинаково загадочные...»

Поэтически-сказочна не только природа, а и самый крестьянский обиход, если посмотреть на него из своего детства. Что, казалось бы, прозаичнее, чем обыкновенная печь в обыкновенной избе? Однако для ребенка она живое существо, «что-то вроде души избы, какой-то доброй прародительницы всей семьи». Самые обыденные бытовые детали складываются в сказочный образ. «Из чела ее всегда пахло чем-нибудь вкусным: свежим хлебом, шамп, отварной и пареной картошкой, а иногда и кулагой — ржаной солодовой болтушкой. По ночам, когда все укладывались спать и в избе все затихало, я сквозь сон слышал, как печка вздыхала и даже как будто покряхтывала». Мальчик ощущает свое глубокое родство с простым миром крестьянской избы, со всем ее житейским обиходом.

Сказка входит в повседневность, и возникает она не спроста, а рождая поэтическое осмысление реальности. И любопытно: в детском сознании как бы возрождается древнее отношение к огню, дающему жизнь, тепло, пищу. Обнажаются глубокое корни человеческой связи с природой, с ее стихийными силами.

Первоначальные впечатления детства постепенно ширятся, вбирают все более сложные явления мира. Взгляд героя на окружающую его действительность обладает важной особенностью: это взгляд не со стороны, но одного из тех, кто связан с природой «от рождения и до смерти», живет «одной жизнью с ней». И связь эта — труд.

Одна из узловых глав — «В избе и в поле» — рисует круговорот деревенских работ, во всех своих звеньях подчиненный смене времен года. Поздней осенью работы в поле и на гумне кончались, «дела переносились либо во двор, либо в избу. Мужики поправляли крыши... лаяли к первопутку дровни, бабы трепали лен». Наступала зима, и «монотонное жужжание прялок сливалось с завыванием ветра за окном...» После масленицы женщины ткали холст и

грубую шерсть, а мужики с утра до вечера пилили и кололи дрова, складывая их в высокие поленницы, «пахнувшие оттаявшим деревом».

Весна приходила в деревню, растворяла ворота, звала в поле. «Закуковала кукушка — сей ячмень, вошла в круг тень у покрывшейся листвой березы — готовь овес. А появились божьи коровки — значит, и гречиху сеять пора». Не успевали отсеяться, как «наступала навозница, а там и сенокос... Но вот все луга уже убраны... Приближается бабья страда — жатва». За нею и молотба. «Так лето незаметно переходило в осень... Все тропинки вокруг гумна были запорошены мякиной... Зори становились все ярнее...»

Николай Рыленков, открывая нам поэзию этого трудового кругооборота, говорит о главном, о том, как формируется человеческая личность в ходе простых жизненных дел. Крестьянский мальчик увлеченно участвует во всех занятиях взрослых. «Больше всего мне нравилось возить с отцом с поля на гумно снопы, укладывать их под крышу, а вечером сидеть перед печкой в подовине, где так вкусно пахнет свежим, подсыхающим зерном и соломой».

Юный герой охвачен пытливым интересом к окружающему, стремлением понять мир — такой пестрый, противоречивый и такой красочный. И постепенно на фоне яркой жизненной панорамы все отчетливее выступают образы простых людей деревни. Композиция повести этим и определяется. Каждая глава посвящена кому-либо из родни или односельчан героя, дает поэтический портрет избранного для нее персонажа: «Дядька Павел и дядя Гриша», «Отец», «Мать», «Бабка Глушка и Федя Лапотник», «Дед Ананья», «Иван Сухой и Харлам Кривоустый», «Сват Абрам и куманек Нотка» и другие.

Интересно, что у поэта-лирика каждый из его героев выступает как неповторимо своеобразная личность. Конечно, все они социально вполне определены, но вместе с тем каждый из них обладает теми особыми чертами, которые делают его живым, неповторимым, по-своему думающим и по-своему чувствующим человеком.

Глубоко поэтичны у Николая Рыленкова женские образы. Суровая, отрешенная уже от житейской суеты столетняя прабабка Катерина — о ней говорят в деревне, что она ведунья, может «заговаривать болезни,

накликать дожди и метели, прибавлять и убавлять молоко у коров». Но вот приходит ее смертный час, и маленький перепуганный герой повести видит ее «большие, натруженные за долгую жизнь» руки, которые «тяжело лежали на груди». И внезапным озарением понимает, кем была прабабка для всей их семьи, сколько добра сделали ее руки, как выхаживала, подымала она детей, внуков и правнуков.

Совсем иной образ — веселая выдумщица тетка Даруся. Каждый день появляется она в доме «в то чудесное предвечернее время, когда в избах еще не зажигают огня, сумерничают», и приносит ребятам гостинцы: то яблоки, которые «у нее хранились где-то в мякине и необыкновенно вкусно пахли, то какого-то особого засола грибы, то орехи, но чаще всего гороховые лепешки с медом, нарезанные в виде пряников».

Хранила Даруся в памяти, а может, и сама придумывала, несметное число загадок. Все они были «какие-то домашние» и говорили о том, что находилось вокруг — «в избе и на огороде». Придумывала их интересно, «словно раскрывая душу окружающих нас вещей».

Лиричен и образ бабки Глушки, чья избенка «до окон вросла в землю», но было в ней всегда тепло и уютно. Рано овдовев, бабка « всю жизнь прожила в страшной бедности, но детей по миру не пустила», вырастила их честь по чести, дочерей выдала замуж и старшего сына женила. По вечерам, сидя за веретеном — на нем она пряла чужую пряжу, овечью «волну», — размышляла бабка о дневных своих делах, о будущем младшего сына. Эти вечерние Глушкины «беседы с самой собой» слушает герой повести, и они вводят его в сферу тяжелых повседневных забот женщины, прожившей большую нелегкую жизнь.

«Сказка моего детства» — поэтическое повествование о внутренней красоте трудящегося человека. Человеческое достоинство, основанное на уважении к своей работе, — основное качество героев Николая Рыленкова. Это проявляется у самых разных людей, разных по характеру, по жизненной судьбе. Отец героя — глава большой работающей крестьянской семьи. Он хозяин и умелец, знающий себе цену, человек поэтической складки, мыслящий образно и по-народному трезво. Умеет он видеть суть жизненных явлений, понимает сложность

человеческой души и знает, что немало зависит от обстоятельств, которые ломают людей по-своему.

Тяжко, трудно живет старая, предреволюционная деревня, Николай Рыленков не забывает об этом. Но есть в ней труд простой, обывденный, в нем подлинная поэзия деревенской жизни. И лирический герой, вспоминая своего отца, видит его в поле, за работой: «Сеял отец быстро, уверенно, большими горстями разбрасывая зерно в лад своему крупному шагу. Я таким и запомнил его на всю жизнь — идущим с обнаженной головой и с севалкой на груди вдоль нивы, окруженным золотистым сиянием разбрасываемого зерна».

Проза у Николая Рыленкова чрезвычайно емкая. Скупые детали, несколько штрихов, беглый эпизод — а перед читателем обнажаются целые пласты социальных отношений старой деревни. Это деревня между двумя революциями. В ней еще властвует дворянство, но оно уже нищает и разоряется, оно помнит о пожарах родовых усадеб в 1905 году. В этой деревне идет явственное расслоение (главы «Наша деревня», «По кусочки»), кристаллизуются социальные полюса: стяжатели — богачи Ломаченковы и беднота — Татьяна Сорочка, ее семья. Художник остро подмечает, как в педрах крестьянской жизни уже растет новая сила — хваткая, хищная российская буржуазия (глава «Прасол Николай Хлюстик»), показывает, как кровно роднилась деревня с рабочим классом, как ее сыновья становились «питерскими, юзовскими, губо-нинскими» и приносили в деревню новые мысли, стремления, надежды.

В конце повести «Сказка моего детства» все сильнее звучат социальные мотивы. Но они не имели бы прочных корней, если бы художник раньше не обрисовал всей поэзии деревенских работ, не показал, как несоместны жизненные, душевные уклады людей труда и людей наживы. Прасол Хлюстик в шутку обещает маленькому герою подарить свой безмен: «Безмен, тетка, — вещь важнейшая. С ним умные люди большие капиталы наживают. Я из тебя такого прасола сделаю, что закачаешься». — «Нет, нам такое дело не подходит, — серьезно говорит отец и кладет мне на плечо свою большую ласковую руку». Расходятся пути у людей деревни. И внутри ее такого привычного, такого, казалось бы, устойчивого бытия обнаруживаются глубинные сдвиги.

Приближение Октябрьской революции ощущается в лирической повести поэта во всем — в самой изменившейся атмосфере деревенской жизни, в напряженности и остроте человеческих взаимоотношений. Рутинность повседневности не может уже скрыть этих изменений. Художник, обнажая корни исторических событий, ищет их первооснову в самой гуще обыденного. Человек-труже-

ник, в котором раскрылась богатая, многогранная личность, не может оставаться в угнетении. Так кончается обыденность и начинается поэзия самой реальности. Люди, которых нарисовал в своей повести Николай Рыленков, мужественно войдут в революцию, чтобы ее победоносно свершить.

Л. СКОРИНО.

★

## ПОВЕСТЬ О ЛЮБВИ

Константин Воробьев. Крик. Маленькая повесть. «Нева», № 7, 1962.

Эта маленькая повесть почти вся написана с той суровой и вместе с тем щемяще-горькой интонацией, которая сразу же придает четкую реалистическую окраску короткой истории фронтовой любви.

Историю любви младшего лейтенанта Воронова и деревенской девушки Маринки, любви, вспыхнувшей как бы случайно в прифронтовой деревне тяжелейшего сорок первого года, трудно пересказать, как всегда трудно передать историю чужой любви, тем более «фронтовой», тем более скоротечной. Маленькую повесть Воробьева следует прочитать, чтобы почувствовать ее свежесть.

Рассказ двадцатилетнего лейтенанта — повесть написана от первого лица — откровенен и юношески чист. В нем — непроходящая боль утраты, живая «память сердца» о мимолетном счастье, которое было, могло быть, но которое оборвалось зимой сорок первого года в боях под Москвой.

Как нельзя представить себе землю без запаха травы, без дождевых капель на листьях, без голосов птиц, летних гроз, бликов солнца в утреннем тумане, так нельзя представить жизнь без того, что дает, рождает саму жизнь, без самого высокого и самого земного чувства — любви. И ни катастрофы, ни колючая проволока, ни пулеметные очереди, ни тошнотворный запах пепла над горящими деревнями — ничто не может остановить это чувство, как нельзя остановить жизни.

Может быть, поэтому писатели всех времен обращались и будут обращаться к «любимым историям», а молодые люди (и не только молодые) будут проверяться на randevu, и на этих randevu будут решаться социальные проблемы, испытываться нравственное здоровье общества.

Вот почему повесть К. Воробьева — это

не просто еще одна история фронтовой любви, но вместе с тем маленькая главка в той большой книге, которую мы все сообщаем пишем о нашем времени, о войне.

Это еще одна краска, еще один ракурс, еще один взгляд на минувшее, не похожий на взгляд авторов уже известных нам книг.

У К. Воробьева — свои герои (особенно трогательна и достоверна Маринка), свой сюжет, свой ритм, своя четкая, сжатая фраза. Это трудно показать, но вот — наугад — отрывок, относящийся к самому началу любви кладовщицы Маринки и Воронова, он, возможно, даст почувствовать манеру автора:

«— Я вас провожу, хорошо?»

— Так я же не одна хожу, — песенно, как в первый раз, сказала кладовщица, пряча почему-то руку за спину.

— А с кем? — спросил я.

— С фонарем.

Я не хотел, чтобы она шла с фонарем. Он был лишний, как Васюков, и я сказал:

— С фонарем теперь нельзя. Село на военном положении...»

Читая Воробьева, я невольно вспомнил превосходный, удивительно лаконичный рассказ В. Богомолова «Первая любовь», напечатанный года три назад в «Литературной газете».

Новелла Богомолова как бы рассказана вполголоса и вся пронизана тоской о погибшей любимой женщине; повесть же Воробьева — это сдавленный горем крик, обращенный к людям, крик молодости, не желающей отдавать свое счастье смерти. Обе вещи написаны от первого лица, и, видимо, авторы — люди одного поколения. Может быть, случайное совпадение? Может быть, тема незавершенной любви перекочевала из одного рассказа в другой?

Нет, и Богомолов и Воробьев пишут о том, о чем не могут не написать,— о судьбе своего поколения, о молодости, которая началась на войне в наступлении, в окопе, о потерях, которые невозможны, о душевных ранах, не залечиваемых и двумя десятками лет. Вероятно, поэтому в наших лучших книгах о войне есть и боль, и трагизм, и кровь, и смерть. И рядом с этим — неутолимая жажда жизни.

В повести «Крик» очень подкупает именно эта юная жажда жизни, чистота, цельность восприятия — основные черты поколения, о котором пишет автор.

На мой взгляд, главная удача К. Воробьева — его умение точно передать ощущения своих героев, умение внушить читателю веру в их любовь в трагической обстановке военного времени. И в этом сила повести.

Вместе с тем при строгом подходе к прозе Воробьева — а он как писатель не нуждается в скидках — отчетливо видно несколько существенных просчетов.

Беллетристичность (я называю так «легкие» сюжетные «ходы») порой разрушает неторопливую и реалистическую манеру письма, снижает найденную пронзительно-шемящую ноту, с которой вещь начата; иногда отсутствие мотивировок рождает ощущение заданности, вообще-то чужеродной стилию Воробьева.

Колоритно и свежо задуман образ помкомвзвода. Васюков — солдат с опытом, эдакий фронтовой проныра и доставала. Васюков вызывает любопытство. Писатель хорошо видит его, слышит его голос, великолепно показывает ревность Васюкова — грубоватую ревность солдата к более удачливому лейтенанту. Далее возникает ссора между Вороновым и помкомвзвода. Кажется бы, ссора по мере сближения Воронова и Марины должна была углубляться. Однако писатель чрезвычайно поспешно примиряет их, а происходит это после того, как Васюков сбил самолет и Воронов вынес ему перед строем благодарность.

Что же, могло быть и так — война и разединяла и быстро мирила людей. Но если примирение должно было состояться, то Васюков должен был в нем проявиться какой-то новой, совершенно неожиданной стороной. Слишком торопливым, «беллетристичным» примирением писатель ломает и упрощает образ Васюкова, слишком рано открывает «тайну» его характера. И сразу

первоначальный интерес к образу пропадает.

А ведь решение этой коллизии могло быть весьма сильным, предельно эмоциональным — хотя бы в тот момент, когда Васюков и Воронов видят смерть Марины и Васюков нелепыми фразами пытается утешить младшего лейтенанта. И это решение было бы самым человечным. Оно врезалось бы в память. Тогда возник бы разящий до ослепления, до слез свет контраста — жизни и смерти.

То, что я сказал о помкомвзвода Васюкове, в равной мере относится и к характеру командира отделения Крылова. Он появляется в повести два раза, но несет серьезную мысль вещи. Мы слышим и видим его ночью в хате, когда он проверяет «документик» у вернувшегося из заключения хозяина. И видим вторично — в самые напряженные минуты: Воронов набирает добровольцев в разведку боем, но Крылов не идет вместе с другими. Как нельзя, думаю мне, показывать в книгах о войне смерть без психологической «подготовки», без философской нагрузки, сопутствующей гибели героя, так и нельзя уходить от тонких мотивировок проявлений трусости, смелости, предательства и т. д. Иначе возникает удручающая иллюстративность, прямолинейная констатация факта, далекая от художественного обоснования поступка.

Я бы не останавливался на этих просчетах писателя, если бы просчеты не были «одного ряда», если бы одна из центральных сцен — гибель главной героини Маринки — не страдала бы той же литературной необоснованностью.

Как же оборвалась так ярко и чисто вспыхнувшая любовь Воронова?

Воронов получил приказ: прощупать огневые точки противника разведкой боем. И в ту минуту, когда группа солдат под его командой двинулась к околице деревни, младший лейтенант услышал Маринкин голос. «Я оглянулся и в слитно мелькнувшей передо мной панораме села увидел на пригорке взрыв и в нем летящую Маринку...»

На войне было столько невероятных и неожиданных смертей, что сцена эта может показаться и правдивой и даже как будто виденной когда-то. Но литература выбирает самый точный, самый убеждающий случай. Только тогда создается впечатление: было именно так, а не иначе.

Здесь же писатель ничем не подготовил эту «случайную смерть» — и сейчас же всплывает множество вопросов: «Как? Зачем? Почему?» — но эти вопросы не несут в себе груз раздумий о жизни и смерти, о любви на войне. Вас лишь раздражающе мучают вопросы чисто «технические» и бытовые: «Случайная мина? Почему именно эта мина убила Маринку? И почему это произошло в те секунды, когда Воронов шел в разведку? Что, Маринка пришла его проводить? Откуда она появилась?»

Писатель не сумел найти ту единственную правдивую точку в конце повести, то завер-

шение судьбы Воронова и Маринки, которое должно было подчеркнуть высоко трагическую атмосферу вещи, и этот досадный просчет снижает художественность «Крика».

К. Воробьев талантлив. Я говорю об этом не потому, что хочу смягчить впечатление от всегда неприятных упреков. Это серьезно обещающий писатель, уже заставивший следить за собой после первой книги рассказов. И с К. Воробьевым надо говорить как с серьезным писателем — без обидной снисходительности к недостаткам.

Ю. БОНДАРЕВ.

★

## ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ

Леонид Завальнюк. На полустанке. Повесть о детстве. Благовещенск. 1961. 118 стр.

Человек вспоминает обычно о своем детстве с любовью. Даже если оно было трудным. И когда человек пишет о детстве — значит он хочет передать другим хотя бы частицу своей любви к дорогому для него времени и к близким ему людям.

Запомнились мне герои повести дальневосточного поэта Леонида Завальнюка «На полустанке», понравилась простота рассказа, его юмор и лиричность.

Прежде всего хочется сказать о Сашке. Ему уже двенадцать лет, как и его другу, от имени которого ведется рассказ. «Сашка — человек рыжий и потому горячий». То, что он горячий, так же очевидно, как и то, что он рыжий. Человек смелый, он всегда находит себе серьезное дело, нередко превышающее пределы его личных возможностей.

У начальника сына Петьки есть игрушечная самоходная лодка синего цвета, очень красивая. Ребята смотрят на нее сперва как на чудо. Но потом Сашка своими руками делает лодку гораздо лучше Петькиной.

Нужно помочь другу, которому трудно живется вместе с большим, старым дедом, — Сашка идет на базар и продает рыбу. Продает с большой выручкой и делает это артистически, с бойкой рекламой товара, с шутками и прибаутками. Действует он как прирожденный коммерсант, хотя ни до, ни после этого не имел и не будет иметь никаких дел с базаром.

Рядом с поселком — небольшое озеро,

чапрак — «рыбная лужица». Но рыба в нем «вонит»: в чапрак сливают креозот из шпалопрпиточного завода. Чтоб рыба не «вонила», выход один — заткнуть креозотную трубу. И Сашка упорно, в поте лица трудится над этим до тех пор, пока в дело не вмешиваются взрослые.

Не признающая никаких компромиссов и подачек стойкость — у него в крови. Когда отец женится на базарной спекулянтке тете Паше, Сашка уходит из дому. Уходит, несмотря на то, что она его всячески задабривает, и несмотря на то, что сам он дружит с ее дочерью Ольгой. Вернувшись же домой, он не дает мачехе житья — и та вынуждена оставить свое ремесло и устроиться на завод.

Сашкиной пронизательности можно позавидовать. Петька, например, пишет неплохие стихи:

Я к вам пишу, чего же боле?  
Что я могу еще сказать?  
Теперь, конечно, в вашей воле  
Меня презреньем наказать.

У Сашки тут мнение свое:

— А поэт из него все равно не получится. Это уж как штык. Больно толст. Никаких на нем чувств, одно сало.

Ольга Островерхова, хотя и намного младше своих друзей — ей всего девять лет, — ведет себя так, как этого требует настоящая дружба. В трудную минуту ее приютили в Петькином доме. В этом доме всего, как гозорят ребята, «дополна», здесь

поят сладким чаем и кормят вкусным жарким. Но за все за это Петькина мама поставила одно условие -- чтоб Ольга не зналась больше со своими друзьями. На это Ольга не соглашается и уходит из сытого дома безо всяких колебаний.

С самого начала проникаешься добрыми чувствами к деду Семену Саввичу. Все деды, так же как и все бабки, бывают или хорошими, или же плохими. Семен Саввич — хороший дед. Ничего сверхобычного он не делает. Тихо и мужественно доживает он свои последние дни. Чувствуя свою близкую смерть, он глубоко тревожится, хотя ничем не выдает своей тревоги, за судьбу своего внука-сироты. Из самых последних сил он старается, чтоб в доме был порядок и чтобы внук не знал голода. Открыто и даже грубовато дает он ему свои простые, мудрые советы.

Интересно показан базарный торгаш Костя, который сначала появляется в повести, чтобы отобрать у ребят рыбу. Через три года они встречаются его на строительстве завода, где он работает трактористом. Сколько их, вот таких парней в полувоенной одежде, можно было увидеть в сорок шестом году на рынках, толкучках и барахолках. Никакая милиция не смогла бы их «перевоспитать». Само государство своими бесчисленными большими и малыми стройками, как магнитом, вытянуло их из этой грязи и направило на прямую, честную дорогу.

Немало еще хороших интересных людей можно встретить на страницах этой книги.

Но, пожалуй, повесть не стоило бы писать только ради того, чтобы показать: вот как и вот чем дорого мне мое детство. Стержень всего произведения служит здесь простая, но большая и важная мысль. Мысль о том, что каждый человек, как бы ему ни было трудно, должен найти свое место в жизни. Речь идет не о хорошей профессии. Хороших профессий бесчисленное множество. Главное в том, чтобы среди них найти такую, которая бы стала делом всей твоей жизни. Которая заставляла бы отдавать ей все физические и душевные силы и возвращала бы снова тебе эти силы сторицей. Только такой человек может быть по-настоящему счастлив и приносить максимальную пользу людям.

И опять здесь можно позавидовать Сашке. Его призвание определилось сразу же прочно и окончательно: техника. И хотя его

на этом пути с самого начала ждут не только победы, но и поражения, он и не думает сворачивать. Сперва он спускает на воду кораблики из коры. Потом делает самоходную лодку собственной конструкции. А под конец Сашка строит настоящую четырехместную лодку на карбидной тяге. Строит одержимо, нещадно эксплуатируя всех, кого можно, и бесцеремонно выгоняя из своего сарая тех, кто приходит поглазеть просто так. Это уже не пустое мальчишеское увлечение. И не зря с уважением говорит о Сашке Семен Саввич. Не случайно все свободное время пропадают в его мастерской пионервожатый Кузьма Сергеевич и тракторист Костя. Пусть дело кончилось непредвиденной катастрофой — взрывом, — Сашка теперь уже ни за что не остановится. И завод, куда непременно пойдет он работать, станет его родной стихией.

Сложнее в этом отношении обстоит дело у героя, от имени которого ведется повествование. Помогает он Сашке строить лодку. Но без особого интереса. Появилась ему пьеса, которую готовит пионерский драмкружок. Но не настолько, чтоб загореться и стать энтузиастом ее постановки. Занимается наконец он рисованием: на оборточный лист по клеткам переносит Ивана-царевича с царевной-лягушкой. Заказы на его продукцию сыплются со всех сторон. Когда лягушки заказчикам надоели, он переключается на всадников. «Лошадь я копировал из книжки «Сап излечим» и сажал на нее все того же хрестоматийного Ивана». Как всегда бывает в таких случаях, окружающие с уверенностью пророчат ему будущность художника. Не уверен в этом только сам художник.

А время идет. И он все отчетливее понимает, что рисование — это совсем не то. Он хочет приложить свои силы к какому-нибудь большому, хорошему делу. Но где, как и когда?.. И, не находя ответа, по-прежнему занимается искусством. Вот уже Сашка говорит, что он вовсе не художник. А его дед Семен Саввич все притирчивей глядит на его труды и все чаще задумывается о своем внуке: не тем он занимается. Вот что он говорит, провожая его в Ростов:

— Повидай город как следует, а нуно: всего людей повидай!.. Эх, брат ты мой, годов эдак через десять что будет!.. Главная штука, народ нарождается. Лобастая братия!.. Взять хотя твоего Кузьму. Я, брат, до смысла к старости только дошел. А он,



возьми его за руль за двадцать, бороды не завел, а смысл уже имеет... Вот я и говорю, очень даже дуракам непочет станет. Ой, непочет! Так что ты зря в дураки наметился... Вот влезешь ты с большого ума не в свои сани, вот я на тебя погляжу... А может, и не влезешь. Дай-то бог, чтоб не влез!

А в своем прощальном письме внуку дед пишет: «Одно только прошу и наказываю — не поддайся в художество. Нет у тебя на это глаза и руки нет. Иди-ка ты лучше по железу...»

Многое начинает понимать заново внук благодаря своему деду.

Вместе со своим другом Саншкой он едет в Ростов поступать в ремесленное. Там они встретят добрых людей и найдут настоящее дело. Они уже успели узнать, что жизнь — нелегкая, но интересная штука.

Нелегкая она еще и потому, что попадают в ней не только друзья. Взять хотя бы Петьку, который с самого начала делает пакости, какие только может. Это маленький слетник, трус и ябеда. Во второй части повести он перестает быть толстяком, но не перестает быть негодяем. Решающую лепту в это дело вкладывает его мамаша Мария Трофимовна, человек бурных переживаний и мешанских принципов.

Появился у этих парнишек еще один недруг. Рыбу он у них не отбирает, в их лодку камнями не кидает, с дедом из-за них не скандалит — по той причине, что появился

он не в повести, а на страницах «Амурской правды». Свою рецензию Н. Кукин озаглавил: «Замысел, не получивший воплощения».

«Закрывая книгу, невольно задумываешься над познавательной и воспитательной ценностью повести. С сожалением приходится констатировать, что недостатки в ней, безусловно, преобладают», — пишет Н. Кукин. Да и как им не превалять, если действие происходит во время каникул, следовательно, «герой оказывается в отрыве от школы, от коллектива, который должен был оказывать решающее влияние на его развитие... едва ли в книге можно увидеть целеустремленное, осознанное развитие героя». Его отъезд в Ростов «не логичен», поступление в ремесленное училище «не мотивировано». Если же взять Сашку, то «его поступление в училище закономерно. Но, говоря о нем, едва ли можно избежать слова «индивидуализм». А ведь Сашка наш, советский школьник послевоенного времени». «Речь персонажей повести лишена индивидуальности». «Нередки случайные элементы в языке героев». «Чувствуется, что у автора недостаточно жизненного опыта».

Вся обойма штампованных обвинений выпущена без остатка. Остается только одно — без предубеждения прочесть повесть Леонида Завальнюка и действительно задуматься над ее «познавательной и воспитательной ценностью».

**В. СЕРГЕЕВ.**

★

## ЕЩЕ РАЗ О КНИГЕ А. МЕТЧЕНКО «ТВОРЧЕСТВО МАЯКОВСКОГО»

На мою рецензию «Материал и исследование», посвященную книге «Творчество Маяковского 1925—1930 гг.» («Новый мир», № 2, 1962), автор этой монографии А. Метченко ответил специальным письмом «Хочу нарушить традицию...» в «Литературной газете» от 30 июня 1962 года. Затем А. Метченко решил еще раз «нарушить традицию»: он выступил в клубе журнала «Октябрь» на дискуссии «Традиции Маяковского и современная поэзия» с речью «Как мы понимаем наследие Маяковского» («Октябрь», № 7, 1962). Правда, здесь он уже не прибегал к извиняющимся оговоркам: «Рецензентам, как правило, не возражают... Я... не сразу решился нарушить это правило» и т. п., а говорил вообще о каких-

го безымянных «критиках из «Нового мира», возмущался тем, что «продельвают с Маяковским в критическом отделе «Нового мира». И так как за последнее время в отделе критики этого журнала моя рецензия была единственным выступлением, связанным с проблемами творчества Маяковского, так как некоторые обвинения, предъявляемые «критикам из «Нового мира», совпадают с основными полжениями письма «Хочу нарушить традицию...», — нет сомнения, что, прибегнув к весьма широкому определению «критический отдел «Нового мира», А. Метченко имел в виду все ту же рецензию Л. Лазарева «Материал и исследование».

Нет ничего странного в том, что А. Метченко и я по-разному оцениваем книгу «Творчество Маяковского». Он автор, и естественно, что ему его книга нравится. Он, по-видимому, даже считает ее безупречной, так как не принял ни одного из высказанных критических замечаний. В моей же рецензии отмечались не только достоинства этой работы, но и весьма серьезные слабости — ну, конечно, А. Метченко досадно, он раздражен. Это можно понять.

Но раздражение и досада, как известно, — плохие советчики, доверяться им нельзя. Вот и А. Метченко, заявив в начале письма, что «Л. Лазарева нельзя упрекнуть в огульном отрицании сделанного мною», заканчивает его обвинениями в необъективности и недоброжелательности, не замечая, что концы не совсем сходятся с концами. Но не станем обращать внимания на такого рода несообразности. Посмотрим лучше, чего стоят упреки А. Метченко в необъективности, в «передержках и произвольных толкованиях».

«Л. Лазарев утверждает, будто я вижу источник новаторства Маяковского не в изучении жизни, а всего-навсего во внимательном чтении газет, свожу первооткрывательство поэта к отклику на злобу дня, к иллюстрации общезвестных положений», — пишет А. Метченко, и это его главная претензия к рецензенту: здесь, мол, Л. Лазарев попирает истину, приписывая ему бог весть что.

Но позвольте, ведь это не Л. Лазарев, а А. Метченко в своей книге пишет о Маяковском, что лишь «к середине двадцатых годов газета как главный источник знакомства с жизнью уступает место непосредственным наблюдениям».

Значение печатных источников для творчества Маяковского в книге А. Метченко сильно преувеличено. Разумеется, чаще всего выводы вполне «обтекаемы»: Маяковский «не отказывался использовать в своих стихах и материал, почерпнутый из газеты», он «порой» писал «по материалам газеты» и т. д. и т. п. Но как только А. Метченко переходит к конкретному анализу, получается, что и во второй половине двадцатых годов изучение жизни поэтом носило «книжный» или «газетный» характер. И происходит это не раз, не два и даже не три...

В моей рецензии было приведено немало примеров того, как движимый самыми лучшими намерениями, исследователь то и дело

лишает великого поэта творческой самостоятельности, пристраивая его в «кильватер» разнообразных печатных источников. Но если их было недостаточно, я могу привести новые.

Вот еще два примера. взятые из главы, посвященной поэме «Хорошо!».

А. Метченко пишет:

«Заключительные, резюмирующие слова, выполняющие функцию коды, автор иногда целиком передает народу, например, в главе, предшествующей картине штурма. Это здесь, в концовке, звучит уверенный, насмешливый голос питерского рабочего:

Завтра, значит.  
Ну, не сдобровать им!  
Быть  
Керенскому  
биту и ободрану!  
Уж мы  
подыдем  
с царевой кровати  
эту  
самую  
Александр Фёдоровну».

И к этим строкам делается примечание: «Обыгрывание сходства имен Керенского и последней царицы действительно принад лежит народу. В 1924 году в «Журналисте» была опубликована статья Я. Шафира «Техника и психология остроты», в которой автор, анализируя различные виды острот, привел пример, как в 1917 году, в самый разгар керенщины, ему «пришлось на одном митинге слышать такую остроту: Александра Федоровна Керенский хочет вместе с кадетами... Последовал сильный хохот».

Но нужно ли это примечание для того, чтобы подтвердить «народный» характер остроты? По-моему, нет. А вот ощущение того, что острота навеяна статьей «Журналиста», появившейся за несколько лет до того, как было написано «Хорошо!», остается (тем более, повторяю, что такого рода мест в книге А. Метченко много — это один из методов его анализа).

В связи с эпизодом, в котором путиловец отбирает «ворованные часы», А. Метченко замечает:

«Конечно, поэт и сам мог «придумать» подобную сценку, но скорее всего она возникла под влиянием рассказа очевидца, возможно под влиянием эпизода, описанного Джоном Ридом. Правда, у Маяковского эпизод с часами выглядит иначе, но смысл его тот же».

Вдумаемся в то, что здесь сказано. Значит, несмотря на то, что эту историю мог рассказать поэту очевидец, несмотря на то, что у Маяковского этот эпизод выглядит иначе, чем у Джона Рида, несмотря даже на то, что А. Метченко вполне допускает — «поэт и сам мог «придумать» подобную сценку», — критик все-таки склоняется к тому, что эпизод этот — результат «влияния». Вряд ли исследователь хотел «обидеть» Маяковского... Не хотел, но после подобного рода «разборов» новаторство поэта выглядит вовсе не таким уж «новым». Но почему же это делается?..

В письме «Хочу нарушить традицию...» А. Метченко пытается все это объяснить... особенностями литературоведения. «Нельзя забывать о специфике историко-литературного исследования, — пишет он. — Чтобы показать связь поэта с «текущим политическим днем», с «корнями жизни», исследователь, естественно, должен обращаться, кроме произведений поэта, к самым различным материалам эпохи: газетам, журналам, письмам, мемуарам, литературе, критике и т. д. Только воссоздав атмосферу эпохи, поняв закономерности литературного процесса, можно показать и то действительно новое, неповторимо своеобразное, что несет поэт».

Но разве А. Метченко кто-нибудь упрекал за то, что он опирается на обширный историко-литературный материал, — это, бесспорно, достоинство его работы, о котором довольно пространно говорилось в рецензии «Материал и исследование»? Беда в другом — в том, как исследователь распорядился этим материалом. И не страшный ли это вообще способ показывать «новое, неповторимо своеобразное, что несет поэт», стараясь во что бы то ни стало и большей частью без малейших на то оснований доказывать, что те или иные эпизоды, образы, мысли почерпнуты Маяковским из различных печатных источников? Нет, «специфика историко-литературного исследования» здесь явно ни при чем.

Недостаток работы А. Метченко, о котором шла речь, вызван слабостью эстетического анализа, стремлением автора — пусть и не преднамеренным — оценивать творчество Маяковского, исходя из критериев иллюстративной эстетики, — Маяковского, который считал, что только «неизвестное» — сфера поэзии. Вот почему А. Метченко убеж-

ден, что, обнаружив какие-то «совпадения» в стихах Маяковского и книгах или статьях той же поры, он устанавливает «связь поэта с «текущим политическим днем», с «корнями жизни». Вот почему он не старается раскрыть поэтическую мысль во всем ее богатстве и сложности, а ищет в стихах воплощения известных идей и положений. Так умаляется значение того, что делал в поэзии Маяковский.

В рецензии я на многих примерах показывал, как мешает А. Метченко поэтическая «глухота», как часто он, отыскивая в стихах «оценки», «высказывания» по тем или иным вопросам, точные или не точные «формулировки», неверно истолковывает мысль поэта, как эстетический анализ подменяется «общими местами» (вроде того, что Маяковский добивается эффекта «предельно лаконичными» или «экономными средствами», или, как выражается А. Метченко, «при помощи отдельных, умело выхваченных признаков»), невразумительными наукообразными рассуждениями, которые никак не могут служить ключом к образному миру поэта. Но если и этих примеров было недостаточно, что ж, я готов приводить новые и новые...

Вот одно из наблюдений А. Метченко, касающееся «Бани»:

«Иван Иванович — бюрократ, «оседлавший технику». Правда, техника, которой он пользуется и перед которой благоговест, — это всего-навсего телефон. Маяковский едва ли не первый из поэтов ввел телефон в сферу самых высоких и глубоких человеческих переживаний. В поэме «Про это» на разговоре по телефону держится весь драматизм сюжета. Так почему же в своей последней пьесе он так зло и остроумно высмеял «телефономанию» Ивана Ивановича? Все потому же, почему в фельетоне «Без руля и без ветрил» он взял под обстрел радиовещание, в киносценарии «Сердце кино» и ряде стихотворений говорил об огромном вреде, который принесут многие кинокартины. А ведь он любил радио и кино!»

В общем, телефон не имеет оснований обижаться на Маяковского. Тема «телефона» в творчестве Маяковского исследована А. Метченко с исчерпывающей полнотой и тщательностью: сопоставлена роль телефона в «Про это» и «Бане», выяснено, что Маяковский «ввел телефон в сферу самых высоких и глубоких человеческих

переживаний». Это ясно. Не ясно только, для чего вся эта «ученость»?

Но это, так сказать, «отдельные» наблюдения. А теперь рассмотрим, как произведение анализируется «в целом». Причем я намеренно беру анализ сравнительно «благополучный», где А. Метченко счастливо избежал «телефонных» тем и тому подобных казусов. Ну хотя бы анализ «Стихов о советском паспорте», одной из самых великолепных вещей Маяковского, произведения, о котором А. Метченко совершенно справедливо говорит, что оно было «художественным открытием».

Критик пишет о том, что в этом стихотворении отразилось «могущество страны социализма», что это могущество «поэт видит не только в сочувствии друзей, но и в бессильной ярости врагов». Все это верно, но, для того чтобы выразить эти мысли, не обязательно быть поэтом. Но вот А. Метченко приступает к анализу собственно поэтического строя стихотворения, стараясь показать, как «паспорт превращается в поэтический символ социалистического отечества». А. Метченко открывает здесь некую важную особенность стиля поэта: «Непримиримый враг поэзии недомолвок, намеков, Маяковский любил начинать произведение точной формулировкой темы». Но так как «старая тема патриотизма по-новому волида в поэзию», на этот раз поэт отказался от «точной формулировки темы»: первая строфа, замечает А. Метченко, строится по типу «загадки».

Вот и найден ключ к образному строю стихотворения: «Предмет разговора выделен резкой антитезой, многозначительной паузой, но не назван... Что же это за такая необыкновенная «бумажка»? В следующей строфе ореол «загадочности» сохраняется. Вместо прямого обозначения поэт пользуется перифразом, называя его метонимически «пурпурной книжицей».

Оказывается, все очень просто, и в дальнейшем советский паспорт, став образом, «с каждой новой строфой делается объемнее, содержательнее, действеннее». После этого критик еще раз подчеркивает значение того, как построено начало стихотворения: «Маяковский снова возвращается к первой, «загадочной» строфе, продолжая прерванную фразу и выделяя этим своеобразным повтором, как курсивом, главную мысль стихотворения, выраженную в кон-

цовке». Вот и все. Можно лишь добавить, что А. Метченко отмечает, что «книжица» в глазах жандарма превращается «в нечто огромное, чудовищное, страшное», что, описывая состояние этого чиновника, «поэт, обычно очень лаконичный, не скупится на сравнения» и что этим состоянием «убедительно мотивировано употребление неологизмов, гиперболический характер которых» гармонирует со всей картиной.

Итак, в чем же содержание «художественного открытия», которым были «Стихи о советском паспорте»? В том, что Маяковский, «непримиримый враг поэзии недомолвок, намеков», по-новому раскрыл «старую тему патриотизма», используя прием «загадки».

Дело не просто в том, что этот анализ беспомощен. Куда хуже, что такого рода «разборы», мягко говоря, не способствуют популярности ни поэзии, ни литературоведения и, главное, ничего не дают для понимания Маяковского — скорее мешают.

Я старался точно и полно воспроизвести анализ «Стихов о советском паспорте», хотя понимал, что спорить с А. Метченко трудно. Приведешь множество примеров — он обвинит: цитаты «вырваны»; скажешь, что эстетический анализ плох, в ответ тотчас же услышишь — «гримировка Маяковского пол эстета»; критикуешь слабости его, А. Метченко, книги — значит, умаляешь Маяковского. Но об этом стоит поговорить подробнее — и о том, кто умаляет Маяковского, и о такого рода методах полемики. И не придется ли еще защищать Маяковского от некоторых его рьяных «защитников»?

«...Я и мой рецензент, — сказано в письме «Хочу нарушить традицию...», — подходим к творчеству Маяковского и литературному процессу 20-х годов во многом по-разному». Эта фраза повисала в воздухе. Лишь после выступления А. Метченко на дискуссии «Традиции Маяковского и современная поэзия» многое прояснилось. Вот что он говорил: «Посмотрите, что проделывают с Маяковским в критическом отделе «Нового мира». Там делают вид, что борются за творческую индивидуальность, но даже Маяковскому отказывают в праве быть самим собой — злободневным поэтом-публицистом, «газетчиком», хотя сам Маяковский гордился всем этим. Казалось бы, надо задуматься над тем, как претворялась под его пером «злота дня» в бессмертные шедевры искус-

ства. Так нет же, даже упоминание о том, что Маяковский дорожил своей работой в газете, что эта работа расценивалась им как один из путей обновления поэзии, шокирует критиков из «Нового мира».

Не станем требовать от А. Метченко каких-нибудь доказательств того, что «Маяковскому отказывают в праве быть самим собой — злободневным поэтом-публицистом, «газетчиком» (хотя эта характеристика творчества поэта узка и одностороння, и в другом месте своего выступления А. Метченко сам говорит об этом). Нет и не может быть у А. Метченко доказательств — он, видно, путает свою монографию и творчество Маяковского, — потому что я выступал и выступаю против плоской, обедненной интерпретации поэзии великого поэта революции, которая содержится в книге «Творчество Маяковского», против того, что автор ее лишает Маяковского творческой самостоятельности, сводя первооткрывательство новой жизни, новых людей, новых духовных ценностей и человеческих отношений к рифмованному пересказу или стихотворной иллюстрации общеизвестных положений, заимствованных из различных печатных источников. Я вовсе не хочу сказать и не говорил, что А. Метченко делает это намеренно или с каким-то умыслом. Просто те методы литературоведческого исследования, которыми он пользуется, неумелый эстетический анализ, неизбежно обедняющий поэзию, приводят к подобному истолкованию наследия Маяковского.

Так кто же все-таки «умалывает» Маяковского? Уж, конечно, не те, кто хочет, чтобы со страниц литературоведческих работ вставал Маяковский «живой, а не мумия», кто требует, чтобы эти работы помогали читателю понять все богатство, сложность и величие сделанного Маяковским, чтобы в них не исчезало обаяние и мощь его партийных книжек.

А так как А. Метченко, анализируя творчество Маяковского, не удается показать подлинное величие поэта, он вольно или невольно уменьшает фигуры тех, кто вместе с Маяковским создавал литературу социалистического реализма.

А. Метченко описывает, как «патриотическая тема разрабатывалась» в советской литературе до появления «Хорошо!»:

«Уже тогда для этих писателей было ясно, что советский патриотизм неотделим

от интернационализма. Пафосом интернационального единства трудящихся всего мира проникнуты такие разные, в разное время написанные произведения, как «Мистерия-буфф» и «150 000 000» Маяковского, «Двенадцать» и «Скифы» А. Блока, «Сами» Н. Тихонова, «Поэтам Грузии» С. Есенина, «Гренада» М. Светлова, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Падение Даира» А. Малышкина. Но все это были лишь подступы к разработке средствами искусства одной из величайших тем».

Не буду говорить о том, что здесь устроена «куча мала» из самых разных писателей и произведений, часть из которых имеют самое отдаленное отношение к исследуемой проблеме. Но почему произведения, многие из которых стали классикой нашей литературы и не утратили поныне живой поэтической силы, — это «лишь подступы» к чему-то? Неужели нельзя показать значительность поэмы «Хорошо!», не прибегая к таким неправомерным противопоставлениям?

А. Метченко идет в бой против «господствующей в ряде статей схемы», по которой «Горький всегда в разработке любой темы идет впереди, Маяковский же и другие писатели являются лишь продолжателями начинаний родоначальника советской литературы». Но что утверждает сам А. Метченко?

По его словам, Горький «обогащался», общаясь с молодыми писателями, «он нуждался в таком общении». Маяковский же «давал классически четкое выражение идеям, которые зрели в недрах молодой литературы», он «шел впереди» этой литературы. «Естественно, что ряд плодотворнейших суждений, вошедших в эстетику социалистического реализма, Маяковский высказал в ряде случаев раньше и, как правило, независимо от Горького». Стало быть, Горький учился у Маяковского. А Маяковский?.. Разве так надо показывать величие поэта?

В заключение я хочу остановиться лишь на одном вопросе — о самокритике в литературоведении, без которой нельзя избавиться от переживших себя взглядов и представлений.

В своем письме А. Метченко пишет, что я не поставил в известность читателей, как часто автор книги «Творчество Маяковского» «присоединяется к суждениям

А. В. Луначарского». Но я писал о том, что А. Метченко следовало бы предупредить читателей, которые воспринимают его книгу «Творчество Маяковского 1917—1924 гг.», изданную в 1954 году, и настоящую работу как единое целое (об этом, кстати, говорится и в издательской рекомендации, которой открывается второй том), что многое в первом томе ошибочно, устарело. Как на один из примеров я указывал на главку из первого тома, посвященную Луначарскому, где преобладали «проработанные» интонации, и на те места из новой работы, где о Луначарском уже говорится по-иному. Но коснуться первого тома монографии А. Метченко меня заставляет не только то, что он совершенно отвергает критику, занимая позицию человека, который всегда и во всем был непогрешим и прав — и когда третировал Луначарского и когда «присоединился» к его суждениям, — это нужно сделать еще и потому, что «рудименты» отживающих взглядов дают себя знать и в новой работе.

В первом томе автор отдал немалую дань догматическим представлениям, многие оценки и характеристики явлений искусства, писателей и произведений там неверны. В. Мейерхольд характеризовался, например, как «злейший враг реалистического искусства». Само собой разумеется, такого рода характеристики, когда дело касается людей, объявленных в свое время без оснований «врагами народа», никто не ставит в вину лично А. Метченко или кому-нибудь другому. Но иногда он разрешал себе столь «вольное» обращение с фактами, в котором, по моему, не было даже в ту пору никакой необходимости. Так, в 1954 году он писал: «Не случайно все спектакли, поставленные им (В. Мейерхольдом. — Л. Л.), вызывали глубокое возмущение в рабочей среде». А в последней книге цитируется рецензия «Правды», в которой говорится, что «спектакль «Клоп» — несомненно, одна из лучших постановок этого года». Впрочем, и здесь концы не сведены с концами, потому что через несколько страниц после этой

цитаты А. Метченко пишет: «И все же Маяковскому не удалось добиться коренного перелома в работе театра над текстом его пьес. Его драматургические, художественные принципы столкнулись с принципами режиссера, от которых тот не собирався отступать. Были отдельные уступки, но для успеха пьес Маяковского этого было мало». Так все-таки был успех или не был? Вот к чему приводит боязнь самокритики — к уклончивости, к стремлению совместить несовместимое.

О поэзии Хлебникова в первом томе говорилось — «бездарные упражнения», «декадентский хлам». Оказывается, А. Метченко и в первой книге, нигде не оговорив, менял свои предыдущие оценки на прямо противоположные. Ведь было время, когда он совсем по-иному оценивал творчество Хлебникова. В работе «Ранний Маяковский» он писал, что Хлебников, «вырываясь из мертвой петли автономного искусства, формального трюкачества, создавал выдающиеся произведения, никакого отношения к футуризму не имеющие», что «Ночь перед Советами» и «Ладомир» «прочно вошли в историю русской литературы».

Я не собираюсь сейчас оспаривать ни ту, ни другую оценку. Я хочу сказать лишь о том, что нужно помнить о читателях — как им разобраться во всех этих «поворотах»? И о науке, которая без самокритики не может двигаться вперед.

Я вернулся вновь к монографии А. Метченко и решил ответить на его выступления, посвященные моей рецензии, не потому, что хочу с ним лично объясниться. Этот разговор мне кажется важным, во-первых, потому, что необходимо наконец разобраться, кто же на самом деле «умалывает» Маяковского, и еще потому, что некоторые слабости книги «Творчество Маяковского» не так уж «индивидуальны» и «самобытны». Они идут от вчерашнего дня нашего литературоведения, хотя живы и сегодня. И чем яснее станет нам их природа, тем быстрее мы от них избавимся.

Л. ЛАЗАРЕВ.

## ВООБРАЖАЕМАЯ ЖИЗНЬ

Константин Финн. Дневник женщины. «Театр», № 7, 1962.

**П**редисловие. Нас редко балуют хорошими пьесами, и мы привыкаем к плохим.

Мы часто протестуем против художественной фальши. Но, протестуя, все-таки привыкаем.

Надо найти какой-нибудь способ вернуть нашему глазу и уху умение видеть разгневанно, слушать разгневанно, чтобы фальшь в искусстве являлась для нас непривычной. Не защищенная привычкой, она не посмеет являться на свет.

Заведомая ложь халтурщиков или пасквильентов намного отклоняется от привычного и сразу попадает под общий обстрел. Но как быть, если пьесу написал не халтурщик, а Константин Финн, известный драматург с трудной судьбой? Как быть, если его новая драма «Дневник женщины» причудливо чередует правду и ложь?

Тогда надо спуститься в микрорайоны пьесы, где гнездится неправда, и попытаться извлечь ее наружу. Это одинаково важно для всех — читателей, зрителей, критиков и самих драматургов.

Общее впечатление. Больше, сильные люди. В характерах чувствуется железо. То и дело они поступают слишком театрально, но все-таки читателю льстит, что они такие. Принимаешь это и на собственный счет — «вот мы какие большие!».

Строят гидростанцию. Зимой, по льду, перекрывают могучую быстротечную реку. Совершается что-то небывалое, технически грандиозное и рискованное.

Захватывает нагая прямота в людях, словах и поступках.

Константин Финн смело — а может быть, ловко, театрально — создает воображаемую жизнь из той, которая есть на самом деле. Он желает утвердить ее на сцене. Зачем? Затем, чтобы мы всякую минуту чувствовали бы себя как на трибуне.

Строили бы — на трибуне, любили — на трибуне, заседали — на трибуне, дружили — на трибуне, праздновали — на трибуне, побеждали горе — на трибуне.

А как в жизни? Просто сложнее или глубже? И хорошая это сложность или подозрительная? Как быть с жизнью? И как быть с пьесой? И нужно ли, чтобы изображение жизни в пьесе носило подарочный характер?

Елизавета Никандровна. Двенадцать лет назад ее бросил Порогов и женился на другой. Ей было очень трудно, больно. Но у них остался общий сын — Борис, и поэтому, а еще потому, что Порогов безусловно не мелкий, а очень крупный человек, Елизавета Никандровна все годы живет и работает рядом с ним, на одних и тех же гидростройках, под его началом.

Благодаря ее уму, выдержке, преданности между ними сохранилась большая дружба. Мы не знаем, какой она инженер, но, кажется, она совершенно необходима Порогову как друг, советчик, а в некоторых случаях и нынька — чтобы не сорвался. Это понимает и новая жена Порогова — Мария Васильевна.

Одинокая женщина — Елизавета Никандровна тщательно следит за собой, не опускается и втайне все еще любит Порогова. Поэтому она отказывает очень хорошему, честному, чистому и мужественному человеку, влюбленному в нее полковнику Фомину, который, кстати, не может понять Порогова и возмущается, что тот бросил Елизавету.

Буквально накануне осуществления нового, очень сложного и смелого инженерного замысла Порогова — перекрытия реки по льду — она получает письмо из Верхнегорска от неизвестной девушки Наташи Савельевой. Оказывается, Борис (сын) безответно любил эту девушку и решил пакостно отомстить ее избраннику Володе. Он подсыпал Володе такие материалы для журнальной статьи, которые, как выяснилось позднее, уже были опубликованы в печати. Теперь бедного юношу могут исключить из комсомола и института, а виноват во всем Борис.

Пронзенная острым чувством материнской боли, желая немедленно помочь неизвестной девушке Наташе, Елизавета Никандровна бросает в самые напряженные часы все дела на стройке и летит самолетом в Верхнегорск...

До сих пор мы думали, что встретили в пьесе умную, чуткую женщину с трудной судьбой, каких много на свете. Теперь она становится исключительной. Рядовой женщине солонее пришлось бы. Рядовой инженер Елизавета Никандровна Стрельникова — если б она никогда не была женой

Порогова — вряд ли получила бы разрешение уехать в такой ответственный момент на стройке. Тем более что письмо из Верхнегорска ползло двадцать шесть дней, и может быть, там все уже разобрали, а может быть, не скоро будут разбирать. На стройке же все неотложно. Ей, вероятно, сказали бы, что в Верхнегорске тоже не малые дети, а коммунисты и комсомольцы, сумеют во всем разобраться правильно, что туда можно написать или позвонить по телефону, а со временем — после штурма реки — и съездить. Мы, правда, не знаем, какую ценность для стройки представляет инженер Стрельникова. Но малый пост не облегчил бы ей отпуска, скорее наоборот.

Порогову Елизавета Никандровна ничего не говорит о поступке сына и о причине своего отъезда, чтобы не волновать его перед новым подвигом. В Верхнегорске она пытается заставить Бориса открыто признать свою вину перед комсомольцами. Он не соглашается. В это время приходят грустные известия, что на стройке, где начался штурм реки, лед дает трещины. Елизавета Никандровна снова заказывает самолет и, бросив сына, возвращается на стройку...

Нет ничего удивительного в том, что женщина рвется и мечется в тревоге между сыном, которого надо спасать, и стройкой, где ее ждет важнейшее дело и где к тому же работает любимый человек. Но чем, однако, она может помочь стройке?

Из рассказа шофера Саши, из беседы с инженером Лосем выясняется, что Елизавета Никандровна шутит на строительном участке. Она считает себя обязанной в решающие часы штурма подбодрить своим спокойствием и весельем отважного Порогова и всех вообще. Елизавета Никандровна шутит, и поэтому лед не дает больше трещин и перекрытие реки проходит нормально. Тогда она садится в самолет и снова улетает в Верхнегорск...

Ровно в шесть часов начинается заседание комсомольского комитета. Все, конечно, склонны исключить бедного Володю, хотя им его и жалко. Но ровно в шесть часов членов комсомольского комитета ожидает встреча с чудом: на пороге появляется Елизавета Никандровна. Она произносит речь против собственного сына и восстанавливает справедливость...

Боясь, что мы все еще не оценили всю эффективность сцены, Константин Финн зас-

тавляет председательствующего на собрании не понять, в чем дело, решить, что приехала мать Владимира и по естественному материнскому чувству пытается выгородить своего сына, свалив вину на чужого. Елизавета Никандровна скромно сообщает, чья она мать, и цена ее подвига вырастает.

Дальше начинаются награды. Конечно же, все юноши и девушки влюбились в нее за эту речь, они стоят перед гостиницей и долго смотрят в окно. Мария Васильевна — новая жена Порогова — целует ее и признается, что она все эти двенадцать лет знала, как Елизавета Никандровна и Порогов подходят «друг другу по росту» и как она сама мала по сравнению с ними.

А полковник Фомин уже тут как тут. Он случайно попал на место, но успел все узнать о подвиге на комсомольском собрании от восхищенных студентов. Остается решить судьбу Бориса. Фомин берет это на себя. Быстро показав юноше его полное ничтожество, словив с военной решительностью все попытки сопротивления, он увозит Бориса в свои леса — делать из него человека.

В последних эпизодах пьесы мы застаем Елизавету Никандровну уносящейся мечтою в те же леса. Двенадцать лет она верой и правдой служила Порогову и теперь уходит из его жизни. Сын пристроен, река перекрыта — последнее задание выполнено. Чего же еще? Она считает, что именно годами верной службы Порогову заработала право на личное счастье. Пусть он теперь идет в жизнь без ее твердой, ведущей руки.

Но это еще не все, что нам известно с Елизаветой Никандровне. Оказывается, в верхнегорской гостинице, в суматохе всяческих дел она успевала писать дневник. И дневник позабыла. Но он не пропал для истории. Его читает дежурная Глушкова, потому что слава Елизаветы Никандровны должна обойти землю. И вся пьеса, все, что мы видим на сцене, — дневник этой женщины. И в нем она созерцает себя умной, гордой, прекрасной.

Порогов. Откуда берется ощущение необыкновенной силы Порогова? Много ночей не спит. Так у него бывает всегда перед подвигом. Порогов собирается перекрывать реку зимой против мнения всех экспертов мира. При этом рискует всем: служебным положением, партийностью и даже былыми орденами. Это нам о нем



говорено. И неоднократно — чтобы мы хорошо запомнили.

Две женщины понимают свою любовь к Порогову как высший моральный долг служения чему-то прекрасному, и каждая из этих женщин сама — незаурядный человек. Мало того, личная преданность Порогову распространяется на тысячи людей. Его взаимоотношения с коллективом Мария Васильевна описывает так: «Они его обожают. Он на них орет. Они — верят в него, как в бога».

Личный шофер Матвея Антоновича — Саша — давно мечгал пересесть с легкой машины на МАЗ, чтобы принять участие в штурме реки. Какую-то роль в его замыслах играло желание стать героем, чтобы понравиться любимой девушке Тоне. Но, увидев, как Порогов огорчен и расстроен из-за истории с сыном, Саша меняет все свои планы. Не может он сейчас покинуть своего шефа и не может доверить его никому в таком состоянии. Преданность Саши так велика, что скажи ему кто-нибудь в эту минуту: «Пойди, Саша, умри за Порогова», он пойдет и умрет. И именно за эту личную преданность начальнику его впервые целует Тоня. Та самая Тоня, которая до сих пор была холодна к нему.

Что же так привлекает всех в Матвее Антоновиче Порогове? Прямота и принципиальность, доведенные до неистовости. Автор находит такую краску: у Порогова часто вспыхивает гнев, но не против людей, а только против принципов. И гаснет так же внезапно, как вспыхивает.

Не зная причин внезапного отъезда Елизаветы Никандровны, поверив, что она уезжает по личному делу, дезертирует, он немедленно назвал ее «дамой с сумочкой», зря полезшей в партлю. Ни годы былой совместной жизни, ни двенадцать лет дружбы в самых сложных обстоятельствах не остановили его. Прямота и принципиальность для него дороже всего.

Узнав истинные обстоятельства, он с такой же решительностью исправил свою ошибку. Матвей Антонович приказал подать себе личный самолет (есть у него такая возможность) и помчался в Верхнегорск, чтобы там сказать своей бывшей жене: «Прости, Лиза... Прости! Пока не скажешь, что прощаешь, я жить не смогу!»

Впрочем, Порогов почти не спрашивает о сыне. Елизавета Никандровна не сообщает ему подробностей, чтобы побе-

речь его. А он не спрашивает, чтобы побережь себя. Еще бы! Вспомните, что говорила Мария Васильевна: «Дрогни он, Матвей, и обязательно от страшной нагрузки треснет лед. А так, при тех же самых обстоятельствах и расчетах, может быть, все же и не треснет». В это свято верят Елизавета Никандровна, Мария Васильевна, Матвей Порогов и Константин Финн.

Столь важному лицу естественно оберегать себя от лишних неприятностей. Но в пьесе о нем сказаны еще какие-то странные слова: будто бы он по складу характера типичный партийный работник, комиссар дивизии и как брал Кенигсберг с криком: «Вперед, за мной, орлы!» — так берет и зимнее перекрытие реки: «Орлы, за мной!» Вот уж насчет орлов ничего не получается: Порогов слишком лестно думает о себе, чтобы согласиться принять за орлов кого-нибудь другого, и слишком он занят собой, чтобы кого-нибудь вдохновлять. Разве что самым фактом своего исторического присутствия.

Фомин. Дважды герой Советского Союза, освободитель братских стран полковник танковых войск Алексей Платонович Фомин задуман как параллель к Порогову. В чем-то он даже лучше и чище Порогова, потому что сумел по достоинству оценить брошенную Елизавету Никандровну. Но если у Порогова есть маленькие «грехи», то и у Фомина есть грешок: он не в состоянии удержаться от предвзятой, односторонней оценки Матвея Антоновича, которого лично не знает. Но главное в них — общность. Оба — крупные начальники с командирской хваткой, энтузиасты дела, образцы для подражания. И в довершение всего полковник Фомин будет воспитывать сына инженера Порогова.

Фомин — весь в словах, в скромно-геронческих рассказах о себе, в нетерпеливо-откровенных признаниях в любви. Единственный сценический поступок Фомина — встреча с Борисом, когда полковник действительно по-военному подавил все попытки сопротивления юноши и увез его с собой.

Конфликты и проблемы. Действия главных героев есть не что иное, как непрерывное соревнование в бескорыстии и благородстве. Тут бывают разные степени, но нет противоборства воле. Если, скажем, Марии Васильевне не хватает не-

скольких сантиметров духовного роста, то она уже тем хороша для автора, что понимает это и искренно, бескорыстно любуется величиной и превосходством других.

У могучих стволов старшего поколения расположились юные побеги. Отношения между старшими и младшими показаны как отношения руководителей и руководимых, начальников и подчиненных. Старшие и по должностям занимают командные посты.

Молодежь окружает их любовью, почтением и преданностью. Единственное исключение — Борис. Он взбунтовался против авторитета старших, не понял всего величия их жизненного пути и стал ничтожеством, совершил подлый поступок. Но в конце концов старшие же его и спасают.

Примечания к обстоятельствам.

1. Поступок Бориса родители считают проявлением подлости, равным убийству, ограблению, политической измене. Почему же они сразу поверили в негодяйство сына? Мать, едва прочитав письмо неизвестной девушки, говорит: «Я знала, знала, что так произойдет». Она тут же называет причину из газетного фельетона: отец посылал Борьке слишком много денег, это не могло привести к добру. Отец рассуждает еще короче: «Мой сын — моя вина. Собери чемодан».

Правда, Порогов в одном месте бросает для приличия оговорку, что все это не очень похоже на Борьку, но на самом деле он знает, что сын преступник, верит в это и заявляет шоферу Саше: «Сын, наверное, погиб».

Одно из двух: либо они многие годы знают, что сын — закоренелый преступник, а автор скрывает это от нас, либо они чувствуют страшную вину перед сыном за то, что бросили его, не воспитывали, и теперь в любую минуту ждут какого-нибудь возмездия.

2. Беседа матери и сына происходит при полной взаимной отчужденности и холодности, как отвлеченная схватка принципов и идей. Почему-то Елизавета Никандровна до заседания комсомольского комитета не предпринимает никаких попыток предупредить ход событий, побеседовать с воспитателями и товарищами Бориса, воздействовать на него. Может быть, автор сознательно не дает ей для этого времени, но он

не дает ей и попыток. Получается, что она гораздо больше заботится об эффекте собственного выступления, чем о судьбе сына.

3. О педагогических принципах полковника Фомина. Он считает необходимым начинать перевоспитание человека с того, чтобы полностью перечеркнуть его личность, доказать ему, что он ничтожество, сломить его волю.

Фомин говорит Борису: ты подлец... Ты вынужден будешь поехать со мной, потому что родительских денег больше не будет, а без денег ты, круглое ничтожество, существовать не сумеешь. На тебе револьвер, застрелись. Ты не можешь застрелиться, потому что ты — ничтожество, эгоист, подлец. Убедился? Теперь едем со мной.

После того как чудо первоначального перевоспитания совершено, Елизавета Никандровна смотрит на Фомина с удивлением и восторгом, а он скромно объясняет ей, что действовал по обычным офицерским правилам: «Мы ведь готовим молодежь не простоквашу кушать. А четверо солдат на доске, сапогами закусывая, Тихий океан переплывали? Это воспитание где получено, в каком университете, кто профессора?»

Полковник ошибается. Суровость и выдержку армейского воспитания он неправомерно отождествляет с презрением к человеку. Героизм можно вырастить, только опираясь на доверие к лучшим человеческим свойствам.

Ошибается он и еще раз, поверив, что уговорил Бориса ехать с собой. Это не он уговорил, а Константин Финн. Если бы не Финн, все вышло бы иначе. Доведенный до отчаяния самолюбивый мальчишка бросился бы вниз из окна, застрелился или убежал куда глаза глядят. Может быть, вскоре после этого он приполз бы за новой родительской подачкой, а может быть, стал бы работать и нашел свое место в жизни. Много лет спустя он, вероятно, подумал бы: а ведь тогда этот полковник был прав: в то время я действительно был ничтожеством. Но я стал человеком, так сказать, назло ему, из ненависти к своему оскорбителю. И это была бы правда.

4. Допустим, Борис так плох, что в нем и нельзя отыскать ничего хорошего. Но каковы его сверстники в пьесе? Он обвиняет Володю в тупости и недобросовестности: «Берутся писать статейки и даже не знают, что до них было написано на эту тему!» Верно ли это? Вопрос остается невыяснен-

ним, потому что сам по себе Володя не интересует автора.

Его невеста Наташа Савельева — слабо-нервная девушка с застрявшей внутри пстерики. Недаром Порогов боится, что она и Володя могут покончить с собой, прежде, чем он долетит до Верхнегорска.

Вся комсомольская молодежь института с легкостью обвиняет Володю, и никто не знает, как он трудно живет. Никто ни в чем не подозревает Бориса, хотя он прямо противопоставляет себя остальным: «Я индивидуальность! С их точки зрения порочная, но — индивидуальность!»

Кроме институтской молодежи, допустим хлипкой по природе и достойной перевоспитания где-нибудь в армейских условиях, есть еще молодежь на стройке: Саша и Тоня. Но они — особенно Саша — фигуры юмористические. По сравнению со старшими нет у молодежи ни страстных размышлений, ни красивых чувств, ни романтически-напряженных характеров.

Выходит по пьесе, что Порогов, Фомин, Елизавета Никандровна не смогли воспитать никого, достойного их самих. Но тогда, быть может, любимые герои Константина Финна не очень уж герои? Может быть, они только хотят казаться героями и эффектно позируют?

Театральность. Сила одних художественных произведений состоит в их свежести и умении открывать новое и по-новому, неожиданная сила воздействия других коренится в их традиционности. Они используют привычные, выработанные эмоции. То, что казалось некогда романтическим, долго еще может сохранять призрачную значительность в искусстве. Константин Финн сполна использует силу этой традиционной театральности.

Его полковник Фомин донашивает романтический костюм леоновского полковника Березкина из «Золотой кареты». Порогов тоже напоминает многочисленных героев былых пьес. Напоминает железной волей, безбрежной удалью и даже тем, что не безгрешен. Знакомые качества вызывают знакомые чувства, а цельто, оказывается, иная. Предшественники Порогова грешили главным образом тем, что, будучи замечательными людьми, пропускали иной раз на сцене по лишней чарочке. В новых условиях на это не смотрят сквозь пальцы, и герой Константина Финна совсем к тому греху не причастен.

У него иной «малый грех». На нем лежит заметный налет философии времен культуры личности. А вот смотрите же, говорит Константин Финн, как это в сущности не опасно и какой перед вами превосходный человек.

Обращаясь к бывшей жене, Порогов говорит ей не домашнее «Лназ» и не книжное «Елизавета», а «Лизавета»: «Здравствуй, Лизавета». И сразу он получает диплом на такую величавую стилизованную народность. Вроде и ученый человек говорит, а какой простой!

Получив письмо о проступке сына, Порогов вскрикивает: «Радио, радио пусть закроют в той комнате! Гремит же в ушах эта музыка!»

Мария Васильевна (*отпугивается*). Что ты?! Какая музыка?

Порогов. Нет музыки? Ах вот как, нет музыки? (*Пауза*) Коновалов, Месхия; Коновалов, Месхия. Позвони, чтобы немедленно подготовили к вылету самолет!»

Все ясно. Испытанный театральным прием. Человек, так сказать, доведен до грани умственного помешательства. Можете вы после этого сомневаться, что в нем борются самые сильные чувства, даже если потом он, оберегая свое спокойствие, не станет по-настоящему интересоваться судьбой сына?

Но венец испытанной театральности — сцена на строительстве. В комнате с обдранными столами, в ярком свете одноплодного прожектора сидит Порогов. Он ничем не занят, но — творит историю. У него большое горе, а он все-таки сидит. У других, конечно, нет ни радости, ни горя, ни своих особых обстоятельств, они просто строят, а он!.. К тому же еще он проявляет человечность. Суть «человечности» состоит, собственно, в том, что раненого, терпящего сознание шофера Сибирцева надо отправить в больницу, и Порогов настаивает на этом. Разговор происходит так:

«Сибирцев. Вы мне этого приказать не можете.

Порогов. Это еще что такое! С кем ты разговариваешь?! Коммунист, член партбюро!»

Надо сказать, что Порогов и Сибирцев — люди примерно одного возраста. Но начальник, полный отцовского отношения, разговаривает на «ты», а дисциплинированный подчиненный на «вы».

Нет, я не хочу упрекнуть за это Константина Финна в нарушении жизненной правды. Вероятно, так оно и было, даже несомненно так было.

Но Саша, изнемогающий от любви к начальству? Но Тоня, забывшая увезенного в больницу отца, чтобы расцеловать Сашу за эту любовь? Но луч прожектора, ослепляющий луч прожектора, куда он направлен рукой драматурга? В этом театральном освещении красиво выступает Матвей Антонович Порогов, восседающий на колеснице

истории, а по краям, в темноте члудятся молчаливые восторженные толпы.

Итог. Пустые, холодные позыры приныты за героев. В одном не откажешь Константину Финну: приписав им мнимую историческую роль, он вообразил их такими, какими они хотели бы казаться. Если действительно существовал подобный «Дневник женщины», то он был написан ради «возвышающего» самообмана.

Ю. ВОЛЧЕК.

Горький.

★

## СМЕРТЬ НАДЕЖДЫ

Хуан Гойтисоло. Печаль в Раю. Перевод с испанского Н. Трауберг.  
Гослитиздат. М. 1962. 206 стр.

Кипарисы и олеандры, земляничные деревья и эвкалипты, нежное февральское солнце и кисейные облака. Рай. Так называется усадьба. И в райском лесу — или, может быть, в райском саду? — лежит убитый мальчик. Его зовут Авель. Ему еще нет двенадцати лет. Убили его дети, его ровесники, маленькне баски из интерната, который находится рядом с усадьбой.

Так начинается роман Хуана Гойтисоло «Печаль в Раю» (точнее было бы перевести «Траур в Раю»). День траура в Раю, горестный день для его обитателей, — это 6 февраля 1939 года, когда в Рай вошли войска генерала Франко. Сопротивление республиканцев кончилось. Траурный день открывает новую, черную эпоху. Гойтисоло расскажет об этой эпохе впоследствии в романе «Прибой». Это будет повествование о детях Испании, которые остались в живых, но чья жизнь без света и надежды так мало похожа на жизнь, чье растоптанное детство так не похоже на детство! Да и могло ли быть иначе, если «эра Франко» началась с убийства ребенка?

Вместе с Маргином Элосеги, солдатом-дезертиром, который решил сдаться франкистам, мы бродим по странному, словно зачарованному лесу. «Мартин застыл на месте — беспомощный жест пробковых дубов околдовал его. Ободренные, искривленные, старые, они проспали к небу сучья, словно оповещая мир о страшном злодеянии». И вот на подстилке из сухих листьев мы видим Авеля. Он лежит на спине с букетом маков на груди, мертвый.

В воспоминаниях Маргина, которого до-

прашивает франкистский лейтенант, мальчик оживает. Мартин напоминает несколько встреч, несколько разговоров — все, что он знал об умершем. Авель был сиротой, он приехал сюда, в Рай, из Барселоны около года назад. Владелица усадьбы донья Эстанислаа — его тетка. Это был мальчишка как мальчишка — с взрослой книжной речью и с мечтой о воинской славе, много повидавший и все-таки младенчески доверчивый. Немало таких бродило в те годы по дорогам войны. Но что-то было в нем пленительное, что-то такое, отчего Мартину казалось, что даже цветы люцерны склонялись перед ним, когда он проходил. В последнее время он похудел, казался больным. Люди любили его. За что же его убили дети?

Скудные сведения, ненаблюдательный взгляд равнодушного взрослого.

Для того чтобы опознать тело, из Раю приходит служанка Филомена. И опять поток причитаний-воспоминаний, и новый образ мальчика встает перед нами. Такой голодный и худенький и похожий на святого, на ангела. Все ему рассказывали о себе — и она сама, и донья Эстанислаа, и ее дочка Агеда. А его никто не слушал. всем было не до него. И он подружился с мальчишкой из интерната, с таким хорошеньким черенком...

Об Авеле вспоминают все, кто его знал: и донья Эстанислаа, и нищий, полубезумный Галиснец, и старухи, сестры Росси. Странные это люди — все они живут в выдуманном мире, никто не желает жить настоящим. Галиснец бормочет о каких-то

изобретениях и патентах, старые синьориты только и говорят, что о давно минувших светских успехах, донья Эстанислаа, поддельная почерк умершего сына, пишет от его имени письма друзьям... «Так смутны границы жизни... Так туманна действительность...» — нашептывает она Авелю.

Но Авель хочет жить, ему скучно слушать постоянные рассказы о том, что было раньше, ибо он-то, Авель Сорсано, родился теперь, а не в девятнадцатом веке. А жить для него — значит сражаться, воевать, ибо он дитя войны, как и те эвакуированные маленькие баски из интерната. Он тянется к ним, он мечтает о них, он любит их ими, к одному из них, к Пабло, он испытывает восторженное и всепоглощающее чувство. Пабло принимает его дружбу, а потом предает его.

Дети из интерната, как и Авель, росли под радиосводки с фронта; торжественные интонации диктора, перечисляющего убитых и раненых, им более знакомы, чем материнский голос. Их игрушки — это осыпь войны: патроны, гранаты, ракеты. Их мир, их хлеб, их забавы — это война, война, война... Авель смотрит на них с восторгом: они такие сильные, красивые, ловкие. И они вместе, а он один. Стать бы одним из них, таким, как они, таким, как все!

Но дети не принимают его. Для них он чужой. И когда уходит республиканские солдаты, они его убивают.

Последнее воспоминание об Авеле. Вспоминает Эмилио, мальчик из интерната. Он рассказывает о том, как его убили.

«— Почему? — спросил его отец. — Может, он вам что-нибудь сделал?»

Эмилио отрицательно покачал головой.

— Ничего он нам не сделал. Простого Стрелок (предводитель ребят. — Р. З.) сказал, что он не из наших...»

Одичавшие от войны дети убили своего товарища, того, кто хотел быть одним из них; убили свое будущее.

«Печаль в Раю» — это не книга о детской жестокости. Это и не книга о том, как война калечит детское сознание, хотя эта тема присутствует в романе. Это книга о том, как была убита надежда.

Потому что смерть Авеля — не искупление, не разрешение, даже не начало трагедии. Это предыстория. Предыстория эпохи, наступившей с воцарением Франко, эпохи, которая заставила людей отречься не толь-

ко от будущего, но и от прошлого, от памяти, от воспоминаний.

Донья Эстанислаа живет воспоминаниями. Но как не похожи на действительность, как ирреальны, иллюзорны ее воспоминания! Она помнит лишь то, что хочет, и так, как хочет. Помнит, как она любила сына, и не помнит о том, как исковеркала его жизнь. Помнит, как случилась беда с ее миндальным деревом, и не помнит, не хочет помнить о собственной жестокости по отношению к умирающему мужу. В ее фантастическом мире реальности нет места даже в воспоминаниях. И потому ее воспоминание об Авеле сразу же становится ложью.

«Он был исключительно развит для своих лет и безумно меня любил. — Она улыбнулась. — Ах, сколько у меня знаков его любви — подарков, стихов, писем!.. Каждый вечер, со дня приезда, он целовал меня перед сном и часто говорил мне, что хочет остаться со мной навсегда. И хотя я отвечала: «Ты молод, перед тобой длинный путь, незачем столь юному существу связывать свою судьбу со мной, разочарованной», — он не обращал внимания, разбивал один за другим все мои доводы...»

Так и проходит донья Эстанислаа через весь роман — бледная кальдероновская тень, отзвук католической, средневековой Испании, без будущего, без действительного прошлого, скованная навеки какой-то призрачной летаргией.

Мартин Элосеги, солдат-дезертир, казалось бы, накрепко зацепился за землю. Ему удалось выжить; здесь, у франкистов, его предательство не будет сочтено за предательство; ему даже повезло: он встретил женщину, которая давно его любит. Но будущее не сулит ему ничего, оно пусто. Будущее было у его прежней возлюбленной, у Доры, учительницы в интернате. «Она вечно строила планы, думала о будущем. А он всегда думал только о настоящем». Доре хотелось, чтобы он заговорил о своей работе, об окончании университета.

Но Мартин молчал. И Дора умерла; с ней умер и их нерожденный ребенок, их будущее.

От прошлого же Мартин отрекается сам. В прошлом была любовь, была республика, было счастье и горе. От всего этого он отсекся, и оно пожухло и увяло в его руках, как цветок, когда-то срезанный Дорой.

«Роза сморщилась, почернела, и Элосеги печально на нее посмотрел.

— Не иначе как сувенир,— насмешливо сказала Бегонья.— От какой-нибудь прекрасной крестьянки, которая в тебя влюбилась.

Мартин пожал плечами — цветок совсем засох, даже в книжку не положишь.

— А! — сказал он.— Чепуха.

И бросил его на пол».

Может ли быть будущее у того, кто отрекся от прошлого, кто своєю рукой разрывает «связь времен»?

Ни слова, ни звука надежды.

Старый учитель Кинтана считает, что «молодое поколение провело эти годы в кровавой атмосфере и трудно будет внушить ему гражданские чувства».

Сестры России вздыхают: «До чего мы только дойдем! Все хуже да хуже, последний разум люди теряют».

Пришел мир, которого жаждали и люди и растения — потому что цветы и деревья в романе Гойтисоло настолько одушевлены, что кажется, они в состоянии испытывать человеческие чувства,— но ничего не принес с собой, кроме траура и печали.

Таков сегодняшний день. И нет надежды на завтра.

А о завтрашнем дне, о тех десятилетиях, которые прошли после убийства Авеля, рассказали читателю другие произведения Гойтисоло: «Прибой», «Земли Нихара», «Остров».

Гойтисоло родился в 1931 году. Когда разразилась гражданская война в Испании, он был моложе своих героев — ему было всего пять лет. Но и он рос в детском доме на севере Каталонии, и его первые детские воспоминания — развалины, смерть и пули. Он этого не забыл — и рассказал об этом, как только смог. «Печаль в Раю» вышла в 1955 году.

Как и его братья Хосе Агустин и Луис, как Пачеко и Лопес Салинас, Хуан Гойтисоло принадлежит к тому поколению молодых испанских писателей, которые считают своей задачей обнажение подлинного лица общества. «Поколение без наставников» — вот под каким именем вошли эти писатели в испанскую литературу. Ибо официальная испанская литература, процветающая при режиме Франко, ничего не могла подсказать талантливой молодежи, ничему не могла ее научить. И молодые писатели учатся сами — у жизни. Они ездят по

страе, они видят, слышат, раздумывают. И пишут жизнь — такой, как она есть. Буржуазная критика назвала новый испанский роман «романом социального задания» без осуждения. Франкистская определила его как «объективистский». Прогрессивная критика отнесла новое направление к критическому реализму.

Дело не в названиях и, разумеется, не в ярлыках. Но дело в том, что именно теперь, обратившись к социальным темам, испанская литература снова, после длительного перерыва, явилась перед читателями всего мира, с тем чтобы поведать правду. Без правды нет великой литературы — этот лозунг молодые испанские писатели могли бы начертать на своем щите. Но время щитов и кольчуг давно уже миновало, и молодым испанским писателям нового направления нелегко приходится у себя на родине. В частности, это относится к Хуану Гойтисоло, последний роман которого «Остров» (1961) был запрещен в Испании цензурой за то, что он «аморален: в нем нет положительного героя». Франкистская официальная Испания, потерявшая разум, отрекается от лучших своих сыновей, создающих новое испанское искусство: от Бардема, от Бюнюэля, от Гойтисоло. Бардема сажают в тюрьму, лучший фильм Бюнюэля — «Виридиана» запрещен на родине режиссера, Гойтисоло вынужден печататься за границей, как и многие другие писатели «обличительного» направления.

Знакомство советского читателя с Хуаном Гойтисоло началось с его романа «Прибой», опубликованного в 1961 году в журнале «Иностранная литература». Теперь вслед за «Землями Нихара» («Новый мир», № 7, 1962) он получает один из первых романов замечательного испанского писателя в хорошем переводе Н. Трауберг, предваренный умной и содержательной вступительной статьей Г. Степанова. Мы как бы поднялись к истокам творчества Гойтисоло; многое в романе «Прибой» теперь стало нам понятнее и ближе. Понятнее и ближе стал и облик самого писателя. А это важно. Ибо Хуан Гойтисоло и его молодые друзья — это и есть надежда испанской литературы, ее будущее. Они пишут о народе Испании, подавленном, скованном, растерзанном, но не сломленном. И народ их голосами рассказывает о своих страданиях.

## ПРЕКРАСНАЯ СУДЬБА

**Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о М. Ф. Андреевой. Составление, статья и комментарии А. П. Григорьевой и С. В. Щириной. «Искусство». М. 1961. 720 стр.**

В беседе с Вересаевым о рассказе «Невеста» в ответ на его замечание: «Не так девушки уходят в революцию», А. П. Чехов сказал: «Туда разные бывают пути».

Жизнь Марии Федоровны Андреевой — лучшее свидетельство того, что пути в революцию не укладываются в мертвую схему. В партии большевиков Мария Федоровна была явлением своеобразным; недаром В. И. Ленин наделил ее кличками «Феномен», «Белая ворона».

В М. Ф. Андреевой гармонично сочетались характерные черты русской женщины — светлый ум, решительный характер, благородство чувств и устремлений, огромная и разносторонняя одаренность, самоотверженность борца, связавшего свою судьбу с судьбой передового общественного движения.

Книга «Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о М. Ф. Андреевой» выходит за рамки, ограниченные заглавием, отражая такое многообразие явлений российской действительности почти за столетие, такую их связь и взаимозависимость, каких трудно ждать от сборника, посвященного жизни одной, хоть и незаурядной женщины. Яркая выраженная индивидуальность Андреевой, ее активность, идейность определили ее место и в революционной работе и в дореволюционном театре и роль ее в строительстве культуры после Октября.

В революционной работе она обшлась с выдающимися деятелями большевизма — Н. Э. Бауманом, Г. М. Кржижановским, Л. Б. Красиным, П. А. Красиковым. Более двадцати лет она была связана самыми доверительными, теплыми отношениями с В. И. Лениным, выполняя партийные поручения непосредственно по его заданиям. В 1937 году, характеризуя свое отношение к В. И. Ленину, она сказала: с ним «я тоже имела счастье быть близко и хорошо знакомой, и даже могу сказать — другом его своим считать имею право». Содержание сборника подтверждает это.

В театре М. Ф. Андреева более десяти лет работала с К. С. Станиславским, играла с такими артистами, как В. И. Качалов, И. М. Москвин, Ю. М. Юрьев, В. Э. Мейер-

гольд, участвовала в пьесах А. П. Чехова и А. М. Горького (Ирина в «Трех сестрах», Нина Заречная в «Чайке», Марья Львовна в «Дачниках», Наташа в «На дне» и др.).

Л. Н. Толстой, не переносивший фальши вообще и в частности на сцене, увидев «Одиноких» Гауптмана, «в Марию Федоровну... совсем влюбился, сказал, что такой актрисы он в жизни своей не встречал, и решил, что она и красавица и чудный человек». А. П. Чехов писал ей, что, присутствуя на репетициях «Трех сестер», он «нарочно старался молчать... чтобы именно не помешать» ее работе, и «разве только после десятой репетиции стал бы делать свои замечания, да и то только в мелочах». А. М. Горький считал ее игру великоленной.

В переписке, воспоминаниях и документах, включенных в сборник, предстает, хоть и неполно, картина деятельности М. Ф. Андреевой в партии.

В октябре 1905 года вместе с Л. Б. Красиным она мобилизует средства для издания газеты «Новая жизнь» (фактически Центрального Органа большевиков) и несет ответственность за нее как издательница; в декабре, в момент вооруженного восстания в Москве, ее квартира используется как склад оружия и лаборатория по изготовлению бомб для борцов московских баррикад; в 1906 году, перейдя на нелегальное положение с одобрения В. И. Ленина, она сопутствует А. М. Горькому при поездке в США для сбора средств на революцию и главным образом для воздействия на общественное мнение, чтобы сорвать предполагаемый заем царского правительства у американских банкиров; в 1907 году, присутствуя на V (Лондонском) съезде РСДРП, оказывает существенную помощь большевикам; в 1908 году организует нелегальное распространение «Пролетария» (орган большевистского Центра); в 1909—1910 годах «настраивает» А. М. Горького против организаторов Каприйской школы, сколотивших антибольшевистскую фракцию «впередовцев»; в 1912 году, вернувшись в Россию с чужими документами, выполняет поручение В. И. Ленина, изыскивая средства для нелегальной работы.

Письмо В. И. Ленина А. М. Горькому (начало января 1913 года), в котором Ленин радовался нелегальному отъезду Андреевой в Россию и писал: «Размечтался я в связи с поездкой М. Ф.», к сожалению, включенное в сборник неполностью, ясно показывает, что Ленин рассчитывал на помощь Андреевой в мобилизации необходимых партии средств. Это подтверждает и приведенный в сборнике документ охранки, в котором прямо указано, что о средствах «фактически все переговоры... будет вести ныне прибывшая в г. Москву жена Максима Горького (Андреева)...»

Хочется особо отметить воспоминания М. Ф. Андреевой о Ленине. Они рисуют Ленина защищающим революционный марксизм от махистов (в боях с которыми принимала участие и М. Ф. Андреева), жадно впитывающим впечатления от Капри, Неаполя, заинтересованным в творческих замыслах М. Горького.

Позднее в своих заботах о Горьком М. Ф. Андреева постоянно учитывала советы Ленина. Это ясно сказалось в ее письме Ленину от 23 августа 1920 года. Советуясь с Лениным о поездке Горького на Кавказ, Андреева писала об окружении Горького в Петрограде: «Если он будет сидеть все время в облаке тех, коими он сейчас живет, ведь он с ума сойдет, об этом Вы сами не раз говорили...»

Книга отражает артистический путь М. Ф. Андреевой, работавшей в Художественном театре с момента его основания, пережившей его подъем, борющейся за развитие в нем реалистических, демократических традиций. Она была свидетельницей того, как К. С. Станиславский разрабатывал основы своей «системы», участвовала в творческих поисках молодого коллектива, разделяла его радости и разочарования. Воспоминания и переписка дополняют уже сложившуюся в истории русского театра характеристику К. С. Станиславского. Рисуя К. С. Станиславского как большого актера и великого труженика, М. Ф. Андреева говорит о том, что он был большим человеком, преданным идее, и в то же время ребенком. Он не замечал, «какова была окружающая его житейская обстановка, для него это было делом второстепенным».

С 1904 года М. Ф. Андреевой пришлось работать в ряде дореволюционных театров, иногда находившихся в «ничтожных и подлых руках», гастролировать в смешанных

труппах. Горько читать, как актриса недюжинного дарования, пронесшая через всю свою жизнь «горячую любовь и глубочайшее уважение к искусству, к литературе, к труду, творчеству и мощи человеческого гения», была вынуждена отбиваться от ролей, пропагандировавших мистику, покорность судьбе, или создавать роли в пьесах, состряпанных драматургами-ремесленниками.

Красноречиво рисует настроения Андреевой ее взволнованное письмо к А. М. Горькому, в котором она сообщает, что публично отказалась от знакомства с Арцыбашевым: «Мне не хочется знакомиться с литератором, впервые в русской литературе унизившим женщину. ...мне не хочется пожимать руку человеку, написавшему «Санина», «У последней черты» и т. д.». Буквально воплем, вырвавшимся из души, звучат слова в другом письме к Горькому: «Господи, как хотелось бы сыграть что-нибудь хорошее, человеческое и умное!»

Взгляды М. Ф. Андреевой на литературу нашли отражение в ее переписке по поводу репертуара дореволюционных театров. Ее отношение к роману С. Юшкевича «Леон Дрей» (героя романа она характеризовала как «просто ничтожную дрянь»), к пьесе Н. Каржанского «Марьян дол», с «отвратительной тенденцией» и мистическими мотивами, — отношение человека, враждебного всему упадочническому в художественной литературе, человека, предъявляющего высокие требования к искусству.

Эта же высокая требовательность была неотъемлемой чертой многолетних взаимоотношений Марии Федоровны с М. Горьким, которого она считала «глашатаем новых мыслей и чувств», в котором нельзя отыскать «не то что зерна, крупы, тени чего-нибудь подобного пошлости, чего-нибудь такого, что можно было бы назвать ненавистным словом и Алексею Максимовичу и людям подобным ему — мещанством».

Значительная часть книги отражает советский период деятельности М. Ф. Андреевой — комиссара театров и зрелищ по Союзу трудовых коммун Северной области, затем работника Комиссарната внешней торговли, директора Дома ученых в Москве.

После революции, когда театр поставил своей целью поддержать в массах «пламя идейных стремлений и глубоких чувств», М. Ф. Андреева привлекает к работе в нем лучших литераторов, художников, артистов, стараясь использовать «весь опыт старого



театра в лучших проявлениях его, сделать его доступным и понятным широким массам, жаждающим приобщения своего ко всему богатству культуры».

Письма М. Ф. Андреевой к Ленину в это время показывают, как трудно порой приходилось отстаивать культурное наследие прошлого и от неосведомленных, но рьяных администраторов, преподносящих массам суррогаты искусства вместо искусства, и от наскоков пролеткультовцев.

В этой борьбе она получала неизменную поддержку В. И. Ленина, который выдвигал в качестве первоочередной задачи самое широкое образование и воспитание как почву для культуры широких народных масс, имеющих «право на настоящее великое искусство».

Книга писем, воспоминаний М. Ф. Андреевой — волнующая повесть о прекрасной судьбе русской интеллигентной женщины, пришедшей к рабочему классу «с совершенно другой стороны» и оставшейся верной ему до конца своих дней.

«У каждой истинной, творческой артистической души есть своя жизнь», — говорила М. Ф. Андреева. Ее жизнь была жизнью человека с огромным запасом сил, со способностью брать на себя ответственность за каждый шаг своей изобиловавшей крутыми

поворотами судьбы, человека самоотверженного, мужественного и внутренне свободного. В одну из трудных полос своей жизни М. Ф. Андреева писала А. М. Горькому: «Хочется... передать людям хоть частичку того, что пережито, передумано, перечувствовано, хочется, чтобы люди как-то выпрямились, подняли голову, стали лучше, сильнее... это самое дорогое и ценное, что есть во мне». О своей партийной работе Андреева писала скупно, что исполняла те задания, которые ей поручались более «опытными и крупными партийцами», что при Л. Б. Красине она была «чем-то вроде агента по финансовым делам». Эта скромность очень характерна для русских революционеров, считавших всю свою самоотверженную деятельность лишь выполнением долга.

Сборник, посвященный М. Ф. Андреевой, содержит огромный материал не только в основном своем составе, но и в комментариях. Составители при помощи работников архива А. М. Горького привлекли обширную литературу, рукописные фонды библиотек, связали разрозненную переписку, воспоминания и документы — в том числе и до сих пор неизвестные — в стройную повесть об этой яркой, замечательной жизни.

Н. КРУТИКОВА.

★

### Политика и наука

## ВЕЛИКИЙ СТРАТЕГ

С. И. Аралов. Ленин вел нас к победе. Воспоминания. Редактор В. Светцов. Госполитиздат. М. 1962. 192 стр.

«Немного осталось в живых людей, которые работали непосредственно под руководством Ленина, особенно — военных; нужно рассказать молодежи как можно больше о нашем великом вожде. Это и побудило меня написать книжку. Да и культ личности Сталина наложил свой отпечаток на освещение истории. О военной деятельности Владимира Ильича писали очень мало. Этот пробел необходимо восполнить», — говорил мне автор книги «Ленин вел нас к победе».

Семену Ивановичу Аралову есть о чем рассказать. Он часто встречался с Лениным, выполнял его распоряжения по формированию воинских частей. Сколько раз на рас-

свете в оперативном отделе Народного комиссариата по военным и морским делам — этот отдел в 1918 году возглавлял товарищ Аралов — раздавался телефонный звонок и в трубке слышался голос Ильича. А вызовы в кабинет Ленина с оперативной картой или утренние посещения Ильичем оперотдела и такие знакомые слова: «Доложите, что нового на фронтах!»

В памяти С. И. Аралова, в его записках сохранилось много дорогих для нас воспоминаний, воссоздающих незабвенный образ Ильича. Некоторые эпизоды и факты, о которых он рассказывает, мы встречаем в печати впервые.

Читая книгу Аралова, написанную душевно и просто, все время словно видишь перед собою живого Ильича. Вот, остановившись у стены, он сосредоточенно рассматривает карту военных действий, делает пометки. Или, стоя у телеграфного аппарата, быстро читает ленту. В его нетерпении чувствуется стремление немедленно дать ответ, указание, принять меры, чтобы приостановить наступление врага, разгромить его. А вот собралась группа старых военных специалистов, и Владимир Ильич горячо убеждает их встать на сторону советской власти и в рядах Красной Армии защищать молодую Республику Советов, быть вместе с народом. Открывается дверь кабинета, входит секретарь. Ленин подписывает распоряжение о немедленной отправке оружия на самый трудный участок фронта, затем пишет обращение к питерским рабочим, призывая их пополнить ряды защитников Родины. В каждом эпизоде, рассказанном автором, чувствуется кипучая ленинская натура, его величайшая ответственность за судьбу страны, революции. В кабинет Ленина тянутся нити со всех фронтов. Здесь мозг партии, ее воля.

Март 1919 года. Владимир Ильич беседует с командирами и комиссарами-фронтниками. Присутствующие поражены глубиной его суждений о ходе военных действий, его конкретными, весьма важными предложениями. «А ведь Владимир Ильич — настоящий генерал-профессор в военных вопросах...» — восторженно заметил кто-то из участников этой встречи.

В 1947 году Сталин в известном письме к военному историку полковнику Развину утверждал, что Ленин якобы не был знатоком военного дела и не считал себя таковым. «...Не считать себя знатоком военного дела — это одно. — пишет по этому поводу Аралов, — и совсем другое — быть им, да еще в такой степени, какая далеко не всем по плечу». Надо иметь в виду исключительную скромность Ленина. Он никогда не кичился своими знаниями, хотя очень много знал в различных областях науки.

Владимир Ильич Ленин на протяжении всей своей деятельности — еще до первой русской революции, затем накануне и в дни Октября, в течение всей гражданской войны — вплотную занимался военными вопросами, руководил вооруженной борьбой народа. Он не только в совершенстве овладел военной доктриной Маркса—Энгельса,

но и развил, углубил ее. Это убедительно показывает автор.

Когда я читал его книгу, припомнилась одна интересная встреча командиров-первоконников, на которой мне довелось присутствовать еще в тридцатых годах. Много было воспоминаний, горячих споров. Зашел разговор о том, что же обеспечило нам победу над врагом. Ведь против молодой республики выступили четырнадцать государств да еще многочисленные армии белогвардейцев. А мы нередко были голодными и разутыми, с одной винтовкой на двоих. В конференц-зале сидел генерал И. Р. Апанасенко, бывший командир бригады, а затем дивизии в Первой Конной Армии. Он нетерпеливо слушал выступавших, а затем встал и, перебивая ведущего беседу, убежденно заявил:

— Да что говорить! Кто нас привел к победе, спрашивается? Ленин. партия! Ленинская народная стратегия победила. Таких полководцев, как Ленин, еще не было на свете. А мы все сыны партии, солдаты Ленина.

Сказано было кратко, просто, но выразительно. Именно ту же мысль развивает в своей книге Семен Иванович Аралов. Страница за страницей он рассказывает, как Владимир Ильич, стоя у колыбели Красной Армии, пестовал ее, как Коммунистическая партия, Ленин, подняв весь народ на защиту великих завоеваний Октября, привели нашу страну к исторической победе в гражданской войне.

В марте 1918 года В. И. Ленин собрал в своем кабинете людей, имеющих непосредственное отношение к военным делам. Обсуждались вопросы строительства Красной Армии. Присутствовал на этом совещании и Аралов. Он подробно рассказывает в своей книге о деловой и вместе с тем непринужденной обстановке этой встречи.

Ленин внимательно слушал выступавших, бросал реплики, говорил о самых коренных вопросах строительства новой армии. Когда приглашенные на это совещание бывшие царские генералы заикнулись было о необходимости сохранить в Красной Армии старые порядки, придерживаться установившейся военной доктрины, Ленин решительно возразил им. Вот как передает его выступление С. И. Аралов:

«Вы говорите, — обратился Ленин к военспецам, — война есть война. убивают одинаково. Это верно, техника бьет и пра-

вого и виновного, раз гашетка нажата. Но на кого нацелены винтовка, пулемет, оружие — это другое дело. В царской армии учили убивать без рассуждения, раз цар приказал. Голова солдата не должна была работать. Теперь другое: солдат рассуждает, и командиры и комиссары обязаны ему помогать в этом. Разница, как видите, огромная, принципиальная. Солдат теперь — не пешка, он сознательный, инициативный человек с ружьем, защищает рабоче-крестьянскую власть, свое родное государство».

Речь шла о классовой сущности армии, стоящей на страже завоеваний пролетарской революции.

В. И. Ленин подробно говорил об интернациональном характере нашей армии, о необходимости создания новых кадров командного состава, использовании народных талантов, о беспрекословном повиновении и строгом соблюдении приказов. В каждом слове вождя чувствовалось глубокое знание дела. Его суждения исходили из всесторонне продуманных теоретических, политических и военных основ, на которых и создавалась рабоче-крестьянская Красная Армия.

В марте 1919 года С. И. Аралов участвовал в работе Восьмого съезда партии. По поручению В. И. Ленина он выступил с докладом о положении на фронтах. Этот съезд, проходивший под непосредственным руководством Ленина, имел огромное значение для судеб страны, укрепления вооруженных сил республики.

В книге приведены примеры кипучей деятельности Ильича в дни съезда, рассказано о его решительной борьбе с «военной оппозицией», о его глубоко аргументированных положениях, принятых съездом. Делегаты съезда были покорены силой и правдой ленинских слов. «Ленин как бы вдохнул в нас уверенность, — пишет С. И. Аралов, — придал нам свежие силы. «Победить во что бы то ни стало!» — такой мыслью прониклись мы, слушая Владимира Ильича».

Гражданская война проходила в неимоверно трудных условиях. Повсеместно давали о себе знать голод и разруха. Многочисленные фронты требовали оружия, продовольствия и одежды, мобилизации всех сил народа. Необходимы были гибкая тактика в действиях войск, мудрые стратегические замыслы, позволяющие обеспечить победу над врагом и тогда, когда он нахо-

дился в выгодных условиях, имел большое численное превосходство. С. И. Аралов приводит убедительную историческую справку, свидетельствующую о том, что инициатива в определении плана разгрома Деникина — наступление Красной Армии через Харьков — Донбасс — исходит от В. И. Ленина, а не принадлежит Сталину, как это утверждалось в период культа личности.

Автор воспоминаний пишет о военной деятельности Ленина в различные периоды иностранной военной интервенции и гражданской войны вплоть до окончательного разгрома врага. Великий вождь и учитель, умело организуя защиту Родины, хорошо знал думы и стремления народа, вдохновлял рабочих и крестьян на подвиги, вселял в них уверенность в торжество дела революции. Конечно, не каждый защитник Родины лично видел Ильича. Но он повседневно ощущал его влияние и заботу. Ленинские идеи глубоко проникали в душу солдата и вели его на героические ратные дела во имя самого справедливого дела на земле.

В. И. Ленин, подчеркивая необходимость высокой личной ответственности за порученное дело, вместе с тем всегда заботился о коллегиальности в работе. Большинство важнейших вопросов руководства Красной Армией, ее строительства обсуждались в Центральном Комитете партии, Совнарком, в Совете Труда и Обороне. И, как правило, именно Ленин был инициатором постановки военных вопросов на обсуждение этих органов.

Нельзя было завоевать победу без кадров. Вот почему В. И. Ленин так любовно выращивал их. Он умел найти талантливых людей из народа, вселить в них уверенность в свои силы, развить инициативу. Значительна заслуга Ильича в привлечении старых военных специалистов на сторону советской власти.

Большое место отведено в книге описанию действий командиров, активно помогавших Ленину строить армию нового типа, вынесших на своих плечах основную тяжесть военных испытаний. Автор дает высокую оценку полководческой деятельности, личной отваге и героизму товарищей М. С. Кедрова, В. К. Блюхера, А. И. Егорова, И. Э. Якира и других.

Ленин вел нас к победе в тяжелую годину гражданской войны. Ленину, великой

партии нашей принадлежит историческая заслуга в разгроме многочисленных интервентов и белогвардейцев. Ленинское военное наследство сыграло колоссальную роль в разгроме фашистских полчищ в 1941—

1945 годах. Следуя заветам Ильича, зорко стоят на страже мира созданные им могучие Вооруженные Силы нашей страны.

**С. УСТИНОВ,**  
*генерал-майор авиации запаса.*



## НЕОТВРАТИМЫЙ ЗАКОН ИСТОРИИ

**Дж. Уилер. Экономические проблемы автоматизации в США. Перевод с английского Р. И. Гогунова, С. А. Драбниной и Г. В. Легоньких. Издательство иностранной литературы. М. 1962. 318 стр.**

«Я не испытываю никаких угрызений совести по поводу увольнения славных ребят, проработавших двадцать лет в бригаде № 2», — заявил президент компании «Америкен-Мариэтта» (одной из двухсот ведущих американских компаний) Роберт Е. Пфлаумер, выставив за ворота предприятия квалифицированных рабочих.

Почему же этих славных ребят постигла такая судьба? Их труд оказался ненужным компании, ей выгоднее стало поставить на их место автомат.

Автоматизация — одно из генеральных направлений развития современной техники — породила так называемую технологическую безработицу и с исключительной наглядностью, еще отчетливее, чем раньше, вскрыла непреходящие противоречия капитализма, разрыв между уровнем развития науки и техники и капиталистическим строем.

Широкому кругу проблем, вытекающих из внедрения современных автоматических методов производства, посвятил свою книгу американский экономист и публицист Дж. Уилер. Это обстоятельное исследование основывается на данных официальной статистики, отчетах разных корпораций и других материалах. Работа, сделанная Дж. Уилером, тем и ценна, что она помогает осмыслить важнейшие явления современной экономики США. Автор прослеживает, какое влияние оказывает внедрение новой техники на занятость населения и нормы прибыли на капитал, на размеры и динамику капиталовложений, на жизненный уровень трудящихся и тому подобное. Исследование Уилера — еще одно убедительное доказательство того, что внедрение новой техники способствует отнюдь не омоложению, а одряхлению капитализма.

Способен ли капиталистический строй

планомерно и эффективно использовать новейшие достижения науки и техники?

Поскольку автоматизация — продукт прогресса науки, автор в первых главах книги подробно останавливается на взаимоотношении капиталистического строя и науки. Он приходит к выводу, что отношения эти глубоко антагонистичны. В капиталистических странах вложения на научные цели оцениваются лишь с точки зрения их прибыльности. Каждый вложенный доллар должен дать дивиденды, независимо от того, во что он вложен. Подтверждением этого служат вычисления и выводы бывшего помощника директора Национального научного фонда в Вашингтоне Раймонда Эвила. Он утверждает, что прибыли от капиталовложений на научные цели как минимум составляли в среднем сто процентов в год, а в отдельных случаях даже достигали двухсот процентов, то есть были намного выше норм прибылей на капиталы, вложенные в любые другие предприятия.

Существовала уверенность, что в области науки капитализм продвигается вперед быстрее, чем социализм. Прозрение наступило с появлением советских спутников. Даже сосредоточение определенного круга научных исследований (прежде всего в области атомной и термоядерной энергии) в правительственных институтах не могло изменить положения. «Правительство Соединенных Штатов, — отмечает автор, — вместо того чтобы способствовать развитию науки, явилось одной из главных сил, препятствующих ее развитию. И это не должно удивлять нас, поскольку деятельность правительства направляется небольшой влиятельной группой представителей Уолл-стрита...»

Развитие науки находится в прямой зависимости от состояния народного образо-

вания. Автор напоминает, что Соединенные Штаты были первой страной, которая ввела народное образование. Некогда забота об образовании и его распространении среди простых людей была одной из прочных традиций северных и западных штатов, говорит автор. Но по мере того, как США становились богаче и сильнее, на образование стали обращать все меньше и меньше внимания. Ныне США «вдруг» стали ощущать острейший недостаток в школьных учителях и в школьных помещениях. А затем обнаружилось, что в то время, когда наука и техника стали приобретать в экономике все большее значение, все меньше молодежи стало изучать теоретические науки. Если в 1900 году в колледжах физику изучал каждый пятый ученик, то в 1956 году — лишь каждый двадцать пятый. Уменьшилось и число студентов, изучающих математику и химию. В результате США и оказались перед проблемой серьезной нехватки инженеров и научных работников.

Итак, образование, наука и техника — это единая взаимосвязанная цепь. Автоматизация же — одно из ответвлений техники. И не случайно Уилер почти треть своего исследования посвятил этим, казалось бы, общим вопросам, не имеющим прямого отношения к проблеме автоматизации. Эта взаимосвязь убедительно показана в следующих главах.

Автоматизация — это новая вершина технического развития и требует вложения новых капиталов. На основе серьезного анализа фактов автор приходит к выводу, что внедрение автоматизации привело к весьма внушительному увеличению капиталовложений в новое оборудование: за неполные два десятилетия они выросли более чем в пять раз. Лишь самые могущественные монополии в состоянии выдержать натиск технического прогресса. Новейшая техника и автоматизация, в частности, привели к краху не только множество мелких и средних фирм, но и немалое число довольно мощных корпораций. По данным переписи обрабатывающей промышленности за 1954 год потерпели крах, объединились или вынуждены были продать свое имущество 650 тысяч фирм, то есть почти ежедневно «лопались» две тысячи фирм. Поучительна рассказанная на страницах книги история краха такой крупной автомобильной компании, как «Студебекер-Паккард».

Мелкий бизнес ныне не эффективен и не может быть эффективным. Ведь совершенствование техники и внедрение автоматизации требует очень крупных капиталовложений, они непосильны не только среднему бизнесмену, но и иным крупным корпорациям.

Весьма интересны приведенные в книге данные о размерах предприятий, способных обеспечить максимальную эффективность. Например, производство такого не сложного, казалось бы, изделия, как авто ручка, требует минимум шести миллионов долларов капиталовложений. Для организации производства легковых автомобилей необходимы капиталовложения примерно в полмиллиарда долларов, а сталелитейного производства — около 700 миллионов долларов.

Только высокая концентрация производства открывает возможность для быстрого использования последних достижений науки и техники. Однако эффект от применения новой техники почти целиком поглощается все усиливающейся анархией капиталистического хозяйства.

Уилер иллюстрирует это на примере автомобильной промышленности. Конструкторы новых марок автомобилей меньше всего считаются с интересами потребителей. У машин новейших моделей слишком большие габариты. Они требуют сооружения новых гаражей, а мощность автомобильных моторов достигла опасных размеров. Да и стоимость машин непрерывно возрастает, несмотря на резкий рост производительности труда заводских рабочих. Соединенные Штаты, можно сказать, подпали ныне под власть 61 миллиона автомобилей, которыми пользуются их граждане. Миллиарды рублей тратятся на строительство автострад и стоянок для машин. Конструкторы словно бы соревнуются между собой, как сделать машину подлиннее — с их точки зрения, более изящную. Между тем удлинение каждой машины даже на фут требует дополнительной площади, которой просто нет, замедляет и без того крайне затрудненное движение в крупных центрах. В последние годы жителю американского города, чтобы попасть на работу, приходится затрачивать в два раза больше времени, чем десять лет назад. Автомобиль стал бичом американца. Многие семьи в США грабят на содержание автомобилей чуть ли не четверть своего дохода.

Любопытные вещи можно узнать из книги Уилера. В 1956 году в США легковые машины «сожрали» 55,7 миллиарда галлонов (около 180 миллионов тонн) бензина. По крайней мере половина его могла бы быть сэкономлена для будущих поколений, писала американская печать, если бы были созданы двигатели разумной мощности и настолько экономичные, насколько это позволяет техника сегодняшнего дня.

Автоматизация производства позволила резко сократить затраты труда на выпуск автомобилей. На изготовление большой сложной машины уходит теперь не более 140 человеко-часов, включая труд, затраченный на изготовление материалов и запчастей. Но эта экономия не улучшила положение рабочих, а лишь привела к увеличению дивидендов монополий. В 1954—1957 годах чистая прибыль «Дженерал моторс» с каждого автомобиля составила 358 долларов, другими словами, она превысила общую сумму издержек производства.

«Назначение автоматизации при капитализме — высвобождение рабочих и увеличение прибылей», — приходит к выводу Уилер. Число производственных рабочих, занятых в автомобильной промышленности, из года в год падает. Если в 1953 году их было 767 тысяч, то к октябрю 1958 года их осталось только 365 тысяч. Сотни тысяч безработных автомобилестроителей — вот цена автоматизации.

Могут ли высвобождаемые вследствие автоматизации рабочие рассчитывать на получение работы в иных областях?

— Нет, — приходит к выводу Уилер.

Он гневно избличает демагогические посулы совета по рекламе, которыми начинена брошюра «Ваше великое будущее в развивающейся Америке». Авторы ее ссылаются на то, что новые производства, мол, обеспечат работой тех, кто высвобождается вследствие автоматизации. Жалкая попытка обнадежить миллионы людей, удел которых — безработица и нищета!

Уилер приводит убедительные факты, показывающие, как прогрессирует обнищание американских трудящихся. В Детройте — центре автомобильной промышленности — в апреле 1959 года насчитывалось 239 тысяч безработных. Из них около 162 тысячи — две трети! — не получали страхового пособия по безработице, потому что срок, в течение которого они могли получать пособие (двадцать шесть недель),

истек. Около семидесяти процентов из тех, кто уже давно потерял работу и лишился права на пособие по безработице, были негры. В последние годы улучшения не наступило. Напротив, число безработных, потерявших право на пособие, растет, а как сообщалось недавно в печати, послание президента Кеннеди конгрессу об удлинении срока, в течение которого безработным выплачивали бы пособия, было провалено.

Автоматизация позволила высвободить в США десятки тысяч счетных работников и людей других непроизводственных профессий. И все же в «непроизводственных» секторах экономики — в торговле, финансах, в сфере услуг и особенно в государственном аппарате и штабах корпораций — наблюдается рост занятости. Это и приводит к некоторому, правда крайне незначительному, росту общей «занятости», что дает кое-кому основания утверждать, что дела обстоят не так уж плохо. Но это чистейшая фикция.

В американской экономике наблюдается еще одно сложное и внушающее тревогу явление: из процесса производства ежегодно выбывает 250 тысяч квалифицированных рабочих и лишь 100 тысяч новых рабочих проходят минимальную профессиональную подготовку. Приводя эти цифры, председатель Межнационального профсоюза механиков А. Дж. Хэйс, сокрушаясь, писал: «Это постепенное иссякание квалифицированных рабочих кадров страны, если оно будет продолжаться и в дальнейшем, несет с собой угрозу не только жизненному уровню нашего столь быстро растущего населения...»

Что же верно, то верно: население США растет. Сотни тысяч молодых людей не имеют достаточной подготовки, чтобы занять место на производстве, когда оно освободится. На это вынужден был обратить внимание и президент США Дж. Кеннеди в своем выступлении в Федеральном комитете по вопросам детской безпризорности и преступности среди молодежи.

В заключение Уилер вскользь, очень вскользь, касается экономического соревнования США со странами социализма. Он приходит к выводу: «Различие в отношении к автоматизации — страх американских и энтузиазм советских рабочих — свидетельствуют о том, что социализм свободен от противоречий, возникающих в результате использования автоматизации. Преимуще-

ства социализма в развитии и использовании науки и техники — это наилучшая возможная гарантия того, что социализм победит в мирном соревновании с капитализмом».

Книга Уилера — умная и полемичная, насыщенная поучительными фактами и цифра-

ми — обогатит каждого, кто следит за ходом экономического соревнования двух систем. Она займет достойное место в пока еще немногочисленной литературе по экономическим проблемам развития новой техники в капиталистических странах.

И. ПЕШКИН.



## НА ПОДСТУПАХ К СЕРЬЕЗНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ

**Экономика СССР в послевоенный период (Краткий экономический обзор). Под редакцией доктора экономических наук профессора А. Н. Ефимова. Соцэпгиз. М. 1962. 487 стр.**

«Когда знаменитый торговый город Новгород оказывался в опасности, один из его жителей звонил в колокол... Тогда все население города собиралось на площади и решало, что делать». Откуда взяты эти строки? Из учебника русской истории?

Нет, о древнем Новгороде вспомнили вдруг авторы недавно вышедшего в Нью-Йорке труда «Экономическое отставание в холодной войне. Растущая угроза американскому превосходству». Эти специалисты по советской экономике во главе с профессором Джоном Хардтом давно уже зарекомендовали себя в глазах прогрессивной общественности как ярые антикоммунисты.

Что же заставило этих господ заглядывать нынче в столь далекое прошлое и вспомнить новгородское вече? Оказывается, заявляют они, «сейчас звонит наш колокол, предупреждающий об угрозе... американскому превосходству».

До чего же изменилась обстановка! В первые послевоенные годы за океаном были твердо уверены, что без помощи извне Советский Союз не справится с трудностями восстановления хозяйства. Что говорить — в безмерно тяжелом положении находилась наша страна. Разрушительная война отбросила многие отрасли нашей промышленности на полтора десятка лет назад, а производство тканей, обуви, зерна — к дореволюционному уровню.

Прошло всего семнадцать лет — сущий пустяк на весах истории, — и за океаном уже по-иному оценивают экономический потенциал Советского Союза. Там напуганы «быстротой экономического развития СССР». Еще бы! Промышленность нашей страны в эти годы росла темпами, в шесть раз, а сельское хозяйство — в три раза превышающими темпы роста соответствующ-

щих отраслей экономики США. Вот подлинное чудо, содеянное народом-героем, народом-тружеником.

Наши писатели создали немало художественных произведений, в которых с разной степенью мастерства показана героическая эпопея этих лет. Советским людям пришлось преодолеть трудности восстановления. Сложнейшие процессы происходили в экономике страны, во всей общественно-политической жизни нашего государства.

Труд, подготовленный коллективом авторов научно-исследовательского института Госэкономсовета СССР, представляет собой первую серьезную попытку осмыслить этот знаменательный этап в истории СССР. В книге собрано много ярких фактов, убедительнее всяких слов свидетельствующих о замечательных победах, одержанных нашим народом. И что особенно важно, авторы не ограничиваются демонстрацией красноречивого цифрового материала. Опирируя им, они исследуют пути развития советской экономики, раскрывают узловые проблемы, стоящие перед отдельными ее отраслями. Читаешь один раздел книги за другим и убеждаешься в том, что Джон Хардт и его коллеги имели все основания бить в колокол, извещая о «растущей угрозе американскому превосходству».

Сколько раз «Нью-Йорк гаймс» объявляла об «экономической несостоятельности большевизма». А теперь этот ведущий орган монополий горестно констатирует: «Есть много важных производственных областей, в которых Советский Союз в значительной мере догнал США, и некоторые отрасли, в которых Советский Союз по выпуску продукции фактически идет впереди».

Видные американские специалисты, крупнейшие бизнесмены, посетившие нашу

страну, признают: им есть чему поучиться в СССР. И в самых различных отраслях техники! Один из старейших американских металлургов доктор Э. Смит, посетивший недавно Советский Союз, заявил, что тридцать лет назад он учил русских инженеров в Америке, а теперь сам приехал учиться у своих учеников.

У советских металлургов есть чему поучиться. По использованию мощности доменных печей металлургия СССР превзошла американскую. В СССР введены в строй уникальные мартовские печи мощностью шестьсот тонн, в США таких печей нет. В СССР в последние годы выплавка стали ежегодно растет примерно на четыре миллиона тонн, что равно всей выплавке ее в 1913 году. А в США она не только не растет, а ежегодно снижается более чем на полтора миллиона тонн.

Так обстоит дело с черной металлургией — базой экономической мощи и независимости каждой страны. А вот пример из другой отрасли. Осмотрев московский мясокомбинат, известный американский промышленник Тейлор, предприятия которого разбросаны по территории США, Бразилии, Аргентины, Уругвая, Филиппин, Австралии, заявил: «Вам нечего учиться у нас в смысле применения техники, а мы бы хотели некоторые виды оборудования перенять у вас».

Давно ли вышла на широкую дорогу советская газовая индустрия? А по степени газификации Москва, Киев и ряд других городов уже оставили далеко позади Париж, Лондон, Рим.

Среди товаров, которые правительство США десять лет назад запретило ввозить в СССР, значилось и нефтебуровое оборудование. А вскоре после этого американские фирмы приобрели у нас лицензии на производство турбобуров, созданных советскими инженерами.

Уникальные тяжелые советские станки, а их в 1960 году было вылущено в двадцать четыре раза больше, чем в 1940 году, по ряду показателей превосходят лучшие образцы американского станкостроения.

СССР переиграл США в области строительства линий электропередач высокого напряжения. В США нет электростанций, по мощности равной Волжской имени XXII съезда партии. В СССР строится квартир на тысячу человек населения вдвое больше, чем в США.

Какую бы ни взять отрасль советской экономики — топливную ли, химическую ли промышленность, машиностроение, строительную индустрию, транспорт, — перед нами со страниц книги встает картина подлинного экономического чуда — таков невиданный подъем и замечательный технический прогресс советской экономики, таково наше неустанное продвижение вперед в экономическом соревновании с США.

Вместе с тем в книге приводятся факты и цифры, свидетельствующие о серьезном отставании ряда участков нашей экономики, об узких местах в отдельных отраслях хозяйства. Рост производства электроэнергии в нашей стране опережает рост всего промышленного производства в меньшей степени, чем в США. Или возьмем другую серьезную проблему. В США, Англии, ФРГ на сооружение распределительных электросетей направляется половина всех вложений в энергохозяйство, а в СССР с его бескрайними просторами — лишь одна десятая. Не потому ли даже в европейской части страны некоторые не только районные, но и областные центры не подключены к энергосистемам и снабжаются электроэнергией от мелких, технически отсталых, неэкономичных установок? Серьезным укором нашей промышленности служит и тот факт, что в безлесной Англии бумаги выпускается больше, чем в СССР.

Заставляют серьезно задуматься цифры, отражающие затраты труда на один центнер зерновой продукции на фермах США и в наших колхозах. Ту работу, которую выполняет на американских фермах один человек, у нас — семь. Эти цифры говорят о том, как много нам предстоит поработать над организацией труда в сельском хозяйстве, над его техническим совершенствованием.

Интересные и поучительные материалы книги дают богатую пищу для размышлений. Авторы ее проделали большую работу. Однако удачи никак не должны заслонять и некоторых просчетов. А некоторые из этих просчетов серьезны и поучительны.

Известно, что в послевоенные годы культ личности Сталина, с присущими ему извращениями, злоупотреблениями, нарушениями законности, достиг кульминации. Вспомним репрессии, обрушенные на головы многих честных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта. «Ленинградское дело», «дела» директоров некоторых



московских заводов. Под флагом так называемого «здорового недоверия» насаждалась взаимная подозрительность, сеялась нечуждая к интеллигенции. Нетрудно понять, какое влияние это оказывало на техническое творчество. А пресловутое искоренение «низкопоклонства и раболепия перед Западом», фактически приостановившее ознакомление со всем новым, что было достигнуто мировой наукой и техникой?!

Завет В. И. Ленина — «черпать обеими руками хорошее из-за границы» — был позабыт, более того, оказался под запретом. Карьеристы, рядившиеся в тогу ученых, поносили честных деятелей науки.

Партия решительно вскрыла все эти пороки, глубоко чуждые марксизму-ленинизму тенденции и мужественно рассказала о них народу. В книге же обо всем этом ничего не говорится. А казалось бы, авторам следовало уделить особое внимание проблемам преодоления последствий культа личности в нашем народном хозяйстве.

Читатель обнаружит в книге и ряд других серьезных пробелов. Так, например, в ней ни слова не говорится об имевшем место разрыве между закупочными ценами на продукты животноводства и их себестоимостью, о влиянии этих «ножниц» на экономику колхозов и совхозов. Правда, постановление о повышении закупочных цен было опубликовано уже после выхода книги, но экономисты-исследователи, к тому же работающие в научно-исследовательском институте Госэкономсовета, не могли не знать об этих дорого стоивших нашему животноводству «ножницах» и обязаны были сказать о них во весь голос.

Думается также, что следовало бы рассмотреть вопросы о взаимоотношениях плановых органов, государственных отраслевых комитетов, ВСНХ республик, совнархозов,

вскрыть причины текучести кадров, исследовать давно назревшую проблему улучшения размещения промышленности не только по экономическим административным районам, но и внутри них, а также использования столь важного резерва подъема промышленности, как переход на двух-, трехсменную работу...

Известно, как дорого обошлось нашему народному хозяйству очковтирательство, имевшее место в сельском хозяйстве, да и не только в нем. И непонятно, почему авторы предпочли умолчать об этом. Разве не ясно, что надо значительно улучшить систему учета, планирование, а главное — воспитание кадров, чтобы полностью искоренить это явление? Это, несомненно, должно было найти отражение в книге.

Дав богатые и интересные материалы о вновь созданных машинах, авторы почему-то умалчивают об их создателях. В послевоенные годы вышли на широкую дорогу и блестяще себя проявили новые, молодые кадры хозяйственников-организаторов, строителей, конструкторов, технологов, ученых-исследователей во всех областях техники. Но их имен читатель в книге не найдет.

Таковы серьезные пробелы, допущенные авторами и институтом, чей гриф стоит на титульном листе книги.

В чем причина их? В том, очевидно, что многие наши экономисты все еще строят работу в основном на использовании документальных материалов, опубликованных и неопубликованных, и слишком редко непосредственно наблюдают жизнь и осмысливают свои наблюдения. Они подчас все еще далеки от завода, фабрики, колхоза, совхоза, конструкторского бюро, где куется экономическая мощь страны.

А. ИЛЬИН.



## НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Враг всего мира. Фанты и документы. Перевод с немецкого Н. Н. Китаевой и Н. Т. Увайского. Издательство иностранной литературы. М. 1962. 312 стр.

Когда Советская Армия громила гитлеровцев, мы понимали, что кое-кто из столпов Третьей империи успеет укрыться и постарается избежать общей участи, а может, даже и попытается снова поднять голову. Но мы надеялись, что союзники СССР по войне с гитлеровской Германией выпол-

нят обязательства, торжественно взятые ими в Ялте, Тегеране и Потсдаме, и обезвредят недобитых фашистов. Однако ход событий разрушил эти надежды. Западные державы, и прежде всего США, одержимые ненавистью к коммунизму, укрыли недобитых фашистов от справедливого воз-

медия и помогли западногерманскому государству стать оплотом милитаризма и реваншизма, душителем демократии.

Это убедительно показывает сборник, впервые увидевший свет в 1960 году в ГДР и предложенный теперь вниманию наших читателей в переводе на русский язык. Он состоит только из документов и фактов. Подлинные речи государственных и военных деятелей, их заявления для печати, фотографии секретных приказов и донесений, сухие счета фирм за поставку вооружения, выдержки из биографических справочников, календарь слетов военно-фашистских союзов — вот далеко не полный перечень разоблачительных документов, опубликованных в книге.

Недобитые гитлеровцы занимают сегодня руководящие посты в НАТО. Их список открывают председатель постоянного комитета этого блока военный преступник Хойзингер и гитлеровский генерал Шпейдель, командующий сухопутными войсками НАТО. Нечего и говорить, что в собственном доме — в вооруженных силах ФРГ — руководящая роль принадлежит именно битым, озлобленным неудачами и жаждущим реванша гитлеровским генералам. Среди них мы находим на посту генерального инспектора бундесвера генерал-лейтенанта Фёрча, на посту командующего военно-воздушными силами генерала Каммхубера и многих других.

В военном министерстве подвизается Э. Тауберт, в сравнительно недалеком прошлом приближенный Геббельса, руководитель пресловутой фашистской организации «Антикоминтерн».

Можно назвать еще десятки постов, занятых ярыми нацистами. И удивляться тут нечему: ведь важную роль уполномоченного западногерманского парламента по «отбору руководящих кадров для бундесвера» исполняет один из подручных Гитлера — Г. фон Грольман, бывший начальник штаба 2-й танковой армии, а позднее начальник штаба группы армий «ЮГ».

Множество граждан среднего и старшего возраста охвачено всевозможными полувоенными союзами, реваншистскими землячествами... К маю 1959 года в ФРГ насчитывалось около тысячи двухсот милитаристских союзов. Чтобы составить представление об их характере, достаточно познакомиться с приведенным в книге перечнем слетов членов солдатских и эсэсовских сою-

зов, состоявшихся в 1958 году. А сколько соборщ провели различные реваншистские землячества! Одно лишь «Померанское землячество» за три месяца 1959 года провело более девятистот встреч.

По примеру гитлеровцев боннские власти развращают духом реваншизма и детей. Этой цели служит, в частности, преподавание истории в западногерманских школах. Из школьного учебника истории, изданного в 1958 году, исчезли упоминания о трагических событиях недавнего прошлого, знание которых могло бы предостеречь молодежь от желания пускаться в новые военные авантюры. Ни слова нет в учебнике о поджоге рейхстага, о движении Сопротивления в Германии, о лагерях смерти — Бухенвальде, Освенциме и многих других; обойдено молчанием варварское разрушение гитлеровской армией сотен мирных городов и культурных центров Европы.

Документы, собранные в книге «Враг всего мира», убедительно свидетельствуют, что, несмотря на украшающий ФРГ «демократический» фасад, перед нами, в сущности, разновидность прежнего, фашистского государства. И тот, кому такое утверждение может еще показаться преувеличенным, отбросит все сомнения, если задумается над приведенными в книге многочисленными неопровержимыми фактами. Они разоблачают, в частности, и расистские преступления Глобке — одного из ближайших советников канцлера Аденауэра.

В речи на Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и мир глава советского правительства Н. С. Хрущев заявил: «Хотя канцлер Аденауэр изображает из себя противника гитлеровского режима, он опирается на гитлеровских генералов и офицеров, проводит по существу гитлеровскую политику».

Одним из проводников этой фашистской политики был до недавних дней генеральный прокурор ФРГ Френкель, которого под давлением общественного мнения правители Бонна вынуждены были сместить. Семьдесят процентов всех судей и прокуроров в ФРГ в прошлом занимали такие же посты в фашистском государстве. Только одна тысяча из числа этих ярых реакционеров в течение последних пяти лет господства Гитлера послала на плаху не менее шестидесяти тысяч неповинных людей в Германии и оккупированных ею странах. Пособники германского милитаризма заседают ныне в во-

семнадцати тысячах особых политических судах. И судят они так же, как судили в гитлеровском райхе. Обер-прокурор при земельном суде в Дортмунде привлек в 1957 году к суду молодого инженера Вальтера Х. В обвинительном акте указывалось, что Х. демонстрировал в местном клубе советский кинофильм «Мастера русского балета». Вынужденный признать, что этот фильм не имеет «никаких политических тенденций», обер-прокурор тем не менее потребовал наказания обвиняемого, заявив, что тот, возможно, «предложил бы клубу в будущем коммунистические пропагандистские фильмы» (!). Пост президента судебного сената в Целле занимает некий Вёрман, который в 1943 году приговорил к смерти ефрейгера И. Гертслета за то, что тот сорвал со стены в казарме портрет Гитлера. Когда Гертслет, которому удалось избежать казни, узнал Вёрмана и попытался привлечь его к ответственности как заядлого нациста, сам федеральный канцлер Аденауэр поспешил на помощь гитлеровскому палачу.

Не лучше обстоит дело и в ведомстве внешней политики. Восемьдесят процентов боннских дипломатов служили раньше под началом военного преступника Риббентропа. Видным дипломатом считается, например, Нюслейн. В недавнем прошлом он был сотрудником фашистского «протектора» в Праге Гейдриха и был приговорен чехословацким судом к двадцати годам тюремного заключения. Важную политическую роль в качестве представителя фирмы «Стиннес» играет Бесг — гестаповец, бывший уполномоченный Гитлера в Дании. В 1948 году он был приговорен датским судом к смерти, но по просьбе правительства ФРГ приговор не был приведен в исполнение. Беста отправили в ФРГ. Рейнгард Хен был бригаденфюрером СС и личным советником Гимmlера. Теперь он получает от правительства дотацию на издание своих трудов о пресловутом «германском жизненном пространстве».

Время от времени в боннском дипломатическом ведомстве вспыхивают скандалы. То одного, то другого «дипломата» разоблачает прогрессивная печать как активных гестаповцев и убийц, и ими приходится жертвовать. Так, были разоблачены посол ФРГ

в Париже Бланкенхорн и статс-секретарь МИД Хальштейн.

Западногерманские реакционеры запретили не только коммунистическую партию, но и около пятидесяти других демократических или хотя бы сколько-нибудь прогрессивных организаций. Режим ограниченной буржуазной демократии на наших глазах превращается в режим клерикально-милитаристской диктатуры. Культ «фюрера», с помощью которого гитлеровская клика одурманивала народ, снова пушен в ход: для массовой литературы характерен тон вестфальского религиозного журнальчика «Католишер лезебоген»: «Всевышний одарил нас деятелем, шествующим своим путем с чувством непоколебимой уверенности. ...Иметь такого канцлера — это милость божия для народа...» Это сказано не о Гитлере, а об Аденауэре.

Снова звучат бредовые речи о стремлении завоевать всю Восточную Европу вплоть до Урала. При этом большие надежды возлагаются на ядерное оружие. Известный в Западной Германии проповедник Г. Асмуссен публично заявляет, что атомная бомба — это «карающий бич в руках господ бога».

Западногерманские реваншисты угрожают не только социалистическим странам, но и многим другим государствам. В книге приведены убедительные доказательства того, что эта угроза нацелена и против Франции, Австрии, Греции, Италии, Швеции, Англии и против стран Ближнего Востока и США. Влиятельные органы западногерманской печати все громче требуют «доступа к мировым источникам нефти», призывают не считаться в будущем со «стремлением шведов к нейтралитету» и т. д. Аппетиты западногерманских монополий растут не по дням, а по часам.

Разумеется, между замыслами заправил Бонна и их осуществлением — немалая дистанция. Тем не менее опасность для дела мира, исходящую из Западной Германии, нельзя недооценивать. И книга «Враг всего мира» ценна тем, что помогает увидеть эту опасность особенно отчетливо.

О. КУЗНЕЦОВА.

## ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

И. У. Будовниц. *Словарь русской, украинской, белорусской письменности и литературы до XVIII века. Ответственный редактор Д. С. Лихачев.*

Издательство Академии наук СССР. М. 1962. 398 стр.

Так уж исторически сложилось, что слово «подвиг» мы редко произносим применительно к трудам историков, филологов и других кабинетных ученых. Слово это укоренилось в иных областях жизни. Однако наперекор этой традиции следует сказать: создание «Словаря русской, украинской, белорусской письменности и литературы до XVIII века» — это подвиг в самом полном смысле этого слова. Подвиг как по научному значению, так и по нравственному своему содержанию.

Создание такого «Словаря» предполагает самоотверженность, подлинную влюбленность в свою науку, колоссальную трудоспособность, огромную эрудицию. Оно не могло бы быть осуществлено без строжайшей методологии, знания языков древних и новых, без овладения неизданным рукописным богатством старинной русской письменности и во многих странах изданной новейшей историографической литературой...

Словарь охватывает всю старопечатную книжность, древнерусскую письменность за восемь столетий: с X века, когда зарождалась наша культура, в то время еще не выделившая белорусский, украинский и русский национальные потоки, и до XVIII века, когда все три течения обрели самостоятельное русла.

Как явствует из заглавия, «Словарь» посвящен не одной лишь литературе, а письменности вообще и, следовательно, включает в себя помимо произведений художественных, публицистических и прочих памятники деловой жизни, древние акты и надписи; причем среди произведений и документов, привлечших внимание составителя, есть не только дошедшие до нас, но и те, существование которых учеными предполагается: например, восстанавливаемые А. А. Шахматовым летописные своды. Более того, перечень памятников сопровождается в «Словаре» их лаконичной характеристикой и там, где это возможно, — характеристикой авторов: указанием лет их жизни и основных творений.

Кажется, достаточно перелистать «Список сокращений при ссылках на источники» или, скажем, «Указатель имен исследователей», где перечислено полтысячи ученых, боль-

шинство которых — авторы нескольких, а иной раз и многих названных в книге трудов, чтобы убедиться в очевидном: «Словарь» представляет собой энциклопедию древнерусской культуры!

И составить ее вовсе не означало расположить в алфавитном порядке пятнадцать или двадцать тысяч механически списанных у разных авторов фактов. Чтобы разработать великолепную терминологию и создать равноценную библиографию; чтобы разглядеть одно и то же произведение, зачастую выступающее в многочисленных списках под названием то «повести» и «слова», то «истории» и «сказания»; чтобы отыскать наиболее важное среди притч и обиходников, уставов и челобитных, посланий и поучений, расспросных речей и статейных списков; чтобы внести в свод не только жития и письма, откровения и грамоты — обводные, обельные, оберегательные, обетные, обидные, образцовые, оброчные, обыскные, окружные, опасные, опишные, оранные, отводные, отворенные, отворчатые, отдельные, отказные, откупные, отменные, отписные срочные, отпусные — «отпустные», отреченные, отставленные, отступные, отчинные или же (возьмем следующую букву) переветные, перемирные, плужные, повольные, подорожные, подпускные, подтверждающие, позывные, поклонные, полевые, полетные, полные, поместные, поручные, порядные, посильные, послушные, поступные, посыльные, похвальные, правые, приговорные, приписные, приставные, проданные, проезжие, проклятые, пропускные, прощальные, — но также имена авторов, героев, переписчиков, исследователей всех этих памятников, для этого надо знать каждый из них в отдельности и всю древнерусскую культуру в целом.

Не лежи сейчас перед нами «Словарь» и не значься на его обложке имя одного автора, можно было бы с уверенностью, что ничем не рискуешь, ручаться и спорить: решение такой задачи под силу лишь большому коллективу ученых...

Чем же полезно и кому нужно это собрание ценнейших фактов?

В первую очередь, конечно, специалистам по истории древней Руси. Ведь ясно: мало-

мальски серьезный подход к делу подразумевает точный и, по возможности, полный учет исторических памятников, сохранившихся до нынешних дней и оставивших след в нашей древности. Нельзя же писать фундаментальные монографии без фундамента, без ориентации в том, что подлежит осмыслению. Однако до сих пор самые строгие концепции сгруппировались в известном смысле «кустарно», на основании фактов, собранных скорее стихийно, чем планомерно, и потому богатство их доказывало скорее высокое искусство отдельных собирателей, чем высокий уровень всей науки.

Создание «Словаря», в котором проделан превосходный опыт обобщения и систематизации накопленного материала, дает исследователю возможность избавиться от очень трудоемкой кустарщины и, экономя массу времени и сил, охватывать «единым взглядом» несравнимое с прежним количество источников — иными словами, придать искусству строгость и точность науки.

Отныне никто из историков древней Руси не сможет обойтись без созданного Будовничем путеводителя по ее культуре.

Но как ни нужен «Словарь» знатокам русского феодализма, в основной круг его читателей войдут педагоги, исследователи отечественной и зарубежной словесности, филологи и философы. И каждый из них сделает для себя в «Словаре», который, кстати сказать, снабжен столь же кратким, сколь продуманным предметным указателем, интереснейшие открытия.

В «Словаре» можно найти сведения о музыке и медицине (анатомии, фармакопее, физиологии), морском деле и монетном. архитектуре и этнографии, коневодстве и кулинарии, астрономии и астрологии, поэтике и политэкономии, зоологии и математике, иконописи и картографии, иудаизме и католичестве, язычестве и протестантстве. Италии и Египте, Индии и Чехии, Эфиопии и Шлицибергене, табаке и пьянстве, стихах правоучительных и покаянных, художниках и типографах, старообрядчестве и спорах о пресуществлении, свадьбах и пожарах, гаданиях и заговорах, — коротко именно то, что должно быть в энциклопедии.

Поэтому изучающий зарубежную литературу увидит, что новеллы Боккаччо переведены у нас в XVII веке (см. «О господине Петре и о прекрасной Касандре...», «О жене, обольстившей мужа...», «Повесть утешная о куще...» и др.); изучающий философию смо-

жет без труда убедиться, что Эпиктет известен у нас лет шестьсот—семьсот (см. «Повесть Арриана, раба бывшего Эпиктета философа и хитро от него философии навик, створи же повесть сию о Александре гречестем царе, сиречь Македонстем, во время Нерона, кесаря римскаго»); изучающий историю военного искусства обнаружит, что в 1607 году Иван Фомин и Михаил Юрьев перевели вторую часть «Воинской книги» («Kriegsbuch») немца Фронспергера (1520—1575), а в 1621 году ее переводом вновь занялся Онисим Михайлов (см. «Воинская немецкая книга» или «Устав ратных, душечных и других дел, касающихся до военной науки»); кое-кто из исследователей прошлого нашей педагогической мысли, принимавших «Гражданство обычаев детских» за оригинальное сочинение, с удивлением отметит, что это сделанный в XVII веке перевод трактата Эразма Роттердамского «De civilitate morum puerilium»; гордящийся родным городом псковский житель, возможно, с удовлетворением прочтет, что знаменитый некогда во Пскове купец Поганкин занимался, кроме торговли, литературою; наконец каждый читатель, просматривая страницы, где перечисляются Иван, вдовый дьякон, книжный чтец... Иван, дьяк, писец... Иван, игумен киево-печерский... Иван, иеромонах... Иван, юродивый устюжский... Иван Большой Коллак, юродивый московский... Иван Глазатый, предполагаемый (без достаточных оснований) автор «Казанской истории», — вероятно, с особым сочувствием обратит внимание на Ивана, «полонянина полоцкого», писца Псалтири следованной, который был «в заключении и во двоих путах связанный на Волоку Ламьском»...

Не должны, не могут пройти мимо этих Иванов, Макариев, Максимов, мимо судьбы народной, раскрывающейся в скупых строчках справочника, и писатели, особенно исторические романисты. Для них эта книга — бесценный клад, одаряющий подлинным знанием источников, вернее компасом, который показывает, где искать описания обрядов, церемониалов, похорон, присяг, «чтинов», поучающих, «како звонити подобает заутреня» и «входити в транезную», «како подобает кадилу держати» и «молебен пети», «како подобает отцу духовному отпустити сына духовнаго для дальнаго расстояния или мужа ради», «како подобает печь пасквиту пред рождеством Христо-

вым за неделю или меньше и как прилущится»...

Постарайтесь вспомнить, читатель, сколько названий древнерусских произведений хранится в вашей памяти — десять, тридцать, шестьдесят? Каким бы эрудитом вы ни были, счет, вероятнее всего, идет на десятки. В лучшем, редчайшем случае — на сотни. В «Словаре» он идет на тысячи. И потому здесь не пересказать и ничтожной доли того, чем интересна книга. Но, думается, и без дальнейшего пересказа ясно, как обогащает она наше представление о древнерусской культуре, о русской, украинской, белорусской литературе и письменности. И это главное. В этом суть подвига.

Может возникнуть вопрос: не слишком ли восторжен отзыв? Неужто «Словарь» вовсе лишен недостатков и, как говорится, не оставляет желать ничего лучшего?

Нет, желаний он не утоляет. Напротив, возбуждает их во множестве. Хочется, например, чтобы каждая строчка его предельно лаконичных пояснительных текстов превратилась по крайней мере в абзац. Чтобы все книги выпускались у нас с той же тщательностью, с какой выполнено это издание. Чтобы тираж таких книг, которые нужны каждому студенту, преподавателю гуманитарных наук и каждому университету мира, не был необъяснимо мал. Чтобы критика наша, как это случается прискорбно часто, не проходила лениво и равнодушно мимо истинно значительных трудов, составляющих гордость советской науки. Чтобы труды, создающие из деталей и частных ее широкую синтетическую картину (причем не только отражающую, но и подымающую ее уровень), появлялись гораздо чаще.

**М. КОРАЛЛОВ.**



# МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

## ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Н. К. КРУПСКОЙ

**В** одну из встреч с Кларой Цеткин (ранней осенью 1920 года) В. И. Ленин говорил: «— Каждый художник, всякий, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, согласно своему идеалу, независимо ни от чего.

— Но, понятно, мы — коммунисты. Мы не должны стоять, сложа руки, и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты».

ЛИТО (Литературный отдел) Наркомпроса и был одним из органов молодого Советского государства, призванных руководить процессом развития художественной литературы, формировать его результаты.

Впервые вопрос о создании ЛИТО был поставлен еще в декабре 1918 года на созванном народным комиссаром просвещения А. В. Луначарским «особом совещании Наркомпроса и литераторов». На этом совещании Луначарский заявил:

«При новом строительстве жизни,— говорил он,— среди других реформ уже давно чувствовалась потребность упорядочить и дело литературы, поставить ее в наилучшие условия процветания и служения народу. За это дело нельзя было принять сразу... нужно было урегулировать дело книгоиздательства, книготорговли и бумажного производства.

Теперь настало время подумать о создании Литературного отдела как руководящего органа из самих писателей, чтобы обеспечить за литературой максимум свободы; орган этот будет обладать и некоторой административной властью».

«Главный вопрос о Заведующем Литературным отделом счастливо налажен.

Алексей Максимович Горький очень заинтересовался этим делом, согласен стать во главе его и быть заведующим. Литературный отдел будет преследовать 2 задачи:

1) давать работу всем литераторам;

2) ограждать литературу как свободное искусство и содействовать ее процветанию. Отдел будет бережно относиться к новой литературе, новым путям и индивидуальному творчеству.

Литературный отдел будет создан по типу других художественных отделов НКП, в основу его лягут те же принципы общего социалистического плана строительства»<sup>1</sup>.

Однако в 1918 году Наркомпросу пришлось вопрос об организации ЛИТО оставить открытым. Несмотря на то, что Луначарский предполагал создать Литературный отдел из самих писателей, известная часть литераторов встретила предложение о создании ЛИТО с нескрываемым недоброжелательством. На особом совещании Наркомпроса и литераторов по поводу создания ЛИТО Г. Чулков, Н. Эфрос, К. Бальмонт выступили с декларациями о независимости литературы от политики, с воплями о подавлении «свободы личности», свободы художественного творчества и т. п. С другой стороны, в печати раздался голоса, осуждающие Наркомпрос за то, что он намерен поставить во главе ЛИТО Горького («Спросили ли пролетарских писателей, согласны ли они иметь во главе пролетарской литературной школы М. Горького?.. Нет, не спросили») и привлечь к работе в

<sup>1</sup> ЦГАОРСС. ф. 2306. оп. 22, ед. хр. 7.

ЛИТО А. Белого и других старых писателей («испытанных гасителей пролетарского духа») <sup>1</sup>.

А. В. Луначарский вынужден был выступить в печати с соответствующими разъяснениями. Он заявил, что Наркомпрос, создавая ЛИТО и привлекая к сотрудничеству в нем старую интеллигенцию, вовсе не намерен был отказаться от руководства литературой со стороны партии. «Мой неизменный ответ на такие домогательства, исходят ли они из культурных кругов, близких к музейному делу, музыке, изобразительным искусствам, или от служащих Комиссариата вообще,— писал он,— звучит: мы рады вашему сотрудничеству, мы принимаем каждого человека доброй воли, но, извините, руководство еще более или менее длительный период должно остаться за коммунистами или лицами, пользующимися безусловным политическим доверием партии». Комиссариат просвещения «более чем достаточно стоит на страже, чтобы не допустить такого растворения крепкого вина коммунизма в теплой воде новоявленной интеллигентской симпатии».

И далее, поясняя вопрос о создании ЛИТО, Луначарский сообщал: «К сожалению, писатели встретили это довольно

<sup>1</sup> См. статью В. Устинова «Против течения. Духа не угашайте», «Известия», 2 февраля 1919 года, № 24.

церемонно, и после нескольких бесед для меня выяснилось, что и здесь проявляется та же учредилловско-демократическая тенденция,— мы, мол, организуемся, а вы нам передайте часть власти и деньги. Ввиду этого от мысли об организации такого отдела я отказался. Теперь дело становится на новую почву. На днях я делаю доклад Центральному Комитету Партии от имени избранной им и работавшей под моим председательством Комиссии по созданию громадного Государственного Издательства. Регулирование дела русской литературы пойдет через органы этого издательства, как я предполагаю...» <sup>1</sup>.

Но, как и следовало ожидать, создание Государственного издательства не смогло разрешить задачи партийного и государственного руководства процессом развития литературы и «регулирования дела русской литературы» во всем ее объеме. И в конце 1919 года Наркомпрос снова вернулся к вопросу об организации ЛИТО. 11 декабря 1919 года соответствующий проект («проект девятки») был поставлен на обсуждение коллегии Наркомпроса. К протоколу этого заседания коллегии было приложено публикуемое нами впервые «Заключенные» Н. К. Ульяновой-Крупской (сама она на заседании не присутствовала).

<sup>1</sup> «Известия», 6 февраля 1919 года, № 27.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ Н. К. УЛЬЯНОВОЙ ПО ПОВОДУ ПРОЕКТА ЛИТЕРАТУРНОГО ОТДЕЛА ПРИ НАРКОМПРОСЕ

Проект Литературного отдела при Наркомпросе вызван, очевидно, тем ненормальным положением вещей, что вопрос о том, печатать или не печатать то или иное произведение, решается очень часто совершенно случайно. В результате книжный рынок наводняется всякой чепухой, совершенно не нужной массе читателей. Необходимо, конечно, чтобы дело решала вполне компетентная коллегия, особенно при наличии государственного издательства, которое в завершённой форме является монополией на право издательства всех произведений. Эта монополия заставляет особенно внимательно отнестись к организации литературно-художественного отдела.

Вполне понятно стремление тех писателей, которые думают, что войдут в колле-

гию или «Литературный совет», к предлагаемой форме организации Литературного отдела. Но с точки зрения широкой массы как читателей, так и писателей предлагаемая форма организации мало целесообразна. Она нецелесообразна потому, что дает громадную власть в руки кучки людей, власть укреплять свое литературное направление, навязывать его массам и подавлять всякое новое направление, порождаемое новой жизнью. Это было бы допустимо, если бы девятка была бесспорна, если бы и с точки зрения талантливости, и с точки зрения литературного направления, и с точки зрения добросовестного отношения к начинающим писателям—девятка стояла бы вне сомнений.

Но откуда же возьмется в данное время работоспособная, не номинальная только,



девятка? Горький, может быть Серафимович? Может, пролетарские писатели? Кто может определить, из кого должна состоять девятка? Это мог бы определить массовый читатель. Он вполне определил свое мнение относительно Горького, но относительно других?

Мы говорим о пролетарских писателях. Но чем определяется прилагательное «пролетарский»? Происхождением? Нет. Тем, что он говорил о машине, о ступе колес, о мощной руке пролетария? Нет, и не это. Пролетарский или не пролетарский поэт, это могли бы определить лишь сами рабочие массы. Если это их поэт, если он выражает их переживания, их надежды и стремления, они будут помнить его навсегда, они сделают его имя популярным. Только читатель определит значение писателя. Так должно быть. Девятка будет проводить и навязывать свое направление. С точки зрения авторов, верящих в то, что их направление самое лучшее, так и должно быть, но вряд ли это желательно с точки зрения читателя.

Складывающаяся, новая жизнь породит, вероятно, новых писателей, новое направление в литературе, живое, заразительное, и девятка будет невольно только тормозить порождение этого нового литературного направления. Организация нужна, пусть это будет девятка, но она должна иметь гораздо меньше прав. Она не может брать под свое монопольное влияние союзы, ассоциации, клубы, кружки. Все эти организации

должны иметь право на самоопределение, право выбирать то литературное направление, которое им понравится. Нужно придумать также, как дать возможность широким массам выявлять отношение к предлагаемым литературным произведениям, раньше это определялось количеством изданий, сейчас нужны другие способы, надо определить также тот литературный минимум, который дает каждому пишущему право на напечатание своего произведения в тысяче экземпляров хотя бы...

Вообще надо ограничить до минимума власть девятки. Если в производстве монополия жиднется на учете погрешностей, то в области искусства потребности масс не так-то легко учесть. В настоящее время они далеко еще не учтены, и необходимо дать возможность с самых разных сторон подходить к пролетарию, чтобы выявить его художественные потребности. Нельзя закрывать дорогу другим формам художественного творчества, хотя бы современному литературному течению эти формы и казались отжившими или наивными.

Надо найти способ выявления художественных потребностей. Это громадное дело, выдвигаемое самой жизнью.

В проекте девятки на это и намек нет, а есть лишь указание на снабжение девятки всеми орудиями укрепления существующего литературного направления, и потому проект в данной его форме кажется мне неприемлемым.

\* \* \*

Документ этот представляет, на наш взгляд, исключительный интерес. Н. К. Крупская, несомненно, исходит в нем из ленинского принципа партийности литературы и ленинского понимания политики партии в литературе. Для нее совершенно очевидно, что в условиях советского строя литература должна быть частью общего дела социалистического строительства и поэтому, естественно, должна направляться партией и Советским государством.

Высказываясь в принципе за создание ЛИТО, Н. К. Крупская вместе с тем предлагает подойти к вопросу с предельной вдумчивостью. Для нее очевидно, что руководство литературой — дело сложное, требующее постоянного внимания к специфике искусства, особо тактичного и компетентного подхода. Н. К. Крупская и здесь исхо-

дила из ленинских мнений и установок. «Спору нет, — писал В. И. Ленин, — литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством. Спору нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию».

В этой связи Н. К. Крупская и высказалась против той формы организации ЛИТО, которая была предложена в проекте.

Нечего и говорить о том, что в условиях литературного движения первых лет революции мысли, высказанные Н. К. Крупской в «Заключении», были особенно актуальны. Известно, что к руководству литературой (в Наркомпросе, в частности) стремились

и последыши литературного декаданса и либерализма, и футуристы, и пролеткультовцы. Опасения Н. К. Крупской насчет монополии девятки имели очень реальный смысл.

Как коллегия Наркомпроса отнеслась к «Заключению» Н. К. Крупской, неизвестно. Так или иначе решением коллегии НКП от 11 декабря 1919 года ЛИТО был создан в следующем составе: председатель — нарком А. В. Луначарский, заместитель председателя — В. Я. Брюсов, члены коллегии — А. С. Серафимович, Вяч. Иванов, М. Горький, А. Блок, Ю. К. Балтрушайтис и альтернативно по избранию ЦК Пролеткульта М. Герасимов или В. Кириллов. Ученым секретарем был назначен Д. И. Марьянов, кандидатами коллегии: О. Брик, П. Н. Сакулиц, Ю. Айхенвальд, М. Гершензон, П. Рукавишников. Было принято и «Положение о ЛИТО». Основная задача ЛИТО, как было сказано в этом «Положении», состояла в том, чтобы «регулировать все отношения государства к литературно-художественной деятельности страны», выявлять «скрытые в народе литературные дарования и содействовать их росту».

При утверждении «Положения» в представленный проект были внесены существенные изменения. К сожалению, в протоколе заседания коллегии Наркомпроса записаны лишь окончательные формулировки тех или иных по-новому отредактированных пунктов «Положения», а проект не обнаружен, и поэтому судить о характере внесенных в него изменений можно только предположительно. Однако вполне вероятно, что при этом были учтены и замечания Н. К. Крупской. Так, пункт третий «Положения» было постановлено редактировать следующим образом: «Литературный отдел оказывает поддержку живым литературным, литературно-художественным группам, союзам, клубам и кружкам, стремясь использовать их в интересах литературного просвещения трудового народа». По-новому был отредактирован среди других и четырнадцатый пункт «Положения», в частности следующий параграф: «Литературный отдел помогает писательским группам осуществлять свои задания в сфере изящной литературы».

Можно предположить, что эти пункты были сформулированы по-новому не без

влияния Н. К. Крупской: их смысл и слова «оказывать поддержку», «помогать» наиболее соответствуют духу ее «Заключения»<sup>1</sup>.

Более несомненно другое: такие важнейшие решения Центрального Комитета партии, как «О пролеткультах» (1920) и «О политике партии в области художественной литературы» (1925), подтвердили правильность основных тенденций и положений «Заключения» Н. К. Крупской.

Письмо ЦК РКП «О пролеткультах» отвергло притязания Пролеткульта на независимость от государства и партии и установило, что его творческая работа должна стать частью работы Наркомпроса как органа, осуществляющего пролетарскую диктатуру в области культуры. В соответствии с этим центральный орган Пролеткульта был введен в Наркомпрос на положении отдела, подчиненного Наркомпросу и руководящегося в работе направлением, диктуемым Наркомпросу РКП.

Вместе с тем ЦК РКП высказывается в своем письме против мелочной опеки над художественным творчеством реорганизуемых пролеткультов.

Дальнейшее развитие основные принципы партийного руководства литературой получили в известной резолюции ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы». Здесь утверждалось, что, направляя развитие литературы и помогая росту пролетарских писателей и

<sup>1</sup> ЦГАОРСС, 2306, оп. 1, ед. хр. 182, лл. 241—242.

С образованием ЛИТО связан и следующий, не лишенный интереса документ, находящийся в ЦГАОРСС, — специальное отношение «О взаимоотношениях Литературного отдела Наркомпроса с литературной коллегией Государственного издательства», направленное Наркомпросом в декабре 1919 года В. В. Воровскому, тогда заведующему Госиздатом. В нем было сказано: «ЛИТО в своих решениях по поводу издания книг по изящной литературе объединяет свою работу с Литературной коллегией Государственного издательства, для чего имеет общие заседания, и в вопросах Литературного издательства существует одна коллегия для обоих учреждений. Своего издательского аппарата Литотдел не имеет. В остальных же вопросах и работах Литотдел Наркомпроса работает самостоятельно по намеченному им положению».

Рукою В. В. Воровского на этом отношении написано: «Возражений против этого плана я лично не имею. В. Воровский» (ЦГАОРСС, 2306, оп. 1, ед. хр. 182, л. 243).

распознавая общественно-классовое содержание литературных течений, партия не может связывать себя приверженностью к какому-либо направлению в области художественной формы, что, руководя литературой в целом, партия не может поддерживать какую-либо одну фракцию литературы и ее взгляды на форму и стиль.

«Поэтому,— говорилось в резолюции,— партия должна высказываться за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области. Всякое иное решение вопроса было бы казенно-бюрократическим псевдорешением. Точно так же недопустима декретом или партийным постановлением легализованная мо-

нополия на литературно-издательское дело какой-либо группы или литературной организации».

И далее в резолюции ЦК РКП(б) указывалось: «Партия должна всемерно искоренять попытки самодельного и некомпетентного административного вмешательства в литературные дела; партия должна озаботиться тщательным подбором лиц в тех учреждениях, которые ведают делами печати, чтобы обеспечить действительно правильное, полезное и тактичное руководство нашей литературой».

*Публикация и примечание*  
**В. Максимовой.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**БИБЛИОТЕЧКА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР.** Серия массовых брошюр. Редакционная коллегия: Н. Н. Иноземцев, В. Г. Корионов, М. А. Харламов. Госполитиздат. М. 1962.

Наша страна поддерживает ныне оживленные дипломатические отношения почти с семьдесятю странами, торговые — более чем с восьмьюдесятью странами, а культурные связи — более чем со ста странами. Мирорлюбивой внешней политике советского государства, совершенно новому типу международных отношений между странами социалистического лагеря посвящена «Библиотечка внешней политики СССР», выпущенная Государственным издательством политической литературы.

«Библиотечка» состоит из восьми брошюр. Открывает ее брошюра В. Гранова «Главная цель внешней политики СССР». В ней убедительно показано, что борьба за мир вытекает из самой природы социалистического строя, а единственно разумная и правильная в наше время политика — политика мирного сосуществования. Это генеральная линия внешней политики Советского государства, она закреплена в Программе КПСС.

Одной из основных проблем современности — разоружению — посвящена брошюра Н. Аркадьева «Всеобщее разоружение — путь к прочному миру». Автор приводит красноречивые цифры, связанные с войнами и подготовкой к ним. Войны обошлись человечеству в 115 квинтильонов (миллиардов миллиардов) долларов. За 5559 лет люди пережили 14 513 войн, в которых погибло 3640 миллионов человек, то есть больше, чем все нынешнее население нашей планеты. Одна только минувшая война унесла 50 миллионов человеческих жизней. В брошюре приведены многочисленные примеры мирных усилий Советского Союза с ноября 1917 года до наших дней. И если эти усилия, особенно борьба за всеобщее разоружение, пока не привели к желаемым результатам, то в этом не наша вина.

«Покончить с остатками второй мировой войны в Европе» — так называется брошюра В. Михайлова, посвященная германскому вопросу. На протяжении всех послевоенных лет вопрос этот остается предметом острой политической борьбы, постоянным источником напряженности в Европе и во всем мире.

Об отношениях Советского Союза с экономически слабо развитыми странами Азии, Африки и Латинской Америки рассказывают С. Скачков, В. Сергеев и Г. Шевяков в брошюре «Помощь и сотрудничество во имя мира».

Брошюра «Советский Союз и ООН» Вл. Ушакова освещает историю создания Организации Объединенных Наций и борьбу Советского Союза за превращение ООН в эффективный инструмент мира и международной безопасности.

Б. Леонтьев в брошюре «Сердца миллионов — с нами» убедительно показывает, что внешняя политика СССР отвечает интересам всех народов.

Великому содружеству народов социалистических стран посвящена брошюра «Укрепление и развитие мировой системы социализма» Д. Караунджева, В. Крючкова, Л. Николаева.

И наконец в брошюре Л. Харламовой «Колониализму нет места на земле» рассказано об истории возникновения грабительской колониальной политики и борьбе народов против нее.

Написанные просто и доходчиво, основанные на самых новейших данных, эти брошюры дают четкое представление об активной, последовательно мирорлюбивой внешней политике Советского Союза.

В. Молчанов.

★

**Е. Н. ШКЛЯР. Борьба трудящихся Литовско-Белорусской ССР с иностранными интервентами и внутренней контрреволюцией (1919—1920 гг.).** Госиздат БССР. Минск. 1962. 177 стр. Цена 32 к.

То, что вы прочитали в заголовке, не опечатка, Литовско-Белорусской республики в составе Советского Союза нет, но она существовала. В годы гражданской войны и интервенции это был форпост диктатуры пролетариата на западе Советской страны.

В обстановке, сложившейся к началу 1919 года, создание «Литбела» стало исторически необходимо. При образовании Литовско-Белорусской ССР учитывалась общность исторической судьбы трудящихся Литвы и Белоруссии, совместно боровшихся против царизма, а также общность их быта, экономики и культуры. Образование этой республики дало возможность усилить борьбу против национальной буржуазии,

которая стремилась внести раскол в ряды трудящихся, уничтожить советскую власть и восстановить капитализм. Литовско-Белорусская республика просуществовала недолго — около полутора лет, — но она оставила след в истории нашего государства. в летописи его борьбы за свою свободу и независимость.

Автор книги Евгения Шкляр и редакторский коллектив проделали большую работу по розыску документов и архивных материалов, чтобы наиболее полно осветить историю социалистического строительства в Литовско-Белорусской ССР, показать деятельность Коммунистической партии и общественных организаций Литвы и Белоруссии в первые годы становления советской власти.

Использование и публикация новых исторических документов, которые стали возможны после разоблачения культа личности И. В. Сталина, позволят нашим исследователям — историкам и юристам устранить серьезные искажения, допускаящиеся в освещении борьбы трудящихся Литовско-Белорусской ССР с иностранными интервентами и внутренней контрреволюцией

Г. Харченко.

★

**П. БИКАР.** Фредерик Жолио-Кюри и атомная энергия. Перевод с французского. Госатомиздат. М. 1962. 221 стр. Цена 90 к.

Это уже не первая книга о жизни и деятельности замечательного сына Франции. Однако новое жизнеописание Ф. Жолио-Кюри, принадлежащее перу профессора Пьера Бикара, отличается от прежде написанных широтой содержания. Фредерик Жолио-Кюри предстает перед нами и как ученый, и как общественный деятель, и как обаятельный человек. Автор — близкий друг и сотрудник героя своей книги. Он сумел показать ученого — как ученого, общественного деятеля — как его единомышленник, человека — как друг. И в этом особое обаяние книги.

Скупыми, но выразительными средствами описывает автор путь Жолио-Кюри в науку, показывает, какое огромное влияние оказала на него Мария Кюри, как молодой ученый добивался своих первых успехов. А дальше — открытие искусственной радиоактивности, цепной реакции урана, пуск первого во Франции ядерного реактора...

Не все было гладко на этом пути. Жолио-Кюри понял, что наука не может существовать изолированно от общества, что ее задача — служить людям, добру, помогать строить новую жизнь и новые общественные отношения.

Он расстается с «башней из слоновой кости», чтобы принять участие в битвах за справедливость и мир. В 1942 году он вступает в Коммунистическую партию. «Я стал коммунистом потому, — заявил он, — что был патриотом». Его политическим кредо стала борьба против агрессивной войны, защита справедливого общества, созданного в Советском Союзе. «Прогрессивные ученые,

ученые-коммунисты, — говорит он, — никогда не дадут и крупницы своих знаний на службу войне против Советского Союза. Мы будем стоять твердо, поддерживаемые внутренним убеждением, что, поступая так, мы служим делу Франции и всего человечества».

В последней главе «Портрет человека» рассказывается, в частности, о любви Жолио-Кюри к музыке, о его занятиях живописью. Книгу дополняют избранные отрывки из произведений выдающегося ученого и общественного деятеля.

А. Черняк.

★

**Л. Н. ВЕЛИКОВИЧ.** Церковь и «народный капитализм». Издательство Академии наук СССР. М. 1962. 120 стр. Цена 18 к.

Адвокаты монополий, стремясь обелить капитализм, само название которого, как выразился недавно американский католический деятель Брюкбакер, «вызывает ужас у людей», придумывают новые, «менее пугающие» названия для современной капиталистической системы. Тут и «экономический гуманизм», и «демократический капитализм», и многие другие. Но наиболее благозвучным и спасительным им кажется определение «народный капитализм».

Более всего афишируют «народный капитализм» в США и ФРГ. Монополисты не щадят средств на его пропаганду. Главным их помощником выступает церковь, особенно католическая. Л. Великович убедительно показывает в своей книге, как религиозные организации США, ФРГ, Италии, Франции и других стран всячески внушают своей пока еще многочисленной пастве лживые идеи «народного капитализма», как они маскируют этим лозунгом хищническую антинародную сущность буржуазного строя, как ведут борьбу против коммунистических идей, все глубже проникающих в народные массы западных стран.

Церковь провозглашает «народный капитализм» тем идеалом, к которому должны стремиться все страны. Она агрессивно настроена к тем народам, которые отвергли капитализм и избрали путь социалистического развития. Церковь оправдывает подготовку новой войны. Церковь освящает наступление монополий на жизненный уровень трудящихся и в то же время лицемерно убеждает верующих в своей заботе о рабочем классе. Она проникает в рабочую среду под видом рабочих-священников, чтобы доказать трудящимся, будто духовенство не имеет ничего общего с капитализмом, что оно их надежный защитник. Правда, опыт со священниками-рабочими во Франции оказался неудачным для Ватикана: хлебнув горькой жизни пролетариев, часть их подпала под влияние пролетарской среды и стала принимать участие в классовой борьбе.

Автор приводит большое число фактов. Перед читателем встает отвратительный облик современного католицизма и его вати-

канской иерархии, тесными узами связанной с капиталистическими монополиями и наживающейся на наивной вере простых людей.

Л. Лерер.

★

**ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА.** Краткий политико-экономический справочник. Госполитиздат. М. 1962. 312 стр. Цена 55 к.

Составители и авторы этого очень нужного и полезного справочника собрали и обобщили данные о двадцати латиноамериканских республиках, занимающих в общей сложности более двадцати миллионов квадратных километров территории американского континента.

В разделе «Природа и люди» рассказывается о народонаселении латиноамериканских республик, природных богатствах, животном и растительном мире, хозяйственной жизни. С интересом читается исторический очерк. Свыше трех столетий за латиноамериканский континент цепко держались испанские и португальские завоеватели. Они истребили, довели до вымирания миллионы коренных жителей южноамериканского континента и уничтожили памятники ценнейшей индейской культуры. Человечество навсегда утратило возможность видеть творения индейских народов, населявших Америку до прихода туда испанцев.

Во втором разделе справочника содержатся политико-экономические сведения о каждой из латиноамериканских республик в отдельности. Здесь же дается общая характеристика экономики, состояния сельского хозяйства и промышленности, транспорта, финансов, внешней торговли, просвещения и здравоохранения.

Книга рассказывает о борьбе народов Латинской Америки против порабощения их империалистами США, о все возрастающей роли латиноамериканских государств в международной жизни, о маяке свободы на американском континенте — острове Куба. Борьба народов Латинской Америки, сливаясь с национально-освободительной борьбой народов других стран, подталкивает и размывает здание мирового империализма, обостряет противоречия в его лагере, ведет к дальнейшему изменению сил в пользу мира, демократии и прогресса.

В приложении к книге читатель найдет справку о профсоюзных, политических и экономических межамериканских организациях.

Можно лишь пожалеть, что в ряде глав отсутствуют статистические данные за 1961 год.

С. Воробьев.

★

**АНАТОЛИЙ КЛЕЩЕНКО.** Распутица кончается в апреле. «Советский писатель». М.—Л. 1962. 228 стр. Цена 44 к.

Первая книга рассказов Ан. Клещенко «Избушка под лиственнымидами» не прошла незамеченной. Читатели и критики отмечали способность автора красочно живописать

таежную природу, умение находить такие слова, которые заставляют зримо представить изображаемое. Однако образы героев рассказов — охотников, лесорубов, шахтеров были написаны несколько упрощенно. Характеры и поступки страдали прямолинейностью.

Перед нами новая повесть писателя — «Распутица кончается в апреле». Действие происходит на новой лесосеке, в девяносто километрах от ближайшего города. Интерес писателя — в сфере человеческих характеров, отношений, судеб. Если он обращается к пейзажным зарисовкам, то для того, чтобы еще больше оттенить и состояние души своих героев и обстановку, в которой они действуют. Короткие, сделанные как бы мимоходом картины природы тем не менее привлекают своей точностью и поэтичностью.

Виктор Шугин — центральный, наиболее удавшийся персонаж повести — человек, оступившийся однажды и лишь недавно вышедший из заключения. Характер — острый, колючий, неровный. Свои былые похождения он считает за доблесть. Первую любовь к молоденькой уборщице Насте и радость, испытываемую от удачной работы в лесу, он старается скрыть от товарищей. Он стыдится этих чувств. Тонко, ненавязчиво писатель показывает, как постепенно происходит процесс возрождения, обновления души героя.

Настя — натура добрая, мягкая, с несколько наивным, но своим ясным и честным представлением о жизни. Некоторая условность ее образа, идущая вначале от слишком уж рационалистического противопоставления Виктору, потом пропадает. Ошибки, заблуждения Насти, ее неумение увидеть пустую душу веселого, уверенного в себе баяниста Усачева происходят от ее неопытности, а жажда добра и справедливости помогает ей разобраться в людях.

Настя, как и Виктор Шугин, проходит свой путь познания жизни, и то, что в конце концов они находят друг друга, воспринимается и как моральная победа героев и как естественное завершение их судеб.

Г. Койранская.

★

**ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР.** Актерский цех. Стихи. Государственное издательство художественной литературы УзССР. Ташкент. 1962. 64 стр. Цена 10 к.

Автор этой книги — Владимир Рецептер — по профессии актер (совсем недавно — во время летних гастролей Ташкентского театра — он порадовал москвичей талантливым исполнением Гамлета), и мир искусства — это мир его обыденной жизни, мир его будничного труда. Именно через детали этого мира открываются ему основные ценности жизни.

Последних репетиций гонка и суета тебя добыт,  
и, наконец, ударом гонга  
вдруг обозначится дебют.

И ты шагнешь к высокой рампе,  
такой пугающей сперва,  
возьмешь свое волнение в рамки  
и скажешь первые слова...

Это, конечно, стихи о специфически актерских переживаниях, но говорят они не только о них, а вообще о жизни, о мужестве, которого она требует, о том, что это мужество не уничтожает начисто праздничного волнения, а только берет его в рамки, заставляет «работать».

Или эти стихи—разве они только о скромном труде суфлера?

Суфлер, неусыпная стража,  
седа, как лунь, голова,  
он выручит, вспомнит, подскажет  
забытые мною слова.

Ведь им принималась присяга  
беречь необкраденной речь.  
Какая слепая отвага —  
полюксни на будику обречь!

Какая негордая участь —  
быть нужным  
и быть не в чести,  
полюксни под сценой промучась,  
ни разу по ней не пройди!..

Дело не в том, что в этих строках скрывается какое-либо иносказание — стихотворение не басня, — дело в том, что при чтении его думаешь не только о старом суфлере и даже не только о ценности всякого скромного и незаметного труда, а о смысле жизни, о ценности подвига.

Есть у Ресептера и удачные стихи, посвященные другим темам (например, «Летят утки»), хотя в общем они более литературны, и самое интересное, что есть в его сборнике, — это стихи о театре. Они больше всех остальных говорят о жизни, вызваны ею. Это еще раз доказывает старую истину: жизнь (а следовательно, и поэзию) можно увидеть везде. Ведь проявляется и открывается жизнь во всем. Надо только (хорошее «только»!) уметь это видеть.

За обаяние жизни, которым светятся лучшие вещи сборника, читатель простит несовершенство многих стихов и строк и даже грубые языковые погрешности, еще встречающиеся в книге молодого поэта.

Будем надеяться, что сам автор их себе не простит.

Н. К.

★

**С. С. ПРОКОФЬЕВ.** Материалы. Документы. Воспоминания. Издание второе, дополненное. Государственное музыкальное издательство. М., 1961. 708 стр. Цена 2 р. 90 к.

Прочтя эту книгу, вы узнаете живого Прокофьева — человека и композитора.

Великий музыкант, чьи новаторские произведения становятся все более популярными во всем мире, и обаятельный человек — добрый, непосредственный, горячо любящий природу, детей, труд во всех его проявлениях. Принципиальность непримиримая, отвлечение к приспособленчеству, ненависть к пошлости, бездарности, самодовольству. Работоспособность феноменальная. Таким

был Прокофьев. Таким он и возникает на страницах сборника его памяти.

В минувшем году выпущено второе, дополненное издание этого коллективного труда, подготовленного исследователем и пропагандистом творчества Прокофьева С. И. Шлифштейном. Он нашел для нового издания новые для нас вещи в литературном наследии композитора. Повесть о детстве, например, представляет огромный интерес: подробности формирования творческой и человеческой личности великого музыканта, его недоюжные способности беллетриста — все здесь ново, все интересно. Очень интересны также критические заметки композитора. Прокофьев-рецензент пишет просто. Никаких специальных терминов, никакой «музыкаведческой зауми» в его статьях о музыке нет: они профессиональны и доступны, полны высокой заинтересованности в прогрессе музыки и музыкантов и написаны не для «посвященных», как пишут иные музыковеды, а для всех людей.

В сочинениях Прокофьева, излагающих события его жизни, его творческое и этическое кредо, — главный интерес сборника. Сборник привлекателен и воспоминаниями близких, учителей, сверстников, соратников по работе, статьями Улановой, Хачатуряна, Нейгауза, Рихтера и других, перепиской Прокофьева с Глиэром и Мясковским.

Все шесть разделов книги (первые три — литературное наследство Прокофьева, следующие два — воспоминания и высказывания о нем, и в заключение — указатель всех сочинений композитора) построены таким образом, что вы словно сами идете об руку с музыкой, испытывая к ней все возрастающий интерес.

Анна Илупина.

★

**ВОПРОСЫ КИНОДРАМАТУРГИИ.** Выпуск четвертый. «Искусство». М. 1962. 437 стр. Цена 1 р. 63 к.

Современное кино находится в поисках. В поисках, спорах и современная кинокритика. Споры эти в основном ведутся о том, в чем же состоят приметы новых, сегодняшних форм выражения жизни на экране.

Анализируя фильмы последних лет, французские критики заключают, что новое в киноискусстве — это отказ от хорошо построенной фабулы, это стремление отбросить правила сюжетосложения, предельная «дедраматизация».

Советские кинокритики в своем большинстве и многие деятели кино социалистических стран иначе отвечают на этот вопрос. «Драматургия кино не рухнет, а обретает новую жизнь, ищет новые, более емкие жанры и формы, способные передать более сложный мир человеческих отношений», — пишет И. Вайсфельд в статье «Время открытий». А В. Шкловский ведет наступление по вопросам теории, так сказать, в заповеднике противника: он раскрывает единство (а не разорванность) в драматургическом восприятии «Сладкой жизни»

Федерико Феллини. Тонкий анализ исследователя выявляет принцип драматизации материала в признанном шедевре... д е д р а м а т и з а ц и и. «Единство этой картины — единство отчаяния и страха. И в то же время — это единство газетной полосы, в которой напечатаны происшествия. Происшествия собраны по признаку своей необычайности, поразительности, нечеловечности, небывалости. Но так, как день идет за днем, эти небывалости повторяются, образуя быт гибнувших «Содома и Гоморры» (статья «Конфликт и его развитие в кинопроизведении»).

Развитию современного киноязыка мешает, по мнению польского теоретика Ежи Плажевского (статья «Архитектоника сценария»), совсем не наличие продуманной, строго построенной кинодраматургии. Разбирая лучшие польские фильмы последних лет («Пепел и алмаз», «Эронка» и другие), исследователь полемизирует с французскими теоретиками, отстаивая сценарий с четкой композицией, с точными приметам времени, и приходит к выводу, что классическая драматургия экрана «является не анахроническим академизмом, обреченным на отмирание, а формой, по-прежнему полезной и по-прежнему недостаточно известной».

В свете основных теоретических положений сборника особое значение обретает публикация сценарных разработок С. Эйзенштейна, его дневников и неоконченных статей. Мысли великого режиссера и сегодня помогают в борьбе за самобытность реалистического киноязыка.

Один из разделов сборника целиком посвящен анализу современных кинопроизведений. Статьи К. Парамоновой, Л. Кожинной, Э. Мальковой, к сожалению, несколько оторваны от основной тематики сборника. Разбирая отдельные произведения («Коммунист», «Весна на Заречной улице», «Отчий дом», «Человек родился») и высказывая справедливые замечания, авторы не пытаются перейти к общим тенденциям формирования нового языка в отечественном кино последнего периода.

Общему направлению сборника — поиску признаков нового — больше отвечают интересные работы Арк. Снесарева («Заметки о драматургии мультфильма») и Ан. Вартакова («Прямые и косвенные пути разработки сюжета»). Большую ценность представляют публикации из наследия А. Довженко и Д. Вертова — новаторов киноязыка.

С. Корытная.

★

**БРАЗИЛЬСКИЕ СКАЗКИ И ЛЕГЕНДЫ.** Перевод с португальского. Гослитиздат. М. 1962. 240 стр. Цена 36 к.

Сказки каждого народа имеют свой ярко выраженный национальный характер. Бразильская культура формировалась в особых исторических условиях, и бразильские сказки и легенды — это слияние фольклора трех народностей: индейцев, негров и португальцев.

Самым значительным и своеобразным источником бразильского фольклора являются индейские легенды и мифы.

Почти все сказки и легенды невелички, но они проникнуты изумительным поэтическим восприятием жизни.

По содержанию и по форме они просты и безыскусны. В них находит большое отражение богатый, необычайный для нас животный и растительный мир Бразилии. Значительное место занимают сказки о животных. Некоторые из них приближаются к нравоучительной басне.

В предисловии мы читаем, что публикуются «наиболее самобытные, яркие и интересные сказки и легенды, не имеющие подобий в фольклоре стран Европы». И это действительно так, их отличает яркость, красочность, своеобразие. Маленькие, простые, но изящные, они рассказывают о происхождении различных животных, раскрывают отношение людей к непознанным явлениям природы, рассказывают, «Откуда взялась ночь», «Как появились звезды», «Как люди украли огонь» и «Как Баира добыл стрелы».

Сейчас миллионы людей, живущих под созвездием Южного Креста, проникнуты желанием освободиться от национального ига, которое мешает продвижению вперед.

«Свобода — наша надежда!» — говорят бразильцы. А в словах бамбука в одной из сказок выражена мудрость бразильского народа: «Я умираю, это правда, но возрождаюсь в моих сыновьях... Взгляни вокруг меня — повсюду мои сыновья».

Будущее Бразилии — в их детях, в подрастающем поколении.

А. Трубников.

★

**И. Д. ШКУНАЕВА.** Современная французская литература (Очерки). Издательство ИМО. М. 1961. 334 стр. Цена 1 р. 6 к.

Книга заинтересовала читателей и быстро разошлась: это понятно. В ней идет речь главным образом о тех французских писателях, которые еще очень слабо изучены нашей критикой (Сент-Экзюпери, Дюамель, Мориак), подчас даже с писателях, которые пользуются громкой всемирной славой, а в нас почти или совсем не переводились (Ж.-П. Сартр, А. Камю, Ф. Саган). И. Шкунаева умеет рассказывать о сложных явлениях западной литературы живо и общедоступно, у нее естественно совмещаются информация и анализ; ложность идейных позиций буржуазных писателей раскрывается убедительно и ясно, без набивших оскомину пророческих фраз. Удачны, содержательны в ее книге разборы романов Сартра «Тошнота» и «Дороги свободы», романов Камю «Чума» и «Чужой»: жизненный материал этих произведений, как показывает критик, вступает в весьма драматические отношения с философией экзистенциализма, иной раз не столько утверждает эту философию, сколько подтачивает и подрывает ее.

И. Шкунаевой удается быть полемически беспощадной, когда она говорит о писате-



лях современной реакции, будь то Селин или Жюль Ромен; удается ясно и без упрощения охарактеризовать одаренную — и, к сожалению, поддающуюся влиянию буржуазных вкусов — молодую романистку Франсуазу Саган; удается показать внутренние противоречия столь крупного и идейно далекого от нас художника, как Ф. Мориак. Тот «конфликт между ортодоксальным католицизмом и воплощением католического мироощущения в литературе», который отмечен критиком у некоторых крупных писателей Франции, — характерное знамение времени: в этом смысле разбор творчества Мориака у Шкунаевой в какой-то мере помогает нам лучше понять и Г. Бёлля и Грэма Грина...

Есть у Шкунаевой и просчеты и пробы — они были отмечены Л. Зониной в «Вопросах литературы». Действительно, нельзя говорить всерьез о творчестве Сартра, ограничиваясь повествовательной прозой и оставляя в стороне его драматургию; нельзя говорить о передовом отряде французской литературы, даже об одних только прозаиках, так поверхностно-обзорно, как это сделано во вступительной главе книги, — лучше было бы вовсе обойтись без этой главы, которая портит впечатление от книги в целом. Встречаются мелкие, но досадные погрешности. Американский писатель Мелвилл, автор «Моби Дика», назван английским писателем, Береника — героиня романа Арагона «Орельен» — переименована в Беатрису.

«Очерки» Шкунаевой со всем, что в них есть удачного и неудачного, воспринимаются как первый набросок интересно задуманного труда о современной французской литературе, — труда, который обязательно должен быть продолжен. Но и в нынешнем своем виде книга очень много дает читателю. У Шкунаевой есть живое отношение к литературе как искусству слова, желание не отмахнуться от запутанных идеологических явлений, а разобраться в них.

Т. Мотылева.

★

**Л. ВАСИЛЬЕВ.** Внушение на расстоянии (Заметки физиолога). Госполитиздат. М. 1962. 160 стр. Цена 20 к.

Скептическое или, вернее, ироническое отношение к телепатии стало одним из прочных предрассудков «от образованности». При одном упоминании о внушении или передаче образов на расстоянии невольно возникают ассоциации со спиритизмом и медиумами. Многие читатели, очевидно, вспомнят «Плоды просвещения», псевдоученые речи профессора и рассуждения Леонида Федоровича Звездинцева — горячего поклонника «духовных явлений». Вспомнят и спросят: новая книга, изданная в 1962 году, снова «об этом»? И да и нет...

Более или менее достоверные наблюдения и обоснованные сведения о телепатических явлениях, то есть об особой форме информации и взаимосвязи нервно-психических процессов живых организмов, относятся к восьмидесятым годам прошлого века. Именно в этот период особенно модным в «просвещенных» буржуазных кругах стал спиритизм. К тому же первые исследователи телепатии — психологи и физиологи (Баррэт, Майерс и другие) — были сторонниками идеализма. Естественно, материалистически мыслящие ученые-естествоиспытатели и философы, решительно выступая против мистики, идеализма, религии, перенесли и утвердили резко отрицательное, почти презрительное отношение на скомпрометированную идеализмом область необычных психических явлений. Действительно, в сфере парапсихологии (современное определение одного из разделов психологической науки, исследующего особенности восприятия психической деятельности другой личности без участия известных нам органов чувств) много непривычного, гипотетичного, вероятностного, проблематичного.

Почти каждый в отдельности факт можно поставить под сомнение, можно подвергнуть отрицанию как недостаточно объективные способы отбора информации и любую методику опытов. Однако восьмидесятилетние итоги этих исканий — в целом, все вместе — просто отбросить и отвергнуть невозможно. Здесь есть над чем подумать, есть в чем разобратся. Можно согласиться с автором книги — серьезным физиологом, членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР — в том, что известных уже фактов достаточно, чтобы, не дожидаясь признания всех и каждого, ставить дальнейшие исследования. Заметим кстати, что в 1960 году под руководством Л. Л. Васильева в Физиологическом институте Ленинградского университета была создана и ныне действует первая в СССР лаборатория по изучению мысленного внушения.

Наука раскрывает и раскрывает много тайн. Природа и сущность телепатических явлений будут изучены и материалистически истолкованы в процессе их познания, в процессе преодоления случайного и недостоверного, привнесенного идеализмом в течение многих десятилетий безраздельного господства в парапсихологии. Чтобы не только отбросить, но и полностью преодолеть идеализм и религию, нельзя уступать им ни одного реального факта, и в особенности в таких сложных областях психики, как внушение на расстоянии.

Книга Л. Васильева поможет узнать о многих необычных явлениях, об их экспериментальном исследовании и теоретическом истолковании.

М. Слуцкий,  
кандидат философских наук.

## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТЗДАТ

**Р. Аванов.** На историческом перепутье (О характере современной национально-освободительной борьбы и ее движущих силах). 64 стр. Цена 7 к.

**П. Березов.** Революция свершилась. Очерки о Великом Октябре в Петрограде. 292 стр. Цена 60 к.

**Игорь Голосовский.** Когда пылал широкий Днепр. 288 стр. Цена 28 к.

**М. В. Данилевич.** Рабочий класс в освободительном движении народов Латинской Америки. 468 стр. Цена 92 к.

**Амброджо Донини.** Люди, идолы и боги. Очерки истории религии. Перевод с итальянского. 320 стр. Цена 53 к.

**К. М. Касрадзе.** Очерк истории Программы КПСС. 400 стр. Цена 62 к.

**И. Г. Левитас, М. А. Москалев, Е. М. Фингерит.** Революционные подпольные типографии в России (1860—1917 гг.). 374 стр. Цена 66 к.

**С. П. Новоселов.** Самая влиятельная сила современности. Мировое коммунистическое движение на современном этапе. 80 стр. Цена 9 к.

**Пятнадцатый съезд ВКП(б).** Декабрь 1927 года. Стенографический отчет. В двух частях. Часть 1. 847 стр. Цена 1 р. 35 к.

**Утро нового мира.** Сборник воспоминаний и документов о II Всероссийском съезде Советов. 80 стр. Цена 8 к.

**Формирование социалистических наций в СССР.** Сборник статей. 640 стр. Цена 1 р. 38 к.

### СОЦЭНГИЗ

**В. Бабнин.** Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. 212 стр. Цена 68 к.

**Л. Г. Бескровный.** Отечественная война 1812 года. 611 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Ж. Виллар.** «Странная война» и предательство Вилли 191 стр. Цена 36 к.

**З. М. Гершов.** «Нейтралитет» США в годы первой мировой войны. 244 стр. Цена 76 к.

**А. А. Зворыкин, Н. И. Осьмова, В. И. Чернышев, С. В. Шухардин.** История техники. 772 стр. Цена 2 р. 80 к.

**А. И. Игнатов.** Проблема происхождения жизни. 344 стр. Цена 85 к.

**Коллектив авторов.** Движение за коммунистический труд в промышленности СССР. 147 стр. Цена 27 к.

**Н. Муньнов, М. И. Кутузов**—дипломат. 141 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Экономическое соревнование социализма с капитализмом.** 502 стр. Цена 90 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Ф. Абрамов.** Безотцовщина. Повесть и рассказы. 232 стр. Цена 28 к.

**И. Андроников.** Я хочу рассказать вам... Рассказы. Портреты. Очерки. Статьи. 528 стр. Цена 1 р. 40 к.

**М. Ауэзов.** Выстрел на перевале. Повесть. Перевод с казахского. 132 стр. Цена 13 к.

**Н. Банн.** Ольга Берггольц. Критико-биографический очерк. 172 стр. Цена 40 к.

**В. Бонов.** Ветер в ладонях. Стихи. 288 стр. Цена 37 к.

**З. Вендров.** Дни и годы. Рассказы. Перевод с еврейского. 384 стр. Цена 65 к.

**А. Волнов.** Творчество А. И. Куприна. 432 стр. Цена 1 р.

**С. Воронин.** Две жизни. Роман. 316 стр. Цена 62 к.

**В. Гончаров.** Глаза говорят. Стихи. 104 стр. Цена 17 к.

**Е. Ештушенко.** Нежность. Стихи. 192 стр. Цена 30 к.

**М. Жестев.** Татьяна Тарханова. Роман. 410 стр. Цена 73 к.

**Г. Имавердиев.** Водопад. Стихи. Перевод с азербайджанского. 68 стр. Цена 10 к.

**Р. Ким.** Агент особого назначения. Кобра под подушкой. Приключенческие повести. 318 стр. Цена 56 к.

**Л. Ленч.** На грешной земле. Рассказы и сказки. 224 стр. Цена 33 к.

**Н. Мацуев.** Советская художественная литература и критика. 1958—1959. Библиография. 676 стр. Цена 2 р. 80 к.

**А. Мухтар.** Рождение. Роман. Перевод с узбекского. 312 стр. Цена 53 к.

**И. Никитин.** Созидатели. Роман. 242 стр. Цена 45 к.

**Л. Плоткин.** Творчество Веры Пановой. 230 стр. Цена 61 к.

**А. Полторацкий.** Гоголь в Петербурге. Повесть. Перевод с украинского. 280 стр. Цена 51 к.

**Н. Равич.** Две столицы. Исторический роман. 360 стр. Цена 58 к.

**Л. Рубинштейн.** Петроградская сторона. Повесть. 332 стр. Цена 59 к.

**И. Сельвинский.** Студия стиха. 348 стр. Цена 60 к.

**В. Синорский.** Соты. Стихи. 176 стр. Цена 14 к.

**М. Стельмах.** Правда и кривда (Марко Бесмертный). Роман. Перевод с украинского. 480 стр. Цена 83 к.

**Г. Тарпан.** Девятый вал. Повесть. 408 стр. Цена 70 к.

**Т. Тетцоев.** Моя Осетия. Стихи. 60 стр. Цена 7 к.

**М. Шехтер.** Лирическая погода. Стихи. 148 стр. Цена 17 к.

### ГОСЛИТЗДАТ

**Ай У.** Банановая долина. Повести. Рассказы. Перевод с китайского. 399 стр. Цена 61 к.

**Николай Браун.** Стихотворения. 428 стр. Цена 84 к.

**Антанас Венцлова.** Дружба. Вступление в зрелый возраст. Роман. Перевод с литовского. 344 стр. Цена 70 к.

**Эрнст Теодор Амадей Гофман.** Избранные произведения. В трех томах. Переводы с немецкого. Том 1. 591 стр. Цена 1 р. 6 к.

Том 2. 519 стр. Цена 87 к. Том 3. 519 стр. Цена 89 к.

**М. Гус.** Идеи и образы Ф. М. Достоевского. 512 стр. Цена 1 р. 19 к.

**Онелио Кардосо.** Коралловый конь. Рассказы. Перевод с испанского. 159 стр. Цена 23 к.

**Г. Райчев.** Маленький мир. Повести и рассказы. Перевод с болгарского. 231 стр. Цена 52 к.

**А. Рыбасов.** И. А. Гончаров. 244 стр. Цена 72 к.

**Иоханнес Семпер.** Стихотворения. Перевод с эстонского. 199 стр. Цена 29 к.

**Тауфин аль-Ханим.** Возвращение духа. Роман. Перевод с арабского. 288 стр. Цена 47 к.

**Л. Н. Толстой.** Переписка с русскими писателями. 719 стр. Цена 1 р. 34 к.

**Тридцать две новеллы о монахах.** Перевод с санскрита. 103 стр. Цена 10 к.

**Г. Фридендер.** К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы. 608 стр. Цена 1 р. 43 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**О. К. Антонов.** На крыльях из дерева и полотно. 87 стр. Цена 13 к.

**Валентин Берестов.** Приключений не будет. 160 стр. Цена 13 к.

**Л. Владимиров.** Дороги к незримому кладу. 128 стр. Цена 19 к.

**Н. Глазнов.** Поэтоград. Стихи. 144 стр. Цена 32 к.

**Гуго Глязер.** Драматическая медицина. Опыты врачей на себе. Перевод с немецкого. 208 стр. Цена 57 к.

**Горький — детям.** Сборник. 240 стр. Цена 43 к.

**Д. Дар, А. Ельников.** Там, за поворотом... 272 стр. Цена 53 к.

**М. Домогацких.** Утро Тибета. 175 стр. Цена 25 к.

**Д. Краминов.** Пасынки Альбиона. Повесть. 208 стр. Цена 46 к.

**Халима Насырова.** Солнце над Востоком. Записки актрисы. 272 стр. Цена 58 к.

**Н. Мосов.** Два друга. Сборник пьес. 256 стр. Цена 68 к.

**В. Прокофьев.** Петрашевский. 1821—1866. 336 стр. Цена 65 к.

**Рабочая честь.** Сборник произведений членов Литературного объединения Московского автоакадемии имени Лихачева. 208 стр. Цена 18 к.

**Илья Туричин.** Дороги, которые мы выбираем. Повесть. 128 стр. Цена 19 к.

**Дороги Хьюэтт.** Крутится веретено. Роман. Перевод с английского. 255 стр. Цена 69 к.

#### ДЕТГИЗ

**А. Бикчентаев.** Дочь посла. Повесть. Перевод с башкирского. 144 стр. Цена 32 к.

**М. Ефетов.** Тельняшка — моряцкая рубашка. Повесть. 208 стр. Цена 41 к.

**Ф. Мора.** Король Печка. Рассказы. Перевод с венгерского. 176 стр. Цена 35 к.

**В. Рождественский.** Читая Пушкина. 192 стр. Цена 55 к.

**Л. Рубинштейн.** Черный ураган. Историческая повесть. 240 стр. Цена 47 к.

**О. Саган-оол.** Человек из Байи-Тала. Страницы жизни героя. Повесть. Перевод с тувинского. 96 стр. Цена 22 к.

**И. Смольников.** Короткая заря. Повесть о Федоре Васильеве. 176 стр. Цена 47 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Н. П. Абрамов.** Дзига Вертов. 168 стр. Цена 80 к.

**Атом для мира.** Прогресс в мирном использовании атомной энергии. Сборник статей. 157 стр. Цена 23 к.

**Л. С. Берг.** История русских географических открытий. 296 стр. Цена 1 р. 18 к.

**Л. Я. Бляхер.** Очерк истории морфологии животных. 264 стр. Цена 1 р. 33 к.

**Вопросы точности и надежности в машиностроении.** 196 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Б. Т. Горянов.** Поздневизантийский феодализм. 503 стр. Цена 1 р. 98 к.

**К. А. Люарский.** Очерки по астробиологии. 120 стр. Цена 46 к.

**Особенности аграрного строя России в период империализма.** Материалы сессии на-

учного совета. Май 1960 г. 352 стр. Цена 1 р. 55 к.

**Р. Г. Перельман.** Двигатели галактических кораблей. 200 стр. Цена 33 к.

**Проблемы экономики и политики Франции после второй мировой войны.** 604 стр. Цена 2 р. 57 к.

**М. Н. Тихомиров.** Россия в XVI столетии. 584 стр. Цена 2 р. 46 к.

**И. А. Трахтенберг.** Денежное обращение и кредит при капитализме. 780 стр. Цена 3 р. 13 к.

**Марк Туллий Цицерон.** Речи. В двух томах. Том I. 443 стр. Том II. 400 стр. Цена двух томов 4 р.

**Электроэнцефалографическое исследование высшей нервной деятельности.** 404 стр. Цена 3 р. 33 к.

#### ВОЕНИЗДАТ

**И. И. Азаров.** Осажденная Одесса. 212 стр. Цена 52 к.

**Л. П. Богданов.** На поле Бородинском. 72 стр. Цена 8 к.

**Е. З. Воробьев.** Скорее бы наступило завтра. Рассказы. 220 стр. Цена 34 к.

**П. Галлуа.** Стратегия в ядерный век. Сокращенный перевод с французского. 208 стр. Цена 65 к.

**Г. Н. Гайдковский.** Командир ПЛ. К-143. Повесть. 209 стр. Цена 30 к.

**А. А. Гречко.** Высокое призвание. 84 стр. Цена 11 к.

**История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.** Том IV. Изгнание врага из пределов Советского Союза и начало освобождения народов Европы от фашистского ига (1944 г.). 740 стр. Цена 3 р.

**М. Кегл, Ф. Менсон.** Морская война в Корее. Сокращенный перевод с английского. 334 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Коллектив авторов.** Военная стратегия. Под редакцией Маршала Советского Союза В. Д. Соколовского. 460 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Аурел Ламбрино.** Солдат Авантум Харитон. Повесть. Перевод с румынского. 200 стр. Цена 63 к.

**И. М. Майский.** Испанские тетради. 200 стр. Цена 46 к.

**Ю. Мадер.** Серая рука (Секреты шпионской службы Западной Германии). Перевод с немецкого. 272 стр. Цена 80 к.

**Подсказанное жизнью** (О новых формах воспитания воинов). 104 стр. Цена 15 к.

**Пословицы и поговорки Великой Отечественной войны.** Составил П. Ф. Лебедев. 208 стр. Цена 30 к.

#### ГОРСЮРИЗДАТ

**М. С. Брайнин, Е. Н. Смирнов.** Расследование преступлений, связанных с пережитками местных обычаев. 108 стр. Цена 17 к.

**Государство и коммунизм.** Некоторые вопросы теории государства и права в современный период. Сборник статей. 196 стр. Цена 82 к.

**В. А. Косачевский.** Человек из ночи (Записки следователя). 56 стр. Цена 7 к.

**А. И. Ромашев.** Кривые тропы. Рассказы (Записки следователя). 64 стр. Цена 7 к.

**Л. С. Самойлов, Б. П. Скорбин.** Идущие стороной (Записки следователя). 48 стр. Цена 6 к.

**Г. И. Тункин.** Вопросы теории международного права. 332 стр. Цена 1 р. 12 к.

**Н. А. Якубович.** Окончание предварительного следствия. 148 стр. Цена 22 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОГО ЛИТЕРАТУРЫ

**С. Ааронович.** Правящий класс. Перевод с английского. 229 стр. Цена 68 к.

**Джеймс Аллен.** США и «общий рынок». Перевод с английского. 62 стр. Цена 11 к.

**М. Андреев, Д. Ангелов.** История болгарского государства и права. Перевод с болгарского. 456 стр. Цена 1 р. 89 к.

**Аргентинские рассказы.** Перевод с испанского. 152 стр. Цена 35 к.

**Э. Бернс** Теория и практика правых лейбористов. Перевод с английского. 167 стр. Цена 32 к.

**Г. Берч**. Западная Германия — государство монополий. Вундестаг и правительство. Перевод с немецкого. 202 стр. Цена 42 к.

**Блас де Отеро**. Стихи. Перевод с испанского. 82 стр. Цена 10 к.

**Вилли Бредель**. Новая глава. Роман. Перевод с немецкого. 446 стр. Цена 1 р. 33 к.

**У. Э. Дюбуа**. Воспоминания. Перевод с английского. 519 стр. Цена 1 р. 7 к.

**Роман Ингарден**. Исследования по эстетике. Перевод с польского. 572 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Чандроканта Канодкар**. Прогремел победный клич. Роман. Перевод с хинди. 142 стр. Цена 38 к.

**Костас Кодзяс**. Забой номер семь. Роман. Перевод с новогреческого. 366 стр. Цена 1 р. 3 к.

**Герман Лей**. Очерки истории средневекового материализма. Перевод с немецкого. 587 стр. Цена 2 р. 81 к.

**Дитер Ноэль**. Приключения Вернера Хольта. Роман. Перевод с немецкого. 543 стр. Цена 1 р. 69 к.

**Персидский юмор**. Сборник. Перевод с персидского. 94 стр. Цена 18 к.

**Развитие народного хозяйства Корейской Народно-Демократической Республики после освобождения**. Сокращенный перевод с корейского. 336 стр. Цена 1 р. 23 к.

**Михай Раля**. Два облика Франции. Перевод с французского. 483 стр. Цена 1 р. 59 к.

**Б. Ржига**. Мужик. Роман. Перевод с чешского. Часть 1. 446 стр. Цена 1 р. 32 к. Часть 2. 334 стр. Цена 1 р. 4 к.

**Б. Спасов, А. Ангелов**. Государственное право Народной Республики Болгарии. Перевод с болгарского. 607 стр. Цена 2 р. 16 к.

**Джон Стейнбек**. Зима тревоги нашей. Роман. Перевод с английского. 312 стр. Цена 85 к.

**Стихи непальских поэтов**. Перевод с непальского. 103 стр. Цена 18 к.

**Джек Уоддис**. Африка. Лев пробуждается. Перевод с английского. 371 стр. Цена 93 к.

**Руй Фано**. Бразилия XX столетия. Перевод с португальского. 303 стр. Цена 61 к.

**Финские народные пословицы и поговорки**. Перевод с финского. 57 стр. Цена 12 к.

**Есиэ Хотта**. Памятник. Роман. Перевод с японского. 245 стр. Цена 66 к.

**Кришан Чандар**. Одна девушка и тысяча влюбленных. Роман. Перевод с урду. 135 стр. Цена 30 к.

**Чжоу Ли-бо**. Чистые ручьи. Роман. Перевод с китайского. 300 стр. Цена 97 к.

**С. Эвенсму**. Беглецы. Роман. Перевод с норвежского. 215 стр. Цена 53 к.

**Филипп Эриа**. Испорченные дети. Перевод с французского. 276 стр. Цена 92 к.

**Роберт Юнг**. Лучи из пепла. История одного возрождения. Перевод с немецкого. 290 стр. Цена 55 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Бородинский музей**. Путеводитель. 80 стр. Цена 12 к.

**Е. Петров**. Космонавты. 128 стр. Цена 17 к.  
**По-хозяйски использовать землю**. Вып. 1. 224 стр. Цена 24 к.

**Пропаганда атеизма на селе**. 168 стр. Цена 30 к.

**Этинкан и Селиме**. Чувашские сказки. 104 стр. Цена 59 к.

#### ПРИМОРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**К. Л. Майбогов**. Таяжные великаны. Роман. 276 стр. Цена 59 к.

**Е. Я. Терешенков**. Директор школы. Повесть. 167 стр. Цена 42 к.

**О. С. Щербановский**. Счастье. Рассказы. 208 стр. Цена 33 к.

#### ТАТКНИГОИЗДАТ

**Т. К. Журавлев**. Свежий ветер. Повесть и рассказы. 232 стр. Цена 31 к.

**Заки Нури**. Радость встреч. Стихи. Перевод с татарского. 100 стр. Цена 12 к.

**Рустем Кутуй**. Я иду по земле. Стихи. 158 стр. Цена 25 к.

**В. В. Синев**. Служба и дружба. Рассказы. 152 стр. Цена 26 к.

#### ЧУВАШГОСИЗДАТ

**В. И. Краснов-Асли**. В огне. Повесть. Перевод с чувашского. 424 стр. Цена 90 к.

**А. С. Кузнецова**. Максим из Кольцовки. Повесть о народном артисте М. Д. Михайлове. 272 стр. Цена 65 к.



## ОТ РЕДАКЦИИ

### *«Новый мир» в 1963 году*

По установившейся традиции, редакция «Нового мира» хотела бы дать читателям предварительный отчет о выполнении ею своих обязательств, взятых на 1962 год, и рассказать о своих планах на новый, 1963 журнальный год.

Редакция опубликовала обещанные в прошлогоднем проспекте романы С. Залыгина «Тропы Алтая», роман Ю. Бондарева «Тишина», четвертую книгу воспоминаний «Люди, годы, жизнь» И. Эренбурга, продолжение «Деревенского дневника» Е. Дороша — «Райгород в феврале», повесть Т. Есениной «Женя — чудо XX века», повесть Е. Герасимова «Шелковый город», повесть В. Рослякова «Один из нас», повесть Ч. Айтматова «Первый учитель», автобиографические рассказы И. Соколова-Микитова и ряд других произведений.

Некоторые из обещанных произведений мы не смогли напечатать: не все авторы смогли уложиться в предполагаемый срок работы над произведениями. От своих прошлогодних обещаний редакция не отказывается и надеется выполнить их в ближайшее время. Так, например, в первых же номерах журнала за 1963 год мы намерены напечатать роман-сказку В. Пановой и новые путевые записки В. Некрасова.

Помимо объявленных в прошлом году произведений, редакция напечатала в десяти книгах этого года по отделу прозы повесть В. Каверина «Семь пар нечистых», повесть Е. Ржевской «Земное притяжение», рассказ К. Ваншенкина «Авдюшин и Егорычев», большую очерковую работу «Хмель, или Навстречу осенним птицам» Вс. Иванова, путевые записки Б. Кербабая «Ухуру — значит свобода», рассказы В. Аксенова и другие. До конца этого года мы собираемся опубликовать «Армянские путевые записки» Вас. Гроссмана, повесть Александры Бруштейн «Простая операция», дневник Нины Костериной и ряд других произведений.

В отделе поэзии журнала увидели свет циклы стихотворений А. Кулешова, М. Танка, С. Галкина, Е. Евтушенко, В. Шефнера, А. Яшина, М. Квливидзе, Я. Красса, Б. Шинкубы, Г. Айги, стихи С. Капуткяня, Д. Сухарева, Н. Матвеевой, Я. Ухсая, И. Тарбы и другие.

«Новый мир» по-прежнему стремился выявлять новые имена, новые дарования. В этом году со своими произведениями у нас выступили молодые писатели И. Грекова, Т. Есенина, А. Некрасов, поэты А. Жигулин, В. Пальчиков, Ф. Ефимов, Б. Чичибабин, Л. Завальнюк, Г. Демькина.

Журнал познакомил читателей и с отдельными произведениями зарубежной литературы: с романом Т. Брезы «Лабиринт», с рассказами Дж. Д. Сэлинджера, Антуана де Сент-Экзюпери, с записками Х. Гойти-соло «Земли Нихара», со стихами Роберта Фроста, венгерских поэтов.

Современная тема — ведущая в творчестве наших писателей. Она

нашла свое отражение и в различного рода публицистических материалах:

в очерках Д. Дара и А. Ельянова, И. Осипова, Н. Верховского, М. Карповича, В. Панова, в статьях Я. Таврова, Б. Яковлева, Е. Темчина, В. Смолянского, И. Белова;

в статьях на научные темы К. Андреева, Р. Бершадского, И. Андроникова, М. Поповского, Тура Хейердала;

в путевых записках С. Утченко, Г. Фиша, И. Радволиной, Д. Гранина и других.

В журнале были напечатаны воспоминания К. Чуковского о Куприне, Н. Луначарской-Розенель о Луначарском, академика И. Майского о его пребывании на посту посла СССР в Англии, статья Э. Герштейн «Вокруг гибели Пушкина», неопубликованная статья А. Герцена. Особо нам хотелось бы отметить историко-литературный памятник эпохи Отечественной войны 1812 года — записки поручика Александра Чичерина.

В 1963 году журнал, помимо уже упомянутых путевых записок **В. Некрасова** и романа **В. Пановой**, намерен напечатать ряд новых произведений наших писателей. Над новыми повестями работают **Ч. Айтматов**, **В. Аксенов**, **С. Антонов**. Близка к завершению вторая книга «Дневных звезд» **О. Берггольц**. Повесть «Июль 1941 года» **Г. Бакланова** посвящена суровым дням начала войны. Новую повесть пишет **К. Ваншенкин**. **Г. Владимов** близок к завершению своей второй повести «Три минуты молчания». **В. Войнович**, дебютировавший в журнале повестью «Мы здесь живем», заканчивает повесть «Кем я мог бы стать». С повестью «Машиносталя» выступит **Е. Герасимов**. **Е. Дорош** продолжает работу над новыми главами своего «Деревенского дневника». Верная историко-революционной теме, **Е. Драбкина** пишет повесть о Владимире Ильиче Ленине, в основе которой будут лежать и личные воспоминания автора. Близка к завершению работа **В. Дудинцева** над новым романом «Уходим в море». В новой своей повести **С. Залыгин** обращается к годам коллективизации. Новую повесть для нас пишет **В. Катаев**. **Р. Ким** выступит в журнале с повестью «Школа призраков». Драматург **А. Крон** заканчивает свой первый роман «Дом и корабль». Завершает свою книгу «Идем на Восток» **А. Марьямов**. Уже не раз выступавший в нашем журнале молодой читинский писатель **В. Липатов** сдал редакции роман «Седьмой пот». **К. Паустовский** представит редакции свои путевые записки. Новый роман завершает **А. Рыбаков**. Над повестью работает **В. Тендряков**. **В. Фоменко** готовит вторую книгу романа «Память земли». Завершил пятую книгу воспоминаний «Люди, годы, жизнь» **И. Эренбург**.

Будут также опубликованы новые произведения **Б. Агапова**, **Н. Атарова**, **Ю. Бондарева**, **А. Бруштейн**, **Л. Волынского**, **М. Ганиной**, **И. Грековой**, **С. Георгиевской**, **Н. Дубова**, **И. Зыкова**, **Т. Журавлева**, **М. Коршунова**, **Ю. Куранова**, **Н. Мельникова**, **И. Метгера**, **В. Овечкина**, **Е. Ржевской**, **В. Рослякова**.

В журнале со стихами и переводами выступят поэты **М. Алигер**, **А. Ахматова**, **О. Берггольц**, **П. Бровка**, **К. Ваншенкин**, **Е. Винокуров**, **Р. Гамзатов**, **Е. Евтушенко**, **Л. Завальнюк**, **А. Жигулин**, **Ф. Искандер**, **М. Карим**, **Кайсын Кулиев**, **А. Кешоков**, **Р. Казакова**, **С. Капутикян**, **Н. Коржавин**, **В. Корнилов**, **М. Квливидзе**, **А. Кулешов**, **С. Липкин**, **М. Луконин**, **Н. Матвеева**, **Э. Межелайтис**, **А. Прокофьев**, **М. Рыльский**, **Д. Самойлов**, **Я. Смеляков**, **В. Сергеев**, **М. Танк**, **А. Твардовский**, **Я. Ухсай**, **Я. Хелемский**, **В. Шефнер**, **Б. Шинкуба**, **С. Щипачев**, **Г. Эмин**, **А. Яшин** и другие.

В будущем году «Новый мир», как и прежде, будет настойчиво привлекать к участию на страницах журнала талантливую молодежь. Вместе с тем мы по-прежнему будем обращаться к старшему и среднему поколению советских писателей. В журнале найдут свое место историко-литера-

турные публикации; в частности, будут напечатаны материалы из литературного архива известного советского писателя **М. Булгакова**. Будет значительно расширен «Дневник писателя». Подготовлены к печати записки участника боев за Севастополь генерал-майора **А. Ковтуна**. Новые «Невыдуманные рассказы» готовит адмирал **И. Исаков**, с воспоминаниями о боях в Испании выступит **А. Эйсер** и т. д.

В 1963 году на страницах журнала будут публиковаться новые произведения зарубежных писателей, в частности роман недавно умершего американского писателя **У. Фолкнера** «Солдатская награда».

Отдел критики и библиографии «Нового мира» видит свою задачу в борьбе за глубокую идейность, высокий художественный уровень нашей литературы. Поддерживая все новое, свежее и талантливое в литературе, «Новый мир» в то же время будет обращать огонь своей критики против безыдейности и серости. При этом, как и в других разделах, мы надеемся на привлечение новых сил, на тесный союз опытных критиков и литературоведов с молодыми.

«Новый мир» — журнал литературно-художественный и общественно-политический. Развивая и улучшая содержание публицистики, очерков, статей о проблемах науки, редакция приглашает к активному участию в этих разделах партийных и хозяйственных работников, ученых, новаторов производства, специалистов сельского хозяйства — всех читателей. Своим опытом, знаниями читатели могут оказать неоценимую пользу журналу.

В журнале сохраняются традиционные разделы:

**Очерки наших дней**  
**На зарубежные темы**  
**Публицистика**  
**В мире науки**  
**В мире искусства**  
**Дневники. Воспоминания**  
**Трибуна читателя**  
**Отклики и комментарии**  
**Книжное обозрение**  
**Коротко о книгах**  
**Книжные новинки**

Вместе со всей советской печатью журнал «Новый мир» видит цель и смысл своего существования в том, чтобы отражать во всей глубине и многообразии великий процесс строительства коммунизма в нашей стране, показывать образ советского человека, строителя новой жизни, неиссякаемое творчество масс, воодушевленных Коммунистической партией.



## ЭММАНУИЛ ГЕНРИХОВИЧ КАЗАКЕВИЧ

Умер близкий друг нашего журнала, его давний сотрудник, один из талантливейших советских писателей Эммануил Генрихович Казакевич, умер в разгаре работы над романом, которым мы надеялись порадовать нашего читателя в ближайшем будущем.

Эммануил Генрихович был в расцвете своих творческих сил. Безвременная смерть прервала выполнение его больших художественных замыслов. Для нас, высоко ценивших его талант и любивших его самого как своего близкого друга и товарища по работе, понесенная советской литературой утрата особенно скорбна. Все читатели журнала разделят нашу скорбь.

РЕДКОЛЛЕГИЯ И  
РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТИВ «НОВОГО МИРА»

### *О человеке и друге*

Никогда я не мог подумать, что мне придется писать о смерти Казакевича. Писать о смерти человека и друга.

Только потеряв его, мы поняли до конца, что он принадлежал к первым и лучшим людям нашего времени — по остроте и смелости мысли, по вольному и умному таланту, глубокой честности, по блеску его воображения и тому бурному человеческому обаянию, которое мгновенно покоряло всех.

Даже по отношению к людям, которых он ценил, он, в зависимости от их поступков, был то суров, то нежен, то насмешлив, то ласков. Потому что он был безошибочно справедлив и рыцарски предан правде.

Эммануил Генрихович был неожиданным человеком в том смысле, что он стремительно захватывал окружающих своими замыслами, рассказами, эпиграммами, спорами, шутками.

Но в этом выражалась только малая часть его существа. Нередко он бывал и печален и гневен или, вернее, как-то гневно-печален. Это его состояние всегда находилось в связи с опасениями за судьбу литературы, за достоинство человека и его независимость.

Тяжесть и бессмыслицу его гибели ничем не снимешь. Можно после этого возненавидеть законы природы. В этом случае они превратились в чудовищное беззаконие.

Природа слепа и лишена способности оценок. Она бьет без разбора. Мы же — неотъемлемая часть этой природы — обладаем оценками в полной мере. С этой нелепостью нельзя примириться.



Жизнь не берегла Казакевича, да и он сам себя не берег. Если бы была хоть малейшая возможность, его бы не отдали смерти. Мы, понимающие, вопреки ослепшей природе, великую ценность человека, оказались беспомощными.

Казакевич жил мужественно и мужественно умер. Это было мужество большого и прекрасного сердца. Зная полную безнадежность своего положения, он был мужественным ради окружающих, ради близких людей, ради того, чтоб оставить им надежду на чудо.

Существует выражение «гробовое одиночество». Нужно представить себе состояние человека, уходящего из жизни в неслыханных муках, его отчаяние, его одиночество, представить себе все, что он передумал и перестрадал один в единоборстве со смертью, чтобы понять высоту и величие его духа, не уступившего ни крупинки своей человечности этой проклятой и подлой болезни.

О Казакевиче как о большом писателе будет сказано много. Сейчас каждый думает о другом.

Я думаю о том, что никогда больше не услышу его шуточный голос и не увижу застенчивую нежность в его глазах. И не услышу другой его голос — строгий и точный, — когда он читал стихи. Никогда не услышу. В это нельзя поверить.

Что делать нам, оставшимся? Продолжать то, что делал Казакевич. Служить жизни, которой он был так предан, служить литературе — одному из лучших человеческих дел, умножать силу духа и красоту этой земли.

**КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ.**




---

**Главный редактор А. Т. Твардовский**

**Редакционная коллегия:**

**Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), Б. Г. Зак**  
**(ответственный секретарь), А. И. Кондратович (зам. главного редактора),**  
**В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

---

Редакция: Москва Центр, Пушкинская площадь 5 (почтовый адрес).  
 Вход с улицы Чехова 1. Тел. К 5 76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

---

Сдано в набор 25/VIII 1962 г.	Объем 18 п. л.	Подписано к печати 17/X 1962 г.
Формат бумаги 70×108/16.	9 сум. л. — 24,66 печ. л.	Тираж 94.900
А 06778.	Зак. 1630.	

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
 имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.